93+83
Ин6р

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] 2001

РОМАН ДЖ. М. КУТЗЕЕ “БЕСЧЕСТЬЕ”, УДОСТОЕННЫЙ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ ЗА 1999 ГОД / РАССКАЗЫ ВУДИ АЛЛЕНА / ПОВЕСТЬ ГЕНРИХА БЁЛЛЯ “ЗАВЕТ” / СТИХИ РОБЕРТА ЛЬЮИСА СТИВЕНСОНА В РУБРИКЕ “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ Э. М. ЧОРАНА “РАЗЛАД” / ИНТЕРВЬЮ С “ИНОСТРАНКОЙ”

Основан в 1891 году

Редакция "Иностранной литературы"
поздравляет с Новым 2001 годом
всех читателей, авторов, переводчиков,
а также те организации, которые в минувшем году
оказывали журналу поддержку.

Нам помогали:

Институт "Открытое общество",
Министерство культуры РФ,
Министерство печати РФ,
МИД Франции и посольство Франции в России,
Шведский институт,
ЗАО Конверсбанк
[спонсор ежегодных литературных премий],
Академия епископата Роттенбург–Штутгарт
[спонсор премии имени отца А. Меня],
Союз немецкой экономики в РФ,
Благотворительный резервный фонд,
Издательство "Баллан" [Франция].

Мы также благодарим зарубежных авторов,
предоставивших нам права
на безвозмездную публикацию
на страницах журнала
в 2000 году.
Свои произведения нам
и всем нашим читателя подарили:

Гюнтер Грасс [Германия],
Чеслав Милош [Польша],
Милан Рихтер [Словакия],
Тадеуш Ружевич [Польша],
Биргитта Тротциг [Швеция],
Густав Херлинг-Грудзинский [Польша],
Вислава Шимборская [Польша].

[1]

2001

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

	3	Дж. М. Кутзее. *Бесчестье.* Роман. Перевод с английского Сергея Ильина
	139	Умберто Беллинтани. *Стихи.* Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича
	143	Вуди Аллен. *Рассказы.* Перевод с английского Олега Дормана
	164	Генрих Бёлль. *Завет.* Повесть. Перевод с немецкого и вступление М. Рудницкого
Литературное наследие	224	Роберт Льюис Стивенсон. *Стихи.* Перевод с английского и вступление Евгении Славороссовой
Статьи, эссе	233	Эмиль Мишель Чоран. *Разлад.* Фрагменты книги. Перевод с французского Н. Мавлевич. Борис Дубин. *О беге времени на его краю.*
В мастерской переводчика	253	Григорий Кружков. *Крик павлина и конец эстетической эпохи.* Эссе. *Из новых переводов У. Б. Йейтса*
Трибуна издателя: зарубежная литература в России	267	*Издательство "Иностранка"*
Среди книг	273	Елена Гальцова. *В защиту Селина.* Алексей Зверев. *"Живу благодаря себе подобным..."*
Курьер "ИЛ"	281	
Авторы номера	285	

© "Иностранная литература", 2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Из общего тиража
в 13 000 экземпляров
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
1 700 экземпляров;
Министерство культуры
РФ выкупает для
библиотек 1000
экземпляров.

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Международный
совет:

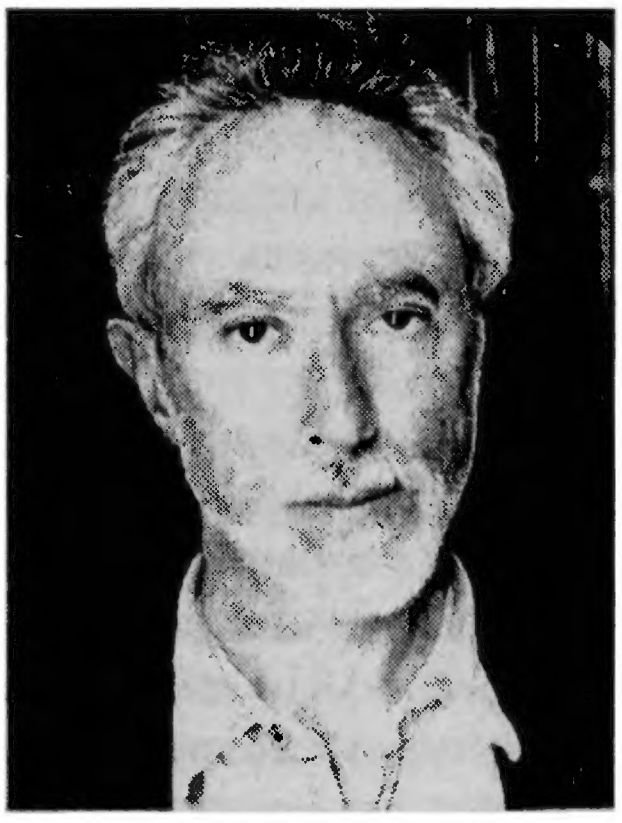
Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
[Акционерный банк Конверсии].

Дж. М. Кутзее



Бесчестье

Роман

Перевод с английского Сергея Ильина

Глава первая

Для человека его возраста, пятидесятидвухлетнего, разведенного, он, на его взгляд, решил проблему секса довольно успешно. По четвергам, после полудня, он едет в Грин-Пойнт. Ровно в два часа он нажимает кнопку звонка на двери многоквартирного дома Виндзор-Мэншнс, называет свое имя и входит. У двери с номером 113 стоит, поджидая его, Сорайа. Он проходит прямиком в спальню, приятно пахнущую, мягко освещенную, и раздевается. Сорайа появляется из ванной, сбрасывает халат и проскальзывает в постель, под бок к нему.

— Скучал по мне? — спрашивает она.

— Я по тебе все время скучаю, — отвечает он. Он гладит ее не тронутое солнцем медово-смуглое тело; заставляет ее вытянуться рядом с собой, целует ей груди; они любят друг дружку.

Сорайа высока и стройна, с длинными черными волосами и темными, влажными глазами. Строго говоря, он достаточно стар, чтобы быть ей отцом; но с другой стороны, и опять-таки строго говоря, отцом можно стать и в двенадцать. В клиентах у нее он состоит уже год с лишком; она его более чем устраивает. Четверг обратился в оазис de luxe et volupté[1] посреди недельной пустыни.

В постели Сорайа сдержанна. Она вообще тиха по природе, тиха и послушна. Взгляды ее на удивление моралистичны. Ее раздражают тури-

© J. M. Coetzee, 1999
© С. Ильин. Перевод, 2001

1. Роскоши и неги (*франц.*). (*Здесь и далее прим. перев.*)

стки, обнажающие на пляжах грудь ("вымя", как она выражается, говоря о них); она считает, что бродяг следует отлавливать и заставлять мести улицы. Как ей удается сочетать подобные суждения с ее занятием, он не спрашивает.

Поскольку она доставляет ему удовольствие, причем неизменное, он понемногу привязывается к ней. Привязанность эта, как он полагает, в какой-то мере взаимна. Привязанность, возможно, и не любовь, но по крайности двоюродная сестра таковой. А если вспомнить малообещающее начало их связи, то можно сказать, что им улыбнулась удача, обоим: ему повезло найти ее, ей — найти его.

Он сознает, что в чувствах его присутствует самолюбование плюс нечто от супружеской зависимости. Тем не менее он не гонит их прочь.

За полуторачасовой сеанс он платит ей четыреста рандов, половину которых забирает "Благоразумная спутница". Жаль, конечно, что "Благоразумной спутнице" приходится отдавать так много. Но этому агентству принадлежит 113-я квартира, да и другие квартиры Виндзор-Мэншнс; в каком-то смысле ему принадлежит и Сорайа, вот эта ее часть, функциональная.

Одно время он подумывал о том, чтобы попросить ее встретиться с ним в свободное от работы время. Он с удовольствием провел бы с ней вечер, может быть, даже ночь. Но не следующее утро. Он слишком хорошо знает себя, чтобы подвергать Сорайю испытанию утром, — он будет холоден, мрачен, будет изнывать от желания поскорее остаться наедине с собой.

Таков уж его темперамент. Темперамент не переменишь, для этого он слишком стар. Его темперамент определился, установился. Череп, а после темперамент: два самых неподатливых атрибута человека.

Вот и следуй своему темпераменту. Это не философия, "философия" — слишком высокое слово. Это правило, вроде правил св. Бенедикта[1].

Здоровье у него отменное, голова варит. По профессии он ученый, филолог, вернее, был им, и филология еще овладевает, пусть и с перерывами, всем его существом. Он живет, не выходя за рамки своего дохода, своего темперамента, своих эмоциональных возможностей. Счастлив ли он? По большинству мерок — да, пожалуй что да. Впрочем, он не забывает о последнем хоре "Эдипа": *Прежде смерти не называй человека счастливым.*

В сфере секса его темперамент, хоть и не лишенный пылкости, никогда особенной страстностью не отличался. Если бы ему пришлось выбирать для себя тотем, он выбрал бы змею. Как он себе это представляет, его соития с Сорайей смахивают на совокупление двух змей: долгое, сосредоточенное, но отчасти равнодушное, суховатое, даже в самые пылкие минуты.

Интересно, тотем Сорайи — тоже змея? Разумеется, с другими мужчинами она становится другой женщиной: la donna e mobile[2]. И все же на уровне темперамента подделать сходство с ним ей, конечно же, не удалось бы.

При том, что по роду занятий она женщина непутевая, он доверяет ей — в определенных пределах. Во время их встреч он разговаривает с

1. Имеется в виду разработанный св. Бенедиктом Нурсийским (480–543) монастырский устав.
2. Женщина переменчива (*итал.*). Цитируются начальные слова песенки Герцога из оперы Дж. Верди "Риголетто", известные нам как "Сердце красавицы склонно к измене".

нею не без некоторой свободы, иногда даже изливает перед ней душу. Ей известны обстоятельства его жизни. Она выслушала рассказы о двух его браках, знает о его дочери, о превратностях ее судьбы. Она знакома со многими его взглядами.

О своей жизни вне Виндзор-Мэншнс Сорайа не говорит ничего. Сорайа — не настоящее ее имя, в этом он не сомневается. Судя по некоторым признакам, у нее есть ребенок, а то и не один. Возможно, она вовсе и не профессионалка. Она может работать на агентство лишь день-другой в неделю, а в остальное время вести добропорядочную жизнь где-нибудь в пригороде, в Райлэндсе или Атлоне. Не совсем обычно для мусульманки, но в наше время случается всякое.

О своей работе он, не желая нагонять на нее скуку, говорит мало. На жизнь он зарабатывает в Техническом университете Кейпа, бывшем колледже Кейптаунского университета. Некогда профессор кафедры новых языков, он, поскольку кафедры древних и новых языков в ходе большой рационализации закрыли, стал теперь вторым профессором на факультете передачи информации. Как и всем "рационализированным", ему, ради укрепления морального состояния, разрешено читать один курс в год по прежней своей специальности — независимо от числа записавшихся на этот курс студентов. В нынешнем году он читает о поэтах-романтиках. А в остальное время ведет занятия по курсу 101 ("Основные методы передачи информации") и 201 ("Передовые методы передачи информации").

Хотя он каждый день уделяет по нескольку часов своей новой дисциплине, первая ее посылка, провозглашенная в учебнике по курсу 101: "Человеческое общество создало язык для того, чтобы мы могли передавать друг другу наши мысли, чувства и намерения", представляется ему нелепой. По его личному мнению, которое, впрочем, он держит при себе, происхождение речи коренится в пении, а происхождение пения — в потребности заполнить звуками непомерно большую и несколько пустоватую человеческую душу.

За свою растянувшуюся уже на четверть века карьеру он опубликовал три книги, ни одна из которых не вызвала восторженных кликов или хотя бы перешептываний: первая была посвящена опере ("Бойто и легенда о Фаусте: генезис Мефистофеля"), вторая — видениям как порождению эроса ("Явление Ричарда святому Виктору"), а третья — Вордсворту и истории ("Вордсворт и бремя прошлого").

Последние несколько лет он подумывает о сочинении, посвященном Байрону. Поначалу ему казалось, что может получиться еще одна книга, еще один критический опус. Но все его попытки подступиться к нему вязли в трясине скуки. Правда состояла в том, что он устал от литературной критики, устал от измеряемой ярдами прозы. Что ему на самом деле хочется написать, так это музыку: "Байрон в Италии", размышление о любви между полами, поданное в форме камерной оперы.

Пока он ведет занятия по методам передачи информации, в мозгу его мелькают фразы, мелодии, обрывки арий из ненаписанного сочинения. Как преподаватель он никогда особенно не блистал; в теперешнем же преобразованном и, на его взгляд, изуродованном учебном заведении он более чем когда-либо чувствует себя не на месте, хотя, с другой стороны, так же чувствовали себя и его коллеги прежних дней, обремененные образованием, не отвечающим задачам, которые им приходилось решать: клирики пострелигиозного века.

Поскольку он не питает уважения к тому, что преподает, он и не производит никакого впечатления на студентов. Студенты забывают его имя, смотрят, когда он говорит, сквозь него. Их безразличие уязвляет его сильнее, чем он готов признать. Тем не менее он досконально выполняет принятые им на себя обязательства перед ними, их родителями и государством. Месяц за месяцем он дает им домашние задания, собирает письменные работы, прочитывает их и комментирует, исправляя ошибки в пунктуации, правописании и словоупотреблении, оспаривая слабые аргументы, присовокупляя к каждой работе короткие, продуманные критические замечания.

Он продолжает преподавать, потому что это дает ему средства к существованию; и еще потому, что преподавание учит его смирению, открывая ему глаза на то, кто он в этом мире. Ирония происходящего не ускользает от него: тот, кто приходит учить, получает горчайший из уроков, а те, кто пришел учиться, не научаются ничему. Об этой особенности своей профессии он с Сорайей не говорит. Он сомневается, отыщется ли в *ее* профессии ирония под стать.

На кухне квартирки в Грин-Пойнт есть чайник, пластмассовые чашки, банка растворимого кофе, вазочка с пакетиками сахара. В холодильнике — запас бутылок с водой. В ванной комнате имеются мыло и стопка полотенец, в стенном шкафу — чистое постельное белье. Свою косметику Сорайа держит в небольшом кейсе. Место, предназначенное для любовных утех, ни для чего иного, функциональное, чистое, разумно организованное.

Когда Сорайа в первый раз принимала его, губы ее алели от помады, веки покрывала густая краска. Все это было липким, ему не понравилось, и он попросил ее стереть косметику. Сорайа подчинилась и с тех пор никогда не красилась. Хорошая ученица, сговорчивая, податливая.

Ему нравится делать ей подарки. На Новый год он подарил ей финифтевый браслет, еще как-то раз — малахитовую цапельку, попавшуюся ему на глаза в антикварном магазине. Ее радость, нимало не притворная, доставляет ему наслаждение.

Он сам удивляется тому, что полтора проводимых в обществе женщины часа в неделю делают его счастливым — его, привыкшего считать, будто он нуждается в жене, в доме, в браке. Оказывается, что, в конце-то концов, нужды его вполне незатейливы, незатейливы и преходящи, как у бабочки. Никаких эмоций, или, вернее, никаких, кроме самой тайной, самой непредугадываемой: бассо-остинато удовлетворенности, подобного убаюкивающему горожанина гулу городского движения или тому, чем является для селянина безмолвие ночи.

Он вспоминает Эмму Бовари, которая, проведя полдня в самозабвенном распутстве, возвращается домой — пресыщенная, с остекленевшими глазами. Так вот оно, блаженство! — говорит Эмма, разглядывая себя в зеркале. — Вот блаженство, о котором твердят поэты! Что же, если бы бедной, обратившейся в призрака Эмме удалось каким-то образом отыскать дорогу в Кейптаун, он привел бы ее сюда в один из четвергов, чтобы показать, каким может быть блаженство: умеренное блаженство, умеренное.

Затем в одно субботнее утро все переменяется. У него дела в городе, он идет по улице Св. Георга, и тут глаза его натыкаются в толпе на стройную

фигуру. Это Сорайа, ошибиться невозможно, по бокам ее двое детей, два мальчика. Они несут пакеты: ходили по магазинам.

Поколебавшись, он, не сокращая расстояния, следует за ними. Они входят в "Рыбную харчевню капитана Дорего". У мальчиков такие же блестящие волосы и темные глаза, как у Сорайи. Это могут быть только ее сыновья.

Он проходит немного дальше, поворачивает назад, во второй раз минует "Капитана Дорего". Все трое сидят за столиком у окна. На миг взгляд Сорайи встречается сквозь стекло с его взглядом.

Он всегда был городским человеком, чувствующим себя как дома в потоке тел, там, где шествует эрос и взгляды летают, как стрелы. Но об этом обмене взглядами между ним и Сорайей ему сразу же приходится пожалеть.

При свидании в следующий четверг ни он, ни она о случившемся не упоминают. Однако память об этом как-то сковывает их. Он вовсе не желает расстроить ту рискованно двойственную жизнь, которую она, вероятно, ведет. Он целиком и полностью за двойную жизнь, за тройную, за жизнь, состоящую из отдельных отсеков. В сущности, если он что-либо и чувствует, то лишь еще большую нежность к ней. Ему хотелось бы сказать: "Со мной твой секрет в безопасности".

И все же и ему и ей не удается выбросить случившееся из головы. Ее мальчики здесь, рядом, играют тихо, как тени, в углу комнаты, в которой их мать совокупляется с незнакомым мужчиной. В объятиях Сорайи он становится — на миг — их отцом: приемным отцом, отчимом, отцом-призраком. После, вылезая из постели, он чувствует, как глаза их украдкой с любопытством шарят по нему.

Мысли его невольно обращаются к другому отцу, настоящему. Имеет ли он хоть отдаленное представление о том, чем она занимается, или предпочитает блаженство неведения?

У самого у него сына нет. Детство его прошло в семье, состоящей из женщин. Мать, тетки, сестры — все они покидали его, сменяясь, как то и положено, любовницами, женами, дочерью. Всегдашнее женское общество сделало его женолюбом, пожалуй, даже бабником. При его росте, при крепком его костяке, оливковой коже, волнистых волосах он всегда мог рассчитывать на некоторую свою притягательность. Если он определенным образом, с определенным намерением смотрел на женщину, она отвечала ему — уж на это-то он мог положиться — таким же взглядом. Так он и жил — годами, десятилетиями, — и все это стало становым хребтом его существования.

И в один прекрасный день все кончилось. Могущество оставило его, не предупредив. Взгляды, которыми ему некогда отвечали, теперь скользили по нему — мимо, сквозь. Он вдруг обратился в призрака. Если он желал женщину, ему приходилось добиваться ее, а чаще — покупать, тем или иным способом.

Он жил в хлопотной спешке промискуитета. Заводил романы с женами коллег, снимал в прибрежных барах или в Итальянском клубе туристок, спал с проститутками.

Знакомство с Сорайей произошло в тусклой маленькой гостиной, смежной с главной конторой "Благоразумной спутницы", — подъемные жалюзи, горшечные растения по углам, душок застоялого дыма. В их каталоге она проходила по разряду "Экзотика". Фотограф изобразил ее с красным цветком страстоцвета в волосах и чуть приметными морщин-

ками в уголках глаз. Заголовок гласил: "Только после полудня". Это и решило дело: обещание зашторенных комнат, прохладных простыней, захватывающих часов.

С самого начала все сложилось точно так, как он хотел. Выстрел "в десятку". Целый год у него не было нужды снова обращаться в агентство.

И вот этот случай на улице Св. Георга и последовавшая за ним отчужденность. Сорайа выдерживала условленное расписание, но он ощущал в ней растущую холодность, она превращалась в еще одну, очередную женщину и его превращала в очередного клиента.

Он довольно точно представлял себе разговоры проституток о постоянных клиентах, в особенности пожилых. Как они рассказывают друг дружке разные разности, посмеиваются и как их все-таки передергивает — точно человека, увидевшего посреди ночи таракана в раковине умывальника. Очень скоро и сам он с беспощадным изяществом обратится в такого вот таракана. Это судьба, которой ему не избежать.

В четвертый четверг после той встречи Сорайа, когда он покидает квартиру, произносит слова, к которым он так старался себя подготовить:

— У меня заболела мать. Придется прерваться, я должна побыть с ней. На следующей неделе меня здесь не будет.

— А через неделю?

— Не уверена. Зависит от ее самочувствия. Ты лучше сначала позвони.

— У меня же нет номера.

— Позвони в агентство. Я им сообщу.

Он ждет несколько дней, потом звонит в агентство. Сорайа? Сорайа от нас ушла, говорит мужской голос. Нет, связать вас с ней мы не можем, это против правил. Может, познакомитесь с какой-нибудь другой нашей сотрудницей? У нас большой выбор экзотических дам — малайки, тайки, китаянки, вы только скажите, кто вам нужен.

Он проводит с другой Сорайей — похоже, имя "Сорайа" приобрело популярность в качестве nom de commerce[1] — вечер в номере отеля на Лонг-стрит. Этой не больше восемнадцати, она неумела и, на его взгляд, вульгарна.

— Так чем ты занимаешься? — спрашивает она, раздеваясь.

— Экспорт-импорт, — отвечает он.

— Ну да, заливай, — говорит она.

На кафедре появляется новая секретарша. Он везет ее на ланч в ресторан, находящийся на благопристойном расстоянии от университетского городка, и слушает за креветочным салатом, как она жалуется на школу, в которой учатся ее сыновья. Торговцы наркотиками так и рыщут вокруг спортивных площадок, говорит она, а полиции хоть бы хны. Они с мужем уже три года стоят на учете в новозеландском консульстве, хотят эмигрировать.

— Вам-то было легче. Ну то есть какой бы ни была ситуация, вы хоть понимали, что к чему.

— Нам? — переспрашивает он. — Кому это "нам"?

— Ну, вашему поколению. А теперь люди просто выбирают, какие законы они согласны выполнять. Это же анархия. Как тут растить детей, когда кругом сплошная анархия?

1. Торговой марки (*франц.*).

Дон, так ее зовут. При втором свидании они заглядывают к нему домой и оказываются в постели. Извиваясь, впиваясь в него ногтями, только что пену изо рта не пуская, она доводит себя до возбуждения, которое в конце концов становится ему противным. Он одалживает ей расческу, отвозит назад, в университетский городок.

В дальнейшем он избегает ее, стараясь обходить стороной кабинет, в котором она работает. В ответ она бросает на него сначала обиженные, а после презрительные взгляды.

Пора кончать, довольно этих игр. Интересно, в каком возрасте Ориген[1] себя оскопил? Не самое изящное из решений, но ведь и в старении изящного мало. По крайности, похоже на приведение в порядок письменного стола, позволяющее сосредоточиться на том, чем и следует заниматься старику — на приготовлении к смерти.

Можно ли обратиться с подобной просьбой к врачу? Операция-то довольно простая: врачи каждый день практикуются в ней на животных, и те переживают ее как ни в чем не бывало, если оставить в стороне некий горький осадок. Оттяпал, перевязал: при местном обезболивании, твердой руке и малой доле бесстрастия можно управиться и самому, по учебнику. Мужчина садится в кресло и — чик; зрелище не из красивых, но, с определенной точки зрения, чем уж оно некрасивей зрелища того же мужчины, ерзающего на женском теле?

Осталась еще Сорайа. Вообще-то ему следует перевернуть эту страницу. Вместо того он обращается в детективное агентство с просьбой найти ее. Через несколько дней он получает ее настоящее имя, адрес, номер телефона. И звонит в девять утра, когда мужа с детьми, надо полагать, уже нет дома.

— Сорайа? — говорит он. — Это Дэвид. Как ты? Когда я тебя снова увижу?

Долгое молчание, потом она произносит:

— Я вас не знаю. Зачем вы лезете в мою жизнь? Я требую, чтобы вы никогда больше мне не звонили, никогда.

Требую. Скорей уж *приказываю.* Его удивляет визгливость, проступившая в ее тоне, — прежде на нее и намека не было. С другой стороны, чего еще ждать хищнику, влезшему к лисице в нору, в жилище ее щенков?

Он кладет телефонную трубку. Что-то вроде зависти к ее мужу, которого он ни разу не видел, ненадолго стесняет его сердце.

Глава вторая

Без четверговых интерлюдий неделя гола как пустыня. Выпадают дни, когда он не знает, чем себя занять.

Теперь он проводит больше времени в университетской библиотеке, читая все, что удается найти, о широком круге друзей и знакомых Байрона, добавляя заметки к тем, что уже заполнили две толстые папки. Ему нравится послеполуденное спокойствие читального зала, нравится неторопливо возвращаться под вечер домой: бодрящий зимний ветер, мерцающие мокрые улицы.

В пятницу вечером, возвращаясь длинным кружным путем — по паркам старого колледжа, он замечает впереди себя на дорожке одну из сво-

1. Ориген (185–254) — христианский богослов и философ, родившийся и живший в Александрии, затем в Палестине.

их студенток. Ее зовут Мелани Исаакс, она слушает его посвященный романтикам курс. Не лучшая студентка, однако и не худшая: довольно умная, но без собственных мыслей.

Она не спешит, и скоро он настигает ее.

— Привет, — говорит он.

Она улыбается в ответ, кивает, улыбка ее скорее лукава, чем робка. Она маленькая, тоненькая — коротко подстриженные черные волосы, широкие, почти китайские скулы, большие темные глаза. Одевается, как правило, броско. Сегодня на ней темно-бордовая мини-юбка, горчичного цвета свитер и черные колготки; золотые финтифлюшки на поясе подобраны в тон золотым шарикам серег.

Он немного влюблен в нее. Тут нет ничего необычного: почти каждый семестр он влюбляется в ту или иную из своих подопечных. Кейптаун — город, щедрый на красоту, на красавиц.

Знает ли она, что он положил на нее глаз? Вероятно. Женщины чувствуют такие вещи, давление вожделеющих взглядов.

Только что кончился дождь; в канавах вдоль дорожки негромко журчит вода.

— Мое любимое время года и любимое время дня, — сообщает он. — Живете тут неподалеку?

— У самого парка. Делю квартиру с подружкой.

— Кейптаун родной ваш город?

— Нет, я выросла в Джордже.

— Я живу совсем рядом. Могу я пригласить вас выпить?

Пауза, осторожная.

— Хорошо. Но я должна вернуться к семи тридцати.

Из парка они выходят в тихий жилой квартал, в котором он прожил последние двенадцать лет, сначала с Розалиндой, потом, после развода, один.

Он отпирает калитку, отпирает дверь, вводит девушку в дом. Включает свет, берет у нее сумочку. В волосах ее капли дождя. Искренне очарованный, он оглядывает ее. Мелани, с той же, что прежде, уклончивой, а может быть, и кокетливой улыбкой, опускает глаза.

На кухне он открывает бутылку вина, раскладывает по тарелкам крекеры, сыр. Когда он возвращается, девушка стоит у книжных полок и, склонив голову набок, читает названия. Он включает музыку: Моцарт, кларнетовый квинтет.

Вино, музыка: ритуал, который разыгрывают мужчина и женщина. Ничего дурного в таких ритуалах нет, их придумали для того, чтобы разряжать неловкость. Но девушка, которую он привел домой, не просто моложе его на тридцать лет — это студентка, его студентка, находящаяся под его опекой. Что бы сейчас между ними ни произошло, им придется встретиться снова как учителю и ученице. Готов ли он к этому?

— Как вам мой курс? — спрашивает он.

— Мне нравится Блейк. И еще “Wonderhorn”.

— “Wunderhorn”[1].

— А от Вордсворта я не в восторге.

— Вам не следовало бы говорить мне об этом. Вордсворт был одним из моих учителей.

1. Имеется в виду “Des Knaben Wunderhorn” (“Волшебный рог юноши”), антология немецких народных и стилизованных под таковые песен, впервые вышедшая в Гейдельберге в 1806–1808 гг.

Это правда. Сколько он себя помнит, в нем всегда отзывалось эхо гармоний "Прелюдии".

— Может быть, под конец курса мне удастся лучше его оценить. Может быть, он начнет нравиться мне больше.

— Может быть. Но по моему опыту, поэзия либо что-то говорит вам с первого раза, либо не говорит ничего. Проблеск откровения, проблеск отклика на него. Это как молния. Как приход влюбленности.

Приход влюбленности. Да влюбляются ли еще молодые люди или этот механизм уже устарел, стал ненужным, чудноватым, как паровые машины? Он не в курсе, отстал от времени. Почем знать, влюбленность могла полдюжины раз выйти из моды и снова в нее войти.

— Вы-то сами стихов не пишете? — спрашивает он.

— В школе писала. Так себе были стишата. Теперь и времени не хватает.

— А пристрастия? Есть у вас какие-нибудь литературные пристрастия?

При звуке этого непривычного слова она сдвигает брови.

— На втором курсе мы занимались Адриенной Рич[1] и Тони Моррисон[2]. И еще Элис Уокер[3]. Мне было очень интересно. Но пристрастием я бы это не назвала.

Так, девушка без пристрастий. Или она окольным способом предупреждает его: не лезь?

— Я думаю соорудить некое подобие ужина, — говорит он. — Присоединитесь ко мне? Все будет очень незамысловато.

Похоже, ее одолевают сомнения.

— Ну же! — говорит он. — Скажите "да"!

— Хорошо. Только мне придется позвонить.

Звонок отнимает времени больше, чем он ожидал. Он вслушивается из кухни в ее приглушенный голос, в долгие паузы.

— Чем вы собираетесь заниматься в дальнейшем? — спрашивает он несколько погодя.

— Актерским мастерством и оформлением сцены. Я пишу диплом о театре.

— Тогда по какой причине вы записались на курс романтической поэзии?

Мелани, наморщив носик, задумывается.

— Главным образом из-за атмосферы, — говорит она. — Не хотелось снова браться за Шекспира. Шекспира я проходила в прошлом году.

То, что он сооружает на ужин, и впрямь незамысловато. Тальятелли[4] с анчоусами под грибным соусом. Он позволяет ей нарезать грибы. Остальное время она сидит на стуле, наблюдая, как он стряпает. Они едят в гостиной, открыв вторую бутылку вина. Ест она без удержу. Здоровый аппетит — для столь стройного существа.

— Вы всегда сами готовите? — спрашивает она.

— Я живу один. Не буду готовить я, так и никто не будет.

— Терпеть не могу готовку. Хотя, наверное, стоило бы научиться.

— Зачем? Если она вам так не по душе, выходите за умеющего готовить человека.

1. Адриенна Рич (р. 1929) — американская поэтесса, феминистка.
2. Тони Моррисон (р. 1931) — американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1993).
3. Элис Уокер (р. 1944) — американская писательница, феминистка.
4. Вид лапши.

Вдвоем они мысленно созерцают эту картину: молодая жена в аляповатом платье и безвкусных драгоценностях, нетерпеливо потягивая носом воздух, влетает в квартиру; на кухне, в клубах пара муж, бесцветный мистер Праведник, помешивает что-то в кастрюльке. Обмен ролями: хлеб буржуазной комедии.

— Ну, вот и все, — говорит он под конец, когда блюдо с едой пустеет. — И никакого десерта, разве что вам захочется съесть яблоко или немного йогурта. Простите — не знал, что у меня будет гостья.

— Все было очень мило, — говорит она, допивая вино и вставая. — Спасибо.

— Не уходите так сразу, — он берет ее за руку и подводит к софе. — Я хочу кое-что показать вам. Вы любите танцы? Не танцевать — танцы.

Он вставляет кассету в видеомагнитофон.

— Это фильм, снятый человеком, которого звали Норман Макларен[1]. Довольно старый. Подвернулся мне в библиотеке. Интересно, что вы о нем скажете.

Сидя бок о бок, они смотрят фильм. Два танцора на голой сцене исполняют свои па. Снятые стробоскопически, их изображения, призраки их движений, веерами распускаются за ними, будто крылья на взмахе. Впервые увиденный четверть века назад, этот фильм по-прежнему захватывает его: миг настоящего и недолговечное прошлое этого мига, застигнутые в одном и том же пространстве.

Ему хочется, чтобы фильм захватил и девушку. Однако он чувствует, что этого не происходит.

Когда фильм кончается, она встает и проходится по комнате. Поднимает крышку пианино, ударяет по срединному *до*.

— Играете? — спрашивает она.

— Немного.

— Классику или джаз?

— Увы, не джаз.

— Сыграете мне что-нибудь?

— Не сейчас. Давно не упражнялся. В другой раз, когда мы познакомимся поближе.

Мелани заглядывает в кабинет.

— Можно посмотреть? — спрашивает она.

Он ставит новую запись: сонаты Скарлатти, музыка-кошка.

— Как у вас много Байрона, — говорит она, выходя. — Ваш любимый поэт?

— Я кое-что сочиняю о нем. О его итальянском периоде.

— Он ведь умер молодым?

— В тридцать шесть. Они все умирали молодыми. Или выдыхались. Или сходили с ума, и их сажали под замок. Но Байрон умер не в Италии. В Греции. В Италию он уехал, спасаясь от скандала, а потом обосновался в ней. Осел. У него там приключилась последняя в его жизни большая любовь. В то время у англичан было принято ездить в Италию. Они считали, что итальянцы все еще сохраняют естественность. В меньшей степени скованные условностями, более страстные.

Мелани еще раз обходит комнату.

— Это ваша жена? — спрашивает она, задержавшись перед стоящей на кофейном столике фотографией в рамке.

1. Норман Макларен (1914—1987) — канадский режиссер, главным образом мультипликатор, авангардистского толка.

— Мать. Снято, когда она была молодой.

— Вы женаты?

— Был. Дважды. Теперь нет.

Он не говорит: "Теперь я довольствуюсь тем, что подвернется". Не говорит: "Теперь я довольствуюсь шлюхами".

— Хотите ликера?

Ликера Мелани не хочет, но соглашается добавить немного виски в кофе. Когда она подносит чашку к губам, он склоняется над нею и касается ее щеки.

— Вы очень красивы, — говорит он. — Надо будет подбить вас на какой-нибудь опрометчивый поступок. — Он снова прикасается к ее щеке. — Оставайтесь. Проведите со мной ночь.

Поверх чашки она бросает на него твердый взгляд.

— Зачем?

— Затем, что это ваш долг.

— Почему долг?

— Почему? Потому что красота женщины не может принадлежать только ей одной. Это часть дара, который она приносит в мир. Так что она обязана этим даром делиться.

Рука его так и покоится на ее щеке. Она не отстраняется, но и покорности не выказывает.

— А что если я уже им делюсь? — Звук ее голоса позволяет заподозрить, что у нее перехватило дыхание. Когда за тобою ухаживают, это всегда волнует: приятно волнует.

— Тогда вам следует делиться им более щедро.

Гладкие слова, старые, как само обольщение. И все же в этот миг он верит в них. Мелани не принадлежит себе. Красота себе не принадлежит.

— От всех творений мы потомства ждем, — говорит он, — чтоб роза красоты не увядала[1].

Не самый удачный ход. Ее улыбка лишается шаловливости, живости. Пентаметр, чей ритм был некогда столь дивной смазкой для слов змия-искусителя, теперь лишь отпугивает. Он снова обратился для Мелани в преподавателя, человека книжного, хранителя культурного наследия. Она ставит чашку на столик.

— Пора, меня ждут.

Облака разошлись, блещут звезды.

— Прелестная ночь, — говорит он, отпирая калитку. Девушка не поднимает глаз к его лицу. — Проводить вас до дома?

— Нет.

— Хорошо. Спокойной ночи.

Протянув руки, он поворачивает Мелани к себе. На миг он ощущает напор ее маленьких грудей. Потом она выскальзывает из его объятий и уходит.

Глава третья

На том бы ему и остановиться. Ан нет. В воскресенье утром он едет в пустой университетский городок, проникает в канцелярию факульте-

1. Начало первого сонета У. Шекспира в переводе А. Финкеля.

та. Отыскивает в шкафу с регистрационными записями карточку Мелани Исаакс и выписывает оттуда подробности: домашний адрес, адрес в Кейптауне, номер телефона.

Он набирает номер. Отвечает женский голос.

— Мелани?

— Сейчас позову. А кто это?

— Скажите ей, что звонит Дэвид Лури.

Melanie — melody: притянутая за уши рифма. Не подходит ей это имя. Переставь ударение: Meláni — темная.

— Алло?

В одном этом слове он слышит всю ее нерешительность. Слишком молода. Не знает, как с ним обходиться; лучше бы ему отпустить ее. Но он и сам пребывает во власти непонятно чего. Роза красоты: стихи бьют точно в цель, как стрела. Она не принадлежит себе; возможно, и он себе не принадлежит.

— Я подумал, может быть, вы захотите позавтракать со мной, — говорит он. — Я бы заехал за вами, ну, скажем, в двенадцать.

У нее еще остается возможность наврать что-нибудь, увильнуть. Но она в таком замешательстве, что упускает подходящий момент.

Когда он подъезжает к ее многоквартирному дому, Мелани уже ждет его на тротуаре. В черных колготках и черном свитере. Бедра узкие, как у двенадцатилетней девочки.

Он везет Мелани в Хат-бэй, к гавани. И по дороге старается растормошить ее, избавить от смущения. Расспрашивает о том, какие еще курсы она слушает. Она говорит, что играет в пьесе. Это одно из условий защиты диплома. Репетиции съедают кучу времени, говорит она.

В ресторане она почти не ест, хмуро глядит на море.

— Что-нибудь не так? Не хотите мне рассказать?

Она качает головой.

— Вас тревожат наши отношения?

— Может быть, — говорит она.

— Ну и напрасно. Не беспокойтесь. Я не позволю им зайти слишком далеко.

Слишком далеко... Что в таких случаях значит "далеко" и что — "слишком далеко"? И похоже ли ее "слишком далеко" на его?

Начинается дождь: водная пелена гуляет по пустому заливу.

— Ну что, поехали? — говорит он.

Он привозит ее к себе домой. На полу гостиной, под звуки бьющего в оконное стекло дождя, он овладевает ею. У нее чистое, простое, по-своему совершенное тело; и хотя она так и остается пассивной, происходящее доставляет ему такое наслаждение, что в миг оргазма он валится в опустошенное забытье.

Когда он приходит в себя, дождя уже не слышно. Девушка — брови чуть насуплены, глаза закрыты — лежит под ним, вяло закинув руки за голову. Его ладони покоятся под ее грубой вязки свитером, на грудях. Колготки и трусики Мелани валяются, сплетясь, на полу; его брюки спущены ниже колен. "После бури", — думает он: чистой воды Жорж Грос[1].

Отворачивая лицо, она высвобождается, собирает одежду и выходит из комнаты. И через несколько минут возвращается одетая.

— Мне нужно идти, — шепчет она.

1. Жорж Грос (1893—1959) — немецкий график и живописец, с 1932 г. работал в Америке.

Он не пытается ее удержать.

На следующее утро он просыпается с ощущением полного блаженства, которое не покидает его и в дальнейшем. Мелани на занятиях отсутствует. Из своего кабинета он звонит в цветочный магазин. Розы? Нет, пожалуй, не розы. Он заказывает гвоздики.

— Красные или белые? — спрашивает женщина.

Красные? Белые?

— Пошлите двенадцать розовых, — говорит он.

— У меня нет двенадцати розовых. Может быть, послать разные?

— Ну пошлите разные.

Весь вторник из тяжелых туч, наползающих с запада на город, льет дождь. В конце дня, пересекая вестибюль здания, в котором находится факультет передачи информации, он замечает Мелани, ждущую вместе с горсткой студентов в дверях, когда поутихнет ливень. Он подходит к ней сзади, кладет руку ей на плечо.

— Подождите меня здесь, — говорит он. — Я подвезу вас до дома.

Он возвращается с зонтом. Переходя площадь по направлению к парковке, он прижимает ее к себе, чтобы укрыть от дождя. Внезапный порыв ветра выворачивает зонт наизнанку; они вдвоем неловко бегут к машине.

На ней блестящий желтый дождевик; в машине она надвигает капюшон на лоб. Лицо ее разрумянилось; он и не глядя видит, как вздымается и опускается ее грудь. Она слизывает дождевую каплю с верхней губы. "Дитя! — думает он. — Не более чем дитя! И что я делаю?" Но сердце его, охваченное желанием, бьется неровными толчками.

Они едут в густом предвечернем потоке машин.

— Я вчера скучал по тебе, — говорит он. — У тебя все нормально?

Она не отвечает, просто смотрит на дворники.

Остановившись на красный свет, он берет ее холодную ладонь в свою.

— Мелани! — говорит он, стараясь произнести это как можно небрежней. Но он давно уже разучился ухаживать за девушками. Голос, который он слышит, принадлежит притворно-ласковому родителю, не влюбленному.

Он тормозит перед ее многоквартирным домом.

— Спасибо, — говорит Мелани, открывая дверцу машины.

— Ты не пригласишь меня к себе?

— Я думаю, моя соседка дома.

— А как насчет сегодняшнего вечера?

— Вечером у меня репетиция.

— Так когда я снова тебя увижу?

Она не отвечает.

— Спасибо, — повторяет она и выскальзывает из машины.

В среду она сидит в аудитории, на своем обычном месте. Они все еще занимаются Вордсвортом, шестой книгой "Прелюдии" — поэт в Альпах.

— С нагой гряды мы зрили в первый раз
Открытый пик Монблана, приуныв,
Что сей бездушный образ посягнул
На мысль живую, коей никогда
Живой уже не быть.

Вот так. Величественная белая гора, Монблан, становится причиной разочарования. Почему? Давайте начнем с глагола "посягнул". Кто-нибудь посмотрел его в словаре?

Молчание.

— Если бы вы заглянули в словарь, вы узнали бы, что "посягать" означает "покушаться", "притязать". Совершенный вид этого глагола — "посягнуть". Тучи расходятся, говорит Вордсворт, пик открывается, и мы с унынием глядим на него. Странная реакция для человека, путешествующего по Альпам. Откуда это уныние? Оттуда, говорит он, что бездушный образ, не более чем отпечаток на сетчатке глаза, покушается на то, что было некогда живой мыслью. Но в чем состояла эта живая мысль?

Опять молчание. Самый воздух, разносящий его слова, обмяк, точно парус. Человек глядит на гору: почему, мысленно жалуются они, это нужно так усложнять? Что он им может ответить? А что он сказал Мелани в тот первый вечер? Что без проблеска откровения не существует ничего. Но присутствует ли в этой комнате проблеск откровения?

Он бросает на нее быстрый взгляд. Голова девушки склонена, Мелани углубилась в текст, так это, во всяком случае, выглядит.

— То же самое слово "посягать" вновь возникает через несколько строк. Посягательство — одна из наиболее глубоких тем альпийских эпизодов поэмы. Великие архетипы разума, чистые идеи, испытывают посягательства со стороны простых чувственных образов.

Но не можем же мы день за днем жить в царстве чистых идей, отгородившись от чувственного опыта. Вопрос не в том, как нам сохранить чистоту воображения, защититься от натиска действительности. Вопрос должен ставиться так: можно ли найти для того и другого способ сосуществования?

Взгляните на пятьсот девяносто девятую строку. Вордсворт пишет о границах чувственного восприятия. Этой темы мы с вами уже касались. Когда органы чувств достигают предела своих возможностей, их способность к восприятию начинает угасать. И все же в самый миг исчезновения эта способность вспыхивает в последний раз, точно пламя свечи, на миг позволяя нам узреть незримое. Это трудное место, возможно, оно даже противоречит тому, что сказано о Монблане. И тем не менее Вордсворт, похоже, нащупывает путь к гармонии: не чистая идея, витающая в облаках, не выжженный на сетчатке зрительный образ, ошеломляющий и разочаровывающий нас своей прозаичной ясностью, но сохраняемое сколько возможно эфемерным чувство-образ как средство возбуждения, активизации идеи, которая лежит, глубоко схороненная, в почве нашей памяти.

Он замолкает. Никто ничего не понял. Он зашел слишком далеко и сделал это слишком быстро. Как возвратить их к себе? Как вернуть Мелани?

— Это вроде любви, — говорит он. — Конечно, если вы слепы, вам навряд ли вообще удастся влюбиться. Но так ли уж вы хотите увидеть любимую со всей ясностью, какую способен обеспечить ваш зрительный аппарат? Быть может, для вас же лучше будет опустить между нею и вашим взглядом завесу, чтобы возлюбленная ваша и дальше жила в ее архетипическом облике, в облике богини?

На Вордсворта это смахивает мало, но хотя бы он их растормошил. "Архетипы? — спрашивают они себя. — Богини? Что он несет? Что знает этот старик о любви?"

Наплывает воспоминание: тот миг на полу, когда он, задрав на ней свитер, обнажил ее ладные, совершенные маленькие груди. Мелани впервые поднимает взгляд и мгновенно понимает все. Смутившись, она отводит глаза.

— Вордсворт пишет об Альпах, — говорит он. — У нас в стране Альп нет, но есть Драконовы горы, есть, хоть она и поменьше, Столовая гора, и мы забираемся туда вслед за поэтами, надеясь достичь одного из их озарений. Нам всем приходилось слышать о вордсвортовских мгновениях. — Теперь он просто произносит первые попавшиеся слова, закругляясь. — Но мгновения, подобные этим, не придут к нам, пока мы не научимся краем глаза посматривать на великие архетипы воображения, которые носим в себе.

Ну хватит! Его уже тошнит от звука собственного голоса, да и ее, вынужденную выслушивать эти завуалированные интимности, тоже стоит пожалеть. Он отпускает студентов, задерживаясь в надежде перемолвиться с нею хоть словом. Однако она ускользает в общей толпе.

Неделю назад она была не более чем одним из смазливеньких личиков в аудитории. Теперь она — сила, вторгшаяся в его жизнь, живящая сила.

В зале студенческого союза темно. Незамеченный, он садится в заднем ряду. Если не считать лысеющего человека в форме уборщика, сидящего впереди, через несколько рядов, он — единственный зритель.

Репетируется пьеса под названием "Салон Глобус в часы заката": комедия о новой Южной Африке; действие разворачивается в парикмахерском салоне в Хиллброу, Йоханнесбург. На сцене парикмахер, расфуфыренный малый, обслуживает двух клиентов, черного и белого. Все трое болтают между собой: шуточки, выпады. Основу катарсиса составляет, по-видимому, один главенствующий принцип: все закоснелые старые предрассудки вытаскиваются на свет божий и уносятся порывами смеха. На сцене появляется четвертый персонаж — девушка в туфлях на высокой платформе и с завитыми в колечки волосами. "Присаживайтесь, дорогуша, я вас мигом обслужу", — говорит парикмахер. "Я насчет работы, — говорит девушка, — по объявлению". У нее подчеркнуто капский выговор; это Мелани. "А, тогда бери половую щетку и покажи, на что ты способна", — говорит парикмахер.

Она берет щетку и, толкая ее перед собой, бродит среди декораций. Щетка запутывается в электрическом проводе. Тут должна быть вспышка с последующими воплями и суматохой, однако что-то не заладилось с синхронизацией. Женщина-режиссер выходит на сцену, следом плетется молодой человек в черной коже, который тут же начинает ковыряться в стенной розетке. "Живее нужно, живее, — говорит режиссер, — чтобы больше походило на братьев Маркс". Она поворачивается к Мелани. "Идея понятна?" Мелани кивает.

Сидящий впереди уборщик встает и с тяжелым вздохом покидает зал. И ему бы следовало уйти. Слыханное ли дело — сидеть в темноте, подглядывая за девушкой (незваное слово "вожделея" приходит к нему). И все же старики, чье общество ему, похоже, вот-вот предстоит разделить, — старики, бесцельно слоняющиеся по улицам в покрытых пятнами плащах, с трещинами в фальшивых зубах и пучками волос в ушах, — все они были некогда детьми Божиими, со стройными членами и ясны-

ми глазами. Можно ль винить их за то, что они до последнего цепляются за свое место на сладостном пиршестве чувств?

На сцене возобновляется действие. Мелани тычется туда-сюда со щеткой. Хлопок, вспышка, встревоженные вопли. "Не виноватая я! — пищит Мелани. — Господи! Почему как чего, так сразу я виноватая?" Он тихо встает и следом за уборщиком уходит в наружную тьму.

На следующий день, в четыре пополудни, он приезжает к ней домой. Дверь открывает Мелани — в мятой футболке, велосипедных шортах и шлепанцах в виде сусликов, какими их изображают в комиксах, на его взгляд глупых, безвкусных.

Он приехал без предупреждения; девушка слишком удивлена, чтобы сопротивляться свалившемуся ей на голову незваному гостю. Когда он заключает ее в объятия, руки ее повисают, как у марионетки. Слова, тяжелые как дубинки, глухо гудят в нежной раковинке ее уха.

— Нет, не сейчас! — говорит она. — Вот-вот вернется кузина!

Но его уже не остановить. Он несет девушку в спальню, срывает нелепые шлепанцы, целует ее ступни, сам изумляясь чувствам, которые она в нем пробуждает. Чувства эти как-то связаны с призраком, виденным им на сцене: парик, вихлястый задок, вульгарная речь. Странная любовь! Но и в ней есть нечто от трепета Афродиты, богини пенистых валов, тут сомневаться не приходится.

Мелани не сопротивляется. Только отстраняется — отводит губы, отводит глаза. Она позволяет ему уложить ее на кровать и даже помогает ему, поднимая руки, затем бедра. Легкий озноб сотрясает ее; едва оголясь, она, как крот в нору, ныряет под стеганое одеяло и поворачивается к нему спиной.

Не изнасилование, не совсем оно, и все-таки он нежеланен, нежеланен до мозга костей. Она словно бы решила застыть на то время, пока все это длится, внутренне умереть, подобно кролику, когда на его шее смыкаются лисьи зубы. Чтобы все, что с ней делают, делалось, так сказать, вдали от нее.

— Вот-вот вернется Полин, — говорит она, когда все кончается. — Ты должен уйти. Пожалуйста.

Он подчиняется, и уже у машины на него наваливается такое уныние, такое отупение, что какое-то время он, неспособный пошевелиться, сидит, привалившись к рулю.

Ошибка, огромная ошибка. В эти мгновения Мелани, несомненно, старается очиститься от происшедшего, очиститься от него. Он так и видит ее бегущей к ванне, вступающей с закрытыми, точно у лунатички, глазами в воду. Он и сам был бы не прочь погрузиться сейчас в свою ванну.

Женщина с коротковатыми ногами, в строгом деловом костюме, пройдя мимо него, входит в дом. Это и есть кузина Полин, с которой Мелани делит квартиру и чьего неодобрения так трусит? Встряхнувшись, он отъезжает от дома.

Назавтра она на занятиях отсутствует. Что весьма неудачно, поскольку это день обязательного в середине семестра экзамена. Заполняя после занятий журнал, он помечает ее как присутствовавшую и выставляет оценку — семьдесят баллов. Внизу страницы он помечает для себя карандашом: "Предварительная". Семьдесят — оценка середнячка, ни хорошая, ни дурная.

Отсутствует она и всю следующую неделю. Время от времени он звонит ей по телефону, никто не отвечает. Затем в воскресенье, в полночь, раздается звонок в дверь. Это Мелани, с ног до головы одетая в черное, в черной вязаной шапочке. Лицо ее напряжено, он ждет резких слов, сцены.

Но сцены не следует. На самом-то деле это она испытывает смущение.

— Можно я сегодня переночую здесь? — спрашивает она, избегая его взгляда.

— Конечно, конечно. — Облегчение переполняет его сердце. Он тянется к ней, обнимает, прижимает к себе, застывшую, окаменелую. — Входи, я заварю тебе чаю.

— Нет, чаю не надо, ничего не надо, я очень устала, мне бы просто где-нибудь упасть.

Он стелет ей в бывшей комнате дочери, целует ее на ночь и уходит. Вернувшись через полчаса, он обнаруживает Мелани, так и не раздевшуюся, крепко спящей. Он снимает с нее туфли и укрывает ее.

В семь утра, когда начинают щебетать первые птицы, он стучится в ее дверь. Мелани уже проснулась, лежит, натянув одеяло до подбородка, вид у нее измученный.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он.

Она пожимает плечами.

— Что-нибудь случилось? Хочешь поговорить?

Она молча качает головой.

Он садится на постель, притягивает ее к себе. И, оказавшись в его руках, она разражается жалким плачем. Что не мешает ему ощутить укол желания.

— Ну, ну, — шепчет он, стараясь успокоить ее. — Расскажи мне, что с тобой. — Почти что: "Расскажи папочке, что случилось".

Мелани собирается с силами, пытается что-то сказать, но у нее напрочь заложен нос. Он приносит ей носовой платок.

— Можно я немного поживу здесь? — спрашивает она.

— Поживешь? — осторожно повторяет он. Она уже не плачет, только горестная дрожь все еще сотрясает ее. — Ты уверена, что это хорошая мысль?

Хорошая ли это мысль, она не отвечает. Только теснее прижимается к нему, уткнувшись в его живот теплым лицом. Одеяло соскальзывает; на Мелани ничего, кроме майки и трусиков.

Сознает ли сама она в этот миг, что творит?

Когда он там, в парке колледжа, сделал первый ход, он полагал, что его ожидает быстрый романчик — быстро начали, быстро закончили. И вот она в его доме, что чревато новыми осложнениями. Какую игру она ведет? Нет сомнений, ему следует быть осторожным. Впрочем, ему следовало быть осторожным с самого начала.

Он вытягивается рядом с ней на постели. Последнее, в чем он нуждается, это чтобы Мелани Исаакс переселилась в его квартиру. И все же сейчас сама мысль об этом опьяняет его. Она будет здесь каждую ночь; каждую ночь он сможет вот так же забираться в ее постель, забираться в Мелани. Все, конечно, выплывет наружу, оно всегда выплывает, поползут слухи, может быть, даже разразится скандал. Ну и что? Последний всплеск чувственного пламени, перед тем как ему угаснуть. Он отбрасывает одеяло в сторону, протягивает руку, гладит ее груди, ягодицы.

— Конечно, ты можешь остаться, — бормочет он. — Конечно.

В его спальне, за две комнаты отсюда, звонит будильник. Она отворачивается, натягивает одеяло до плеч.

— Я сейчас уйду, — говорит он. — У меня сегодня занятия. Постарайся еще поспать. В полдень вернусь, тогда мы поговорим.

Он гладит ее по волосам, целует в лоб. Любовница? Дочь? Кем ей хочется стать в глубине души? Что она предлагает ему?

Возвратившись в полдень, он находит Мелани уже одетой — она сидит за кухонным столом, поедая тост с медом и запивая все чаем. Похоже, она чувствует себя совсем как дома.

— Ну вот, — говорит он, — ты выглядишь намного лучше.

— Поспала после твоего ухода.

— Так, может, расскажешь мне, что случилось?

Она отводит глаза.

— Не сейчас, — говорит она. — Мне пора идти, я опаздываю. Объясню в следующий раз.

— И когда он будет, следующий раз?

— Сегодня вечером, после репетиции. Тебя устроит?

— Да.

Она встает, относит чашку с тарелкой к раковине (но не моет их), поворачивается к нему.

— Ты уверен, что тебе это удобно? — спрашивает она.

— Вполне.

— Да, и еще: я знаю, что пропустила много занятий, но постановка отнимает у меня все время.

— Я понимаю. Ты хочешь сказать, что театр у тебя на первом месте. Было бы лучше, если бы ты объяснила мне это раньше. Завтра придешь на занятия?

— Да. Обещаю.

Она обещает, но ниоткуда не следует, что обещание будет выполнено. Он обижен и раздражен. Мелани плохо ведет себя, слишком многое сходит ей с рук; она учится использовать его и, возможно, будет использовать и в дальнейшем. Но если ей многое сходит с рук, то ему сходит еще больше; если она ведет себя плохо, то он — гораздо хуже. В той мере, в какой они заодно, если, конечно, они заодно, он — ведущий, она — ведомая. Вот и не забывай об этом.

Глава четвертая

Он овладевает ею еще раз, на кровати в комнате дочери. Ему хорошо с ней, так же хорошо, как в первый раз; он начинает понимать движения ее тела. Она проворна, жадна до нового опыта. Если он и не ощущает в ней полностью развитой сексуальной потребности, то это лишь потому, что она молода. Одно мгновение застревает в памяти — она сцепляет ноги на его ягодицах, чтобы вдвинуть его в себя еще дальше, и когда напрягаются ее прижатые к нему бедра, он ощущает прилив радости и желания. Как знать, быть может, несмотря ни на что, у них есть будущее.

— Ты часто занимаешься этим? — спрашивает она после.

— Чем?

— Спишь со своими студентками? С Амандой ты спал?

Он не отвечает. Аманда — еще одна из его студенток, тоненькая блондиночка. Она ему нимало не интересна.

— Почему ты развелся? — спрашивает Мелани.

— Я разводился дважды. Дважды женился, дважды разводился.

— А что случилось с твоей первой женой?

— Это долгая история. Как-нибудь расскажу.

— У тебя есть их фотографии?

— Я не коллекционирую фотографий. И женщин тоже.

— Разве я не часть твоей коллекции?

— Нет, разумеется, нет.

Она встает, обходит, собирая одежду, комнату, ничуть не стесняясь, как если бы она была одна. Он привык к женщинам, которые одеваются и раздеваются с большей застенчивостью. Но женщины, к которым он привык, не так молоды, да и фигуры у них не столь совершенные.

В тот же день, под вечер, в кабинет его входит, стукнув в дверь, молодой человек, которого он прежде не видел. Гость усаживается без приглашения, оглядывает кабинет, с видом знатока кивает, когда взгляд его набредает на книжные полки.

Молодой человек высок и жилист; у него узкая эспаньолка и кольцо в ухе; он в черной кожаной куртке и черных кожаных штанах. Он выглядит старше большинства студентов, выглядит как человек, от которого должно ждать неприятностей.

— Так вы, значит, профессор, — говорит гость. — Профессор Дэвид. Мелани рассказывала мне про вас.

— Да? И что же именно?

— Что вы ее харите.

Долгое молчание. Ну вот, думает он, я и попал в яму, которую сам вырыл. Мог бы и догадаться: девушек вроде этой задаром не раздают.

— Кто вы? — спрашивает он.

Гость будто и не слышит вопроса.

— Вы думаете, вы такой ловкач, — продолжает он. — Настоящий дамский угодник. А вот интересно, будете вы казаться себе таким же ловкачом, когда ваша жена узнает, чем вы тут занимаетесь?

— Ну хватит. Что вам нужно?

— А вы мне не указывайте, хватит или не хватит. — Теперь молодой человек говорит быстрее, угрожающей скороговоркой. — И не думайте, что можете влезть в чужую жизнь и вылезти из нее, когда вам захочется.

Свет пляшет в черных глазах пришлеца. Резко наклонившись, молодой человек машет рукой, вправо, влево. С письменного стола летят бумаги. Он встает.

— Довольно! Вам самое время уйти.

— "Вам самое время уйти", — передразнивая его, повторяет молодой человек. — Ладно. — Затем поднимается, встает, неторопливо идет к двери. — До свидания, профессор Обмылок! Но погодите, вы меня еще вспомните! — И уходит.

"Головорез, — думает он. — Она связалась с головорезом, а теперь и я с ним связан!" — У него сводит желудок.

Он не ложится допоздна, ожидая Мелани, но та не приходит. Мало того, утром обнаруживается, что кто-то изуродовал оставленную им на улице машину. Шины проколоты, в замки дверец налит клей, ветровое

стекло залеплено газетой, ободрана краска. Замки приходится менять; счет составляет шестьсот рандов.

– Догадываетесь, кто это сделал? – спрашивает слесарь.

– Понятия не имею, – резко отвечает он.

После этого coup de main[1] Мелани держится от него на расстоянии. Ничего удивительного: если он пристыжен, то и она тоже. Однако в понедельник она появляется на занятиях, и рядом с нею, откинувшись на спинку стула, засунув руки в карманы, сидит с выражением нахальной непринужденности молодой человек в черном, ухажер.

Обычно в аудитории стоит негромкий гул – студенты переговариваются. Сегодня тихо. Хоть он и не может поверить, будто всем известно, что происходит, студенты явно ждут его реакции на незваного гостя.

А собственно, какой? Того, что случилось с его машиной, по-видимому, мало. Ясно, что его ожидают новые сюрпризы. Что он может сделать? Сжать зубы и расплачиваться, что же еще?

– Продолжим чтение Байрона, – говорит он, утыкаясь носом в заметки. – Как мы видели на прошлой неделе, скандалы и дурная слава сказывались не только на жизни Байрона, но и на приеме, который его стихи получали у публики. Байрон-человек оказался сплавленным с собственными поэтическими созданиями – Гарольдом, Манфредом, даже Дон Жуаном.

Скандал. Жаль, что приходится говорить именно на эту тему, но импровизировать он сейчас не в состоянии.

Он бросает косой взгляд на Мелани. Обычно она старательно записывает. Сегодня же, похудевшая, измученная, она сидит, сгорбясь, над книгой. Сердце его невольно устремляется к ней. "Бедный птенец, – думает он, – которого я прижимал к груди!"

В прошлый раз он просил студентов прочесть "Лару". И в заметках его – сплошь "Лара". Обойти эту поэму стороной он не может. Он читает вслух:

> Среди живых он в мире этом – странник,
> Отвергнутый загробным – дух-изгнанник.
> Он – жертва темных сил, ему в удел
> Назначивших опасности; случайно
> И не напрасно ль, – он спастись успел.[2]

– Что можно вывести из этих строк? Кто этот "дух-изгнанник"? Почему он именует себя "странником среди живых"? Из какого мира пришел он?

Его давно уже перестала удивлять степень невежества студентов. Люди послехристианской, послеисторической эпохи, эпохи ликвидации грамотности, они могли бы с таким же успехом только вчера вылупиться из яиц. Поэтому он не ждет от них познаний о падших ангелах или о том, где мог бы прочесть об этих ангелах Байрон. Он ждет тура благодушных догадок, которые, если повезет, ему удастся направить в нужную сторону. Однако сегодня его встречает молчание, упорное молчание, почти ощутимо сгущающееся вокруг сидящего среди студентов чужака. Они не ста-

1. Внезапного нападения (*франц.*).
2. Здесь и далее "Лара" Байрона в переводе О. Чюминой.

нут говорить, не станут подыгрывать ему, пока среди них находится посторонний, способный осудить их или посмеяться над ними.

— Люцифер, — говорит он, — ангел, низвергнутый с небес. О жизни ангелов мы знаем мало, но можно предположить, что кислород им не требуется. У себя дома Люцифер, темный ангел, не нуждался в дыхании. И вот он оказывается брошенным в странный ему "дышащий мир", в наш мир. "Странник": существо, избирающее собственный путь, живущее в опасности и даже создающее для себя эту опасность. Почитаем дальше.

Юноша так ни разу и не заглянул в текст. Вместо этого он с легкой улыбкой на устах, улыбкой, в которой, возможно, присутствует удивление, внимает его словам.

...высок,
Он жертвовать другим собою мог,
Не жалостью, не долгом увлеченный,
Руководясь лишь мыслью извращенной,
Что совершить доступное ему —
Немногим лишь дано иль никому.
И та же мысль, в минуту ослепленья,
Могла его толкать на преступленья.

— Итак, что за создание этот Люцифер?

К этому времени студенты уже наверняка ощутили наличие неких токов, текущих между ним и молодым человеком. Вопрос был адресован молодому человеку и только ему одному, и молодой человек отзывается, подобно вдруг пробужденному к жизни спящему:

— Он делает то, что ему нравится. Не заботясь о том, хорошо это или плохо. Просто делает.

— Вот именно. Хорошо оно или плохо, он просто делает это. Он действует, руководствуясь не принципами, но порывами, и источник этих порывов для него темен. Прочтите несколькими строчками дальше: "безумия виною лишь сердце было в нем, не голова". Безумие сердца. Что такое "безумие сердца"?

Он просит слишком многого. Молодой человек был бы рад еще поднапрячь интуицию, он это видит. Молодому человеку хочется показать, что и он разбирается кое в чем помимо мотоциклов и модной одежды. Возможно, и разбирается. Возможно, у него даже есть представление о том, что такое "безумие сердца". Но здесь, в аудитории, перед незнакомыми людьми, слова ему не даются. Он качает головой.

— Ну, не важно. Заметьте, что нас не просят осудить это существо с безумным сердцем, существо с неким органически присущим ему изъяном. Напротив, нас призывают понять его и ему посочувствовать. Однако всякое сочувствие имеет пределы. Ибо, хоть он и живет среди нас, он — не один из нас. Он именно тот, кем себя именует: чудовище. И в конечном итоге Байрон внушает нам мысль, что любить его — в глубинном, человеческом смысле этого слова — невозможно. Он обречен на одиночество.

Склонив головы, студенты записывают его слова. Байрон, Люцифер, Каин — им все едино.

С поэмой покончено. Велев студентам прочесть несколько первых песен "Дон Жуана", он покидает аудиторию раньше обычного, напоследок сказав поверх голов:

— Мелани, можно вас на несколько слов?

Она стоит перед ним, измученная, осунувшаяся. И вновь сердце его устремляется к ней. Будь они одни, он бы обнял ее, попытался развеселить. "Голубка моя", — сказал бы он ей.

Вместо этого он говорит:

— Пройдем в мой кабинет?

Они поднимаются по лестнице к кабинету, ухажер тащится следом.

— Подождите здесь, — говорит он молодому человеку и закрывает дверь перед его носом.

Мелани, понурясь, сидит перед ним.

— Дорогая моя, — говорит он, — я знаю, у тебя сейчас трудное время, и не хочу делать его еще более трудным. Но я должен поговорить с тобой как преподаватель. У меня имеются обязательства перед студентами, перед каждым из них. Чем твой друг занимается в университетском городке, это его дело. Однако я не могу позволить ему срывать занятия. Передай ему это от меня. Что касается тебя, ты должна уделять больше времени учебе. Тебе следует почаще бывать на занятиях. И сдать экзамен, который ты пропустила.

Она глядит на него в замешательстве, даже в ужасе. "Ты сам оторвал меня ото всех, — словно хочет сказать она. — Ты заставил меня хранить твою тайну. Я уже не просто студентка. Как ты можешь говорить со мной подобным образом?"

Голос ее, когда она наконец открывает рот, до того тих, что он почти не слышит ее:

— Я не могу сдать экзамен, я не успела ничего прочитать.

То, что ему хочется сказать, произнести, соблюдя приличия, невозможно. Он может лишь подать ей знак и надеяться, что она поймет.

— Ты просто сдай экзамен, Мелани, как все остальные. Не важно, готова ты или не готова, главное — свалить его с плеч. Давай назначим день. Как насчет понедельника, во время обеденного перерыва? У тебя будут целые выходные для чтения.

Мелани поднимает голову, с вызовом глядит на него. Она либо не поняла, либо не желает воспользоваться предложенной лазейкой.

— В понедельник здесь, в моем кабинете, — повторяет он.

Она встает, закидывает сумку за плечо.

— Мелани, на меня возложена определенная ответственность. Сделай хотя бы вид, что сдаешь экзамен. Не усложняй положение сверх необходимого.

Ответственность: она не снисходит до ответа на это слово.

Возвращаясь тем же вечером с концерта, он притормаживает на красный свет. Чуть впереди останавливается, содрогаясь, мотоцикл, серебристый "дукати" с двумя седоками в черном. Оба в шлемах, тем не менее он их узнает. Мелани сидит на заднем сиденье, широко раздвинув колени, оттопырив зад. Быстрая дрожь похоти сотрясает его. "Я был там!" — думает он. Затем мотоцикл рывком уходит вперед, унося ее.

Глава пятая

На экзамен она в понедельник не является. Зато в своем почтовом ящике он обнаруживает официальный бланк с отказом от слушания курса: "Студентка 7710101CAM мисс М. Исаакс отказывается от посещения курса КОМ 312. Отказ вступает в силу незамедлительно".

От силы через час в его кабинете звонит телефон.

— Профессор Лури? У вас найдется минута для разговора? Моя фамилия Исаакс, я звоню из Джорджа. Моя дочь слушала ваши лекции, вы знаете, Мелани.

— Да.

— Профессор, я вот подумал, возможно, вы могли бы нам помочь. Мелани была такой хорошей студенткой, а теперь она говорит, что хочет все бросить. Для нас это большое потрясение.

— Не уверен, что понял вас.

— Она хочет оставить учебу и найти себе работу. Разве это не расточительство — провести три года в университете, хорошо учиться и вдруг перед самым концом бросить все? Вот я и подумал, не могу ли я попросить вас, профессор, переговорить с ней, привести ее в чувство?

— А сами вы с Мелани не говорили? Вам известно, что стоит за ее решением?

— Мы, ее мать и я, все выходные проговорили с ней по телефону, но никакого толку от нее не добились. Она очень увлечена пьесой, в которой играет, так что, может быть, она, ну, знаете, перетрудилась, перенапряглась. Она все принимает очень близко к сердцу, профессор, такая уж она по натуре, очень увлекающаяся. Но если вы поговорите с ней, может быть, вам удастся убедить ее еще раз все обдумать. Она вас так уважает. Не хочется, чтобы все эти годы оказались потраченными впустую.

Итак, Melanie-Melani с ее восточными побрякушками и глухотой к Вордсворту все принимает близко к сердцу? А он и не догадывался. Каких еще ее качеств он не угадал?

— Не знаю, мистер Исаакс, насколько я гожусь для разговора с Мелани.

— Годитесь, профессор, конечно, годитесь! Мелани вас так уважает!

"Уважает? Ваши сведения устарели, мистер Исаакс. Ваша дочь вот уж несколько недель как утратила всякое уважение ко мне. И имеет на то основания". Вот что ему следует сказать. Взамен он говорит:

— Хорошо, я посмотрю, что можно сделать.

Ничего у тебя не получится, говорит он себе, положив трубку. Папаша Исаакс из далекого Джорджа не забудет этого разговора со всеми твоими увертками и враньем. "Я посмотрю, что можно сделать". Почему было не признаться во всем? "Я тот самый червяк, который прогрыз ваше яблочко, — следовало бы сказать ему. — Как я могу помочь вам, когда я-то и есть причина вашей беды?"

Он звонит ей домой и попадает на кузину Полин.

— Мелани недоступна, — ледяным голосом сообщает Полин.

— Что значит недоступна?

— Это значит, что она не хочет с вами разговаривать.

— Передайте ей, — говорит он, — что я звонил по поводу ее решения бросить учебу. Объясните, что оно опрометчиво.

В среду занятия складываются из рук вон плохо, в пятницу и того хуже. Студентов мало, только посредственные, пассивные, со всем согла-

шающиеся. Объяснение этому может быть лишь одно. Все вышло наружу. Он находится в деканате, когда кто-то произносит за его спиной:

— Где я могу найти профессора Лури?

— Это я, — не успев подумать, отвечает он.

Мужчина, задавший вопрос, невысок, тощ, сутуловат. На нем великоватый ему синий костюм, источающий запах сигаретного дыма.

— Профессор Лури? Мы с вами разговаривали по телефону. Исаакс.

— Да. Здравствуйте. Может быть, пройдем в мой кабинет?

— В этом нет необходимости.

Мужчина некоторое время молчит, собираясь с духом, потом набирает побольше воздуху в грудь.

— Профессор, — говорит он, сильно нажимая на это слово, — возможно, вы человек очень образованный и так далее, но то, что вы сделали, дурно. — Он замолкает, качает головой. — Дурно.

Две секретарши даже не пытаются скрыть любопытства. В деканате присутствуют и студенты; когда посетитель повышает голос, все они замолкают.

— Мы отдали нашу дочь в руки подобных вам, полагая, что вам можно доверять. Если не доверять университету, то тогда кому же? Нам и в голову не приходило, что мы посылаем дочь в гадюшник. Вы, может быть, и занимаете высокое положение, и степени у вас есть и такие и сякие, но мне на вашем месте было бы очень стыдно за себя, и да поможет мне Бог! Если я что-то не так понял, вам самое время сказать об этом, да только сомневаюсь, что я не прав, вон у вас и на лице все написано.

Действительно, самое время. Имеющий что сказать да скажет. Но он стоит, лишившись дара речи, кровь гулко ухает в ушах. Гадюка, что тут отрицать?

— Простите, — бормочет он, — у меня дела. И, повернувшись, точно деревянный, уходит.

Исаакс следует за ним по заполненному людьми коридору.

— Профессор! Профессор Лури! — восклицает он. — Вам не удастся так просто уйти! Вы еще не слышали главного, я вам сейчас скажу!

Так все и начинается. На следующее утро — редкостная распорядительность — он получает из офиса вице-ректора (работа со студентами) письмо с извещением, что на него подана жалоба, подпадающая под статью 3.1 университетского "Кодекса поведения". Его просят при первой же возможности связаться с офисом.

Извещение, пришедшее в конверте с пометкой "Конфиденциально", сопровождается копией упомянутого кодекса. Статья 3 трактует о домогательствах или преследованиях по расовым, этническим и религиозным мотивам, на основании половых различий, сексуальных предпочтений или физической немощи. Статья 3.1 посвящена преследованию студентов преподавателями и соответствующим домогательствам.

Еще в одном документе описывается структура и правомочность комиссии по расследованию. Пока он читает, сердце неприятно колотится. К середине документа внимание его начинает рассеиваться. Он запирает дверь кабинета и сидит с листком бумаги в руке, пытаясь представить себе, что же произошло.

Он уверен, сама Мелани такого шага не сделала бы. Она слишком простодушна, слишком не осведомлена о своих возможностях. За всем этим наверняка стоит тот человечек в плохо сидящем костюме, он и ку-

зина Полин, дурнушка, дуэнья. Должно быть, они уговорили ее, измотали и в конце концов свели в ректорат.

— Мы хотим подать жалобу, — надо думать, сказали они.

— Подать жалобу? Какого рода жалобу?

— Жалобу личного характера.

— Насчет домогательств, — вероятно, вставила кузина Полин; Мелани так и стояла сконфуженная, — жалобу на профессора.

— Пройдите в комнату номер такой-то.

В комнате номер такой-то он, Исаакс, осмелел:

— Мы хотим подать жалобу на одного из ваших профессоров.

— Вы хорошо все обдумали? И действительно этого хотите? — следуя заведенному порядку, спросили у него.

— Да, мы действительно этого хотим, — ответил он, глядя на дочь, предоставляя ей возможность возразить.

Нужно заполнить бланк. Перед ними кладут бланк и перо. Рука берет перо, рука, которую он целовал, рука, знающая его очень близко. Сначала имя жалобщика: Мелани Исаакс, аккуратными печатными буквами. Рука колеблется над столбиком квадратов, выбирая, какой пометить. "Вот тут", — указывает желтый от никотина палец отца. Колебания затухают, рука опускается, ставит X, этот крест праведников: "J'accuse"[1]. Теперь графа, отведенная для имени обвиняемого. *Дэвид Лури*, пишет рука, *профессор*. И наконец, в самом низу листа, дата и подпись: арабеска "М", "е" с четкой петелькой, завитушка последней "с".

Дело сделано. Два имени на листке бумаги, его и ее, бок о бок. Двое в постели, уже не любовники, но враги.

Он звонит в офис вице-ректора, ему велят прийти туда к пяти, по окончании рабочего дня.

В пять он ждет в коридоре. Появляется Арам Хаким, молодой, элегантный, приглашает его войти. В комнате еще двое: Элайн Винтер, заведующая его кафедрой, и Фародиа Рассул с факультета социологии, председатель университетского комитета по дискриминации.

— Время уже позднее, Дэвид, причина, по которой мы собрались, известна, — говорит Хаким, — поэтому давайте сразу перейдем к сути дела. Какой подход к нему будет наилучшим?

— Для начала расскажите мне, в чем состоит жалоба.

— Очень хорошо. Речь идет о жалобе, поданной мисс Мелани Исаакс. А также, — он оглядывается на Элайн Винтер, — о некоторых имевших ранее место нарушениях, по-видимому связанных с мисс Исаакс. Элайн?

Инициатива переходит к Элайн Винтер. Ей он никогда не нравился, она считает его пережитком прошлого, от которого чем быстрее избавишься, тем и лучше.

— У нас есть вопросы относительно посещения занятий мисс Исаакс, Дэвид. По ее словам — я разговаривала с ней по телефону, — за последний месяц она присутствовала на занятиях всего два раза. Если это так, вам следовало доложить об этом. Она утверждает также, что пропустила экзамен. Между тем, — Элайн заглядывает в лежащую перед ней папку, — согласно представленным вами ведомостям, посещаемость у нее безупречная, а за экзамен она получила семьдесят баллов. — Элайн

1. «Я обвиняю» (*франц.*).

недоуменно глядит на него. — Стало быть, если только у нас не имеется двух Мелани Исаакс...

— Имеется только одна, — говорит он. — Мне нечего сказать в свое оправдание.

Плавно вступает Хаким:

— Друзья, сейчас не время и не место для решения серьезных вопросов. Единственное, что нам следует сделать, — он окидывает взглядом двух других, — это уточнить процедуру. Вряд ли я должен говорить вам, Дэвид, что все будет происходить на строго конфиденциальной основе, могу вас в этом заверить. Ваше доброе имя не пострадает, как и имя мисс Исаакс. Будет образована комиссия. Ее задача — установить, имеются ли основания для дисциплинарных мер. Вы или ваш поверенный получат возможность оспорить состав комиссии. Слушания будут проходить при закрытых дверях. Тем временем, пока комиссия не выработает рекомендаций для ректора, а ректор не примет соответствующих мер, все будет идти по-прежнему. Мисс Исаакс официально отказалась от посещения проводимых вами занятий, от вас же ожидается, что вы воздержитесь от каких-либо контактов с ней. Я ничего не пропустил? Фародиа, Элайн?

Доктор Рассул, поджав губы, качает головой.

— Дела о домогательстве всегда сложны, Дэвид, сложны и неприятны, но мы считаем принятые нами процедуры достойными и справедливыми, так что мы просто выполним их шаг за шагом, как положено. Я же посоветовала бы вам ознакомиться с ними и, может быть, проконсультироваться с юристом.

Он хочет ответить, но Хаким предостерегающе поднимает руку:

— Не принимайте пока никаких решений.

Ну хватит!

— Не указывайте мне, что делать, я не ребенок.

И он в бешенстве покидает комнату. Однако здание заперто, привратник ушел домой. Заперт и задний выход. Приходится просить Хакима, чтобы тот его выпустил.

Льет дождь.

— Давайте-ка ко мне под зонт, — говорит Хаким и потом, уже у машины: — Между нами, Дэвид, хочу сказать вам, что очень вам сочувствую. Правда. Эти вещи бывают чертовски неприятными.

Он знаком с Хакимом многие годы, они вместе играли в теннис, — когда он еще играл в теннис, — но сейчас он не в том настроении, чтобы вести дружескую мужскую беседу. Сердито пожав плечами, он забирается в машину.

Разумеется, никакой конфиденциальностью и не пахнет, разумеется, уже пошли толки. Иначе почему, когда он входит в профессорскую, все разговоры обрываются и повисает тишина, почему молодая коллега, с которой он до сих пор пребывал в самых сердечных отношениях, ставит чайную чашку на стол и, глядя сквозь него, покидает профессорскую? Почему на первое занятие по Бодлеру приходят всего двое студентов?

Мельница слухов, думает он, вертится день и ночь, перемалывая репутации. Сообщество праведников, совещающихся по углам, перезванивающихся, закрыв предварительно двери. Ликующий шепот. Schadenfreude[1]. Сначала приговор, а там уж и суд.

1. Злорадство (*нем.*).

Он берет себе за правило держать, проходя по коридорам факультета, голову повыше.

Он встречается с адвокатом, который занимался его разводом.

— Давайте первым делом выясним, — говорит адвокат, — насколько правдивы обвинения.

— Достаточно правдивы. У меня был роман с девушкой.

— Серьезный?

— А что, его серьезность способна улучшить или ухудшить мое положение? По наступлении определенного возраста все романы серьезны. Как и сердечные приступы.

— Ну что же, исходя из стратегических соображений, я посоветовал бы вам подрядить в качестве вашего представителя женщину, — он называет два имени, — и постараться уладить все частным порядком. Вы принимаете на себя определенные обязательства, возможно, на время уходите в отпуск, в обмен университет уговаривает девушку или ее родню снять обвинения. Это лучшее, на что вы можете рассчитывать. Вам показывают желтую карточку, вы не спорите. Сведите ущерб до минимума и подождите, пока утихнет скандал.

— Какого рода обязательства?

— Групповая психотерапия. Безвозмездная работа на благо университетской общины. Лечение у аналитика. Это уж как вы с ними сторгуетесь.

— Лечение? Я что, нуждаюсь в лечении?

— Поймите меня правильно. Я лишь говорю, что одним из предложенных вам вариантов может оказаться лечение у аналитика.

— Дабы привести меня в порядок? Исцелить? Избавить от непотребных желаний?

Адвокат пожимает плечами:

— Все что угодно.

В университетском городке проводится Неделя распространения информации об изнасилованиях. Союз "Женщины против насильников", ЖПН, объявляет двадцатичетырехчасовое бдение в знак солидарности с "недавними жертвами". Ему под дверь подсовывают брошюрку "ЖЕНЩИНЫ РАССКАЗЫВАЮТ". Внизу обложки карандашом накорябано: "*Твои дни сочтены, Казанова*".

Он обедает с Розалиндой, своей последней женой. Они расстались восемь лет назад и медленно, опасливо снова сумели стать друзьями, в своем роде. Ветераны войны. Его радует то, что она все еще живет поблизости, возможно, и она испытывает по отношению к нему то же чувство. По крайней мере, есть человек, на которого можно будет положиться, когда случится худшее: падение в ванной, кровь в стуле.

Они разговаривают о единственном плоде его первого брака, о Люси, живущей теперь в Восточном Кейпе.

— Возможно, я скоро увижусь с ней, — говорит он. — Я собираюсь попутешествовать.

— В разгар семестра?

— Семестр почти закончился. Осталось две недели — потом все.

— Это как-то связано с твоими проблемами? Я слышала, у тебя проблемы.

— Где ты это слышала?

— Да ходят разговоры, Дэвид. Всем известно о твоем последнем романе, причем в самых смачных подробностях. И нет человека, которо-

му хотелось бы заткнуть болтунам рот, — кроме тебя, разумеется. Позволено мне будет сказать, какого дурака ты свалял?

— Нет, позволено не будет.

— Я так и так скажу. Все это глупо и некрасиво в придачу. Не знаю, как ты управляешься по части секса, да, собственно, и знать не хочу, но *этот* способ определенно не годится. Тебе сколько — пятьдесят два? И ты думаешь, молодая девица может испытывать хоть какое-то удовольствие, ложась в постель с мужчиной твоего возраста? Думаешь, ей приятно любоваться тобой в разгар твоей...? Ты хоть раз об этом подумал?

Он молчит.

— Не жди от меня сочувствия, Дэвид, и ни от кого другого тоже не жди. Ни сочувствия, ни снисхождения — не в наши дни и не в твоем возрасте. Все набросятся на тебя, и правильно сделают. Нет, ну скажи, как ты мог?

Знакомый тон, тон последних лет их супружеской жизни, тон страстных взаимных попреков. Даже Розалинда, надо полагать, сознает это. И возможно, она права. Возможно, у молодых есть право на то, чтобы их защищали от необходимости созерцать стариков, содрогающихся в корчах страсти. В конце концов, для того и существуют шлюхи: чтобы сносить экстатические конвульсии малоприятных самцов.

— Ну хорошо, — продолжает Розалинда, — так ты говоришь, что собираешься повидаться с Люси?

— Да, я думаю уехать, когда закончится разбирательство, и провести с ней какое-то время.

— Разбирательство?

— На следующей неделе начинает заседать комиссия по расследованию.

— Быстро они. Ладно, повидаешься ты с Люси, а что потом?

— Не знаю. Не уверен, что мне разрешат вернуться в университет. Собственно, я не уверен и в том, что захочу вернуться.

Розалинда качает головой:

— Бесславный конец карьеры, тебе не кажется? Я не спрашиваю, стоила ли того девушка. Но ты-то что будешь делать? И как насчет пенсии?

— Придется как-то договориться с ними. Не могут же они оставить меня без гроша.

— Не могут? Не будь так уверен в этом. Сколько ей лет — твоей прелестнице?

— Двадцать. Совершеннолетняя. Достаточно взрослая, чтобы знать, чего она хочет.

— Уверяют, будто она наглоталась снотворного. Это правда?

— Насчет снотворного сведений не имею. По-моему, вранье. Кто тебе это сказал?

Розалинда пропускает вопрос мимо ушей.

— Она была в тебя влюблена? Ты ей изменял?

— Нет. Никогда.

— Почему же она подала жалобу?

— Откуда мне знать? Она мне душу не раскрывала. Там, за сценой, происходили какие-то битвы, в подробности которых меня не посвятили. Имеется ревнивый молодой человек. Разгневанные родители. Должно быть, она в конце концов сдалась. Для меня все было полной неожиданностью.

— Думать надо было, Дэвид. Ты слишком стар, чтобы путаться с чьими-то детьми. Тебе следовало ожидать худшего. Как бы там ни было, все это очень унизительно. Честное слово.

— Ты не спросила, любил ли я ее. Может, спросишь заодно и об этом?

— Ладно. Любил ли ты молодую женщину, извалявшую твое имя в грязи?

— Она не несет за это ответственности. Не стоит ее винить.

— Не стоит ее винить! Ты, собственно, на чьей стороне? Конечно, я ее виню! И ее, и тебя. Вся эта история постыдна от начала и до конца! Постыдна и вульгарна. И я не стану извиняться за эти слова.

В прежние времена он тут бы и взвился. Но не сегодня. Они с Розалиндой отрастили, чтобы защищаться друг от дружки, по толстой шкуре.

Назавтра Розалинда звонит ему по телефону.

— Дэвид, ты заглядывал в сегодняшний "Аргус"?

— Нет.

— Ну так крепись. Там статья о тебе.

— И что в ней сказано?

— Это ты уж сам прочитай.

Статью он находит на третьей странице. "Профессор обвиняется в сексе" — так она озаглавлена. Он пробегает первые строки. "...должен предстать перед дисциплинарным комитетом по обвинению в сексуальном домогательстве. ТУК старательно замалчивает самое последнее в череде скандальных событий, включающей мошенничества с выплатой стипендий и наличие, как утверждают, целой сети, которая занимается предоставлением услуг сексуального характера и базируется в студенческих общежитиях. Получить какие-либо комментарии у Лури (53 г.), автора книги об английском певце природы Уильяме Вордсворте, нам не удалось".

Уильям Вордсворт (1770—1850), певец природы. Дэвид Лури (1945–?), обесчещенный ученик и комментатор названного Уильяма Вордсворта. Благословен, младенец, будь. Нет, не изгнанник он. Благословенно будь, дитя.

Глава шестая

Слушания проходят в комнате, расположенной справа от кабинета Хакима. Его вводят туда и усаживают в конце стола, во главе коего восседает сам Манас Матабане, профессор истории религии, возглавляющий расследование. Слева от Манаса — Хаким, его секретарь, и молодая женщина, по виду студентка; справа — три члена комиссии Матабане.

Он не нервничает. Напротив, чувствует полную уверенность в себе. Сердце бьется ровно, он хорошо выспался. Тщеславие, думает он, опасное тщеславие игрока; тщеславие и самодовольство. Состояние духа определенно неуместное. Ну и черт с ним.

Он кивком приветствует членов комиссии. Двое ему знакомы: Фародиа Рассул и Десмонд Суортс, декан технологического факультета. Третья, согласно лежащим перед ним документам, преподает в школе бизнеса.

— Собравшаяся здесь комиссия, профессор Лури, — открывает заседание Матабане, — не обладает никакой властью. Она может только выработать рекомендации. Более того, вы вправе оспорить ее состав. Поэтому разрешите мне спросить: есть ли среди членов комиссии кто-либо, предвзято, по вашему мнению, к вам относящийся?

— Оспаривать состав комиссии в смысле юридическом я бы не стал, — отвечает он. — У меня имеются некоторые сомнения философского толка, но говорить о них здесь, я полагаю, неуместно.

Общее шевеление, шарканье.

— Я думаю, нам следует ограничиться юридическими рамками, — говорит Матабане. — Итак, к составу комиссии у вас претензий нет. Имеются ли у вас возражения против присутствия студентки? Она здесь в качестве наблюдательницы от Коалиции против дискриминации.

— Я не боюсь комиссии. И не боюсь наблюдателей.

— Очень хорошо, перейдем к делу. Первым из жалобщиков является мисс Мелани Исаакс, студентка театрального факультета. У каждого из нас есть копия ее заявления. Следует ли мне комментировать это заявление? Профессор Лури?

— Насколько я понимаю, господин председатель, мисс Исаакс лично здесь не появится?

— Комиссия заслушала мисс Исаакс вчера. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что это не суд, а расследование. Регламент, которого мы придерживаемся, не есть регламент судопроизводства. Вы усматриваете в этом какую-либо проблему?

— Нет.

— Второе обвинение, связанное с первым, — продолжает Матабане, — поступило из отдела учета успеваемости студентов, оно касается точности посвященных мисс Исаакс регистрационных записей. Обвинение сводится к тому, что мисс Исаакс не посещала всех занятий, а также не сдавала письменных работ и не прошла экзамена, между тем как все оценки вы ей выставили.

— Это все? Других обвинений нет?

— Это все.

Он делает глубокий вдох.

— Я уверен, что у членов комиссии найдутся занятия поинтереснее, чем копание в истории, о которой не может быть двух мнений. Я признаю себя виновным по обоим обвинениям. Выносите приговор, и давайте жить дальше.

Хаким склоняется к Матабане. Они вполголоса переговариваются.

— Профессор Лури, — говорит Хаким, — я вынужден повторить, что это комиссия по расследованию. Ее роль состоит в том, чтобы выслушать обе стороны и выработать рекомендации. И я снова спрашиваю, не лучше ли, если вас будет представлять кто-нибудь хорошо знакомый с нашими процедурами?

— Меня не надо представлять. Я вполне способен представлять себя сам. Правильно ли я понял, что слушание будет продолжено, несмотря на сделанное мной заявление?

— Мы хотим дать вам возможность изложить вашу точку зрения.

— Я ее уже изложил. Я виновен.

— Виновны в чем?

— В том, в чем меня обвиняют.

— Мы с вами ходим по кругу, профессор Лури.

— Во всем, о чем заявляет мисс Исаакс, и в подделке ведомостей.

Тут встревает Фародиа Рассул:

— Вы говорите, профессор Лури, что не оспариваете заявления мисс Исаакс, но вы хотя бы прочли его?

— Я не имею ни малейшего желания читать заявление мисс Исаакс. Я с ним согласен. Я не вижу причин, по которым мисс Исаакс стала бы лгать.

— Но не благоразумнее было бы прочесть заявление, прежде чем с ним соглашаться?

— Нет. В жизни есть вещи поважнее благоразумия.

Фародиа Рассул откидывается на спинку стула.

— Весьма по-донкихотски, профессор Лури, однако можете ли вы позволить себе подобное донкихотство? На мой взгляд, нам, возможно, следует защитить вас от вас же самого, — и она посылает Хакиму замороженную улыбку.

— Вы говорите, что не обращались за советом к адвокату. Но хоть с кем-нибудь вы консультировались — со священником, к примеру, или психологом? Готовы ли вы к тому, чтобы подвергнуться психотерапии?

Вопрос задан молодой женщиной из школы бизнеса. Он внутренне ощетинивается.

— Нет, я не думал о таком обследовании и не намерен его проходить. Я взрослый человек. И в психотерапии не нуждаюсь. Она мне не поможет. — Он обращается к Матабане: — Я признал себя виновным. Существует ли причина, по которой мы должны продолжать эти дебаты?

Матабане шепотом совещается с Хакимом.

— Предлагается объявить перерыв, — говорит Матабане, — чтобы комиссия смогла обсудить сказанное профессором Лури.

Все кивают.

— Профессор Лури, могу я попросить вас и мисс ван Вик подождать несколько минут за дверью, пока мы будем обмениваться мнениями?

Вместе со студенткой-наблюдательницей он переходит в кабинет Хакима. Ни он, ни она не произносят ни слова; чувствуется, что девушке не по себе. "Твои дни сочтены, Казанова". Ну и что она думает о Казанове теперь, встретясь с ним лицом к лицу?

Их зовут обратно. Атмосфера в комнате так себе, кисловатая, на его взгляд, атмосфера.

— Итак, — произносит Матабане, — резюмирую: профессор Лури, вы сказали, что соглашаетесь с истинностью выдвинутых против вас обвинений?

— Я согласен со всеми утверждениями мисс Исаакс.

— Доктор Рассул, вы хотите что-то сказать?

— Да. Я прошу занести в протокол мой протест против поведения профессора Лури, которое представляется мне по сути своей уклончивым. Профессор Лури говорит, что принимает обвинения. Когда же мы пытаемся выяснить у него, что он, собственно говоря, принимает, мы сталкиваемся с тонким издевательством с его стороны. Меня это наводит на мысль, что он принимает обвинения лишь на словах. В случае, который, подобно этому, отличается обилием нюансов, общество в целом имеет право...

Он не может позволить ей продолжать.

— Нет в этом случае никаких нюансов, — огрызается он.

— Общество в целом имеет право знать, — продолжает она, с приобретенной долгим опытом легкостью перекрикивая его, — что конкретно признаёт профессор Лури и за что ему выносится порицание.

Матабане:

— Если оно ему выносится.

— Если оно ему выносится. Мы не выполним своего долга, если не достигнем полного понимания ситуации, если не сможем с полной ясностью указать в наших рекомендациях, за что профессору Лури следует вынести порицание.

— Что касается понимания, доктор Рассул, то тут, я в этом уверен, мы уже достигли полной ясности. Вопрос в том, достиг ли ее профессор Лури.

— Совершенно верно. Вы очень точно выразили именно то, что я хотела сказать.

Самое умное в его положении — помалкивать, но нет, не получается.

— То, что происходит в моей голове, это мое дело, Фародиа, а отнюдь не ваше, — говорит он. — Вам же, если честно, нужна не та или иная реакция с моей стороны, а исповедь. Так вот, исповедоваться я не стану. Я сделал заявление, это мое право. Виновен по всем статьям. Таково мое заявление. Дальше этого я заходить не собираюсь.

— Господин председатель, я чувствую себя обязанной внести протест. Вопрос вышел за рамки обычных формальностей. Профессор Лури признает свою вину, но я спрашиваю себя, действительно ли он ее признает или просто делает вид в надежде, что его дело похоронят под грудой бумаг и забудут? Если он просто делает вид, я требую подвергнуть его самому суровому наказанию.

— Позвольте мне снова напомнить вам, доктор Рассул, — говорит Матабане, — что подвергать кого-либо наказанию — не наша прерогатива.

— В таком случае мы должны рекомендовать подвергнуть профессора Лури самому суровому наказанию. А именно — немедленному увольнению с лишением пенсии и любых привилегий.

— Дэвид? — Это голос Десмонда Суортса, до сей поры молчавшего. — Дэвид, уверены ли вы, что избрали наилучшую в вашей ситуации линию поведения? — Десмонд поворачивается к председателю: — Господин председатель, как я уже говорил в отсутствие профессора Лури, я считаю, что мы, члены университетского сообщества, не должны относиться к нашему коллеге как холодные формалисты. Дэвид, вы действительно не хотите попросить, чтобы мы отложили слушание, дав вам время подумать и, возможно, проконсультироваться с кем-либо?

— Зачем? О чем я должен думать?

— О серьезности вашего положения, которую вы, по-моему, не вполне осознаете. Если говорить откровенно, вы того и гляди лишитесь работы. А это в наше время не шутка.

— И что вы мне советуете? Убрать из моего тона то, что доктор Рассул именует тонким издевательством? Залиться слезами искреннего раскаяния? Этого будет довольно, чтобы уцелеть?

— Возможно, вам трудно в это поверить, Дэвид, но сидящие за этим столом вам не враги. Нам тоже случается переживать минуты слабости, каждому из нас, мы всего только люди. Ваш случай не уникален. Мы были бы рады дать вам возможность продолжить вашу карьеру.

Мягко вступает Хаким:

— Мы были бы рады, Дэвид, помочь вам найти выход из этого кошмара.

Это его друзья. Они хотят спасти его от его же собственной слабости, избавить от кошмара. Они не хотят увидеть его просящим подаяние на улицах. Они хотят, чтобы он вернулся к преподаванию.

— Что-то я не слышу в этом доброжелательном хоре, — говорит он, — ни единого женского голоса.

Повисает молчание.

— Хорошо, — говорит он. — Исповедоваться так исповедоваться. История началась однажды вечером, точную дату я позабыл, но вечер был не очень давний. Я гулял по парку старого колледжа, и случилось так, что молодая женщина, о которой идет речь, мисс Исаакс, тоже там гуляла. Наши пути пересеклись. Мы обменялись несколькими словами, и в этот миг произошло нечто, чего я, не будучи поэтом, не стану пробовать описать. Довольно сказать, что на сцене явился Эрос. И с того мгновения я стал уж не тот.

— Что значит не тот? — осторожно спрашивает женщина из школы бизнеса.

— Я перестал быть собой. Болтающимся без дела пятидесятилетним разведенным мужем. Я обратился в служителя Эроса.

— Это и есть оправдание, которое вы нам предлагаете? Неуправляемый порыв?

— Это не оправдание. Вам требовалась исповедь, вы ее получили. Что до порыва, так он вовсе не был неуправляемым. В прошлом я множество раз подавлял такие порывы, и теперь мне стыдно вспоминать об этом.

— Не кажется ли вам, — произносит Суортс, — что преподавательская жизнь по самой своей природе требует определенных жертв? Что ради общего блага мы обязаны отказывать себе в определенных удовольствиях?

— Вы имеете в виду запрет на интимные отношения между представителями разных поколений?

— Нет, вовсе не обязательно. Но как преподаватели мы облечены своего рода властью. Может быть, следует говорить о запрете смешивать иерархические отношения с сексуальными. Каковое смешение, на мой взгляд, и произошло в данном случае. Или о крайней осторожности.

Встревает Фародиа Рассул:

— Господин председатель, мы опять пошли по кругу. Да, он говорит, что признает свою вину, но когда мы пытаемся получить от него конкретные ответы, вдруг выясняется, что имело место не совращение юной девушки, а просто порыв, которому он не смог противиться, и при этом он даже не упоминает о страданиях, которые причинил, не упоминает о долгой истории эксплуатации, частью которой является содеянное им. Вот почему я считаю, что препираться с профессором Лури бессмысленно. Нам следует принять сделанное им заявление по его нарицательной стоимости и выработать соответствующие рекомендации.

"Совращение". Он ждал этого слова. Произнесенного голосом, дрожащим от праведного гнева. Интересно, что, собственно, питает ее гнев, что она видит, когда глядит на него? Акулу, плавающую среди беспомощных рыбок? Или ее томит иное видение: здоровенный, широкий в кости самец, навалившийся на девушку, совсем еще ребенка, и огром-

ной лапищей зажавший ей рот, чтоб не пищала? Тут он вспоминает: ведь комиссия заседала вчера в этой же комнате и видела Мелани, которая едва достает ему до плеча. Силы неравны, что тут отрицать?

— Я готова согласиться с доктором Рассул, — произносит преподавательница из школы бизнеса. — Если профессору Лури нечего больше добавить, я думаю, нам пора приступить к выработке решения.

— Прежде чем мы этим займемся, господин председатель, — говорит Суортс, — я хотел бы в последний раз обратиться с просьбой к профессору Лури. Существует ли того или иного рода официальное заявление, которое он согласился бы подписать?

— Для чего? Чем уж так важно, чтобы я подписал заявление?

— Это помогло бы остудить разгоревшиеся страсти. В идеале мы все предпочли бы разобраться в вашем деле, не привлекая к нему внимания прессы. Но это оказалось невозможным. Дело возбудило очень большой интерес и в результате приобрело аспекты, контролировать которые мы не в состоянии. На университет обращено множество глаз, всех интересует, как мы поступим. Пока я слушал вас, Дэвид, у меня создалось впечатление, что, по вашему мнению, с вами обходятся несправедливо. Вы глубоко заблуждаетесь. Мы, члены комиссии, считаем себя людьми, пытающимися найти компромисс, который позволил бы вам сохранить работу. Поэтому я и спрашиваю: существует ли приемлемая для вас форма публичного заявления, которая позволила бы нам порекомендовать нечто более мягкое, нежели мера самая суровая, то есть увольнение с официальным порицанием.

— Вы подразумеваете — готов ли я униженно просить о снисхождении?

Суортс вздыхает:

— Дэвид, если вы так и будете издеваться над нашими усилиями, это ни к чему хорошему не приведет. Согласитесь, по крайней мере, на то, чтобы отложить слушание, и еще раз обдумайте свое положение.

— Какова, по-вашему, должна быть суть моего заявления?

— Признание вашей неправоты.

— Я уже признал ее. Без вашей подсказки. Я виновен по всем предъявленным мне обвинениям.

— Дэвид, ну что вы с нами в игры играете? Между признанием вины по обвинению и признанием собственной неправоты есть разница, и вы это прекрасно знаете.

— И что же, признание моей неправоты вас удовлетворит?

— Ну нет, — отвечает Фародиа Рассул. — Это означало бы поставить все дело с ног на голову. *Сначала* профессор Лури должен сделать заявление. А уж *потом* мы бы решили, довольно ли его, чтобы смягчить наказание. Торговаться же относительно содержания его заявления мы не станем. Заявление должно исходить от него, и формулировка должна принадлежать ему. Тогда мы сможем понять, насколько оно искренне.

— И вы полагаете, что по словам, к которым я прибегну, сможете понять, насколько я искренен?

— Мы поймем, каково ваше отношение к происшедшему. Поймем, действительно ли вы раскаиваетесь.

— Превосходно. Я воспользовался положением, которое занимал по отношению к мисс Исаакс. Я поступил дурно, о чем и сожалею. Этого вам достаточно?

— Вопрос не в том, достаточно ли этого мне, профессор Лури, вопрос в том, достаточно ли этого *вам*. Отражает ли сказанное ваши искренние чувства?

Он качает головой:

— Я произнес слова, которые вы хотели услышать, теперь вам требуется большее: вам требуется, чтобы я доказал их искренность. Это нелепо. Это вне рамок закона. С меня довольно. У вас есть регламент, вот и давайте его придерживаться. Я признал свою вину. И дальше этого идти не намерен.

— Хорошо, — произносит, не поднимаясь из кресла, Матабане. — Если к профессору Лури нет больше вопросов, я хотел бы поблагодарить его за то, что он встретился с нами, и пожелать ему всего наилучшего.

В первую минуту они его не узнали. Уже спустившись до середины лестницы, он слышит восклицание "Вот он!" и торопливый топот.

Они настигают его у подножия лестницы, кто-то даже хватает его, чтобы остановить, за полу пиджака.

— Вы не уделите нам минуту, профессор Лури? — произносит чей-то голос.

Оставив вопрос без ответа, он выскакивает в набитый людьми вестибюль, где многие оборачиваются, чтобы посмотреть на удирающего от преследователей рослого мужчину.

Какая-то девушка преграждает ему дорогу.

— Постойте! — говорит она.

Он отворачивается, вытягивает вперед руку. Вспышка.

Девушка заходит с другой стороны. Ее волосы с вплетенными в них янтарными бусинами ровно свисают по обе стороны лица. Она улыбается, показывая белые зубы.

— Мы не могли бы остановиться и поговорить? — спрашивает она.

— О чем?

Прямо под носом у него появляется диктофон. Он его отталкивает.

— О том, как все прошло, — говорит девушка.

— Как прошло что?

Еще одна фотовспышка.

— Ну, вы же знаете, слушание.

— Об этом я говорить не могу.

— Хорошо, а о чем можете?

— Я вообще ни о чем говорить не намерен.

Вокруг собираются праздношатающиеся и любопытные. Если он хочет выбраться отсюда, придется проталкиваться сквозь них.

— Вы огорчены? — спрашивает девушка, снова поднося диктофон поближе. — Сожалеете о том, что сделали?

— Нет, — отвечает он. — Этот опыт меня обогатил.

Улыбка не сходит с лица девушки.

— То есть вы сделали бы это снова?

— Не думаю, что мне представится такая возможность.

— А если б представилась?

— Это нереалистичный вопрос.

Ей нужно большее, больше слов, чтобы напитать ими свой магнитофончик, но она не успела придумать, как подбить его на какую-нибудь оплошность.

— Чего с ним опыт сделал? — вполголоса спрашивает кто-то.

— Обогатил.

Смешок.

— Спроси его, попросил он прощения? — советует кто-то девушке.

— Да я уже спрашивала.

Исповеди, мольбы о прощении: откуда эта жажда унизить человека? Наступает тишина. Люди, которые его окружают, похожи на охотников, загнавших неведомого им зверя и не знающих, как его теперь прикончить.

Фотография появляется в студенческой газете на следующий день, под ней напечатано: "И кто теперь в дураках?" Он изображен возведшим глаза горé и протянувшим руку как бы в попытке схватить фотокамеру. Поза и сама-то по себе достаточно нелепа, но окончáтельным шедевром делает снимок перевернутая мусорная корзинка, которую какой-то молодой человек, ухмыляясь до ушей, держит над его головой. Игра перспективы создает иллюзию, будто корзинка сидит у него на голове, точно дурацкий колпак. На что может рассчитывать изображенный в подобном виде человек?

"Комиссия утаивает свой вердикт", — гласит заголовок. "Дисциплинарная комиссия, расследующая выдвинутые против профессора Дэвида Лури обвинения в домогательстве и неподобающем поведении, отказалась вчера сообщить что-либо о вынесенном ею вердикте. Председатель комиссии Манас Матабане сказал лишь, что полученные комиссией сведения будут представлены на рассмотрение ректора, который и примет соответствующие меры.

В ходе состоявшейся после слушания перепалки между представительницами ЖПН и Лури (53 г.) последний сказал, что находит опыт своих отношений со студентками "обогащающим".

Начало скандалу положили жалобы, поданные на Лури, специалиста по романтической поэзии, его студентками".

Матабане звонит ему домой.

— Комиссия подала рекомендации, Дэвид, и ректор попросил меня в последний раз переговорить с вами. Он готов воздержаться от крайних мер при условии, что вы сделаете от своего имени заявление, которое устроит и вас и нас.

— Манас, мы все это уже проходили...

— Подождите. Выслушайте меня. Передо мной лежит на столе набросок заявления, которое нас удовлетворило бы. Оно совсем короткое. Могу я прочитать его вам?

— Прочитайте.

Матабане читает:

— Я без каких бы то ни было оговорок признаю серьезность совершенных мною нарушений человеческих прав жалобщицы, равно как и злоупотребление властью, делегированной мне университетом. Я искренне прошу прощения у обеих сторон и готов принять любое уместное в данном случае наказание.

— А что это значит — "любое уместное в данном случае наказание"?

— Насколько я понимаю, вас не уволят. Скорее всего, вас попросят уйти в отпуск. Вернетесь ли вы со временем к преподаванию, будет зависеть от вас и от решения вашего декана и заведующего кафедрой.

— Вот, значит, как? Это и есть комплексное решение?

— Во всяком случае, я это так понимаю. Если вы продемонстрируете готовность подписать заявление, равнозначное ходатайству о снисхождении, ректор будет готов принять его именно в таком смысле.

— В каком?

— В смысле раскаяния.

— Манас, мы уже говорили вчера об этом самом раскаянии. И я сказал вам, что о нем думаю. Я предстал перед официально созданным трибуналом, олицетворяющим власть закона. И признал перед этим мирским судом свою вину, мирскую вину. Этого признания достаточно. Раскаяние же тут решительно ни при чем. Раскаяние принадлежит к иному миру, к иной вселенной дискурса.

— Дэвид, вы смешиваете совершенно разные вещи. Вас не призывают раскаяться. Что происходит в вашей душе, для нас, как для членов того, что вы именуете мирским судом, если не для таких же, как вы, человеческих существ, дело темное. Вас просят сделать заявление.

— Меня призывают просить о прощении независимо от того, искренен я или нет?

— Критерием является не ваша искренность. Она, как я уже сказал, дело вашей совести. Критерием является ваша готовность открыто признать свою вину и предпринять шаги, необходимые для исправления содеянного.

— Вот теперь мы и впрямь занимаемся казуистикой. Вы предъявили мне обвинения, я признал себя виновным. И большего вам от меня не требуется.

— Нет. Нам *требуется* большее. Не так чтобы очень, но большее. И надеюсь, вы отыщете способ дать нам это большее.

— Извините, не могу.

— Дэвид, я не в состоянии и дальше защищать вас от вас же самого. Я устал от этого, так же как устали и остальные члены комиссии. Вам нужно время, чтобы еще раз подумать?

— Нет.

— Очень хорошо. В таком случае я могу сказать вам только одно — ждите вестей от ректора.

Глава седьмая

После того как он принимает решение уехать, задержать его способно немногое. Он очищает холодильник, запирает дом и в полдень уже едет по шоссе. Остановка в Оудсхурне, выезд оттуда на рассвете, и в разгар утра он приближается к месту назначения — городу Сейлем на дороге Грейамстаун—Кентон в Восточном Кейпе.

Маленькая ферма дочери расположена в нескольких милях от города, в конце извилистой проселочной дороги: пять гектаров земли, по большей части пахотной, приводимый в действие ветряком насос, конюшни, надворные постройки и низкий, просторный, выкрашенный желтой краской дом с кровлей из оцинкованного железа и крытой верандой. Граница фермы отмечена проволочной изгородью и зарослями герани и настурций; за ними — гравий и пыль.

На подъездной дорожке стоит старенький “фольксваген-комби”, впритык к которому он ставит свою машину. Из тени веранды выходит

на солнечный свет Люси. В первый миг он ее не узнает. Прошел год, она прибавила в весе. Бедра и груди у нее теперь (он подыскивает правильное слово) пышные. По-домашнему босая, она идет к нему, разведя в стороны руки, обнимает, целует в щеку.

Какая милая девушка, думает он, прижимая ее к себе; какой милый прием под конец долгого пути!

Дом — большой, темноватый и даже в полдень прохладный — построен во времена больших семей, в пору, когда в гости приезжали на фургонах. Шесть лет назад Люси попала сюда в составе коммуны — компании молодых людей, которые торговали в Грейамстауне с рук поделками из кожи и высушенной на солнце керамикой и выращивали между стеблей маиса индийскую коноплю. Когда коммуна распалась, остатки ее перебрались в Нью-Бетесда, а Люси со своей подругой Хелен остались на ферме. Она, по ее словам, влюбилась в это место и задумала наладить правильное фермерское хозяйство. Он помог ей купить землю. И вот она здесь, в цветастом платье, босая и все такое, в доме, наполненном запахом свежего хлеба, — уже не ребенок, играющий в фермера, но настоящая фермерша, boervrou.

— Я поселю тебя в комнате Хелен, — говорит она. — Туда утром заглядывает солнце. Ты не представляешь, какой холод стоит здесь по утрам в эту зиму.

— Как Хелен? — спрашивает он. Хелен — крупная, хмурого обличья женщина, старше Люси, с глубоким голосом и плохой кожей. Он так и не смог понять, что отыскала в ней дочь; втайне ему хочется, чтобы Люси нашла кого-нибудь получше (или чтобы кто-нибудь получше нашел ее).

— Хелен с апреля в Йоханнесбурге. Я живу в одиночестве, если не считать работника.

— Ты мне об этом не говорила. Тебе не боязно здесь одной?

Люси пожимает плечами.

— Со мной собаки. Собак все еще побаиваются. Чем их больше, тем больший страх они наводят. В любом случае, если бы кто-то сюда вломился, не думаю, что от двух людей было бы больше проку, чем от одного.

— Весьма философично.

— Да. Когда все идет прахом — философствуй.

— Впрочем, у тебя есть оружие.

— Ружье. Я тебе его покажу. Купила у соседа. Пользоваться ни разу не пользовалась, но оно у меня есть.

— Неплохо. Вооруженный философ. Одобряю.

Оружие и собаки; хлеб в печи и зерна в земле. Удивительно, как это он и ее мать, горожане, интеллектуалы, породили столь атавистичное существо, крепкую молодую колонистку. Хотя, возможно, это вовсе не они ее породили: возможно, основная заслуга принадлежит истории.

Она предлагает ему чаю. Он проголодался и с жадностью заглатывает два смахивающих на кирпичи ломтя хлеба с джемом из плодов опунции, также домашнего приготовления. Во время еды он ощущает на себе ее взгляд. Надо быть поосторожнее: ничто не внушает ребенку такого отвращения, как функционирование родительского тела.

Под ногтями у нее не очень чисто. Сельская грязь: почетное, надо полагать, отличие.

В комнате Хелен он распаковывает чемодан. Ящики комода пусты; в громадном платяном шкафу висит лишь синий рабочий комбинезон. Если Хелен уехала, то, похоже надолго.

Люси проводит его по дому. Напоминает о необходимости экономить воду и не загрязнять биоотстойник. Все это ему уже известно, однако он старательно слушает. Потом Люси ведет его на псарню. В прошлый его приезд тут был всего один вольер. Теперь их пять — основательных, на бетонном фундаменте, с оцинкованными кольями и распорками, с крупноячеистой сеткой, все это тонет в тени молодых эвкалиптов. Завидев Люси, собаки — доберманы, немецкие овчарки, родезийские риджбэки, бультерьеры, ротвейлеры — приходят в волнение.

— Все сплошь сторожевые, — говорит она. — Рабочие собаки, их у меня берут на короткий срок — на неделю, на две, иногда просто на выходные. А во время летних отпусков мне сдают домашних животных.

— Кошек тоже? Ты кошек берешь?

— Зря смеешься. Я подумываю о том, чтобы заняться кошками. Просто мне пока некуда их приткнуть.

— А место на рынке ты арендуешь по-прежнему?

— Да, в субботу по утрам. Я возьму тебя с собой.

Вот так она и зарабатывает на жизнь: псарня, продажа цветов и овощей. Что может быть проще?

— Они у тебя не скучают? — Он показывает на одну из собак, рыжеватую, сидящую в отдельном вольере бульдожиху, которая, не потрудившись даже привстать, мрачно взирает на них, уложив голову на лапы.

— Кэти? Ее бросили. Владельцы ударились в бега. Счет не оплачивается уже несколько месяцев. Не знаю, что мне с ней делать. Наверное, попробую найти для нее новый дом. Она грустит, а так с ней все в порядке. Мы каждый день выводим ее размяться. Я или Петрас. Это часть нашего с ним договора.

— Петрас?

— Ты с ним еще познакомишься. Петрас — это мой новый помощник. На самом-то деле совладелец — с марта месяца. Неплохой малый.

Он проходит с ней мимо земляной запруды, на которой мирно восседает утиное семейство, мимо ульев, по огороду: цветники, зимние овощи — цветная капуста, картофель, свекла, мангольд, лук. Они навещают насос и пруд на границе ее владений. Дожди в последние два года шли хорошие, уровень воды высок.

Люси с удовольствием рассказывает обо всем этом. Фермер-колонизатор нового поколения. В прежние времена — скот и кукуруза. Ныне — собаки и нарциссы. Чем больше все меняется, тем неизменнее остается. История повторяется, только выглядит поскромнее. Возможно, и история кое-чему научилась.

Назад они идут вдоль оросительной канавы. Босые ступни Люси оставляют четкие отпечатки на красной земле. Крепкая женщина, поглощенная своей новой жизнью. Замечательно! Если это то, что после него останется — дочь, вот эта женщина, — значит, ему нечего стыдиться.

— Тебе вовсе не обязательно меня развлекать, — говорит он уже в доме. — Я привез с собой книги. Все, что мне нужно, это стол и стул.

— Ты над чем-то работаешь? — осторожно спрашивает она. Его работа не принадлежит к числу тем, на которые им часто случалось беседовать.

— Есть кое-какие планы. Нечто о последних годах Байрона. Не книга, вернее, не того сорта книга, какие я писал раньше. Скорее, что-то для сцены. Слова и музыка. Персонажи разговаривают и поют.

— Не знала, что у тебя еще сохранились такие амбиции.

— Решил, что могу позволить себе такое удовольствие. Хотя дело не только в нем. Человеку хочется что-то оставить после себя. По крайней мере, мужчине хочется. Женщине в этом отношении легче.

— Это почему же женщине легче?

— Я хотел сказать, легче создать нечто, обладающее собственной жизнью.

— А отцовство, выходит, не в счет?

— Отцовство... Я все никак не могу отделаться от мысли, что в сравнении с материнством отцовство штука довольно абстрактная. Но давай подождем и посмотрим, что выйдет из моей затеи. Если что-то получится, ты будешь первой слушательницей. Первой и, скорее всего, последней.

— Ты собираешься сам писать музыку?

— Музыку я по большей части заимствую. На этот счет меня никакие угрызения совести не томят. Поначалу я думал, что тема требует роскошной оркестровки. Ну, нечто вроде Штрауса. Но мне этого не потянуть. Теперь я склоняюсь к иному, к самому скромному аккомпанементу — скрипка, виолончель, гобой или, может быть, фагот. Но это все принадлежит пока царству идей. Я не написал ни единой ноты — пришлось заниматься другими делами. Ты, полагаю, слышала о моих неприятностях.

— Роз что-то такое говорила по телефону.

— Ладно, не будем сейчас в это вдаваться. Как-нибудь в другой раз.

— Ты оставил университет навсегда?

— Я вышел в отставку. Вернее, меня вышли.

— Будешь скучать по нему?

— Скучать? Не знаю. Я был не ахти каким преподавателем. Как выяснилось, мы со студентами все хуже понимали друг друга. Они не давали себе труда слушать то, что я хотел им сказать. Так что скучать я, вероятно, не буду. Скорее всего, я буду радоваться свободе.

В проеме двери возникает высокий мужчина в синем комбинезоне, резиновых сапогах и шерстяной шапочке.

— Входи, Петрас, познакомься с моим отцом, — говорит Люси.

Петрас вытирает сапоги. Они обмениваются рукопожатиями. Морщинистое обветренное лицо, проницательный взгляд. Сорок? Сорок пять?

Петрас поворачивается к Люси.

— Аэрозоль, — говорит он. — Я пришел за аэрозолем.

— Он в комби. Подожди, я принесу.

Он остается наедине с Петрасом.

— Так это вы ухаживаете за собаками? — спрашивает он, чтобы прервать молчание.

— Ухаживаю за собаками и работаю в огороде. Да, — Петрас широко улыбается. — Садовник и собачник. — На миг он задумывается. — Собачник, — повторяет он, смакуя это слово.

— Я только что из Кейптауна. По временам меня там тревожила мысль, что дочь сидит здесь совсем одна. Уж больно далеко от людей.

— Да, — говорит Петрас, — это опасно.

Пауза.

— Нынче все опасно. Но у нас тут вроде бы спокойно.

И он улыбается снова.

Возвращается с бутылочкой в руках Люси.

— Дозу ты знаешь: чайная ложка на десять литров воды.
— Да, знаю, — и Петрас, пригнувшись, выходит в низковатую дверь.
— Похоже, хороший человек, — замечает он.
— У него есть голова на плечах.
— Он прямо здесь и живет?
— В старой конюшне, вместе с женой. Я провела туда электричество. Там довольно уютно. Другая его жена живет с детьми, в том числе взрослыми, в Аделаиде. Время от времени он уезжает, чтобы побыть с ними.

Предоставив Люси ее занятиям, он отправляется на прогулку и доходит до дороги на Кентон. Холодный зимний день, солнце уже опускается к красным холмам, поросшим редкой поблекшей травой. Скудная земля, скудная почва, думает он. Изнуренная. Только для коз и годится. Неужели Люси и впрямь вознамерилась прожить здесь всю жизнь? Хочется надеяться, что это лишь временная причуда.

Стайка детей, возвращающихся из школы, проходит мимо. Он здоровается, дети тоже. Сельский обычай. Кейптаун уже отступает в прошлое.

Без предупреждения возвращается воспоминание о девушке: о ее ладных грудках с глядящими вверх сосками. Дрожь желания пронизывает его. Очевидно, чем бы ни было происшедшее с ним, оно покамест не кончилось.

Он возвращается в дом, заканчивает разборку чемодана. Много времени прошло с тех пор, как он жил в одном доме с женщиной. Следует помнить о правилах, соблюдать аккуратность.

"Пышная" — слово для Люси скорее лестное. Скоро она станет просто-напросто грузной. Перестанет следить за собой, как это случается с теми, кто удаляется за пределы любви. "Qu'est devenu ce front poli, ces cheveux blonds, sourcils voûtés?"[1]

Ужин прост: суп с хлебом, бататы. Обычно ему бататы не нравятся, но Люси состряпала из лимонной кожуры, масла и гвоздики нечто, сделавшее их съедобными, и даже более чем.

— Ты надолго? — спрашивает она.
— На неделю. Будем считать, на неделю. Вытерпишь меня столько времени?
— Оставайся на сколько хочешь. Я только боюсь, тебя скука одолеет.
— Не одолеет.
— А куда поедешь потом, через неделю?
— Пока не знаю. Возможно, просто отправлюсь бродяжить, надолго.
— Ну, в общем, добро пожаловать и оставайся.
— Очень мило, что ты так говоришь, дорогая, но мне хотелось бы сохранить твою дружбу. А долгие визиты — это не для добрых друзей.
— А что если мы не будем пользоваться словом "визит"? Назовем это пристанищем? Получить пристанище на неопределенный срок ты согласен?
— Ты имеешь в виду убежище? Мои дела не так уж и плохи, Люси. Я не изгой.
— Роз говорила, что обстановка там сложилась премерзкая.
— Тут я сам виноват. Мне предложили компромисс, я не согласился.
— Что за компромисс?

1. "Что стало с этим чистым лбом? Где медь волос? Где брови-стрелы?" (*франц.*) — Ф. Вийон. Жалобы Прекрасной Оружейницы. Перев. Ф. Мендельсона.

— Перевоспитание. Исправление характера. Кодовое обозначение курса психотерапии.

— Ты столь совершенен, что не можешь пройти небольшой курс?

— Все это слишком напоминает мне Китай времен Мао. Отречение, самокритика, публичные мольбы о прощении. Я человек старомодный и предпочитаю, чтобы меня просто-напросто поставили к стенке и расстреляли. Давай не будем об этом.

— Расстреляли? За интрижку со студенткой? Кара несколько чрезмерная, ты не находишь? Этак можно всех преподавателей перестрелять. Такие вещи наверняка происходят каждый день. Во всяком случае, происходили, когда *я* была студенткой. Наказывать каждого, кто в них повинен, значит попросту обречь преподавателей на истребление.

Он пожимает плечами.

— Мы живем в эпоху пуританизма. Личная жизнь стала всеобщим достоянием. А зудливое любопытство к ней обрело респектабельность — любопытство и сентиментальность. Людям нужен спектакль: биение кулаками в грудь, раскаяние, по возможности слезы. В общем и целом, телевизионное шоу. Я им такого одолжения не сделал.

Ему хочется добавить: "По правде сказать, они собирались меня кастрировать", но он не может произнести подобные слова в присутствии дочери. Строго говоря, и эта его тирада, которую он слышит теперь ушами другого человека, выглядит мелодраматичной, чрезмерно напыщенной.

— То есть ты стоял на своем, а они на своем. Так?

— Более-менее.

— Нельзя быть таким непреклонным, Дэвид. Непреклонность — не признак героизма. У тебя осталось время, чтобы передумать?

— Нет, приговор окончательный.

— Без права на апелляцию?

— Без права. Да я и не жалуюсь. Нельзя признать себя виновным в разврате и ожидать в ответ излияний сочувствия. Во всяком случае, по достижении определенного возраста. После которого человек просто уже не может апеллировать к чему бы то ни было. Остается крепиться и доживать остаток жизни. Положи мне еще.

— Что ж, очень жаль. Живи у меня сколько захочешь. На любых основаниях.

Спать он ложится рано. Среди ночи его будит взрыв собачьего лая. Особенно неутомимо гавкает один из псов: механически, без перерывов; другие присоединяются к нему, потом затихают, потом, не желая признать поражения, вступают снова.

— Тут у вас каждую ночь так? — утром спрашивает он у Люси.

— К этому привыкаешь. Извини.

Он качает головой.

Глава восьмая

Он забыл, насколько холодными могут быть зимние утра в нагорьях Восточного Кейпа, и не прихватил с собой необходимой одежды: приходится позаимствовать у Люси свитер.

Засунув руки в карманы, он бродит между цветников. По кентонской дороге проносится невидимый отсюда автомобиль, рев его медлит в спокойном воздухе. Высоко в небе цепочкой пролетают гуси. Куда девать время?

— Не хочешь пойти прогуляться? — спрашивает за его спиной Люси.

Они берут с собой трех собак: двух молодых доберманов — Люси ведет их на поводках — и бульдожью суку, брошенную.

Сука, подняв уши торчком, пытается прогадиться. Ничего у нее не выходит.

— У нее проблемы, — говорит Люси. — Придется лечить.

Сука, свесив язык и поводя глазами из стороны в сторону, как бы от стыда, что за ней наблюдают, продолжает тужиться.

Они сходят с дороги, бредут подлеском, потом редкой сосновой рощей.

— Та девушка, с которой ты связался, — говорит Люси, — это было серьезно?

— Розалинда пересказала тебе нашу историю?

— Не во всех подробностях.

— Она примерно из этих же мест. Из Джорджа. Состояла в одной из групп, в которых я вел занятия. Как студентка — всего лишь сносная, но очень милая. Серьезно? Не знаю. Вот последствия определенно оказались серьезными.

— Но теперь-то все кончено? Или ты еще тоскуешь по ней?

Кончено? Он тоскует?

— Мы больше не поддерживаем отношений, — говорит он.

— Почему она пожаловалась на тебя?

— Этого она мне не сказала, а случая спросить не представилось. Она попала в трудное положение. Был там один молодой человек, не то любовник, не то бывший любовник. Были трудности с учебой. Потом родители ее что-то прослышали и нежданно-негаданно прикатили в Кейптаун. Думаю, напряжение оказалось для нее непосильным.

— А тут еще ты.

— Да, тут еще я. Полагаю, ей было со мной нелегко.

Они доходят до ворот с надписью "САППИ индастриз. Вход строго воспрещен". Поворачивают назад.

— Ладно, — говорит Люси, — ты свое заплатил. Возможно, оглядываясь назад, она думает о тебе не так уж и плохо. Женщинам присуща редкостная способность прощать.

Наступает молчание. Это что же, Люси, его дитя, вознамерилась объяснить ему, что такое женщины?

— Ты не думал о том, чтобы снова жениться? — спрашивает Люси.

— Ты хочешь сказать, на женщине одних со мной лет? Не гожусь я в мужья, Люси. Ты же видела, знаешь.

— Да, но...

— Что "но"? Но охотиться за детьми дело недостойное?

— Я не об этом. Просто чем дальше, тем тебе будет труднее.

Никогда еще они с Люси не разговаривали о его интимной жизни. Нелегкое, оказывается, дело. Но если не с ней, с кем еще он может поговорить?

— Помнишь, у Блейка? — говорит он. — "Лучше убить дитя в колыбели, чем сдерживать буйные страсти"[1].

1. "Пословицы ада". Перев. А. Сергеева.

— Почему ты мне это цитируешь?

— Задавленные желания могут выглядеть в старике такими же безобразными, как и в юноше.

— И что же?

— От каждой женщины, с которой я был близок, я узнавал о себе нечто новое. В этом смысле они делали меня лучше, чем я был.

— Надеюсь, ты не претендуешь на обратное. На то, чтобы узнававшие тебя молодые женщины становились лучше, чем были.

Он внимательно вглядывается в лицо Люси. Люси улыбается.

— Шутка, не более, — говорит она.

Они возвращаются к гудронной дороге. На повороте к ферме висит красочный указатель, которого он раньше не заметил: "Срезанные цветы. Саговые пальмы", — и стрелка: "1 км".

— Саговые пальмы? — говорит он. — Я полагал, ими торговать запрещено.

— Запрещается выкапывать дикорастущие. А я выращиваю их из семян. Я тебе потом покажу.

Они идут дальше; молодые псы, желая освободиться, натягивают поводки, сука, пыхтя, плетется сзади.

— А ты? Это и есть то, чего ты хочешь от жизни? — он машет рукой в сторону огорода и дома с поблескивающей под солнцем крышей.

— Не так уж и мало, — негромко отвечает Люси.

Суббота, базарный день. Люси, как договорились, будит его в пять утра, принеся чашку кофе. Холодно; укутавшись, они идут в огород, где Петрас уже срезает при свете галогеновой лампы цветы.

Он предлагает подменить Петраса, но пальцы его скоро коченеют настолько, что ему становится невмоготу вязать букеты. Вернув бечевку Петрасу, он занимается тем, что обертывает цветы и укладывает их в коробки.

К семи, когда свет утра уже ложится на холмы и начинают просыпаться собаки, работа заканчивается. В комби грузятся коробки с цветами, ящики с картошкой, луком, капустой. Люси садится за руль, Петрас остается дома. Обогреватель в машине не работает; Люси, вглядываясь в запотевшее ветровое стекло, выруливает на ведущую к Грейамстауну дорогу. Он сидит рядом, жуя приготовленный ею бутерброд. Из носу капает; он надеется, что Люси этого не замечает.

Итак, новое переживание. Дочь, которую он когда-то возил в школу и в балетные классы, в цирк и на каток, теперь везет его на экскурсию, показывает ему жизнь, показывает этот другой, незнакомый мир.

На Донкин-сквер торговцы уже устанавливают столы на козлах, раскладывают на них товары. В воздухе витает запах подгоревшего мяса. Холодный туман висит над городом; люди потирают ладони, притопывают, костерят все на свете. Демонстрируют взаимное дружелюбие, от чего Люси, к его облегчению, воздерживается.

Их место — в той части рынка, что отведена, судя по всему, под торговлю съестным. Слева от них три африканки продают молоко, masa, масло и еще — суповые кости из накрытого влажной тряпицей ведра. Справа — старая чета африканеров, с которыми Люси здоровается, называя их тетушкой Мьемс и дядюшкой Коосом; старикам помогает мальчонка лет десяти, никак не больше, в вязаном шлеме. Как и Люси, они при-

везли на продажу лук и картошку, но кроме того джем и варенье в банках, сухие фрукты, пакетики с рутовым и мелиантусовым чаем, с травами.

Люси приносит два парусиновых табурета. В ожидании первых покупателей они пьют кофе из термоса.

Две недели назад он объяснял скучающим в аудитории юнцам различие между "пить" и "выпить", "гореть" и "обгореть". Совершенный вид, обозначающий действие, выполненное до конца. Каким далеким все это кажется! Я живу, я жил, я прожил.

Картофелины Люси, разложенные по пакетам в один бушель каждый, отмыты дочиста. У Кооса и Мьемс они покрыты присохшими комочками земли. За это утро Люси зарабатывает почти пятьсот рандов. Хорошо расходятся цветы; к одиннадцати она снижает цену и распродает остатки. Бойко идет торговля и у мясо-молочного лотка; а вот у стариков супругов, деревянно, без улыбок сидящих бок о бок, дела подвигаются хуже.

Многие покупательницы знают Люси по имени: в большинстве своем это средних лет женщины, в отношении которых к Люси сквозит нечто собственническое, как будто ее успех принадлежит и им тоже. Люси представляет его каждой из них:

— Познакомьтесь с моим отцом, Дэвидом Лури, он приехал из Кейптауна, погостить.

— Вы должны гордиться вашей дочерью, мистер Лури.

— Да, конечно, я очень горжусь, — отвечает он.

— Бев управляет приютом для животных, — говорит Люси после одного из таких знакомств. — Я ей иногда помогаю. Мы заглянем к ней на обратном пути, если ты не против.

Бев Шоу, кряжистая, суетливая коротышка без шеи, с покрытой темными веснушками кожей и коротко остриженными жесткими волосами, ему несимпатична. Он не в восторге от женщин, не предпринимающих ровно никаких усилий, чтобы выглядеть привлекательными. Подобную же неприязнь подруги Люси вызывали у него и прежде. Гордиться тут нечем: это предрассудок, который пролез в его разум да и засел там. Разум его обратился в приют для престарелых мыслей, бездеятельных, нуждающихся, тех, которым некуда больше податься. Надо бы выгнать их взашей и дочиста вымести помещение. Но ему все как-то не до того — или просто неохота.

Лига защиты животных, бывшая некогда приметной в Грейамстауне благотворительной организацией, ныне свою деятельность прекратила. Однако горстка добровольцев во главе с Бев Шоу все еще держит клинику в прежнем ее помещении.

Он ничего не имеет против людей, которые обожают животных, людей, с которыми Люси водилась с тех пор, как он ее помнит. Поэтому, когда Бев Шоу открывает входную дверь своего дома, он сооружает благодушную гримасу, хотя на самом деле встречающий их запах кошачьей мочи, шелудивых собак и примочки Джейеса ему отвратителен.

Дом в точности таков, как он себе представлял: дряхлая мебель, хаос безделушек (фарфоровые пастушки, коровьи колокольца, мухобойка из страусовых перьев), стенания радиоприемника, щебет птиц в клетках и повсюду кошки. Присутствует не только Бев, но также и Билл Шоу (пьет чай за кухонным столом), такой же кряжистый, в свитере с растя-

нутым воротом, со свекольно-красной физиономией и серебристыми волосами.

— Садитесь, Дэв, садитесь, — говорит Билл. — Будьте как дома, выпейте чашечку.

Утро получилось долгое, он устал, и светская беседа с этими людьми о тонкостях их ремесла — последнее, в чем он нуждается. Он бросает взгляд на Люси.

— Мы ненадолго, Билл, — говорит она. — Просто зашли за кое-какими лекарствами.

В окно виден их задний двор: яблони, роняющие червивые плоды, буйство сорных трав, забор из оцинкованного листового железа, деревянные лежаки, старые покрышки, в середках которых роются куры, и совершенно неожиданная здесь дремлющая в углу хохлатая антилопа.

— Ну, как они тебе? — уже в машине спрашивает Люси.

— Не хочу быть грубым. Безусловно, это особая субкультура. Дети у них есть?

— Нет, детей нет. Не стоит недооценивать Бев. Она не дура. И приносит очень, очень большую пользу. Она уже много лет в клинике, сначала работала на Лигу, теперь самостоятельно.

— Боюсь, это игра на проигрыш.

— Разумеется. Никто ее больше не финансирует. Животные в перечне государственных приоритетов не значатся.

— Она, должно быть, впала в уныние. Да и ты тоже.

— Да. Нет. А это важно? По крайней мере, животные, которым она помогает, уныния не испытывают. Они испытывают большое облегчение.

— Ну что ж, и прекрасно. Прости, девочка, мне просто трудно проникнуться интересом к этой теме. То, что она делает, то, что делаешь ты, замечательно, но по мне, адепты защиты животных смахивают на определенного пошиба христиан. Все такие бодрые, у всех такие благие помыслы, что через какое-то время тебя охватывает неодолимое желание изнасиловать кого-нибудь или ограбить. Или хоть кошку ногой пнуть.

Он сам удивляется, что так вспылил. Настроение у него вовсе не дурное, ничуть.

— Ты считаешь, что мне следует заняться вещами поважнее, — говорит Люси. Они уже едут по шоссе; Люси ведет машину и не глядит на него. — По-твоему, раз я твоя дочь, я обязана как-то получше распорядиться своей жизнью.

Он уже качает головой.

— Нет... нет... нет..., — бормочет он.

— Ты считаешь, что я должна писать натюрморты или учить русский язык. Тебе не нравятся друзья вроде Бев и Билла Шоу, потому что они не способны ввести меня в светское общество.

— Это не так, Люси.

— Именно так. Они и не способны ввести меня в светское общество — по той простой причине, что ни светского общества, ни светской жизни здесь нет. Только та жизнь, которую мы ведем. И которую делим с животными. Это пример того, что пытаются создать люди, подобные Бев. Пример, которому и я пытаюсь следовать. Пытаюсь разделить с животными некоторые из наших человеческих привилегий. Я не хочу возродиться к жизни собакой или свиньей и жить так, как живут рядом с нами собаки и свиньи.

— Люси, дорогая, не злись. Да, я согласен, это единственная жизнь, какая здесь есть. Что до животных, так ради бога, давайте будем добры к ним. Но давайте не терять при этом перспективы. Мы не животные, мы существа иного порядка. Не обязательно более высокого, просто иного. Так что, если мы намерены проявлять по отношению к ним доброту, давайте проявлять ее из великодушия, а не потому, что мы чувствуем себя виноватыми или страшимся возмездия.

Люси набирает воздуху в грудь. Похоже, ей хочется ответить на его проповедь, но нет, она не отвечает. К дому они подъезжают в молчании.

Глава девятая

Он сидит в гостиной, смотрит по телевизору футбол. Счет нулевой, похоже, ни одна из команд к победе не рвется.

Репортаж ведется поочередно на двух языках — суто и коса, — оба ему не известны. Он убавляет звук до неразборчивого бормотания. Субботний вечер в Южной Африке, священное время мужских развлечений. Он начинает клевать носом.

Когда он просыпается, рядом с ним на софе сидит Петрас с бутылкой пива в руке. Петрас прибавил звук.

— "Смельчаки из глуши", — говорит Петрас. — Моя любимая команда. "Смельчаки" против "Парней с заката".

"Парни с заката" получают угловой. Свалка в штрафной площадке. Петрас стонет, схватясь руками за голову. Когда пыль оседает, вратарь "Смельчаков" лежит на земле, прижав к груди мяч.

— Молодец! Молодец! — восклицает Петрас. — Отличный вратарь! Такого нельзя отпускать.

Игра заканчивается вничью. Петрас переключает каналы. Бокс: двое, такие маленькие, что едва достают рефери до груди, кружат по рингу, подскакивая, мутузя друг друга.

Он встает, бредет в глубь дома. Люси лежит на кровати, читая книгу.

— Что читаешь? — спрашивает он.

Она недоуменно глядит на него, потом вынимает из ушей вставные наушники.

— Что читаешь? — повторяет он и следом: — Похоже, не получилось, а? Мне уехать?

Люси улыбается, откладывает книгу. "Тайна Эдвина Друда". Вот уж не ожидал.

— Присядь, — говорит она.

Он садится на кровать, неторопливо гладит ее по голой ноге. Симпатичная нога, стройная. Хороший костяк, как у ее матери. Женщина в расцвете лет, привлекательная, несмотря на ее грузность, на не красящую ее одежду.

— На мой взгляд, Дэвид, все получилось прекрасно. Я рада, что ты здесь. Просто для того, чтобы привыкнуть к ритму сельской жизни, необходимо время. Как только ты найдешь чем заняться, скука твоя испарится.

Он рассеянно кивает. Привлекательная, думает он, но потерянная для мужчин. Себя ли ему корить за это или оно все равно сложилось бы

именно так? С самого рождения дочери он не испытывал к ней ничего, кроме самой искренней, безудержной любви. Невозможно, чтобы она этого не знала. Быть может, его любовь оказалась для нее непосильной? Быть может, она воспринимала ее как бремя? Как гнет? Или истолковывала ее как нечто куда более нечистое?

Интересно, думает он, каково было Люси с любовниками, каково любовникам было с нею? Он никогда не боялся следовать за мыслью по ее извилистым путям, не боится и теперь. Страстную ли породил он на свет женщину? Что притягивает ее и что не притягивает в царстве чувств? Способны ли он и она разговаривать и об этом тоже? Про нее не скажешь, что она прожила жизнь под чьим-то крылом. Почему им не говорить в открытую, почему они должны проводить какие-то границы — во времена, когда о таковых все и думать забыли?

— Как только найду чем заняться, — говорит он, прерывая блуждания мысли. — И что ты предлагаешь?

— Ты мог бы помогать мне с собаками. Рубить для них мясо. Мне это всегда тяжело давалось. Потом, есть еще Петрас. Он сейчас приводит в порядок собственную землю, так что дел у него хватает. Вот и протяни ему руку помощи.

— Протянуть Петрасу руку помощи. Неплохо. В этом выражении присутствует некая историческая пикантность. А платить за мои труды он мне будет, как ты полагаешь?

— Спроси у него. Уверена, что будет. В начале этого года он получил от министерства земледелия субсидию, которой хватило, чтобы выкупить у меня гектар с небольшим. Я тебе не говорила? Граница проходит по запруде. Запрудой мы владеем совместно. От нее и до ограды все принадлежит ему. У него корова, которая весной отелится. Две жены или жена и подружка. Если он хорошо разыграет свои карты, то сможет получить и вторую субсидию — чтобы построить дом и перебраться в него из конюшни. По меркам Восточного Кейпа, он человек состоятельный. Попроси, чтобы он тебе платил. Он может себе это позволить. Не уверена, что *я* смогу позволить себе и впредь пользоваться его услугами.

— Хорошо, я займусь мясом для собак, напрошусь в землекопы к Петрасу. Что еще?

— Ты можешь помогать в клинике. Там отчаянно нуждаются в помощниках.

— То есть помогать Бев Шоу?

— Да.

— Не думаю, что мы с ней поладим.

— Да тебе и не нужно с ней ладить. Только помогать ей. Однако платы не жди. Тебе придется делать это по доброте сердечной.

— Вот тут меня одолевают сомнения, Люси. Уж больно это смахивает на общественные работы. На попытку загладить былые грехи.

— Что касается твоих мотивов, Дэвид, то уверяю тебя, животные из клиники до них доискиваться не станут. Они не будут задавать тебе никаких вопросов, им все едино.

— Ладно, займусь и этим. Но при одном условии: что в результате я не стану лучше, чем есть. К исправлению я не готов. Предпочитаю остаться самим собой. Таково мое условие. — Он все еще не снял ладони с ноги Люси и теперь крепко сжимает ее колено. — Это понятно?

Она награждает его улыбкой, которую он может назвать только обворожительной.

— Так ты решил остаться дурным человеком. Сумасшедшим, дурным, опасным для окружающих. Обещаю, никто не попросит тебя измениться.

Люси поддразнивает его, как когда-то поддразнивала ее мать. Хотя остроумие Люси, если правду сказать, потоньше. Его всегда влекло к остроумным женщинам. Остроумным и красивым. И как бы ему того ни хотелось, в Мелани он никакого остроумия не отыскал. Зато красоты в ней было хоть отбавляй.

И снова она пронизывает его — легкая дрожь сладострастия. Он знает, что Люси наблюдает за ним. Похоже, он так и не научился скрывать эту дрожь. Забавно.

Он поднимается, выходит во двор. Собаки помоложе радуются, увидев его: бегают взад-вперед по вольерам, поскуливая от нетерпения. Но старая бульдожиха почти не шевелится.

Он входит в ее вольер, закрывает за собой дверь. Бульдожиха поднимает голову, оглядывает его и снова роняет голову на пол; старые соски ее вяло обвисли.

Присев на корточки, он щекочет бульдожиху за ухом.

— Бросили нас, верно? — шепчет он.

Он вытягивается рядом с ней на голом бетоне. Бледное небо вверху. Руки и ноги его обмякают.

Таким его и находит Люси. Он, должно быть, заснул: первое, что он осознает, это присутствие в вольере дочери с бидоном воды в руках; сука, встав, обнюхивает ее ноги.

— Обзаводишься друзьями? — спрашивает Люси.

— С ней не больно-то подружишься.

— Бедная старушка Кэти в трауре. Никому она не нужна и знает это. Самое смешное, что у нее, скорее всего, куча отпрысков в окрестностях, и все они были бы рады разделить с ней кров. Но пригласить ее к себе не в их власти. Они — часть обстановки, часть тревожной сигнализации. Они оказывают нам честь, относясь к нам как к богам, а мы в ответ относимся к ним как к неодушевленным существам.

Они выходят из вольера. Сука кучей валится на пол, закрывает глаза.

— Отцы церкви долго спорили на их счет и в конце концов решили, что настоящих душ у них нет, — замечает он. — Души животных привязаны к их телам и умирают вместе с ними.

Люси пожимает плечами:

— Не уверена, что у меня есть душа. И если бы я повстречала чью-то душу, я бы ее не признала.

— Это неверно. Ты сама и есть душа. Все мы — души. И были ими еще до рождения.

Она как-то странно глядит на него.

— Что ты с ней будешь делать? — спрашивает он.

— С Кэти? Может быть, оставлю у себя.

— Ты не усыпляешь животных?

— Нет, я — нет. Бев, та усыпляет. Это работа, выполнять которую никто не желает, вот она и взяла ее на себя. И ужасно от этого страдает. Ты недооцениваешь Бев. Она куда более интересный человек, чем тебе кажется. Даже по твоим собственным меркам.

По собственным его меркам... А каковы они? Заслуживает ли эта коренастая, малорослая женщина с неприятным голосом того, чтобы ее

игнорировали? Тень горестного сожаления осеняет его — о Кэти, о себе, обо всех. Он глубоко вздыхает, не пытаясь скрыть вздоха.

— Прости меня, Люси, — говорит он.

— Простить тебя? За что? — она улыбается, легко, насмешливо.

— За то, что я один из двух смертных, которым было назначено привести тебя в мир, и за то, что я оказался не лучшим из поводырей. Но я пойду и стану помогать Бев Шоу. При условии, что мне не придется называть ее "Бев". Глупо носить такое имя. Меня оно наводит на мысль о скоте. Когда начать?

— Я ей позвоню.

Глава десятая

На вывеске клиники значится: "Лига защиты животных. Филиал 1529". Ниже были когда-то указаны часы приема, но теперь эта строчка заклеена. У двери очередь, некоторые из стоящих в ней привели с собой животных. Как только он вылезает из машины, его окружает стайка детей, одни клянчат деньги, другие просто глазеют. Он проталкивается сквозь них и сквозь неожиданную какофонию, порожденную двумя рычащими, грызущимися собаками; хозяева с трудом растаскивают их.

Маленькая, голая приемная набита битком. Чтобы попасть вовнутрь, ему приходится наступать на чьи-то ноги.

— Где миссис Шоу? — спрашивает он.

Старуха кивает в сторону задернутого пластиковой занавеской дверного проема. Старуха держит на короткой веревке козла; козел нервно таращится, не отрывая глаз от собак, копытца его пощелкивают по жесткому полу.

Во внутренней, наполненной едким смрадом мочи комнате работает у низкого стеклянного столика Бев Шоу. Подсвечивая себе тоненьким фонариком, она всматривается в глотку молодого пса, похожего на помесь риджбэка с шакалом. Босой мальчишка, очевидно владелец пса, стоит на коленях прямо на столике, зажав голову пса под мышкой и стараясь удерживать его челюсти раскрытыми. Мощный зад пса напряжен, из горла исходит низкое, переливистое рычание. Он неловко включается в борьбу, притискивает одну к другой задние лапы пациента, надавливает на них, вынуждая пса сесть.

— Спасибо, — говорит Бев Шоу. Лицо у нее багровое. — Там образовался нарыв из-за того, что растущий зуб зажат двумя другими. Антибиотиков у нас нет, поэтому... держи его крепче, boytjie!..[1] поэтому придется просто вскрыть нарыв и надеяться на лучшее.

Она тычет в песью пасть ланцетом. Пес страшно дергается, пытаясь высвободиться из его рук, почти вырываясь из объятий мальчика. Он снова сжимает горемыку, скребущего, в попытке соскочить со стола, лапами по стеклу; на какой-то миг глаза пса, полные гнева и страха, встречаются с его глазами.

— Набок — вот так, — говорит Бев Шоу. Издавая воркующие звуки, она сноровисто ухватывает пса и валит его на бок. — Ремень, — говорит она. Он захлестывает тело пса ремнем, и Бев застегивает пряжку. — Так,

1. Мальчонка: от boy (*англ.*) — мальчик и tjie (*африкаанс*) — маленький.

– говорит Бев. – Думайте о чем-нибудь приятном, о здоровье и силе. Они способны унюхать ваши мысли.

Он наваливается на пса всем телом. Мальчик, предусмотрительно обмотав руку старым тряпьем, ухитряется снова раздвинуть песьи челюсти. У пса выкатываются от ужаса глаза. "Они способны унюхать ваши мысли"... Какая нелепость! "Тише, тише!" – бормочет он. Бев Шоу еще раз тычет ланцетом. Пес давится воздухом, напрягается как струна, потом обмякает.

– Ну вот, – говорит Бев, – теперь пусть о нем позаботится природа.

Она расстегивает ремень, произносит, обращаясь к мальчику, несколько слов на языке, похожем на запинающийся коса. Спущенный на пол пес уползает под стол. Стеклянная поверхность стола покрыта брызгами крови и слюны. Бев вытирает ее. Мальчик уговаривает пса вылезти.

– Спасибо, мистер Лури. Вы появились очень вовремя. Я чувствую, что вы любите животных.

– Люблю ли я животных? Я ими питаюсь, так что, пожалуй, люблю, частично.

Прическа ее представляет собой плотную копну мелких локонов. Интересно, она сама их завивает, щипцами? Навряд ли: это занимало бы каждый день по нескольку часов. Отродясь не видал он вблизи такой tessitura[1]. Прожилки на ушах Бев походят на красно-лиловую филигрань. Как, собственно, и на носу. Хорош также подбородок, будто зоб у голубя, растущий прямиком из груди. В общем, ансамбль на редкость непривлекательный.

Она размышляет над сказанным, видимо оставшись глухой к его тону.

– Да, в нашей стране съедают множество животных, – говорит она. – Не похоже, что это приносит нам большую пользу. Не знаю, как мы сможем оправдаться перед ними. – И затем: – Займемся следующим?

"Оправдаться"? Когда? В день Великой Расплаты? Любопытно было бы побольше услышать об этом, но сейчас не время.

Козел, совсем уже взрослый, едва способен ходить. Половина его мошонки, желто-лиловая, вздулась, как воздушный шарик, другая покрыта запекшейся кровью и грязью. "Это его собаки порвали", – объясняет старуха. Впрочем, выглядит он достаточно бодрым, веселым, боевитым. Пока Бев Шоу осматривает его, он короткой очередью выстреливает на пол несколько катышей. Старуха, держащая козла за рога, притворно его бранит.

Бев Шоу прикасается к мошонке тампоном. Козел лягается.

– Сумеете связать ему ноги? – спрашивает она и показывает как.

Он привязывает правую заднюю ногу козла к правой передней. Тот снова пытается лягнуться, но лишь пошатывается. Бев мягко протирает рану тампоном. Козел дрожит, блеет: неприятный звук, низкий и хриплый.

Когда грязь сходит, он видит, что в ране кишат белые черви, помавающие слепыми головками в воздухе. Его передергивает.

– Мясные мухи, – говорит Бев. – По меньшей мере недельные. – Она поджимает губы. – Вам следовало давным-давно привести его к нам, – говорит она старухе.

1. Здесь: текстура, сплетение (*итал.*).

— Да, — отвечает та, — собаки совсем замучили. Экая жалость, экая жалость! Такого самца меньше чем за пять сотен рандов не купишь.

Бев Шоу выпрямляется.

— Прямо не знаю, как и быть. Чтобы самой произвести ампутацию, мне не хватит опыта. По четвергам принимает доктор Остхейзен, хозяйка может дождаться его, но бедняга все равно останется стерильным, а нужно ли ей это? Да еще антибиотики. Готова ли она потратиться на антибиотики?

Бев снова опускается рядом с козлом на колени, утыкается макушкой ему в шею, поглаживает ее снизу вверх шапкой своих волос. Козел дрожит, но стоит спокойно. Бев жестом велит старухе отпустить рога. Старуха подчиняется. Козел стоит без движения.

Бев переходит на шепот:

— Ну что скажешь, дружок? — слышит он. — Что скажешь? Может быть, хватит?

Козел стоит неподвижно, словно загипнотизированный. Бев Шоу продолжает поглаживать его головой. Кажется, что и сама она впала в транс.

Наконец она встряхивается и встает.

— Боюсь, слишком поздно, — говорит она старухе. — Я не в силах помочь ему. Вы можете подождать до четверга, в четверг будет врач, или оставьте его у меня. У него будет легкий конец, он позволит мне сделать это для него. Ну что? Оставите?

Старуха колеблется, затем отрицательно трясет головой. И тянет козла к двери.

— Вы можете привести его ко мне попозже, — говорит Бев Шоу. — Я помогу ему уйти, вот и все.

Хоть Бев и пытается справиться с голосом, он слышит в нем нотки поражения. И козел тоже их слышит: он дергается, пытаясь выпутаться из ремня, взбрыкивая, пригибаясь; непристойная опухоль трясется у него под хвостом. Старуха сдирает ремень, бросает в сторону. Они уходят.

— О чем это вы говорили? — спрашивает он.

Бев Шоу закрывает лицо, сморкается.

— Ничего, ничего. Я держу для плохих случаев достаточно летала, но принуждать владельцев животных мы не вправе. Это их животные, и они предпочитают убивать их по-своему. Какая жалость! Такой достойный малый, храбрый, прямой, уверенный в себе!

Летал — название лекарства? Он не стал бы пользоваться таким вне стен фармацевтической компании. Внезапная тьма, восстающая из вод Леты.

— Возможно, он понял больше, чем вам кажется, — говорит он. К собственному изумлению, он пытается утешить ее. — Возможно, бедолага уже проходил через это. Родился с предвидением, так сказать. В конце концов, это Африка. Коровы и козы жили здесь с начала времен. Им не надо объяснять, что такое сталь и огонь. Они знают, как приходит смерть. Рождаются подготовленными.

— Вы так считаете? — говорит Бев. — А вот я не уверена. Не думаю, что мы готовы умереть, любой из нас, когда некому нас проводить.

Все начинает вставать на места. У него появляются первые отдаленные представления о задаче, выполнение которой взвалила на свои плечи эта маленькая некрасивая женщина. Унылое строение, в котором она работает, это не место целения — ее врачевание выглядит для этого

слишком любительским, — но последний приют. Он вспоминает рассказ о... — кто это был? святой Губерт? — о человеке, давшем прибежище задыхающемуся оленю, который, обезумев, ворвался в его часовню, спасаясь от охотничьих собак. Бев Шоу не ветеринар, она жрица, пропитанная суевериями нью-эйджа[1] и пытающаяся, что совершенно абсурдно, облегчить бремя страдающих животных Африки. Люси полагала, что она покажется ему интересной. Люси ошиблась. Интересная — не то слово.

Всю вторую половину дня он проводит в хирургической, помогая в меру своих возможностей. Когда уходит последний клиент, Бев ведет его во двор, на экскурсию. В птичьей клетке только один постоялец — молодой коршун-рыболов со сломанным крылом. Все остальные обитатели двора — это собаки: не ухоженные и чистокровные, как у Люси, а тощие дворняги, почти под завязку заполняющие два загона, брешущие, скулящие, подскакивающие от возбуждения.

Он помогает ей раздать сухой корм и наполнить поилки. Корма уходит два десятикилограммовых мешка.

— Как же вы все это оплачиваете? — спрашивает он.

— Покупаем оптом. Время от времени проводим сбор средств. Получаем пожертвования. Бесплатно холостим животных, за это нам выделяют субсидии.

— И кто их холостит?

— Наш ветеринар, доктор Остхейзен. Но он приходит сюда только раз в неделю, во второй половине дня.

Он смотрит, как едят собаки. Удивительно, но драк почти не происходит. Те собаки, что помельче и послабее, держатся сзади, смирясь со своей участью, дожидаясь очереди.

— Беда в том, что их слишком много, — говорит Бев Шоу. — Они этого, конечно, не понимают, а у нас нет способов им все объяснить. Слишком много — это по нашим меркам, не по их. Дай им волю, они все плодились бы и размножались, пока не заселили бы землю. Им не кажется, что иметь как можно больше детей — это плохо. Чем больше, тем веселее. То же и с кошками.

— И с крысами.

— И с крысами. Да, кстати, когда придете домой, проверьте, не нахватались ли блох.

Одна из собак, наевшись, — глаза ее сияют от блаженства, — обнюхивает сквозь сетку его пальцы и облизывает их.

— Они большие эгалитаристы, верно? — замечает он. — Никаких классов. Никто не представляется им слишком высокопоставленным и могущественным, чтобы у него нельзя было понюхать под хвостом.

Он приседает на корточки, позволяя собаке принюхаться к его лицу, к дыханию. У нее смышленая, как ему кажется, морда, хотя, возможно, никакой смышленостью она не отличается.

— И всем им предстоит умереть? — спрашивает он.

— Тем, которые никому не нужны. Мы их усыпляем.

— И занимаетесь этим вы?

— Да.

— Вам не противно?

1. Нью-эйдж (New Age) — тип современного мировоззрения, объединяющий в себе представления, почерпнутые из традиционных религий, оккультизма, шаманизма, эзотерики и т. д.

— Противно. Еще как противно. Но я не хотела бы, чтобы это делал за меня человек, которому не противно. Вот вы — не возьметесь?

Некоторое время он молчит. Затем:

— Вы знаете, почему дочь послала меня к вам?

— Она сказала мне, что у вас неприятности.

— Не просто неприятности. То, что, как мне представляется, можно назвать бесчестьем.

Он всматривается в Бев. Похоже, она чувствует себя неловко; впрочем, не исключено, что это ему лишь кажется.

— Зная об этом, согласитесь ли вы и дальше прибегать к моим услугам?

— Если вы готовы... — Она разводит ладони в стороны, прижимает их одну к другой, снова разводит. Она не знает, что сказать, а он не приходит ей на помощь.

Прежде он останавливался у дочери лишь на короткое время. Теперь же он делит с нею ее дом, ее жизнь. Необходимо соблюдать осторожность, не позволять старым привычкам, отцовским привычкам, тайком вернуться назад: не следует самому надевать на вертушку свежий рулончик туалетной бумаги, гасить свет, сгонять кошку с софы. Упражняйся в приготовлении к старости, наставляет он себя. Учись приспосабливаться. Упражняйся, тебе еще жить да жить в доме для престарелых.

Притворившись уставшим, он уходит после ужина в свою комнату, куда доносятся еле слышные звуки, указывающие, что Люси живет своей жизнью: скрип выдвигаемых и задвигаемых ящиков, бормотание радио, приглушенный разговор по телефону. Уж не в Йоханнесбург ли она звонит, не с Хелен ли разговаривает? Не его ли присутствие здесь удерживает их в разлуке? Осмелились бы они лечь вместе в постель, пока он в доме? И если бы ночью вдруг заскрипела кровать, смутились ли бы? Достаточно ли бы смутились, чтобы остановиться? Но что он знает о том, чем занимаются одна с другой женщины? Может, кровати под ними вовсе и не скрипят? И что знает он, в частности, об этих двух, Люси и Хелен? Возможно, они спят вместе так же, как спят вместе дети, крепко обнявшись, трогая друг дружку, хихикая, воскрешая девчоночьи годы, — скорее сестры, чем любовницы? Вместе в постели, вместе в ванне, вместе пекут имбирные коврижки, примеряют платья друг дружки. Сапфическая любовь: хорошее оправдание для лишнего веса.

Правда состоит в том, что ему не по сердцу мысль о дочери, содрогающейся от страсти в объятиях другой женщины, да к тому же еще и некрасивой. Но разве стал бы он счастливее, если б любовником ее был мужчина? Чего он хочет для Люси на самом-то деле? Не того, чтобы она навсегда осталась ребенком, вечно невинной, вечно принадлежащей только ему, — определенно не этого. Но он отец, такова его доля, а отец, старея, все сильней и сильней привязывается — тут уж ничего не поделаешь — к дочери. Она обращается во второе его спасение, в невесту его возрожденной юности. Не диво, что в сказках королевы норовят затравить своих дочерей собаками!

Он вздыхает. Бедная Люси! Бедные дочери! Что за участь, какое бремя приходится им нести! Да и сыновья: им тоже невзгод хватает, хотя об этом он знает меньше.

Хорошо бы заснуть. Но он озяб, и сна у него ни в одном глазу.

Он встает, набрасывает на плечи куртку, возвращается в постель. Он читает письма Байрона 1820 года. Потучневший, пожилой в свои тридцать два, Байрон живет с семейством Гвиччиоли в Равенне: с Терезой, его услужливой коротконогой любовницей, и с ее учтивым, недоброжелательным мужем. Летняя жара, вечерние чаепития, провинциальные сплетни, почти не скрываемая зевота. "Женщины сидят кружком, мужчины играют в скучнейший фараон, — пишет Байрон. Адюльтер заставляет его вновь открыть для себя всю скуку супружества. — Я всегда считал тридцатилетие барьером на пути какого бы то ни было подлинного или неистового наслаждения страстью".

Он опять вздыхает. Сколь кратко лето перед приходом осени, а там и зимы! Читает он за полночь, но заснуть ему так и не удается.

Глава одиннадцатая

Сегодня среда. Он поднимается рано, однако Люси все равно опережает его. Он находит ее на запруде, любующейся дикими гусями.

— Какие же они красивые, — говорит Люси. — И каждый год возвращаются. Всегда одна и та же троица. Мне так повезло, что они меня навещают. Я кажусь себе избранной.

Троица. Это могло бы стать своего рода решением. Он, Люси и Мелани. Или он, Мелани и Сорайа.

Они завтракают, потом выводят на прогулку двух доберманов.

— Как ты думаешь, ты смог бы жить в этих местах? — ни с того ни с сего спрашивает Люси.

— Зачем? Тебе нужен новый собачник?

— Нет, я не к тому. Но ты ведь наверняка мог бы получить работу в университете Родса — у тебя же есть там связи — или в Порт-Элизабет.

— Не думаю, Люси. Я утратил рыночный потенциал. Скандал прилип ко мне, он последует за мной повсюду. Нет, если искать работу, то какую-нибудь неприметную, вроде счетовода, если они еще существуют, или уборщика на псарне.

— Но если ты хочешь положить конец сплетням, разве тебе не следует бороться за себя? Ведь от того, что ты сбежишь, слухи только умножатся.

В детстве Люси была девочкой тихой, старавшейся не лезть на глаза; она наблюдала за ним, но, сколько он помнит, никогда никаких суждений не высказывала. Теперь, на третьем десятке лет, она начала отделяться от него. Собаки, возня с огородом, книги по астрологии, бесполая одежда — во всем узнает он попытку утвердить свою независимость, попытку обдуманную, взвешенную. К тому же сводится и стремление обходиться без мужчин. Она сама строит свою жизнь. Выходя из его тени. И прекрасно! Он это одобряет!

— По-твоему, я именно так и поступил? — спрашивает он. — Сбежал с места преступления?

— Ну, ты же устранился. С практической точки зрения тут нет никакой разницы.

— Ты, голубка моя, не поняла самой сути. То дело, которое тебе хочется, чтобы я выиграл, выиграть уже невозможно, basta. Не в наши дни. Если я и попробую, никто меня слушать не станет.

— Неправда. Даже если ты тот, кем себя считаешь, то есть динозавр в нравственном отношении, все равно каждому любопытно будет послушать говорящего динозавра. И мне не меньше других. В чем оно состоит, твое дело? Давай-ка послушаем.

Он колеблется. Действительно ли ей хочется, чтобы он открыл ей побольше интимных подробностей?

— В основе моего дела лежит право на вожделение, — говорит он. — В нем чувствуется рука того самого бога, который заставляет трепетать даже мелких пичуг.

Он видит себя в квартире девушки, в ее спальне — снаружи льет дождь, от обогревателя в углу тянет масляным запахом, он стоит над ней на коленях, раздевая ее, руки девушки свисают, как у покойницы. "Я был служителем Эроса", — вот что он хочет сказать, но хватит ли ему на это бесстыдства? "Бог направлял меня". Какое тщеславие! И все-таки не ложь, не целиком и полностью. Вся эта несчастная история возникла не на пустом месте, она возросла на обильной, плодородной почве — той, что дает жизнь самым красивым цветам. Если бы он только знал тогда, как мало у него времени!

Он заговаривает снова, теперь медленнее:

— Когда ты была маленькая, мы жили в Кенилворте, у наших соседей была собака, золотистый ретривер. Не знаю, помнишь ли ты ее.

— Смутно.

— Собственно, это был кобель. Стоило какой-нибудь суке появиться поблизости, как он забывал обо всем на свете, становился неуправляемым, и хозяева с павловской регулярностью лупили его. Продолжалось это до тех пор, пока бедный пес не запутался окончательно. В итоге он, почуяв запах суки, принимался метаться по двору, прижав уши, поджав хвост, скуля и норовя где-нибудь спрятаться.

Он замолкает.

— Не понимаю, к чему ты это? — спрашивает Люси.

И действительно, к чему?

— В этом зрелище было нечто настолько постыдное, что оно приводило меня в отчаяние. Мне кажется, можно наказывать собаку за какой-то проступок, скажем за изжеванный тапок. И собака примет наказание как должное: сжевала — получи. Но вожделение — это совсем иное дело. Ни одно животное не сочтет справедливым наказание, полученное за то, что оно следовало своим инстинктам.

— Значит, мы должны позволить мужчинам без удержу следовать их инстинктам? В этом и состоит мораль?

— Нет, мораль не в этом. Постыдность увиденного мной в Кенилворте в том, что бедный пес возненавидел собственную природу. Его больше и бить-то было не нужно. Он старался наказать себя сам. Всего лучше было бы пристрелить его.

— Или кое-что отрезать.

— Быть может. Но думаю, в глубине души он предпочел бы пулю. Предпочел бы другим предлагаемым ему возможностям: с одной стороны, отказаться от своей природы, с другой — провести остаток дней, слоняясь по гостиной, вздыхая, обнюхивая кошку и жирея.

— И ты всегда держался таких взглядов, Дэвид?

— Нет, не всегда. Временами прямо противоположных. Считал вожделение бременем, без которого мы вполне могли бы обойтись.

— Должна сказать, — произносит Люси, — что сама я склоняюсь к последней точке зрения.

Он ждет продолжения, но продолжения не следует.

— Во всяком случае, — говорит Люси, — если вернуться к нашей теме, тебя благополучно прогнали. Твои коллеги снова могут дышать спокойно, пока козел отпущения блуждает в пустыне.

Утверждение? Вопрос? Она действительно считает его козлом отпущения?

— Не думаю, что "козел отпущения" наилучшая формулировка, — осторожно начинает он. — Козлы отпущения приносили практическую пользу, пока за ними стояла мощь веры. Ты взваливал все грехи города на козлиную спину, выгонял его в пустыню, и готово — город очищался. Процедура срабатывала, поскольку все, включая богов, понимали значение обряда. Потом боги умерли, и вдруг выяснилось, что очищать город придется без помощи свыше. Взамен символических действий понадобились реальные. Так появился цензор[1] в римском смысле этого слова. Девизом стал надзор: надзор всех за всеми. Очищение сменилось чисткой.

Опять его потянуло лекцию читать.

— Как бы там ни было, — говорит он, закругляясь, — сказав городу "прости", какое занятие отыскал я для себя в пустыне? Лечу собак. Изображаю незаменимого помощника при женщине, которая специализируется в стерилизации и эвтаназии.

Люси смеется.

— Бев? Ты считаешь Бев частью механизма подавления? Да ты внушаешь ей благоговение! Ты же профессор. А она никогда еще не видела настоящего, почтенного профессора. Она боится сделать в твоем присутствии грамматическую ошибку.

По тропе навстречу им идут трое мужчин, вернее, двое мужчин и юноша. Идут быстро, размашистой походкой сельских жителей. Собаки замедляют шаг, ощетиниваются.

— Не пора ли нам занервничать? — негромко произносит он.

— Не знаю.

Она берет доберманов на короткий поводок. Мужчины приближаются. Кивок, приветствие, и они проходят мимо.

— Кто это? — спрашивает он.

— Никогда их в глаза не видала.

Они доходят до границы фермы, поворачивают назад. Чужаков нигде не видно.

Подходя к дому, они слышат истошный собачий лай. Люси убыстряет шаг.

Вся троица здесь, поджидает их. Двое стоят в сторонке, юнец около клеток шипит на собак, делает резкие, угрожающие движения. Собаки неистово лают, щелкают зубами. Доберманы рвутся с поводка. Даже старая бульдожиха, которую он уже привык считать своей, негромко рычит.

— Петрас! — зовет Люси. Но Петраса нет и в помине. — Отойди от собак! — кричит она. — Hamba!

Юнец неторопливо отходит от клеток и присоединяется к товарищам. У него плоское, невыразительное лицо и поросячьи глазки; он в цветастой рубашке, мешковатых брюках, желтой соломенной шляпчон-

1. Одно из двух должностных лиц, следивших в Древнем Риме за благонадежностью граждан.

ке. Оба его товарища в рабочих комбинезонах. Тот, что повыше хорош собою, на редкость хорош — высокий лоб, лепные скулы, широкие, выпуклые ноздри.

При приближении Люси собаки успокаиваются. Она открывает третий вольер и загоняет туда доберманов. Отважный жест, думает он про себя; вот только разумный ли?

Люси обращается к мужчинам:

— Что вам нужно?

Отвечает юнец:

— Нам нужно позвонить.

— Зачем?

— Его сестра... — юнец неопределенно тычет пальцем себе за спину, — ей плохо.

— Плохо?

— Да, очень плохо.

— Что с ней такое?

— Рожает.

— Его сестра рожает?

— Да.

— Откуда вы?

— Из Эразмускрааля.

Он и Люси обмениваются взглядами. Эразмускрааль — это деревушка в лесной глухомани, без электричества и телефона.

— Почему вы из лесничества не позвонили?

— Так там телефона нету.

— Побудь здесь, — вполголоса говорит ему Люси и снова обращается к юнцу: — Кто из вас будет звонить?

Юнец указывает на высокого красавца.

— Пойдемте, — говорит Люси и, отперев заднюю дверь, входит в дом.

Высокий следует за ней. Чуть погодя второй мужчина, обойдя его, тоже скрывается в доме. Что-то не так, мгновенно понимает он.

— Люси, выходи оттуда! — кричит он, на миг растерявшись, не понимая, что делать — последовать ли за вторым пришлецом или остаться здесь, чтобы не упускать из виду юнца.

Из дома не доносится ни звука.

— Люси! — снова зовет он и почти уже входит в дом, но тут щелкает дверной замок.

— Петрас! — что есть мочи кричит он.

Юнец, развернувшись, несется к передней двери. Он спускает бульдожиху с цепи. "Взять!" — кричит он. Собака тяжело трусит за юнцом.

Он нагоняет их у входа в дом. Юнец, подхватив с земли жердину, старается не подпустить к себе собаку. "Шу... шу... шу!" — пыхтит он, делая выпады палкой. Собака, негромко рыча, заходит то слева, то справа.

Бросив их, он устремляется к кухонной двери. Нижняя створка ее закреплена слабо: несколько сильных ударов, и она отворяется. Встав на четвереньки, он забирается в кухню.

На затылок его обрушивается удар. Он еще успевает подумать: "Раз я в сознании, значит, жив", но тут руки и ноги его обмякают и он валится на пол.

Он осознает, что его волокут по кухне. Затем лишается чувств.

Он лежит лицом на холодных кафельных плитках. Пытается встать, однако ноги почему-то не слушаются его. Он снова закрывает глаза.

Он в уборной, уборной в доме Люси. Пошатываясь, он поднимается на ноги. Дверь заперта, ключ исчез.

Он садится на унитаз, пытается собраться с мыслями. В доме тихо; собаки, правда, лают, но, похоже, больше из чувства долга, чем от злобы.

— Люси! — хрипит он, затем громче: — Люси!

Он пытается вышибить дверь, но силы у него сейчас не те, в уборной тесно, а дверь слишком стара и крепка.

Вот он и настал, день испытаний. Без предупреждения, без фанфар день этот пришел, сразу взяв его в оборот. Сердце в груди колотится так, словно и оно, бессловесное, тоже знает об этом. Как они вынесут испытание, он и его сердце?

Дитя его в руках чужаков. Еще минута, час, и будет слишком поздно, то, что с ней сейчас происходит, станет высеченным в камне, обратится в прошлое. Но *сейчас*, сейчас еще не поздно. *Сейчас* он должен хоть что-то сделать.

Он изо всех сил напрягает слух, но из дома не доносится ни звука. И все же если б дочь позвала его, даже немо, он, конечно, услышал бы!

Он колотит по двери.

— Люси! — кричит он. — Люси! Скажи что-нибудь!

Дверь распахивается, почти сбивая его с ног. На пороге второй мужчина, тот, что пониже, — стоит, держа за горлышко пустую литровую бутылку.

— Ключи, — говорит он.

— Нет.

Мужчина толкает его в грудь. Несколько шатких шагов назад, и он почти падает на сиденье унитаза. Мужчина заносит бутылку над головой. Лицо у него спокойное, без признаков раздражения. Человек просто делает свое дело: заставляет ближнего отдать то, что ему нужно. Если при этом приходится бить кого-то бутылкой по голове, он бьет — столько раз, сколько потребуется, — если приходится разбивать бутылку, он разбивает.

— Берите, — говорит он. — Берите все. Только дочь не трогайте.

Мужчина молча берет ключи и снова запирает его.

Он дрожит. Опасная троица. Почему он не понял это вовремя? Но ему они вреда не причинили, пока. Возможно ли, что они удовлетворятся найденным в доме? Возможно ли, что они и Люси не причинят вреда?

Откуда-то из-за дома доносятся голоса. Лай становится громче, взволнованнее. Он забирается на унитаз, смотрит сквозь прутья оконной решетки.

Второй мужчина, с ружьем Люси в одной руке и набитым чем-то мешком для мусора, как раз сворачивает за угол. Хлопает дверца машины. Он узнает звук: это его машина. Мужчина возвращается с пустыми руками. Какой-то миг они глядят прямо в глаза друг другу. "Здоро́во!" — произносит мужчина, хмуро ухмыляется и затем выкрикивает несколько непонятных слов. Слышится взрыв смеха. Секунду спустя к мужчине присоединяется юнец, они стоят под окном, разглядывая своего узника, обсуждая его дальнейшую участь.

Он говорит по-итальянски и по-французски, но ни итальянский, ни французский не спасут его здесь, в черном сердце этого черного континента. Он беспомощен — тетушка Салли, персонаж комикса, миссионер в сутане и тропическом шлеме, с заломленными руками и опущенным

долу взглядом ожидающий, когда дикари, неспешно переговаривающиеся на своей тарабарщине, бросят его в котел с кипящей водой. Труды проповедников — какие следы оставила эта грандиозная попытка духовного просветления? Он их, во всяком случае, не видит.

Теперь со стороны фасада появляется высокий, в руках у него ружье. С непринужденностью, свидетельствующей о немалом опыте, он вгоняет патрон в казенник и просовывает дуло в собачий вольер. Самая крупная из немецких овчарок, из пасти которой капает яростная слюна, вцепляется в дуло. Гулкий выстрел, кровь и мозги разлетаются по вольеру. На миг лай стихает. Высокий стреляет еще дважды. Одна из собак, с простреленной грудью, умирает мгновенно; другая, с зияющей на шее раной, тяжело оседает и, прижав уши, следит за движениями существа, которое не потрудилось даже нанести ей coup de grâce[1].

Повисает тишина. Три оставшиеся собаки, которым некуда спрятаться, отступают в дальний конец вольера и кружат там, поскуливая. Высокий не спеша пристреливает и их.

Шаги в коридоре, дверь уборной снова распахивается. Перед ним второй из налетчиков; на заднем плане виден мальчишка в цветастой рубашке, угощающийся из маленького бочоночка мороженым. Плечом вперед он пытается протиснуться мимо пришлеца и тут же валится на пол. Умелая подсечка — верно, научился ей, играя в футбол.

Пока он лежит, распластавшись, на полу, его с головы до ног обливают какой-то жидкостью. Жидкость ест глаза, он пытается стереть ее. Знакомый запах — денатурат. Он хочет приподняться, но его толкают назад, в уборную. Чиркает спичка, холодноватое синее пламя мгновенно охватывает его.

Выходит, он ошибся! Ни ему, ни дочери легко отделаться не удалось! Он может сгореть, умереть, а если *он* может умереть, то и Люси тоже, Люси прежде всего!

Как безумный, он хлещет себя ладонями по лицу, но уже занимаются, потрескивая, волосы; он бьется о стены уборной с бессмысленным воем, в котором нет слов, один только ужас. Он снова пытается встать, и снова его валят на пол. На миг зрение его проясняется, и в дюйме от своего лица он видит синюю штанину и башмак. Носок башмака загнулся кверху, к подошве пристало несколько травинок.

Пламя бесшумно танцует на руках. С трудом привстав на колени, он окунает руки в унитаз. За спиной его хлопает дверь, поворачивается в замке ключ.

Согнувшись над унитазом, он плещет воду себе на лицо, обливает голову. Отвратительный запах паленых волос. Он поднимается на ноги, сбивает с одежды последние язычки пламени.

Он промокает лицо комками туалетной бумаги. Глаза жжет, одно веко почти закрылось. Он проводит ладонью по голове, и кончики пальцев чернеют от сажи. Если не считать клока за одним ухом, волос у него, похоже, не осталось, к голове больно прикасаться. Ко всему больно прикасаться, все обгорело. Горело, обгорело.

— Люси! — кричит он. — Ты здесь?

Перед глазами его встает картина: Люси, борющаяся сразу с двумя мужчинами в синих комбинезонах, отбивающаяся от них. Он весь сжимается, стараясь отогнать видение.

1. Последний удар (*франц.*).

Мотор его машины заводится, слышен хруст гравия под колесами. Так это все? Боже мой, неужели они уезжают?

— Люси! — снова и снова зовет он, пока сам не замечает ноты безумия в своем голосе.

Наконец в замке скрежещет, да благословят его небеса, ключ. Когда он открывает дверь, Люси уже успевает повернуться к нему спиной. Она в халате, босая, волосы мокрые. Он тащится за нею на кухню, где холодильник стоит распахнутым настежь и по всему полу раскиданы продукты. Люси замирает у задней двери, оглядывая последствия учиненной в собачьих загонах бойни. Он слышит ее шепот: "Бедные вы мои, бедные!"

Она открывает первый вольер, входит внутрь. Пес с раной на горле каким-то образом еще ухитряется дышать. Она склоняется над раненым, произносит несколько слов. Пес слабо повиливает хвостом.

— Люси! — вновь окликает он, и Люси впервые обращает на него взгляд. Лицо ее еще пуще мрачнеет.

— Господи, что они с тобой сделали? — произносит она.

— Девочка моя! — говорит он и, войдя в вольер, обнимает ее. Она высвобождается, мягко, но решительно.

В гостиной все вверх дном, в его комнате тоже. Исчезли кое-какие вещи: куртка, туфли, те, что получше, но это, конечно, не все.

Он смотрится в зеркало. Бурый пепел — то, что осталось от его волос — покрывает макушку и лоб. Под пеплом воспаленно краснеет кожа. Он прикасается к ней: больно, и уже начинает сочиться кровь. Одно веко раздулось, закрыв глаз, бровей нет, ресниц тоже.

Он направляется к ванной комнате, но дверь ее заперта.

— Не входи, — слышится голос Люси.

— Ты не пострадала? Не ранена?

Дурацкие вопросы; она не отвечает.

Он пытается смыть пепел над кухонной раковиной, выливая на голову один стакан воды за другим. Вода течет по спине, его начинает трясти от холода. Такие вещи случаются каждый день, каждый час, каждую минуту, говорит он себе, в каждом уголке страны. Считай, что тебе повезло, ты остался в живых. Считай, что тебе повезло, ты не сидишь сейчас заложником в собственной, несущейся неизвестно куда машине, не лежишь с пулей в голове на дне ущелья. Считай, что повезло и Люси. Люси прежде всего.

Риск обладания: машиной, парой туфель, пачкой сигарет. Всего же не хватает — машин, туфель, сигарет. Людей слишком много, вещей слишком мало. Те, что имеются в наличии, должно пускать по кругу, чтобы у каждого был шанс хоть денек да побыть счастливым. Такова теория — держись за нее и за доставляемое ею утешение. Не зло, коренящееся в человеке, а просто система кругооборота, функционирование которой не имеет никакого отношения ни к ужасу, ни к жалости. Вот как следует рассматривать жизнь в этой стране, в таком примерно схематическом аспекте. Иначе можно спятить. Машины, туфли, да и женщины тоже. В системе должна быть какая-то ниша для женщин и для того, что с ними случается.

Люси подходит к нему сзади. На ней широкие брюки и дождевик; волосы зачесаны назад, лицо чистое и совершенно пустое. Он заглядывает в ее глаза.

— Милая, милая... — бормочет он и давится внезапно нахлынувшими слезами.

Она не делает ни малейшей попытки успокоить его.

— Голова у тебя выглядит просто жутко, — произносит она. — В ванной, в шкафчике, есть детский крем. Намажься. Машину твою угнали?

— Да. Думаю, они направились в сторону Порт-Элизабет. Я позвоню в полицию.

— Не получится. Телефон разбит.

Она оставляет его одного. Он сидит на кровати, ждет. Хоть он и завернулся в одеяло, его продолжает трясти. Одно запястье распухло, в нем пульсирует боль. Как он его повредил, он не помнит. Уже темнеет. Кажется, что вся вторая половина дня пролетела в одно мгновенье.

Люси возвращается.

— У комби проколоты шины, — говорит она. — Пойду к Эттингеру. Это недолго. — И, немного помолчав: — Дэвид, когда тебя будут расспрашивать, говори только о себе, о том, что было с тобой, ладно?

Он не понимает.

— Ты говоришь, что случилось с тобой, я говорю, что случилось со мной, — поясняет она.

— Ты совершаешь ошибку, — произносит он голосом, который быстро вырождается в хрип.

— Нет, не совершаю, — отвечает она.

— Девочка моя, девочка! — говорит он, протягивая к ней руки.

Она не делает ни шага навстречу, и потому он отбрасывает одеяло, встает и обнимает ее. В его объятиях она остается застылой, деревянной, как столб, неподатливой.

Глава двенадцатая

Эттингер оказывается хмурым стариком, говорящим по-английски с нарочитым немецким акцентом. Жена его умерла, дети вернулись в Германию, только он один и остался в Африке. Старик и сидящая с ним рядом Люси приезжают в маленьком пикапе и ждут, не выключая двигателя.

— Да-а, я без "беретты" никуда ни шагу, — сообщает Эттингер, когда они выезжают на Грейамстаунское шоссе, и похлопывает по висящей на бедре кобуре. — Самое милое дело — охраняй себя сам, потому что полиция тебя охранять не намерена, только не в наши дни, это уж будьте уверены.

Эттингер прав? Имейся у него пистолет, он мог бы спасти Люси? Сомнительно. Имейся у него пистолет, он, скорее всего, был бы сейчас мертв, и он, и Люси.

Руки у него, замечает он, чуть дрожат. Люси скрестила свои на груди. Это потому, что и они дрожат тоже?

Он полагал, что Эттингер свезет их в полицейский участок. Выясняется, однако, что Люси попросила его ехать в больницу.

— Ради меня или ради тебя? — спрашивает он у дочери.

— Ради тебя.

— Разве полиция не захочет поговорить и со мной?

— Нет ничего такого, что сможешь рассказать ты и не смогу я, — отвечает она. — Или есть?

В больнице она направляется прямиком к двери с табличкой "Несчастные случаи", заполняет от его имени формуляр и отводит его в приемную. Она — сама сила, сама целеустремленность, между тем как у него дрожь, похоже, расползается по всему телу.

— Если тебя отпустят домой, подожди здесь, — распоряжается она. — Я за тобой вернусь.

— А как же ты?

Она пожимает плечами. Если она и дрожит, то ничем этого не выдает.

Он усаживается между двумя дюжими девушками, скорее всего сестрами (одна из них держит на руках стонущего ребенка), и мужчиной с пропитанной кровью повязкой на руке. В очереди он двенадцатый. Часы на стене показывают 5.45. Он закрывает уцелевший глаз и проваливается в обморочное забытье, в котором сестры так и продолжают шептаться, chuchoter[1]. Когда он открывает глаз, часы по-прежнему показывают 5.45. Сломались, что ли? Нет: минутная стрелка, дернувшись, замирает на 5.46.

Проходит два часа, прежде чем медицинская сестра выкликает его имя, и приходится еще ждать, пока не наступает его черед увидеть единственного здесь дежурного врача, молодую индианку.

— Ожоги на голове, — говорит она, — несерьезные, нужно лишь остерегаться инфекции.

Глаз отнимает у нее гораздо больше времени. Верхнее и нижнее веки слиплись, разделение их оказывается на редкость болезненным.

— Вам повезло, — говорит она, закончив осмотр. — Глаз не поврежден. Облей они вас бензином, совсем другая была бы история.

Он выходит от нее с забинтованной головой, с закрытым повязкой глазом, с примотанным к запястью пузырем со льдом. В приемной он с удивлением обнаруживает Билла Шоу. Билл, который на голову ниже его, обнимает его за плечи.

— Ужасно, просто ужасно, — говорит он. — Люси останется у нас. Она хотела сама забрать вас отсюда, но Бев и слышать об этом не пожелала. Ну, как вы?

— Более-менее. Легкие ожоги, ничего серьезного. Простите, что мы испортили вам вечер.

— Глупости! — говорит Билл. — Для чего же еще существуют друзья? Вы бы сделали то же самое.

Произнесенные без тени иронии, слова эти застревают в его сознании, не желая никуда уходить. Билл Шоу верит, что если его, Билла Шоу, стукнут по голове, а потом подожгут, то он, Дэвид Лури, приедет в больницу и будет сидеть, не имея даже газеты в руках, дожидаясь, когда Билла можно будет отвезти домой. Билл Шоу верит в это, потому что он и Дэвид Лури как-то раз выпили вместе по чашке чаю и, стало быть, связаны теперь взаимными обязательствами. Прав ли Билл Шоу или ошибается? Неужели Билл, родившийся в Ханки, километрах в двухстах отсюда, и работающий в скобяной лавке, видел в жизни так мало, что даже не ведает о существовании людей, которые не питают особой охоты обзаводиться друзьями, людей, чье отношение к мужской дружбе разъедено скептицизмом? Современное английское "friend", "друг", происходит от староанглийского "freond", а то — от "freon", "любить". Выходит, совме-

1. Шушукаться (*франц.*).

стное чаепитие связует, согласно воззрениям Билла Шоу, людей узами любви? Да, но не будь Бев и Билла Шоу, не будь Эттингера, не будь определенного рода уз, где бы он сейчас находился? На разграбленной ферме со сломанным телефоном, среди мертвых собак.

– Ужасная история, – повторяет Билл Шоу, когда они садятся в машину. – Отвратительная. Читаешь о таком в газете – оторопь берет, но когда оно случается с кем-то, кого ты знаешь, – Билл покачивает головой, – вот тогда до тебя доходит по-настоящему. Как будто вокруг снова идет война.

Он не дает себе труда ответить. День еще не умер, еще живет. "Война", "отвратительная" – каждое слово, которым ты пытаешься подвести черту под этим днем, исчезает в его черном зеве.

Бев Шоу встречает их в дверях.

– Люси приняла успокоительное, – объявляет она, – и легла; ее лучше не трогать.

– Она была в полиции?

– Да, ваша машина объявлена в розыск.

– А с врачом она виделась?

– Все сделано. Вы-то как? Люси сказала, вы сильно обгорели.

– Обгорел, но не так сильно, как кажется.

– Тогда вам надо поесть и отдохнуть.

– Я не голоден.

Бев наполняет для него большую старомодную чугунную ванну. Он вытягивается в парящей воде во всю свою белокожую длину и пытается расслабиться. Однако когда приходит время вылезать из ванны, он оскальзывается и чуть не падает: слаб, как ребенок, да еще и голова кружится. Приходится звать Билла Шоу и, ежась от унижения, принимать помощь, без которой он не смог бы ни выбраться из ванны, ни вытереться, ни влезть в одолженную ему пижаму. Чуть позже он слышит приглушенные голоса Бев и Билла и понимает, что разговор идет о нем.

В больнице его снабдили стеклянным тюбиком с болеутоляющим, пакетом перевязочного материала и приспособлением из алюминия, этакой подпоркой для головы. Бев Шоу постелила ему на пахнущем кошками диване; засыпает он с удивительной быстротой. Среди ночи он просыпается с совершенно ясно головой. Ему явилось видение: Люси звала его, эхо произнесенных ею слов – "Сюда, сюда, спаси меня!" – все еще отдается в ушах. В видении она – с протянутыми к нему руками и зачесанными назад мокрыми волосами – стояла в поле белого света.

Он вскакивает, напарывается на стул, тот падает. Вспыхивает свет, перед ним – Бев Шоу, в ночной сорочке. "Я должен поговорить с Люси", – с трудом произносит он. Во рту пересохло, язык распух.

Дверь, ведущая в комнату Люси, открывается. Она совсем не такая, как в видении. Лицо припухло со сна, она подтягивает пояс халата, явно с чужого плеча.

– Прости, мне приснился сон, – говорит он. Слово "видение" становится вдруг слишком архаичным, слишком фальшивым. – Как будто ты меня позвала.

Люси качает головой.

– Я не звала. Ложись.

Она права, конечно. Три часа утра. Но он поневоле замечает, что во второй раз на дню дочь говорит с ним как с ребенком – ребенком или стариком.

Он пытается заснуть, но не может. Скорее всего, дело в таблетках, решает он: не видение, даже не сон, а так, химическая галлюцинация. И все же женщина в поле света по-прежнему стоит перед его глазами. "Спаси меня!" — кричит дочь, слова ее ясны, звучны, настоятельны. Быть может, душа Люси и вправду приходила к нему, покинув ее тело? Могут ли люди, не верящие в существование душ, все-таки обладать ими, и могут ли души их вести свою, независимую жизнь?

До восхода еще несколько часов. Запястье ноет, глаза жжет, кожа на голове воспалена, болезненно чувствительна. Он тихо включает настольную лампу, встает. Завернувшись в одеяло, толкает дверь Люси и входит. Рядом с кроватью стоит кресло, он садится. Чувства говорят ему, что Люси не спит.

Что он тут делает? Охраняет свою девочку, оберегает ее от беды, отгоняет злых духов. Спустя какое-то время он ощущает, как она расслабляется. Нежный пузырек лопается на ее губах, она еле слышно похрапывает.

Утро. Бев Шоу подает ему завтрак, состоящий из кукурузных хлопьев и чая, и скрывается в комнате Люси.

— Как она? — спрашивает он, когда Бев возвращается.

В ответ Бев лишь слегка качает головой. Не ваше это дело, видно, хочет сказать она. Менструации, роды, изнасилование и то, что за ним, все, замешенное на крови, суть бремя женщины, ее сокровенная тайна.

Уже не в первый раз он задается вопросом: не счастливее были бы женщины, живи они в женских общинах и принимая мужчин только по собственному выбору. Возможно, он ошибается, считая Люси лесбиянкой. Возможно, она просто предпочитает общество женщин. А возможно, в этом и состоит определение лесбиянки: женщина, которой не требуются мужчины.

Неудивительно, что они — Люси и Хелен — относятся к изнасилованию с таким ярым отвращением. Изнасилование, бог хаоса и смешения, осквернитель уединения. Изнасилование же лесбиянки хуже изнасилования девственницы — удар получается куда более чувствительным. Знали ли они, эти трое, с кем имеют дело? Ходили ль уже вокруг разговоры?

В девять, после того как Билл Шоу уходит на работу, он стучится в дверь Люси. Дочь лежит, повернувшись лицом к стене. Он садится с ней рядом, прикасается к ее щеке. Щека мокра от слез.

— Нелегко говорить о таких вещах, — произносит он, — но повидалась ли ты с врачом?

Люси садится, сморкается.

— Я была вчера вечером у терапевта.

— И он позаботился обо всех возможных последствиях?

— Она, — говорит Люси, — она, а не он. Нет, — в ее голосе вдруг проступает гнев, — да и как бы ей это удалось? Как может врач позаботиться обо всех последствиях? Ты все-таки думай, что говоришь!

Он встает. Если ей угодно злиться, то и он это тоже умеет.

— Прости, что спросил, — говорит он. — Какие у нас планы на сегодня?

— Планы? Вернуться на ферму и навести там порядок.

— А потом?

— А потом жить по-прежнему.

— На ферме?

– Разумеется. На ферме.

– Люси, будь благоразумна. Все изменилось. Мы не можем просто начать с того места, на котором нас остановили.

– Это почему же?

– Потому что это нелепая идея. И потому, что там небезопасно.

– Безопасно там никогда не было. И это не идея, нелепая или умная. Я возвращаюсь туда не ради идеи. Просто возвращаюсь.

Сидя на кровати в чужой ночной рубашке, она бросает ему вызов – шея выпрямлена, глаза блестят. Уже не папина девочка, уже больше нет.

Глава тринадцатая

Прежде чем уехать, приходится переменить повязки. В тесной маленькой ванной Бев Шоу разматывает бинты. Веко по-прежнему закрывает глаз, на голове вздулись волдыри, но в общем и целом могло быть и хуже. Самое болезненное место это кромка правого уха, единственное, как сказала молоденькая докторша, что обгорело по-настоящему.

Бев стерильным раствором обмывает вылезшую наружу розовую подкожную ткань, затем с помощью пинцета накладывает поверх нее желтоватую маслянистую повязку. Мягкими касаниями смазывает складки века и ухо. Работает она молча. Он вспоминает клинику, козла и гадает, ощущал ли тот, отдаваясь в ее руки, такой же мир и покой.

– Ну вот, – наконец произносит она, выпрямляясь.

Он разглядывает себя в зеркале – аккуратная белая шапочка, закрытый бинтом глаз.

– Полный порядок, – говорит он, но думает при этом: "Вылитая мумия".

Он еще раз пытается поговорить об изнасиловании.

– Люси сказала, что побывала вчера вечером у терапевта.

– Да.

– Существует риск беременности, – торопливо продолжает он. – Риск венерического заболевания. Риск СПИДа. Разве ей не стоит повидаться и с гинекологом?

Бев неуклюже пытается уклониться от разговора.

– Это вы у самой Люси спросите.

– Я спрашивал. Но не добился никакого толка.

– Спросите еще раз.

Уже двенадцатый час, а Люси все еще не вышла. Он бесцельно слоняется по саду. Настроение у него сумрачное. Дело не только в том, что он не знает, чем себя занять. Вчерашние события глубоко потрясли его. Дрожь, слабость – это лишь первые, поверхностные признаки потрясения. У него такое чувство, что зашиблен, подбит какой-то его внутренний, жизненно важный орган – может быть, сердце. Впервые ощущает он вкус того, на что это похоже – быть стариком, человеком, усталым до мозга костей, без надежд, без желаний, равнодушным к будущему. Сгорбясь на пластмассовом стуле, торчащем среди зловонных куриных перьев и гниющих яблок, он ощущает, как интерес к миру капля за каплей истекает из него. Пройдут, возможно, недели, возможно, месяцы, прежде чем интерес этот иссякнет, пока же капли сочатся не переставая, и когда все кончится, он станет похожим на застрявшую в паутине мушиную оболочку, ломкую, легкую, как рисовая шелуха, дунь – и ее нет.

Ждать помощи от Люси не приходится. Терпеливо, безмолвно Люси должна сама отыскивать для себя дорогу из тьмы к свету. Пока же она не придет в себя, ответственность за их повседневную жизнь лежит на нем. Но все произошло слишком быстро. К этой ноше он не готов: ферма, огород, псарня. Будущее Люси, его будущее, будущее страны — все это ерунда, хочется сказать ему; пусть катятся к чертям собачьим, мне наплевать. Что до нагрянувших к ним мужчин, то он желает им всяческих бед, а больше и думать о них не хочет.

Это просто последствия, последствия нападения, говорит он себе. Со временем организм справится с ними, и я, призрак, поселившийся в нем, снова стану тем, кем был. Но правда выглядит совершенно иначе, и он это знает. Наслаждение, которое доставляла ему жизнь, уничтожено. Подобно листку в потоке, подобно грибу-дождевику на ветру, он поплыл, покатил к своему концу. Он видит это более чем отчетливо, и видение наполняет его (слово не желает никуда уходить) отчаянием. Кровь жизни источается из тела, и место ее занимает отчаяние, подобное газу — без запаха, без вкуса, без способности хоть чем-то его напитать. Ты вдыхаешь этот газ, члены твои расслабляются, и тебя уже ничто не заботит, даже в миг, когда горла твоего касается сталь.

Звонок в дверь: двое молодых полицейских в чистеньких новых мундирах, пришедших, чтобы начать расследование. Люси выходит из своей комнаты, вид у нее измученный, на ней та же одежда, что вчера. От завтрака она отказывается. Бев в своем фургончике отвозит его и Люси на ферму, полицейские едут следом.

Тела собак так и валяются по вольерам. Бульдожиха Кэти не сбежала, в какой-то момент они видят ее крадущейся вдоль конюшен, но к ним она не подходит. Петраса по-прежнему нет и в помине.

Войдя в дом, полицейские снимают фуражки, суют их под мышки. Он не принимает участия в разговоре, предоставляя Люси рассказать полицейским то, что она считает нужным рассказать. Полицейские уважительно слушают, один из них записывает каждое слово, ручка нервно рыскает по страницам записной книжки. Они принадлежат к ее поколению и все же держатся от нее на расстоянии, как от существа осквернен-ного, способного и их запятнать своей скверной.

Их было трое, рассказывает Люси, двое мужчин и юноша. Они обманом проникли в дом, забрали (следует перечисление) деньги, одежду, телевизор, проигрыватель для компакт-дисков, ружье с патронами. Когда отец попробовал им воспротивиться, его избили, облили денатуратом и попытались сжечь. Потом перестреляли собак и уехали в его машине. Она описывает мужчин, их костюмы, описывает машину.

Говоря, Люси глядит ему прямо в лицо, словно бы черпая в нем силы или предлагая опровергнуть сказанное. Когда один из полицейских спрашивает: "Как долго длился весь инцидент?", Люси отвечает: "Минут двадцать-тридцать". Неправда, — и он, и она это знают. Гораздо дольше. На сколько? На столько, сколько потребовалось мужчинам, чтобы управиться с хозяйкой дома.

Тем не менее он не вмешивается. "Все ерунда": он едва прислушивается к рассказу Люси. Слова, с прошлой ночи маячившие на границе памяти, начинают обретать законченную форму. "Двух старушек замкнули в сортире, / Они просидели там дня четыре, / Забыли про них нехорошие люди". Сидел замкнутым в сортире, пока пользовались его дочерью. Песенка из детства вернулась, чтобы глумливо ткнуть в него паль-

цем. "Господи боже, что теперь будет?" Будет тайна Люси и его бесчестье.

Полицейские осторожно обходят дом, осматриваются. Ни крови, ни перевернутой мебели. На кухне прибрано (Люси? Когда?). За дверью уборной — две обгорелые спички, которых они даже не замечают.

С двуспальной кровати в комнате Люси снято все белье. "Место преступления", — думает он; и, словно прочитав эту мысль, полицейские выходят, стараясь не встречаться с ним взглядами.

Тихий дом зимним утром, ни больше ни меньше.

— К вам заглянет, чтобы снять отпечатки пальцев, детектив, — говорят они на прощанье. — Постарайтесь ничего не трогать. Если вспомните, что еще у вас взяли, позвоните нам в участок.

Едва они отъезжают, появляется монтер-телефонист, а следом за ним старик Эттингер. По поводу отсутствия Петраса он туманно замечает: "Ни одному из них нельзя верить". Говорит, что пришлет малого, чтобы тот привел комби в порядок.

В прошлом он видел, как при слове "малый" Люси вспыхивала от гнева. Сегодня — никакой реакции.

Он провожает Эттингера до двери.

— Бедная Люси, — говорит Эттингер. — Ей, надо думать, здорово досталось. Хотя могло быть и хуже.

— Да? Это как же?

— Так они ведь могли забрать ее с собой.

Это замечание заставляет его остановиться. Эттингер не дурак.

Наконец он остается наедине с Люси.

— Я похороню собак, если ты покажешь мне где, — говорит он. — Что ты скажешь их владельцам?

— Правду.

— Твоей страховки хватит, чтобы покрыть убытки?

— Не знаю. Не уверена, что страховка предусматривает массовую бойню. Это мне еще предстоит выяснить.

Пауза.

— Почему ты не рассказала им всего, Люси?

— Я рассказала им все. Все — это то, что я им рассказала.

Он с сомнением качает головой.

— Я понимаю, у тебя свои причины, однако уверена ли ты, говоря в более широком плане, что это лучшая линия поведения?

Люси не отвечает, а он не считает пока возможным давить на нее. Но мысли его все обращаются к троице налетчиков, к троице налетчиков, к людям, которых он, вероятно, больше никогда не увидит, но которые стали отныне частью его жизни и жизни дочери. Эти люди будут следить за газетами, прислушиваться к разговорам. И прочитают, что их разыскивают за ограбление и вооруженное нападение, — и только. Тут до них дойдет, что тело той женщины укрыто, как одеялом, молчанием. "Стыдно стало, — скажут они друг другу, — вот и помалкивает", — и будут смачно гоготать, вспоминая свои подвиги. Готова ли Люси порадовать их подобной победой?

Он выкапывает яму на месте, показанном ему Люси, у границы ее владений. Могила для шести взрослых собак: даже при том, что землю недавно перепахали, работа отнимает почти час, и когда он заканчивает, у него ноет спина, ноют руки, снова принимается болеть запястье. Он везет трупы в тачке. Собака с раной на горле так и скалит окровав-

ленные зубы. Все равно, что по рыбам в бочонке стрелять, думает он. Гадостное, но, вероятно, бодрящее занятие, особенно в стране, где ухитрились вывести породу собак, которые начинают рычать, едва учуяв запах чернокожего человека. Приятная послеполуденная работенка, поднимающая, как всякая месть, настроение. Одну за одной он сваливает собак в яму и засыпает землей.

Вернувшись, он обнаруживает Люси ставящей раскладушку в затхлой маленькой кладовке, где у нее хранятся припасы.

— Для кого это? — спрашивает он.

— Для меня.

— А почему не в комнате для гостей?

— Там потолок течет.

— А большая задняя комната?

— Слишком много шума от морозильника.

Неправда. Морозильник в задней комнате разве что мурлычет. Это содержимое его не позволяет Люси спать рядом с ним: требуха, кости, мясо для собак, которым оно уже не понадобится.

— Перебирайся в мою комнату, — говорит он. — А я расположусь здесь.

И сразу уходит, чтобы перенести свои вещи.

Но так ли уж хочется ему селиться в этой каморке с составленными в углу ящиками, полными пустых банок для варенья, с единственным крошечным, глядящим на юг окошком? Если призраки насильников Люси все еще мешкают в ее спальне, их следует выкурить оттуда, а не позволять им обратить эту комнату в свое святилище. И он относит вещи в спальню Люси.

Наступает вечер. Голода они не чувствуют, но ужинать садятся. Ужин — это обряд, а обряды облегчают жизнь.

Как можно мягче он вновь задает все тот же вопрос:

— Люси, голубка, почему ты не хочешь рассказать все? Ведь это преступление. А стать жертвой преступления — тут нет ничего постыдного. Ты же не по собственному выбору ею становишься. Ты — пострадавшая сторона.

Люси, сидящая напротив него за столом, делает, собираясь с силами, глубокий вдох, но затем выпускает воздух из груди и молча трясет головой.

— Можно я попробую догадаться? — спрашивает он. — Ты стараешься напомнить мне о чем-то?

— Стараюсь напомнить тебе о чем?

— О том, что приходится сносить женщинам в руках мужчин.

— Вот уж о чем я вовсе не думала. К тебе это не имеет никакого отношения, Дэвид. Ты хочешь знать, почему я не выдвинула определенного обвинения? Я скажу тебе, при условии, что ты пообещаешь больше этой темы не касаться. Причина в том, что происшедшее, насколько оно касается меня, это целиком и полностью мое личное дело. В другое время, в другом месте его можно было бы считать затрагивающим интересы общества. Но не в этом месте и не в это время. Это дело мое и только мое.

— О каком, собственно, месте ты говоришь?

— О месте, которое называется Южной Африкой.

— Не согласен. Совершенно с тобой не согласен. Ты полагаешь, что, смиренно приняв случившееся, создашь дистанцию между собой и фермерами вроде Эттингера? Полагаешь, что происшедшее здесь было эк-

заменом: ты выдерживаешь его и получаешь диплом, пропуск в будущее, знак на перекладине двери, который заставит пройти мимо язву губительную? Месть устроена совсем иначе, Люси. Месть — как пожар. Чем больше он пожирает, тем голоднее становится.

— Прекрати, Дэвид! Я не желаю слушать болтовню о пожарах и язвах. Я не пытаюсь просто-напросто спасти свою шкуру. Если ты думаешь так, значит, ты ничего не понял.

— А ты помоги мне. Ты хочешь вывести некую формулу личного спасения? Надеешься искупить преступления прошлого, страдая в настоящем?

— Нет. Ты все еще заблуждаешься на мой счет. Вина, спасение — все это абстракции. Я же руководствуюсь совсем не абстракциями. И пока ты хотя бы не попытаешься понять это, я ничем тебе помочь не смогу.

Он хочет возразить, но Люси обрывает его:

— Дэвид, мы договорились. Я не желаю продолжать этот разговор.

Никогда еще не были они так далеки друг от друга, так ожесточены. Его охватывает ужас.

Глава четырнадцатая

Новый день. Звонит Эттингер, предлагает ссудить им ружье, "на это время".

— Спасибо, — отвечает он. — Мы подумаем.

Он берет инструменты Люси и приводит, насколько это ему по силам, в порядок кухонную дверь. Надо бы поставить решетки, обнести ферму забором с крепкими воротами — по примеру Эттингера. Обратить ферму в крепость. Люси же следует купить пистолет, рацию и научиться стрелять. Но неужели она так и будет теперь все время молчать? Она здесь, потому что любит эту землю и старый, ländliche[1] уклад жизни. И если этот уклад обречен, что останется ей любить?

Кэти удается выманить из укрытия и поселить на кухне. Бульдожиха тиха, боязлива и ходит хвостом за Люси, стараясь держаться поближе к ее ногам. Жизнь с каждым мигом меняется, лишается сходства с прежней. Дом кажется чужим, осквернённым; они постоянно настороже, постоянно прислушиваются.

Наконец возвращается Петрас. Старенький грузовик, стеная, одолевает ухабистую подъездную дорогу и останавливается у конюшен. Петрас в тесноватом ему костюме выбирается из кабины, за ним следуют жена и водитель. Мужчины выгружают из кузова картонные коробки, пропитанные креозотом столбы, листы оцинкованного железа, связку пластиковых труб и под конец, с немалым шумом и гамом, двух молодых овец, которых Петрас привязывает к столбу забора. Грузовик, объезжая конюшни, разворачивается по широкой дуге и с лязгом исчезает. Петрас с женой скрываются в конюшне. Над асбестовой трубой очага вырастает дымок.

Он не покидает наблюдательного поста. Немного погодя выходит жена Петраса и широким, привольным движением опорожняет помойное ведро. Статная женщина, думает он, длинная юбка, головной платок

1. Деревенский (*нем.*).

на высоко, как оно принято в деревне, уложенных волосах. Статная женщина, везучий мужчина. Да, но где же они были?

— Петрас вернулся, — говорит он Люси. — С кучей строительных материалов.

— Хорошо.

— Почему он не сказал, что уезжает? Тебе не кажется странным, что он исчез именно в тот день?

— Я не могу распоряжаться Петрасом. Он сам себе хозяин.

Не очень логично, но не будем спорить. Он решил вообще не спорить с Люси до поры до времени.

Люси ничем не занимается, не выражает никаких чувств, не выказывает интереса ни к чему из окружающего. Это ему, ровно ничего не смыслящему в фермерском хозяйстве, приходится выпускать из загончика уток, управляться с системой полива, поить огород, чтобы тот не иссох. Люси час за часом проводит лежа на кровати, глядя в пространство или просматривая старые журналы, запас которых у нее, похоже, неисчерпаем. Она нетерпеливо листает их, словно отыскивая нечто, чего в них нет. "Эдвина Друда" больше не видно.

С запруды он замечает облаченного в рабочий комбинезон Петраса. Странно все-таки, что тот так и не зашел поздороваться с Люси. Он подходит, обменивается с Петрасом приветствиями.

— Вы, наверное, слышали, нас ограбили в среду, пока вас не было.

— Да, — говорит Петрас. — Слышал. Это очень плохо, очень плохое дело. Но теперь у вас все в порядке.

У него все в порядке? И у Люси все в порядке? Петрас что — задал вопрос? Не похоже, однако воспринять сказанное как-то иначе он из соображений приличия не может. Вопрос задан, каков ответ?

— Я жив, — говорит он. — Пока человек жив, у него, я полагаю, все в порядке. Так что да, у меня все в порядке.

Он замолкает, выдерживает паузу, ждет, пока разрастется молчание — молчание, которое Петрас вынужден будет заполнить следующим вопросом: "А как Люси?"

Но он ошибается.

— Люси собирается завтра на рынок? — спрашивает Петрас.

— Не знаю.

— Потому что, если ее там не будет, она потеряет место, — говорит Петрас. — Может быть.

— Петрас хочет знать, собираешься ли ты завтра на рынок, — уведомляет он Люси. — Опасается, что тебя могут лишить места.

— Почему бы вам не поехать вдвоем? — говорит она. — Мне это пока не под силу.

— Ты уверена? Жаль было бы потерять неделю.

Люси не отвечает. Ей не хочется показываться на люди, и он знает почему. Из-за бесчестья. От стыда. Вот чего добились ее визитеры, вот что они сделали с этой уверенной в себе, современной молодой женщиной. Рассказ о содеянном ими расползается по здешним местам, как грязное пятно. Не ее рассказ — их, хозяев положения. Рассказ о том, как они поставили ее на место, как показали ей, для чего существует женщина.

С одним зрячим глазом и перевязанной головой ему и самому неловко появляться на люди. Но ради дочери он отправляется на рынок, сидит

там рядом с Петрасом, терпеливо снося любопытные взгляды, вежливо отвечая тем из знакомых Люси, которые считают необходимым выразить соболезнование. "Да, машины мы лишились, — говорит он. — И собак, разумеется, — всех, кроме одной. Нет-нет, с дочерью все хорошо, ей просто неможется сегодня. Нет, особых надежд мы не питаем, у полиции дел выше головы, вы же знаете. Да, передам непременно".

Он прочитывает сообщение о них, напечатанное в "Геральд". "Неизвестные налетчики" — так названы там эти трое. "Трое неизвестных налетчиков напали на мисс Люси Лури и ее пожилого отца на принадлежащей им небольшой ферме в окрестностях Сейлема, после чего скрылись, прихватив одежду, электронику и огнестрельное оружие. Кроме того, перед тем как уехать на "тойоте-королла" 1993 года, номерной знак CA 507644, они по какой-то странной причуде застрелили шесть сторожевых собак. Мистеру Лури, получившему во время нападения легкие ожоги, была оказана помощь в больнице колонистов, после чего его отпустили домой".

Он доволен, что в сообщении не отмечена связь между мистером Лури, пожилым отцом, и Дэвидом Лури, специалистом по певцу природы Уильяму Вордсворту, состоявшим до недавнего времени в профессорах Технического университета Кейпа.

Что до самой торговли, участвовать в ней ему почти не приходится. Это Петрас быстро и умело раскладывает товар, Петрас называет цены, получает деньги и возвращает сдачу. Собственно говоря, только Петрас и работает, он же просто сидит и пытается согреть руки. Совсем как в былые времена: baas en Klaas[1]. Разве вот никто не ждет, что он станет отдавать Петрасу приказы. Петрас делает то, что следует сделать, только и всего.

Тем не менее выручают они немного, меньше трехсот рандов. Причина тому — отсутствие Люси, тут нечего и сомневаться. Приходится грузить обратно в комби коробки с цветами, мешки с овощами. Петрас покачивает головой. "Нехорошо", — говорит он.

И однако же Петрас так до сих пор и не объяснил свое отсутствие. Разумеется, Петрас обладает полным правом на свободу передвижения и этим правом воспользовался; не меньшее право имеет он и на то, чтобы хранить молчание. Но вопросы-то остаются. Знает ли Петрас тех троих? Не он ли обронил где-то словечко, из-за которого они выбрали в качестве объекта нападения Люси, а, скажем, не Эттингера? Знал ли Петрас наперед, что они замышляют?

В прежние времена можно было бы поговорить с Петрасом начистоту. А поговорив, выйти из себя, прогнать его и нанять взамен кого-то другого. Но Петрас, хоть он и получает жалованье, уже не является, строго говоря, наемным работником. Трудно сказать, кем, строго говоря, является Петрас. Пожалуй, лучше всего подходит слово "сосед". Петрас — сосед, который до поры до времени продает свой труд, потому что ему так удобнее. Продает в силу договора, неписаного договора, в котором ничего не сказано насчет увольнения по подозрению. Они живут теперь в новом мире — он, Люси и Петрас. И Петрас знает это, и он это знает, и Петрас знает, что он это знает.

И при всем том ему легко с Петрасом, более того, он готов, пусть и с оговорками, проникнуться симпатией к нему. Петрас — человек его по-

1. Хозяин и работник (*голл.*).

коления. Несомненно, Петрасу довелось многое пережить, несомненно, ему есть что порассказать. Он был бы не прочь как-нибудь послушать рассказы Петраса. Но предпочтительно не по-английски. Он все больше и больше убеждается, что в Южной Африке по-английски всей правды не передашь. Периоды английской речи, с ее давным-давно окостеневшими предложениями, лишились былой членораздельности, сочлененности, вычлененности. Язык закоченел, точно испустивший дух и затонувший в грязи динозавр. Пройдя через горнило английского языка, рассказ Петраса вышел бы наружу подагрическим старцем.

Что ему нравится в Петрасе, так это лицо, лицо и руки. Если есть на свете такая штука, как добросовестный труд, то внешность Петраса несет его следы. Терпеливый, предприимчивый, крепко стоящий на ногах человек. Пейзанин, paysan[1], человек этой страны. Интриган, плут и, разумеется, лгун, как все пейзане. Честный труд, честное плутовство.

У него имеются кое-какие подозрения относительно того, на что в конечном счете нацелился Петрас. Петрас не удовлетворится тем, что станет вечно перепахивать свои полтора гектара. Люси, может быть, и протянула здесь дольше, чем ее друзья, — что с них взять? хиппи, перекати-поле, — однако для Петраса Люси так и остается пустым человеком, дилетанткой, скорее энтузиасткой фермерской жизни, чем настоящим фермером. Петрас с удовольствием завладел бы землей Люси. А там и землей Эттингера или хотя бы частью ее, достаточной для выпаса скота. Сладить с Эттингером ему будет потруднее. Люси человек случайный, а Эттингер — такой же пейзанин, человек от земли, цепкий, eingewurzelt[2]. Однако Эттингер рано или поздно умрет, а сын Эттингера уехал. Вот тут Эттингер сглупил. У хорошего пейзанина сыновей должно быть побольше.

В будущем, каким его видит Петрас, нет места для людей вроде Люси. Но это не обязательно обращает Петраса во врага. Сельская жизнь всегда отличалась тем, что сосед злоумышлял против соседа, желая ему нашествия вредителей, плохих урожаев, разорения и однако же сохраняя готовность помочь, когда тому станет совсем уж невмоготу.

Худшее, самое мрачное истолкование случившегося, пожалуй, в том, что Петрас подрядил троих чужаков, чтобы те преподали Люси урок, и расплатился с ними награбленным. Но он в это не верит, уж слишком получается просто. Настоящая правда, подозревает он, куда более — он не сразу находит слово — *антропологична;* чтобы докопаться до нее, потребуются месяцы терпеливых, неспешных разговоров с десятками людей, да еще и помощь переводчика.

С другой стороны, он уверен, Петрас знал: что-то готовится — и мог предупредить Люси. Потому-то ему и не удается избавиться от мыслей о Петрасе, махнуть на него рукой.

Петрас спустил из бетонного пруда воду и теперь очищает его от водорослей. Работа малоприятная. Тем не менее он предлагает свою помощь. Втиснув ноги в резиновые сапоги Люси, он спускается в пруд, осторожно ступая по скользкому дну. Некоторое время они усердно трудятся, соскребая, соскабливая грязь с бетона и лопатами выкидывая ее наружу. Затем он прерывает работу.

— Знаете, Петрас, — говорит он, — мне трудно поверить, что пришедшие к нам люди были чужаками. Трудно поверить, что они свали-

1. Крестьянин (*франц.*).
2. Укоренившийся (*нем.*).

лись с неба, сделали свое дело, а после исчезли, как призраки. И трудно поверить, что причина, по которой они выбрали нас, состояла лишь в том, что мы оказались первыми белыми, повстречавшимися им в тот день. Как по-вашему? Я не прав?

Петрас курит трубку, старомодную трубку с изогнутым чубуком и серебряным колпачком на чашечке. Теперь он выпрямляется, достает ее из кармана, откидывает колпачок, набивает чашечку табаком, посасывает незажженную трубку. Задумчиво смотрит поверх стены пруда, поверх холмов, поверх всей этой местности. Лицо его абсолютно безмятежно.

— Их должна поймать полиция, — говорит он. — Полиция должна их поймать и посадить в тюрьму. Такая у нее работа.

— Да, но без помощи со стороны полиция их не отыщет. Эти люди хорошо знали лесничество. Я убежден, что и о Люси они кое-что знали. Спрашивается: откуда, если они чужие в этих краях?

Петрас, пропустив вопрос мимо ушей, сует трубку в карман, откладывает лопату и берется за метлу.

— Это же был не просто грабеж, Петрас, — настаивает он. — Те трое заявились к нам не ради одного грабежа. И не ради того, чтобы сделать со мной вот это, — он прикасается к бинтам, к повязке на глазу. — Они пришли, чтобы сделать еще кое-что. Вы знаете, о чем я говорю, а если не знаете, то уж, верно, способны догадаться. После учиненного ими нельзя ожидать, что Люси будет спокойно жить прежней жизнью. Я отец Люси. Я хочу, чтобы этих людей поймали, судили и наказали. Разве я не прав? Не прав, желая правосудия?

Ему уже все равно теперь, каким способом удастся вытрясти из Петраса хоть несколько слов, он просто хочет услышать их.

— Да нет, вы правы.

Гнев внезапно охватывает его, настолько сильный, что даже берет его врасплох. Он хватает лопату и, ударами сдирая со дна целые комья травы и грязи, через плечо мечет их за стенку пруда. "Ты сам себя взвинчиваешь, — предостерегает он себя. — Прекрати!" И все же в этот миг он с наслаждением вцепился бы Петрасу в глотку. "Если бы это произошло не с моей дочерью, а с вашей женой, — хочет сказать он Петрасу, — вы бы не набивали спокойно трубку, не взвешивали бы с такой рассудительностью слова! Осквернение, — вот то слово, которое ему хотелось вытянуть из Петраса. — Да, это было осквернение, — хотел бы услышать он, — да, это было насилие".

Молча, бок о бок они с Петрасом завершают работу.

Так теперь и проходят дни на ферме. Он помогает Петрасу чистить оросительную систему. Ковыряется в огороде, спасая его от полной погибели. Пакует товары для продажи на рынке. Помогает Бев Шоу в клинике. Метет полы, готовит еду, делает все то, чего больше не делает Люси. Занят он с рассвета и до заката.

Глаз заживает на удивление быстро: всего-то неделя прошла, а он уже видит им. Ожоги заживают медленнее. Он так и ходит с забинтованной головой, носит повязку на ухе. Ухо, когда повязка снимается, оказывается схожим с голым розовым моллюском: он не уверен, что ему хватит смелости когда-нибудь выставить его напоказ.

Он покупает шляпу, чтобы защитить голову от солнца и, до некоторой степени, укрыть от посторонних взглядов лицо. Он старается свыкнуться со своей странноватой внешностью, хуже чем странноватой, от-

талкивающей — жалкое создание, из тех, на кого таращатся разинув рты дети на улицах. "Почему этот дядя такой странный?" — спрашивают они у матерей, а те шикают, заставляя детей замолчать.

В магазины Сейлема он заглядывает так редко, как только может, в Грейамстаун наезжает лишь по субботам. Он вдруг обратился в затворника, в сельского затворника. "Теперь уж не побродишь. Хоть любовь не оскудела и в полях светло как днем". Кто мог подумать, что все окончится так скоро и так внезапно — любовь, прогулки!

У него нет причин полагать, будто слухи об их беде уже расползлись по Кейптауну. И все же ему необходима уверенность, что рассказ о ней не дойдет до Розалинды в искаженном виде. Он дважды пытается дозвониться до нее — безуспешно. На третий раз он звонит ей на работу, в бюро путешествий. Розалинда на Мадагаскаре, сообщают ему, отправилась оглядеться, выяснить, что там к чему; он получает номер ее факса в Антананариву.

Он составляет послание: "Нас с Люси постигли кое-какие неудачи. У меня украли машину, кроме того, произошла потасовка, в которой меня немного помяли. Ничего серьезного — мы оба в порядке, хотя отчасти выбиты из колеи. Решил дать тебе знать об этом на случай, если до тебя дойдут какие-нибудь слухи. Надеюсь, ты приятно проводишь время". Он показывает написанное Люси на предмет утверждения, затем отдает Бев Шоу, чтобы та отправила факс Розалинде, в самую что ни на есть черную Африку.

Люси по-прежнему худо. Она проводит ночи на ногах, уверяя, что не может заснуть, а после полудня он обычно находит ее на софе, спящей, засунув, точно дитя, большой палец в рот. Дочь утратила интерес к еде, притрагиваться к мясу и вовсе отказывается, и чтобы заманить ее за стол, ему приходится готовить непривычные блюда.

Не затем он сюда приехал — не для того, чтобы застрять в глуши и нянчиться с дочерью, отгонять от нее демонов, поддерживать разваливающееся хозяйство. Если у его приезда и была какая-то цель, то состояла она в том, чтобы прийти в себя, собраться с силами. А здесь он что ни день теряет себя.

Демоны и его не обходят стороной. Его посещают собственные ночные кошмары, в которых он лежит в пропитанной кровью постели, или беззвучно вопит задыхаясь, или бежит от человека с лицом как у ястреба, как у бенинской маски, как у Тота. Однажды ночью, наполовину сомнамбула, наполовину помешанный, он сдирает с кровати простыни и даже переворачивает матрас в поисках пятен крови.

И остается еще его байроновский замысел. Из привезенных им книг уцелели только два тома писем — остальные лежали в багажнике угнанной машины. Публичная библиотека Грейамстауна не может предложить ничего, кроме избранных стихотворений. Но так ли уж необходимо ему продолжать чтение? Что еще должен он узнать о времяпрепровождении Байрона и его друзей в старой Равенне? Разве он уже не способен придумать Байрона, подлинного Байрона, да и Терезу тоже?

По правде сказать, он уже несколько месяцев откладывает этот миг — миг, когда придется взглянуть в лицо чистой странице, взять первую ноту, выяснить, чего он, собственно, стоит. В мозгу его запечатлелись отрывки любовного дуэта, вокальные линии сопрано и тенора, которые, подобно змеям, бессловесно обвивают одна другую и расползаются в сто-

роны. Мелодия без кульминации; чешуйчатый шелест, с которым ползут по мраморным лестницам рептилии; а на заднем плане — дрожащий баритон униженного мужа. Быть может, здесь-то это безрадостное трио наконец и явится на свет — не в Кейптауне, но в старинной Кафрарии?

Глава пятнадцатая

Две молодые овцы так и остаются весь день привязанными на проплешине у конюшни. Их блеяние, неутомимое и однообразное, начинает его раздражать. Он отправляется к Петрасу, чинящему, перевернув вверх колесами, велосипед.

— Я насчет этих овец, — говорит он. — Вам не кажется, что мы могли бы привязать их там, где они смогут попастись?

— Они для праздника, — говорит Петрас. — В субботу у меня праздник, я их зарежу. Вы с Люси тоже должны прийти. — Петрас оттирает дочиста руки. — Я приглашаю вас с Люси в гости.

— В субботу?

— Да, в субботу я созываю гостей. Много гостей.

— Спасибо. Но даже если овцы предназначены для праздника, не кажется ли вам, что их следует пасти?

Проходит час, а овцы все еще там, где были, и блеют все так же жалобно. Петраса не видать. Выйдя из себя, он отвязывает овец и пинками гонит к запруде, у которой растет густая трава.

Овцы долго пьют, потом начинают неторопливо пощипывать травку. Это черномордые персиянки одинаковой величины, с одинаковыми метинами и даже движениями. Судя по всему, близняшки, с самого рождения обреченные ножу мясника. Что же, обычное дело. Когда овца в последний раз умирала от старости? Овцы себе не принадлежат, и жизни их принадлежат не им. Они существуют для того, чтобы ими пользоваться, использовать их до последней унции — мясо съесть, кости размолоть и скормить домашней птице. Всему находится применение, кроме, может быть, желчного пузыря, которого никто есть не станет. Декарту стоило бы поразмыслить над этим. Душа, подвешенная во мраке, в желчном пузыре, — неплохое укрытие.

— Петрас пригласил нас в гости, — говорит он Люси. — Почему он устраивает праздник?

— Думаю, потому, что становится землевладельцем. Официально это произойдет первого числа следующего месяца. Большой день для него. Надо хотя бы показаться там, принести подарок.

— Он собирается зарезать двух овец. Не думаю, чтобы их хватило на всех.

— Петрас скупердяй. В прежние времена в таких случаях забивали быка.

— Что-то не нравится мне его манера. Притащил сюда двух обреченных на заклание животных для знакомства с людьми, которые их съедят!

— А что бы ты предпочел? Чтобы их резали на бойне, избавляя тебя от необходимости думать об этом?

— Да.

— Проснись, Дэвид. Такова наша страна. Такова Африка.

Последнее время в Люси проступает сварливость, на его взгляд неоправданная. Обычно он отвечает ей тем, что погружается в молчание. Временами они походят на двух живущих в одном доме посторонних людей.

Он говорит себе, что нужно потерпеть, что на Люси все еще лежит тень пережитого ею насилия, что должно пройти время, прежде чем она снова станет собой. Но что если он ошибается? Что если человек, претерпевший такое насилие, уже никогда не будет снова собой? Что если после такого насилия он становится новой, куда более отталкивающей личностью?

Существует и другое, еще более зловещее объяснение капризности Люси, объяснение, которое он никак не может выкинуть из головы.

— Люси, — вдруг спрашивает он в тот же день, — ты ничего от меня не скрываешь, а? Ты ничего не подцепила от тех мужчин?

Она сидит на софе в пижаме и халате, играя с кошкой. Послеполуденный час. Кошка молоденькая, игривая, резвая. Люси раскачивает перед кошачьей мордочкой кончик пояска халата. Кошка бьет по нему лапой, быстро, легкими ударами — раз-два-три-четыре.

— Мужчин? — переспрашивает Люси. — Каких мужчин?

Она отводит конец пояска в сторону, кошка сигает следом.

"Каких мужчин?" У него замирает сердце. Уж не помешалась ли она, если отказывается помнить о них.

Но нет, тут же выясняется, что Люси просто поддразнивает его.

— Дэвид, я уже не дитя. Я была у врача, сдала анализы, я сделала все, что может сделать разумный человек. Теперь остается только ждать.

— Понятно. И под "ждать" ты имеешь в виду — ожидать того, что, как я полагаю, ты имеешь в виду?

— Да.

— Сколько это займет времени?

Она пожимает плечами.

— Месяц. Три месяца. Больше. Наука еще не определила пределов того, как долго может ждать человек. Быть может, вечно.

Кошка вцепляется когтями в конец пояска. Но игра уже закончилась.

Он садится рядом с дочерью; кошка спрыгивает с софы и с важным видом удаляется. Он берет дочь за руку. Теперь, когда он совсем рядом с ней, он ощущает запашок затхлости, немытости.

— По крайности, вечно это не продлится, голубка, — говорит он. — По крайности, от этого ты будешь избавлена.

Остаток дня овцы проводят там, где он их привязал, у запруды. Наутро он снова видит их у конюшни, на голой земле. Предположительно они пробудут тут до субботнего утра — два дня. Не лучшее препровождение последних двух дней жизни. Сельский уклад — так называет подобного рода вещи Люси. Он знает и другие слова: равнодушие, бессердечие. Если деревня вправе судить город, то и город вправе судить деревню.

Он задумывается — не выкупить ли овец у Петраса. Но чего он этим добьется? Петрас купит других, а разницу положит в карман. И что он будет делать с овцами после того, как спасет их от смерти? Отпустит гулять по большой дороге? Запрет в собачьем вольере и станет кормить сеном?

Непонятно каким образом, но его и двух персиянок связали некие узы. Не узы любви, нет. Собственно, и связали-то они его не именно с этой парой овец, которых он даже не смог бы узнать в пасущемся стаде. И тем не менее вдруг, без всякой на то причины, участь их стала ему небезразличной.

Он стоит перед овцами на солнцепеке, ожидая, когда утихнет гул в голове, ожидая знака.

Муха пытается забраться в ухо одной из овец. Ухо дергается. Муха снимается, кружит, возвращается, садится. Ухо дергается снова.

Он делает шаг вперед. Овцы встревоженно отпрядывают, насколько хватает цепи.

Он вспоминает, как Бев Шоу прижималась к старому козлу с изуродованной мошонкой, как она гладила его, утешала, становясь частью его жизни. Как ей это удается — единение с животными? Некий фокус, которого он не знает. Возможно, чтобы исполнить его, нужно быть человеком определенного склада, человеком без сложностей.

Солнце со всей весенней силой бьет ему в лицо. Должен ли я измениться? — думает он. Стать таким, как Бев Шоу?

Он заговаривает с Люси.

— Я тут поразмыслил о празднике Петраса. В общем и целом я предпочел бы на него не ходить. Это не покажется грубостью?

— Ты это из-за овец?

— Да. Нет. Я не переменил образ мыслей, если ты это имеешь в виду. Я, как и прежде, не верю, что животным присуща подлинная индивидуальность. Кому из них предстоит уцелеть, кому умереть — все это, на мой взгляд, не стоит переживаний. И все же...

— И все же?

— И все же в данном случае мне как-то не по себе. Не знаю почему.

— Ну, Петрас и его гости вряд ли откажутся от бараньих отбивных из уважения к тебе и твоей чувствительности.

— Да я об этом и не прошу. Я просто предпочел бы не участвовать в празднике на этот раз. Прости. Никогда не думал, что закончу разговорами подобного рода.

— Пути Господни неисповедимы, Дэвид.

— Не стоит надо мной смеяться.

Близится суббота, базарный день.

— Торговать будем? — спрашивает он у Люси.

Та пожимает плечами.

— Решай сам, — говорит она.

Он решает не торговать.

Он не спрашивает ее о причинах; на самом-то деле он испытывает облегчение.

Приготовления к празднику Петраса начинаются в субботу пополудни — с появления полудюжины крепкого сложения женщин, разряженных, по его понятиям, как для церкви. За конюшнями разводят огонь, и скоро ветерок приносит оттуда смрад варящихся потрохов, из чего он заключает, что дело сделано, два дела, что все кончено.

Должен ли он скорбеть? Правильно ли это — скорбеть о смерти существ, которые сами не скорбят друг о друге? Заглянув в свое сердце, он находит там лишь невнятную грусть.

Слишком близко, думает он, мы живем слишком близко от Петраса. Это все равно что делить кров с чужими людьми, — общие звуки, общие запахи.

Он стукает в дверь Люси.

— Прогуляться не хочешь? — спрашивает он.

— Спасибо, нет. Возьми Кэти.

Он берет с собой бульдожиху, но та настолько неповоротлива и нетороплива, что он в приступе раздражения гонит ее обратно на ферму и в одиночестве проделывает восьмикилометровую петлю, шагая быстро, стараясь как следует вымотаться.

В пять начинают прибывать гости — на своих машинах, в такси, пешком. Он наблюдает за ними из-за кухонной занавески. Большинство примерно одних с хозяином лет, степенные, солидные люди. Одна старуха становится причиной особенной суеты: Петрас, облачившийся в синий костюм и безвкусную розовую рубашку, проходит весь подъездной путь, чтобы поздороваться с ней.

Гости помоложе появляются уже в темноте. Ветерок доносит приглушенный шум разговоров, смех, музыку — музыку, связанную для него с Йоханнесбургом времен его молодости. Вполне терпимо, думает он, и даже вполне приятно.

— Пора, — говорит Люси. — Ты идешь?

Вид у нее непривычный — платье до колен, высокие каблуки, ожерелье из раскрашенных деревянных бусин и такие же серьги. Он не уверен, что общее впечатление ему так уж по душе.

— Ладно, пошли. Я готов.

— Костюма ты с собой не привез?

— Нет.

— Тогда хоть галстук надень.

— А я-то думал, что мы в деревне.

— Тем больше причин приодеться. Для Петраса это большой день.

Люси берет с собой маленький фонарик. Тропинкой они доходят до дома Петраса, отец и дочь, рука в руке, дочь освещает путь, отец несет подарок.

Они останавливаются, улыбаясь, у открытой двери. Петраса не видна, впрочем, к ним выходит девочка в вечернем платье и вводит их в дом.

У старой конюшни нет потолка, да и пола-то толком нет, однако она по крайней мере просторна и по крайней мере освещена электричеством. Лампы под абажурами и картинки на стенах (подсолнухи Ван Гога, написанная Третчиковым[1] женщина в синем, Джейн Фонда в костюме Барбареллы[2] и забивающий гол Доктор Кумало[3]) смягчают общую унылость картины.

Кроме них белых здесь нет. Гости танцуют — под старомодный африканский джаз, который он слышал из кухни. На него и Люси бросают любопытные взгляды, хотя, возможно, все дело в повязке на его голове.

Некоторых женщин Люси знает. С другими ее знакомят. Затем около них обнаруживается Петрас. Он не разыгрывает гостеприимного хозяина, не предлагает им выпить, но говорит:

1. Владимир Третчиков (р. 1913) — английский художник русского происхождения.
2. В 1968 г. Джейн Фонда сыграла роль космической авантюристки в фантастическом фильме Роже Вадима "Барбарелла, королева галактики".
3. Южноафриканский футболист (р. 1967).

— Собак больше нет. Я больше не собачник.

Люси предпочитает счесть это шуткой; значит, все, надо думать, в порядке.

— Мы вам кое-что принесли, — говорит Люси, — хотя, возможно, лучше отдать это вашей жене. Это для дома.

Петрас, обернувшись к кухне, если это так у них именуется, подзывает жену. Он впервые видит ее вблизи. Молодая женщина, моложе Люси, с лицом скорее приятным, чем красивым, застенчивая, несомненно беременная. Она пожимает руку Люси, но не ему и в глаза ему не глядит.

Люси произносит на коса несколько слов и вручает женщине сверток. Вокруг уже собралось с полдюжины зрителей.

— Она должна его развернуть, — говорит Петрас.

— Да, вы должны его развернуть, — говорит Люси.

Осторожно, стараясь не надорвать подарочную бумагу, разрисованную мандолинами и веточками лавра, молодая жена Петраса разворачивает сверток. На свет появляется кусок ткани с довольно милым ашантским[1] орнаментом.

— Спасибо, — произносит женщина по-английски.

— Это покрывало на постель, — объясняет Петрасу Люси.

— Люси наша благодетельница, — громко объявляет Петрас и затем, обращаясь к Люси: — Вы наша благодетельница.

Безвкусное, на его взгляд, слово, двусмысленное, испортившее эту минуту. И все же можно ли винить Петраса? Язык, которым он с таким апломбом пользуется, давно уже — знал бы об этом Петрас! — стал изношенным, рыхлым, как бы изгрызенным изнутри термитами. Только на односложные слова и можно еще полагаться, да и то не на все.

Что тут делать? Ничего такого, что способен придумать он, бывший преподаватель методов передачи информации. Ничего, разве вот начать сызнова, с азов. Но ко времени, когда вернутся длинные слова — воссозданные, очищенные, внушающие доверие, — он будет уже мертвецом с солидным стажем.

Он вздрагивает, будто пронизанный хладом могилы.

— Ребенок... когда вы ожидаете ребенка? — спрашивает он у жены Петраса.

— В октябре, — встревает Петрас. — Ребенок родится в октябре. Надеемся, мальчик.

— О! А что вы имеете против девочек?

— Мы молимся о мальчике, — говорит Петрас. — Всегда лучше, если первенец мальчик. Тогда он сможет объяснить сестрам... объяснить, как себя вести. Да, — Петрас примолкает. — Девочка больно дорого обходится. — Он потирает указательным пальцем о большой. — Все время деньги, деньги, деньги.

Давно уж не видел он этого жеста. В прежние дни им часто пользовались евреи: деньги-деньги-деньги, и так же многозначительно покачивали головами. Но Петрас, по-видимому, не осведомлен об этом остаточном европейском наследии.

— Мальчики тоже порою недешевы, — замечает он, дабы внести свой вклад в беседу.

— Купи им то, купи им это, — продолжает Петрас, входя во вкус избранной темы и больше уже не слушая собеседника. — В наши-то дни

1. От ашанти, живущей в Гане народности.

мужчина больше не платит за женщину. *Я* плачу. — Он поводит рукою над головой жены; та скромно потупляет взор. — *Я* плачу. Хоть это и старомодно. Платья, хорошие вещи, все время одно и то же: покупаешь, покупаешь, покупаешь. — Он опять потирает пальцем о палец. — Нет, мальчик лучше. Ваша дочь исключение. Ваша дочь ничем не хуже мальчика. Почти! — Он заливается смехом, радуясь собственному остроумию. — А, Люси?

Люси улыбается, но он знает, что дочери неловко.

— Пойду потанцую, — негромко произносит она и уходит.

Взойдя на танцевальный помост, она танцует одна — солипсическая манера, похоже вошедшая в моду. Вскоре к ней присоединяется молодой человек, высокий, гибкий, опрятно одетый. Он танцует прямо перед Люси, прищелкивая пальцами, улыбаясь ей, ища ее расположения.

Снаружи начинают подходить женщины с подносами жареного мяса. Аппетитные запахи наполняют воздух. Появляются все новые гости, молодые, шумные, раскованные, нимало не старомодные. Праздник набирает обороты.

В руках у него оказывается тарелка с едой. Он протягивает ее Петрасу.

— Нет, — говорит Петрас, — это для вас. А то мы так и будем всю ночь передавать друг другу тарелки.

Петрас с женой уделяют ему немалое время, стараясь, чтобы он здесь освоился. Милые люди, думает он. Сельские жители.

Он оглядывается на Люси. Молодой человек танцует уже в нескольких дюймах от нее, высоко вздергивая колени, притопывая, покачивая руками, наслаждаясь своими движениями.

На тарелке, которую он держит в руках, две бараньи отбивные, печеный картофель, тонущий в мясном соке рис, ломоть дыни. Он находит свободный стул и разделяет его с изможденным стариком, у которого слезятся глаза. Придется съесть это. Съесть, а там уж просить о прощении.

Внезапно рядом с ним возникает Люси, она часто дышит, лицо застыло.

— Давай уйдем, — произносит она. — Они здесь.

— Кто "они"?

— Я видела одного из них там, за домом. Дэвид, я не хочу поднимать шум, но давай уйдем, сейчас же.

— Подержи-ка, — он вручает Люси тарелку и выходит через заднюю дверь.

Гостей тут не меньше, чем внутри — они толпятся у огня, беседуют, пьют, смеются. Кто-то разглядывает его из-за костра. И все сразу встает по местам. *Это* лицо ему знакомо, знакомо очень хорошо. Он проталкивается через толпу. "А вот *я* шум подниму, — думает он. — Жаль, что именно сегодня. Но есть вещи, которые ждать не могут".

Он останавливается прямо перед юнцом. Третий из тех, туповатый подручный, мальчик на побегушках.

— Я тебя знаю, — с угрозой произносит он.

Юнец, похоже, ничуть не пугается. Напротив, юнец, похоже, именно этого мига и ждал, копил, в предвкушении, силы.

— Кто ты такой? — спрашивает он сдавленным от злобы голосом, однако слова его означают нечто иное: "По какому праву ты здесь?" Все тело юнца излучает ненависть.

Тут к ним присоединяется Петрас, быстро говорит что-то на коса.

Он кладет на рукав Петраса руку. Петрас, бросив на него нетерпеливый взгляд, руку стряхивает.

— Вы знаете, кто это? — спрашивает он у Петраса.

— Нет, я не знаю, кто это, — сердито отвечает Петрас. — И не знаю, почему начался скандал. Почему начался скандал?

— Он — этот бандит — уже был здесь однажды со своими дружками. Он один из них. Но пусть *он* вам об этом расскажет. Пусть *он* расскажет, почему его разыскивает полиция.

— Неправда! — орет юнец. И снова обращается к Петрасу, извергая поток гневных слов.

Музыка продолжает разливаться в ночном воздухе, но никто больше не танцует: гости Петраса столпились вокруг них, теснясь, толкаясь, обмениваясь замечаниями. Атмосфера не из самых приятных.

Петрас говорит:

— По его словам, он не знает, о чем идет речь.

— Он врет. Все он отлично знает. Люси подтвердит.

Хотя Люси, разумеется, ничего не подтвердит. Как может он ожидать, что Люси на глазах у всех этих незнакомых людей подойдет к мальчишке, ткнет в него пальцем и скажет: "Да, это один из тех. Из тех, что сделали дело".

— Я позвоню в полицию, — говорит он.

Неодобрительный ропот зрителей.

— Я позвоню в полицию, — повторяет он, обращаясь к Петрасу. Лицо Петраса делается каменным.

Сквозь пелену молчания он возвращается в дом, туда, где стоит, ожидая его, Люси.

— Пойдем, — говорит он.

Гости расступаются перед ними. Никакого дружелюбия их лица больше не выражают. Люси забыла фонарик: в темноте они сбиваются с тропы; Люси приходится разуться; прежде чем попасть домой, они забредают на картофельное поле.

Он уже держит в руке телефонную трубку, когда Люси останавливает его:

— Нет, Дэвид, не делай этого. Петрас не виноват. Если ты позвонишь в полицию, ты испортишь ему весь вечер. Будь благоразумен.

Он поражен, поражен настолько, что набрасывается на дочь:

— Ради бога, как это Петрас не виноват? Прежде всего, так или иначе, но именно он привел сюда тех мужчин. А теперь ему хватило наглости пригласить их в гости. И почему это я должен быть благоразумным? Знаешь, Люси, я ничего не могу понять, от начала и до конца. Я не смог понять, отчего ты не выдвинула против них *настоящего* обвинения, а сейчас не понимаю, чего ради ты защищаешь Петраса. Петрас не невинная овечка, Петрас заодно с ними.

— Не ори на меня, Дэвид. Это моя жизнь. Из нас двоих именно мне предстоит жить здесь. То, что со мной случилось, — мое дело, только мое, не твое, и если у меня есть хоть одно право, так это право на то, чтобы ко мне не цеплялись, чтобы мне не приходилось оправдываться — ни перед тобой, ни перед кем-то еще. А насчет Петраса — он не наемный батрак, которого я могу выгнать, потому что он, как мне представляется, связался с дурными людьми. Это все в прошлом, унесено ветром. Если ты хочешь бороться с Петрасом, убедись для начала в основательности

фактов, которыми ты располагаешь. Ты не станешь звонить в полицию. Я тебе не позволю. Подожди до утра. Подожди, пока Петрас не объяснит, как он все это себе представляет.

— А мальчишка тем временем скроется!

— Не скроется. Петрас его знает. Да и в любом случае в Восточном Кейпе никому еще скрыться не удавалось. Не такое это место.

— Люси, Люси, я умоляю тебя! Ты хочешь искупить мерзости прошлого, но это же так не делается. Если ты сейчас не постоишь за себя, ты никогда больше не сможешь высоко держать голову. С равным успехом ты можешь уложить вещи и уехать. Что же касается полиции — если ты чересчур деликатна, чтобы позвонить туда сейчас, так нечего нам было и в первый раз к ним обращаться. Сидели бы себе тихо и ждали следующего нападения. Или перерезали бы самим себе глотки.

— Перестань, Дэвид! Я не обязана оправдываться перед тобой. *Ты не знаешь, что произошло.*

— *Я* не знаю?

— Не знаешь, ты еще и близко к этому не подошел. Помолчи и подумай. А насчет полиции — позволь тебе напомнить, почему мы к ним обратились: из-за страховки. Мы подали заявление, потому что иначе нам бы не выплатили страховку.

— Люси, ты меня изумляешь. Это просто неправда, и тебе это известно. Что до Петраса, я повторяю: если ты сейчас отступишься, если проявишь слабость, ты просто не сможешь жить в мире с собой. У тебя есть обязанности перед собой, перед будущим. В конце концов, должна же ты себя уважать. Разреши мне позвонить в полицию. Или позвони сама.

— Нет.

"Нет" — это последнее слово Люси. Она уходит к себе, захлопнув перед его носом дверь, отгородясь от него. Шаг за шагом, с такой же неумолимостью, как если б они были мужем и женой, их относит друг от дружки все дальше, и ничего он тут поделать не может. Сами их ссоры приобретают сходство с перебранками супругов, людей, которые попали в одну западню и которым некуда из нее податься. С каким, должно быть, сожалением вспоминает она день, в который он приехал к ней погостить! Как, должно быть, хочет, чтобы он оставил ее, и чем раньше, тем лучше!

Но ведь, в конце-то концов, и ей придется уехать отсюда. Как у женщины, одиноко живущей на ферме, у нее нет никакого будущего, это же ясно. Даже дни Эттингера, с его пистолетами, колючей проволокой и сигнализацией, и те сочтены. Будь у Люси хоть капля благоразумия, она бросила бы все, не дожидаясь, когда ее постигнет участь, горшая той, что горше смерти. Но ничего она не бросит. Люси упряма, Люси укоренилась здесь, в жизни, которую выбрала сама.

Он выскальзывает из дома. Осторожно ступая в темноте, приближается с тылу к конюшне.

Большой костер погас. Люди столпились у задней двери, достаточно широкой, чтобы принять трактор. Поверх их голов он заглядывает внутрь.

В середине помоста для танцев стоит один из гостей, мужчина средних лет. У него бритая голова и бычья шея; на нем темный костюм, с шеи свисает на золотой цепи медаль величиною с кулак — вроде тех, что выдавались племенным вождям в качестве символов занимаемого ими высокого положения. Символов, кои целыми ящиками чеканились в Ко-

вентри или Бирмингеме: на одной стороне — голова недовольной чем-то Виктории, regina et imperatrix[1], на другой — антилопа гну или ибис, вздыбленные. "Медали. Племенные вожди. На предмет ношения". Отгрузка во все края былой империи: в Нагпур, на Фиджи, на Золотой Берег, в Кафрарию.

Мужчина что-то говорит, произносит, возвышая и приглушая голос, речь, состоящую из закругленных фраз. Он понятия не имеет, чему посвящена речь, но время от времени мужчина примолкает, и тогда люди, молодые и старые, видимо испытывая тихое удовлетворение, что-то одобрительно бормочут.

Он оглядывается по сторонам. Мальчишка стоит неподалеку, как раз в двери. Взгляд юнца боязливо скользит по его лицу. Да и другие взгляды тоже обращаются к нему — к чужаку, к странному пришлецу. Мужчина с медалью хмурится, на миг сбивается и снова возвышает голос.

Ну что же, пусть смотрят. Пусть знают, что я еще здесь, думает он, пусть знают, что я не прячусь в большом доме. И если это испортит им праздник, значит, так тому и быть. Он поднимает руку к своей белой повязке. В первый раз он радуется, что она у него есть, что он может носить ее как знак отличия.

Глава шестнадцатая

Все следующее утро Люси его избегает. Обещанной встречи с Петрасом не происходит. Впрочем, во второй половине дня Петрас, как всегда деловитый, в башмаках и комбинезоне, сам стучится в заднюю дверь. Пора заняться трубами, говорит Петрас. Нужно проложить полихлорвиниловые трубы от запруды до его нового дома, это метров двести. Нельзя ли на время взять инструменты и не поможет ли Дэвид наладить регулятор?

— Я не разбираюсь в регуляторах. И ничего не смыслю в водопроводах.

У него нет никакого желания помогать Петрасу.

— Речь не о водопроводе, — говорит Петрас. — Речь о подгонке труб. Мы просто проложим трубы.

По дороге к насыпи Петрас разглагольствует о разного рода регуляторах, о водяных затворах, соединительных стыках; он произносит эти слова с некоторой помпезностью, демонстрируя свое знание предмета. Новые трубы пройдут по земле Люси, говорит он, хорошо, что она это разрешила. Она "дальновидна".

— Эта женщина смотрит вперед, а не назад.

Насчет вчерашнего праздника, насчет юнца с бегающими глазами Петрас помалкивает. Все выглядит так, будто ничего не произошло.

Вскоре становится ясной собственная его роль на насыпи. Он нужен Петрасу не для консультаций по части подгонки труб или водопроводного дела, а просто для того, чтобы держать то да се, подавать инструменты — фактически, выполнять работу Петрасова handlanger'a[2]. Роль не из тех, против которой он стал бы возражать. Петрас — мастер своего дела, только наблюдать за ним уже значит получать образование. А вот

1. Королевы и императрицы (*лат.*).
2. Подручного. Здесь: подмастерья (*африкаанс*).

сам Петрас нравится ему все меньше. Петрас бубнит и бубнит о своих планах, а он проникается к нему все большей и большей неприязнью. Не хотел бы он попасть с Петрасом на необитаемый остров. И уж тем более не хотел бы оказаться на месте его жены. Личность доминирующего склада. Конечно, Петрасова молодая жена выглядит счастливой; хотелось бы узнать, однако, что может порассказать жена старая.

Наконец, почувствовав, что с него хватит, он прерывает Петрасову болтовню.

— Петрас, — говорит он, — тот молодой человек, который был на вашем празднике, как его зовут и где он сейчас?

Петрас снимает фуражку, утирает лоб. Сейчас на нем форменная фуражка с серебряной бляхой Южно-Африканских железных дорог и портов. Он что, коллекционирует головные уборы?

— Понимаете, Дэвид, — насупливая брови, говорит Петрас, — это вы нехорошие слова сказали, что тот юноша вор. Он очень рассердился на вас за то, что вы назвали его вором. Так он всем говорит. А я... я человек, который следит, чтобы тут все было тихо-мирно. Поэтому и мне тяжело было это услышать.

— Я не собираюсь впутывать вас в это дело, Петрас. Назовите мне имя мальчишки, скажите, где он, и я передам все полиции. И пусть она проводит расследование и отдает его под суд вместе с дружками. И вы замешаны не будете, и я не буду, пускай с ними разбирается закон.

Петрас потягивается, подставляя лицо потоку солнечных лучей.

— Но ведь страховая компания даст вам новый автомобиль.

Это вопрос? Или утверждение? В какие игры играет Петрас?

— Страховая компания не даст мне нового автомобиля, — стараясь не вспылить, объясняет он Петрасу. — Страховая компания, если она еще не обанкротилась из-за размаха, который приобрел в стране угон автомобилей, даст мне определенный процент от того, что она сочтет стоимостью старого. Новой машины на эти деньги не купишь. Да и как бы там ни было, тут вопрос принципа. Мы не можем позволить, чтобы правосудие отправлялось страховыми компаниями. Не их это дело.

— Но от этого мальчика вы свою машину назад не получите. Он не сможет вернуть ее вам. Он не знает, где ваша машина. Ваша машина пропала. Самое лучшее — купите на страховку другую, и тогда у вас снова будет машина.

Как его занесло в этот тупик? Он пробует зайти с другой стороны.

— Петрас, позвольте спросить, этот юнец — ваш родственник?

— И зачем, — продолжает Петрас, как бы не расслышав вопроса, — вы хотите отдать мальчика полиции? Он слишком молод, в тюрьму его все равно не посадят.

— Если ему исполнилось восемнадцать, его можно судить. И если шестнадцать — тоже.

— Нет, нет, ему еще нет восемнадцати.

— Откуда вы знаете? Судя по виду, восемнадцать ему уже есть, если не больше.

— Да знаю, знаю! Он просто мальчишка, его нельзя посадить в тюрьму, так по закону, мальчишку посадить нельзя, его положено отпустить.

Похоже, для Петраса этим спор и исчерпывается. Петрас тяжело опускается на одно колено и приступает к подсоединению выходной трубы.

— Петрас, моя дочь хочет быть хорошей соседкой — хорошей гражданкой и хорошей соседкой. Она любит Восточный Кейп. Она хочет жить здесь, бок о бок со всеми вами. Но как это возможно, если бандиты могут в любую минуту напасть на нее и уйти безнаказанными? Вы же прекрасно все понимаете!

Петрас, прилагая немалые усилия, пытается насадить на трубу соединительную муфту. Кожу его рук покрывают глубокие, грубые трещины; работая, он негромко покрякивает; никаких признаков того, что он услышал хоть слово.

— Люси здесь в безопасности, — вдруг объявляет он. — Все улажено. Вы можете уезжать, она в безопасности.

— В какой там безопасности, Петрас! Ни в какой она не в безопасности! Вы же знаете, что произошло двадцать первого!

— Да, я знаю, что произошло. Но теперь все улажено.

— Кто говорит, что все улажено?

— Я говорю.

— Вы говорите? Вы защитите ее?

— Я ее защищу.

— В прошлый раз вы ее не защитили.

Петрас наносит на трубу новый слой смазки.

— Вы говорите, что знаете о случившемся, но ведь вы ее не защитили, — повторяет он. — Вы уехали, появились трое бандитов, а теперь оказывается, что вы в дружбе с одним из них. Какой, по-вашему, вывод я должен сделать?

Ближе к тому, чтобы предъявить обвинение Петрасу, он еще не подходил. Но почему бы и нет?

— Мальчик не виноват, — говорит Петрас. — Он не преступник. И не вор.

— Я не об одном только воровстве говорю. Совершено и другое преступление, куда более тяжкое. По вашим словам, вы знаете, что произошло. Стало быть, должны понимать, что я имею в виду.

— Он не виноват. Слишком молодой. Просто он совершил большую ошибку.

— Вы точно знаете?

— Знаю.

Труба подогнана. Петрас сгибает хомут, стягивает его, встает, распрямляет спину.

— Знаю. Я же вам говорю. Я знаю.

— Вы знаете. Вам ведомо будущее. Что я могу на это сказать? Вы высказались. Я вам здесь еще нужен?

— Нет, дальше все просто, осталось только зарыть трубу.

Несмотря на доверие, которое питает Петрас к страховому делу, никакой реакции на поданный им иск не следует. Без машины он чувствует себя запертым на ферме.

Как-то вечером в клинике он отводит душу, рассказав обо всем Бев Шоу.

— Мы с Люси в раздоре, — говорит он. — Наверное, тут нет ничего удивительного. Родители и дети не созданы для совместной жизни. В нормальных обстоятельствах я бы уже уехал, вернулся в Кейптаун. Но не могу оставить Люси одну на ферме. Я пытаюсь уговорить ее передать хозяйство Петрасу и отдохнуть. Но она меня не слушает.

— Детям необходимо предоставлять свободу, Дэвид. Вы же не сможете вечно присматривать за Люси.

— Я уж давным-давно предоставил ей свободу. В сравнении с другими отцами я меньше, чем кто-либо из них, пытался оградить ее от жизни. Но сейчас положение совершенно иное. Она в самой настоящей опасности. Нам это продемонстрировали.

— Все будет хорошо. Петрас возьмет ее под свое крылышко.

— Петрас? Какая Петрасу выгода брать ее под крылышко?

— Вы недооцениваете Петраса. Петрас работал, как раб, чтобы огород Люси стал приносить доход. Без Петраса Люси не достигла бы того, что у нее сейчас есть. Я не говорю, будто она обязана ему всем, но что многим — несомненно.

— Очень может быть. Вопрос в том, чем обязан ей Петрас.

— Петрас человек порядочный. Вы можете на него положиться.

— Положиться на Петраса? Вы причисляете Петраса к кафрам старого пошиба потому, что он отрастил бороду, курит трубку и разгуливает с палкой, да только Петрас вовсе не кафр старого пошиба и уж тем более не порядочный человек. Насколько я понимаю, Петрас спит и видит, как бы ему выпихнуть отсюда Люси. Если вам нужны доказательства, вспомните, что случилось с Люси и со мной, большего не потребуется. Задумано все это было, возможно, не Петрасом, но он определенно постарался закрыть глаза, определенно не предупредил нас, определенно принял меры к тому, чтобы оказаться от нас подальше.

Его горячность озадачивает Бев Шоу.

— Бедная Люси, — шепчет она, — через что ей пришлось пройти!

— Я знаю, через что ей пришлось пройти. Я был там.

Бев смотрит на него, широко открыв глаза.

— Но, Дэвид, вас же там не было. Она сама мне сказала. Вас не было там.

"Тебя там не было. Ты не знаешь, что произошло". Он совершенно сбит с толку. Где это его не было, согласно Бев Шоу, согласно Люси? В той комнате, где бандиты надругались над нею? Или, по их понятиям, ему неизвестно, что такое изнасилование? Что он мог там увидеть сверх того, что способен вообразить? Или, по их мнению, ни один мужчина не способен понять, что переживает насилуемая женщина? Каков бы ни был ответ, он оскорблен, оскорблен тем, что к нему относятся как к постороннему.

Он покупает маленький телевизор взамен украденного. Вечерами, после ужина, он и Люси бок о бок сидят на софе, смотрят выпуски новостей и, если хватает терпения, развлекательные программы.

Все верно, визит его подзатянулся — и на его взгляд, и на взгляд Люси. Он устал жить на чемоданах, устал постоянно вслушиваться в хруст гравия на ведущей к дому дорожке. Ему хочется снова сесть за свой письменный стол, лечь в свою постель. Но Кейптаун далеко, почти в другой стране. Несмотря на советы Бев, несмотря на заверения Петраса, несмотря на упорное молчание Люси, он не может оставить дочь. Вот он и живет здесь до поры — в этом времени и в этом месте.

Способность видеть пострадавшим глазом полностью восстановилась. Зажила и кожа на голове, маслянистая повязка ему больше не нужна. Только ухо по-прежнему требует ежедневного ухода. Стало быть, время и вправду лечит все. Кажется, излечивается и Люси, а если не

излечивается, то забывает, наращивает рубцовую ткань вокруг воспоминаний о том дне, заключает их в плотную оболочку. И значит, настанет миг, когда она сможет сказать: "В день ограбления", — и думать об этом дне просто как о дне ограбления.

Дневные часы он старается проводить под открытым небом, чтобы Люси чувствовала себя в доме свободно. Он копается в огороде, а когда устает, сидит на насыпи, наблюдая за жизнью утиного семейства и с грустью размышляя о своем байроновском замысле.

Замысел этот застыл без движения. Все, что у него есть, это разрозненные фрагменты. Первые слова первого акта ему так и не даются, первые ноты остаются уклончивыми, как струйки дыма. Временами его мучают опасения, что персонажи придуманной им истории, больше года бывшие его призрачными собеседниками, начнут исчезать один за другим. Даже самая привлекательная из них, Маргарита Коньи[1], чьи неистовые контральтовые выпады против Байроновой сучки, Терезы Гвиччиоли, он так жаждет услышать, — ускользает даже она. Утрата их наполняет его отчаянием, таким же серым, ровным и в конечном счете бессмысленным, как головная боль.

При всякой возможности он уезжает в клинику Лиги защиты животных, берясь там за любую не требующую особой сноровки работу: за кормежку, уборку, мытье полов.

Животные, которых обслуживает клиника, это все больше собаки, реже кошки: по-видимому, для домашнего скота в районе Д имеются особые хранители ветеринарной премудрости, особые фармакопеи, особые целители. Собаки, которых приводят в Лигу, страдают от чумки, от переломов лап, от загноившихся ран, от чесотки, от запущенных опухолей, доброкачественных или злокачественных, от старости, от недоедания, от кишечных паразитов, но чаще всего от собственной плодовитости. Их попросту слишком много. Приводя сюда собаку, человек не говорит прямо: "Я хочу, чтобы вы ее усыпили", но ожидает именно этого — что его избавят от собаки, что она исчезнет, удалится в страну забвения. В сущности, то, о чем они просят, есть Lösung[2] (у немцев всегда отыщется под рукой уместно пустая абстракция) — возгонка, подобная возгонке спирта, без осадка, без неприятного послевкусия.

Итак, по воскресеньям после полудня дверь клиники закрывается, запирается, и он помогает Бев Шоу lösen скопившихся за неделю ненужных собак. Он извлекает их по одной из клетки на заднем дворе и отводит либо относит в хирургическую. Каждой из них в последние минуты их жизни Бев уделяет самое полное внимание: гладит их, разговаривает с ними, облегчая уход. Если — а так чаще всего и бывает — зачаровать собаку ей не удается, причина тому в его присутствии: слишком сильный смрад исходит от него ("Они способны унюхать ваши мысли"), смрад стыда. Тем не менее именно он удерживает собаку, пока игла не отыщет вену и наркотик не ударит в сердце, и не вытянутся лапы, и не потускнеют глаза.

Он думал, что сможет привыкнуть. Но этого не случается. Чем больше убийств помогает он совершить, тем сильнее расшатываются его нервы. В одно из воскресений, вечером, когда он едет домой в комби Люси, ему, чтобы прийти в себя, приходится даже съехать на обочину и

1. Жена римского пекаря, с которой у Байрона был в 1818 г. недолгий роман (в том же году произошло его знакомство с Терезой).
2. Развязка; высвобождение (*нем.*).

затормозить. Слезы катятся по лицу, он не может их остановить; руки трясутся.

Он не понимает, что с ним творится. До сих пор он оставался более-менее безразличным к животным. Хотя в отвлеченном смысле он и не одобряет жестокости, однако сказать о себе, жестокий он человек или добрый, не способен. Он ни то, ни другое — ничто. Он полагает, что люди, от которых жестокость требуется по долгу службы, те же работники боен к примеру, отращивают на своих душах черепаховые панцири. Привычка черствит: должно быть, в большинстве случаев так оно и есть, но, похоже, не в его. Похоже, *он* дара очерствления лишен.

Все его существо проникнуто происходящим в хирургической. Он убежден — собаки знают, что пробил их час. Несмотря на плавность и безболезненность процедуры, несмотря на благие помыслы, которые переполняют Бев и на которые он сам пытается настроиться, несмотря на герметичные мешки, в которые укладываются свежие трупы, собаки еще во дворе чуют, что делается в клинике. Они прижимают уши, опускают хвосты — словно ощущая бесчестье смерти; они упираются лапами в землю, их приходится тянуть либо подталкивать, а то и переносить через порог. На столе одни буйно мотают головами направо-налево, норовя вцепиться во что-нибудь зубами, другие жалобно поскуливают, но ни одна не глядит прямо на шприц в руке Бев, который — они откуда-то знают это — вот-вот нанесет им ужасный, уже непоправимый ущерб.

Тяжелее всего ему с теми из собак, что обнюхивают его и пытаются лизнуть ему руку. Он не любит, когда его лижут, и первое его побуждение — руку отдернуть. К чему притворяться другом, когда ты на самом деле убийца? Но он быстро смягчается. Почему от существа, на которое пала тень смерти, нужно отшатываться, как от некоей мерзости? И он позволяет собакам лизать его, если им хочется, точно так же, как Бев Шоу гладит и целует их, если *они* ей позволяют.

Человек он, хочется надеяться, не сентиментальный. Он и старается не сентиментальничать по поводу животных, которых убивает, не сентиментальничать по поводу Бев Шоу. Он воздерживается от того, чтобы сказать ей: "Не понимаю, как вы можете это делать", чтобы не услышать в ответ: "Кто-то же должен". Он допускает, что в самой глубине души Бев Шоу может оказаться вовсе не ангелом-избавителем, а дьяволом, что под показным состраданием у нее может таиться заскорузлое сердце мясника. Он старается оставаться беспристрастным.

Поскольку иглу вводить приходится Бев, устранение останков он берет на себя. Наутро после очередной серии убийств он едет на нагруженном комби к мусоросжигателю больницы колонистов и там предает тела огню, прямо в черных пластиковых мешках.

Проще было бы отвозить мешки к мусоросжигателю сразу после сеанса группового умерщвления и оставлять их там до прихода обслуживающих мусоросжигатель рабочих. Но это означало бы оставлять их в одной куче с прочей скопившейся за выходные дрянью: отбросами из больничных палат, собранной при дорогах падалью, зловонными отходами сыромятни — в мешанине и случайной и страшной. Он не готов пока подвергать их такому позору.

Поэтому воскресными вечерами он привозит мешки на ферму в багажнике принадлежащего Люси комби, оставляет их там на ночь, а наутро в понедельник отвозит в больницу. Здесь он сам переваливает их, по одному за раз, в вагонетку загрузочного устройства, включает механизм,

который со скрежетом протаскивает вагонетку через стальные воротца печи в огонь, оттягивает рычаг, чтобы опустошить вагонетку, и со скрежетом возвращает ее назад, между тем как рабочие, которым положено заниматься этим делом, стоят в стороне, наблюдая за ним.

В первый свой понедельник он предоставил сожжение трупов рабочим. За ночь тела собак охватило трупное окоченение. Мертвые лапы их застревали в решетчатых стенках вагонетки, и когда она возвращалась из печи, в половине случаев возвращалась и собака, почерневшая, оскаленная, пахнущая паленой шерстью, уже без сгоревшего мешка. Вскоре рабочие начали, прежде чем загружать мешки в вагонетку, бить по ним лопатами, переламывая окоченевшие лапы. Вот тогда он и вмешался и вызвался сам выполнять эту работу.

Мусоросжигатель работает на антраците, воздух засасывается из него в дымоход электрическим вентилятором; сооружение это возникло, по его прикидкам, в пятидесятых, когда строилась и сама больница. Работает мусоросжигатель шесть дней в неделю, с понедельника по субботу. На седьмой — отдыхает. Приходя поутру, рабочие первым делом выгребают пепел предыдущего дня, потом разжигают огонь. К девяти утра температура во внутренней топке достигает тысячи градусов по Цельсию, достаточной, чтобы кальцинировать кость. Огонь поддерживается до позднего утра; на остывание печи уходит все послеполуденное время.

Имен рабочих он не знает, как и они не знают его. Для них он просто человек, который вдруг начал приезжать по понедельникам с мешками из "Защиты животных" и с той поры появляется все раньше и раньше. Приезжает, делает свое дело, уезжает; он не стал частью общества, ядром которого, несмотря на проволочную ограду, запираемую на висячий замок калитку в ней и предупредительную надпись на трех языках, является мусоросжигатель.

Что касается изгороди, то она давно издырявилась, на калитку же и на надпись никто больше не обращает внимания. Ко времени, когда утром приходят с первыми мешками больничных отбросов санитары, тут уже полным-полно женщин и детей, ждущих возможности порыться в мешках в поисках шприцев, булавок, бинтов, которые еще можно отстирать, — всего, на что имеется спрос, но главным образом таблеток, которые затем продаются в лавчонках muti[1], а то и прямо на улицах. Тут же и бродяги — днем они слоняются по территории больницы, а ночью спят у стены мусоросжигателя, а то и в его зеве, где потеплее.

Это не то общество, в которое ему хочется влиться. Однако когда он появляется здесь, и они уже здесь; и если то, что он привозит в виде дополнения к отбросам, их не интересует, так это лишь потому, что ни одна из частей мертвой собаки не годится ни в пищу, ни на продажу.

Ради чего он взялся за эту работу? Чтобы облегчить бремя Бев Шоу? Для этого было бы достаточно сваливать мешки в кучу и уезжать. Ради собак? Но собаки мертвы, да и что, собственно, знают собаки о чести и бесчестье?

Выходит, ради себя. Ради своих представлений о мире, мире, в котором люди не лупят лопатами по трупам, дабы придать им более удобную для ликвидации форму.

Собак приводят в клинику, потому что они не нужны: "потому что уж больно они расплодились". Тогда-то он и становится частью их жизней.

1. Южноафриканское слово, происходящее от зулусского "umuthi" — "дерево, растение, лекарство" — и обозначающее снадобье, целительный наговор или талисман.

Он, может быть, не спаситель их и не считает, что они так уж расплодились, но он готов позаботиться о них, когда сами они не способны, совершенно не способны о себе позаботиться, когда даже Бев Шоу умывает, в том, что касается их, руки. Собачник — так однажды назвал себя Петрас: собачий гробовщик, их психопомпос[1], хариджан — неприкасаемый.

Удивительно, что такой эгоист, как он, посвятил себя служению мертвым собакам. Должны же быть иные, более плодотворные способы отдачи себя миру или представлению о мире. Можно, к примеру, подольше работать в клинике. Можно попытаться убедить роющихся в отбросах детей не травиться черт знает чем. Даже если бы он с бóльшим усердием работал по ночам над байроновским либретто, даже это, на худой конец, можно было бы счесть служением человечеству.

Но делами такого рода — защитой животных, социальной реабилитацией, Байроном, в конце-то концов, — могут заниматься и другие. Он оберегает честь трупов, потому что другого дурака для этого занятия не нашлось. Вот кем он в итоге становится: дурачком, чокнутым, погрязшим в своих заблуждениях.

Глава семнадцатая

Воскресная работа в клинике завершена. Комби набит своим мертвым грузом. Выполняя последнее неприятное дело, он моет пол хирургической.

— Давайте я этим займусь, — говорит, входя со двора, Бев Шоу. — А то вас дома заждутся.

— Я не спешу.

— И все же вы, должно быть, привыкли к жизни совсем иного рода.

— Иного рода? Вот уж не знал, что жизнь распределяется по родам.

— Я хотела сказать, здешнее существование должно казаться вам совсем невеселым. Вы, наверное, скучаете по людям вашего круга. По вашим подружкам.

— По подружкам? Люси ведь наверняка рассказала вам, почему я уехал из Кейптауна. Не очень-то мне повезло там с подружкой.

— Не будьте к ней так суровы.

— К Люси? У меня пороху не хватит быть суровым к Люси.

— Не к Люси — к той девушке из Кейптауна. Люси говорила мне, что у вас были большие неприятности из-за одной кейптаунской девушки.

— Что ж, девушка имела к ним отношение. Но в данном случае источником неприятностей был я. И девушке той причинил по меньшей мере столько же неприятностей, сколько она мне.

— Люси говорила, что вам пришлось уйти из университета. Наверное, это было нелегко. Вы сожалеете об этом?

И охота же ей лезть не в свое дело! Удивительно, как возбуждает женщин один лишь запах скандала. Может быть, эта маленькая невзрачная особа считает, что он не способен повергнуть ее в ужас? Или оказаться повергнутой в ужас это еще одна из обязанностей, которую она

1. Греческое слово, означающее "проводник душ"; прозвище Гермеса, уводившего души умерших в подземный мир.

полагает необходимым исполнять — на манер человека, навлекающего на себя оскорбления с тем, чтобы уменьшить установленную для мира квоту оных?

— Сожалею ли я? Не знаю. Происшедшее в Кейптауне в конечном итоге привело меня сюда. Не могу сказать, что я здесь несчастен.

— А тогда? Тогда сожалели?

— Тогда? Вы хотите сказать, в самый разгар событий? Разумеется, нет. В разгар событий сомнений не возникает. Да вы наверняка и сами должны это знать.

Бев краснеет. Давненько не видел он, чтобы женщина в летах так краснела. До корней волос.

— И все же Грейамстаун должен казаться вам очень тихим, — лепечет она. — В сравнении.

— Я ничего против Грейамстауна не имею. По крайней мере, здесь меня не одолевают соблазны. К тому же я живу не в Грейамстауне. Я живу на ферме дочери.

"Не одолевают соблазны". Говорить такое женщине, пусть даже невзрачной, жестоко. Да и не всем она кажется невзрачной. Было, надо полагать, время, когда Билл Шоу что-то такое разглядел в юной Бев. А возможно, и не один только Билл.

Он пытается вообразить, какой была Бев двадцатью годами раньше, когда ее лицо, чуть вздернутое кверху на коротенькой шее, выглядело, надо думать, цветущим, а от веснушчатой кожи веяло здоровьем и домашним уютом. Повинуясь внезапному порыву, он протягивает руку и проводит пальцем по губам Бев.

Бев опускает взгляд, но не отстраняется. Напротив, Бев, отвечая на ласку, скользит губами по его руке — можно даже сказать, целует ее, — продолжая при этом заливаться краской.

Вот и все, что происходит. Дальше этого они не идут. Не произнеся больше ни слова, он поворачивается и покидает клинику, слыша, как Бев щелкает за его спиной выключателями.

Она звонит на следующий день после полудня.

— Мы могли бы встретиться в клинике, в четыре, — говорит она. Это не вопрос — извещение, сделанное высоким, напряженным голосом.

Он едва не спрашивает: "Зачем?", однако ему хватает здравомыслия воздержаться. Тем не менее он удивлен. Он готов поручиться, что прежде Бев по этой дорожке не ходила. Должно быть, так в невинности своей она и представляет себе нарушение супружеской верности: женщина звонит домогающемуся ее поклоннику, извещая о своей готовности.

По понедельникам клиника закрыта. Он входит вовнутрь, запирает за собой дверь. Бев в хирургической, стоит спиной к нему. Он обнимает ее, она утыкается ухом в его подбородок, губы его трутся о плотные завитки ее волос.

— Там есть одеяла, — говорит она. — В шкафчике. На нижней полке.

Два одеяла, розовое и серое, тайком принесенные из дому женщиной, которая, верно, весь последний час мылась, и пудрилась, и умащивалась, приготовляясь; которая, почем знать, пудрилась и умащивалась каждое воскресенье и хранила в шкафчике одеяла — на всякий случай. Которая думает, что поскольку он приехал из большого города, поскольку с именем его связан скандал, значит, он спал со множеством женщин и ожидает, что любая встречная охотно ляжет с ним.

Выбор невелик — операционный стол либо пол. Он расстилает одеяла на полу, серое внизу, розовое сверху. Погасив свет, он выходит из комнаты, проверяет, заперта ли задняя дверь, ждет. Он слышит шелест одежды, Бев раздевается. Бев. Вот уж не думал, что будет с ней спать.

Она лежит под одеялом, выставив наружу одну только голову. Даже скудость освещения не сообщает этому зрелищу никакого обаяния. Стянув трусы, он забирается к Бев, проводит руками по ее телу. Груди отдельного разговора не заслуживают. Крепко сколоченная, почти лишенная талии, похожая на приземистый бочонок.

Она сжимает его ладонь, что-то всовывает в нее. Презерватив. Все продумано загодя, от начала до конца.

Относительно их совокупления он может, по крайней мере, сказать, что долг свой он выполнил. Без упоения, но и без отвращения. Так что под конец Бев Шоу могла бы поздравить себя. Все ею намеченное сбылось. Ему, Дэвиду Лури, была оказана помощь, какую мужчина получает от женщины; ее подруга, Люси Лури, получила помощь по части трудного для нее гостя.

Упаси тебя бог забыть этот день, лежа рядом с Бев, говорит он себе, когда все кончается. Вот к чему я пришел от сладкого юного тела Мелани Исаакс. Вот к чему мне следует привыкать, к этому, если не к худшему.

— Уже поздно, — говорит Бев. — Мне пора.

Он отбрасывает одеяло и встает, не пытаясь укрыться от ее взгляда. Пусть разглядит своего Ромео как следует, думает он, с его обвислыми плечами и худосочными ногами. Действительно, поздно. Последний багровый отблеск лежит на горизонте, над ним стынет луна, дым висит в воздухе, из-за пустыря доносится со стороны ближних хибар бубнение голосов. У двери Бев напоследок прижимается к нему, кладет ему голову на грудь. Он не противится, как не противился ничему из того, что она считала необходимым сделать. Мысли его обращаются к Эмме Бовари перед зеркалом, после первого ее большого дня. "У меня есть любовник! У меня есть любовник!" — безмолвно поет Эмма. Что ж, пускай бедная Бев придет домой и тоже что-нибудь споет. И хватит называть ее бедной Бев. Если она бедная, то он — полный банкрот.

Глава восемнадцатая

Петрас занял бог весть у кого трактор и прицепил к нему старый плуг, который валялся, ржавея, за конюшней еще до того, как на ферме появилась Люси. И за несколько часов вспахал всю землю. Все это быстро, расторопно, как будто дело происходило совсем и не в Африке. В прежние времена, то есть, скажем, лет десять назад, он провозился бы с ручным плугом и волами несколько дней.

Что может противопоставить Люси этому новому Петрасу? Петрас появился здесь как землекоп, возчик, поливальщик. Теперь он слишком занят, чтобы исполнять эти работы. Где, интересно, отыщет Люси человека, который станет копать, возить, поливать? Если бы речь шла о шахматной партии, он сказал бы, что Люси переиграли на всех флангах. Будь у нее хоть капля здравого смысла, она бы сдалась: обратилась в Земельный банк, договорилась об условиях, передала ферму Петрасу и вернулась к цивилизации. Она могла бы открыть в пригороде гостиницу

для собак; могла бы заняться кошками. Могла бы даже вернуться к тому, чем занималась с друзьями, когда все они были хиппи: ткачеством, гончарным делом, плетением корзин с туземными орнаментами, продажей бус туристам.

Крушение планов. Нетрудно вообразить, какой станет Люси лет через десять: растолстевшей, трапезничающей в одиночестве женщиной в давно вышедшей из моды одежде, с проложенными печалью бороздами на лице. Та еще жизнь. Но все лучше, чем проводить дни в страхе перед новым нападением, когда и собаки не смогут тебя защитить, и по телефону никто тебе не ответит.

Он идет к Петрасу, на место, выбранное тем для нового дома, — на пологий склон, обращенный к ферме Люси. Здесь уже поработал геодезист, разметочные колышки торчат из земли.

— Вы ведь не сами его будете строить, верно? — спрашивает он.

Петрас смешливо фыркает.

— Нет, строительство, оно мастера требует. Кладка кирпича, штукатурные работы — для этого необходимо умение. Я уж лучше канавы буду копать. С этим-то я управлюсь. Для такой работы особых навыков не нужно, с ней и мальчишка сладит. Рыть землю — самое занятие для мальчишки.

Последнее слово Петрас произносит с неподдельным удовольствием. Был когда-то и он мальчишкой, не то что теперь. Теперь он только и может что время от времени прикидываться мальчишкой, как Мария Антуанетта могла бы прикидываться молочницей.

Он переходит к сути дела.

— Если мы с Люси вернемся в Кейптаун, готовы ли вы заменить ее на ферме? Мы можем платить вам жалованье, или вы будете получать проценты. Проценты с доходов.

— Я должен приглядывать за фермой Люси? — говорит Петрас. — Должен стать *управляющим фермой?*

Он произносит эти слова так, будто никогда их прежде не слышал, будто они вдруг выскочили неведомо откуда, точно кролик из шляпы.

— Да, если хотите, мы можем назначить вас управляющим фермой.

— А рано или поздно вернется Люси.

— Вернется, я уверен. Она очень привязана к ферме. Не хочет с ней расставаться. Но в последнее время ей пришлось многое пережить. Люси нужна передышка. Своего рода отпуск.

— За морем, — говорит Петрас и улыбается, показывая желтые от курения зубы.

— Да, если захочет, то и за морем. — Его раздражает манера Петраса оставлять слова повисшими в воздухе. Было время, когда ему казалось, что он и Петрас могут подружиться. Ныне Петрас ему противен. Разговаривать с Петрасом все равно что боксировать с полным песка мешком. — Не думаю, что кто-то из нас вправе осудить Люси, если она вдруг решит отдохнуть, — говорит он. — Вы или я.

— Как долго мне придется работать управляющим фермой?

— Я пока не знаю, Петрас. Я не говорил об этом с Люси, я просто выясняю возможности, пытаюсь понять, согласитесь ли вы.

— И мне придется заниматься всем — кормить собак, выращивать овощи, ездить на рынок...

— Петрас, нет необходимости составлять сейчас список ваших обязанностей. Собак не будет. Я просто задаю вам общий вопрос: если Люси на время уедет, готовы вы присмотреть за фермой?

— Как же мне ездить на рынок, если не будет комби?

— Это детали. Детали мы можем обговорить потом. Мне нужен общий ответ, да или нет.

Петрас покачивает головой.

— Слишком много работы, слишком много, — говорит он.

Нежданно-негаданно ему звонят из полиции — из Порт-Элизабет, сержант-детектив Эстерхьюз. Нашлась его машина. Она стоит во дворе нью-брайтонского участка, ее можно опознать и предъявить на нее права. Кроме того, арестованы двое мужчин.

— Прекрасно, — говорит он. — Я уж почти и надеяться перестал.

— Ну что вы, сэр, любое дело остается открытым в течение двух лет.

— В каком состоянии машина? Ездить на ней можно?

— Да, сэр, вы сможете на ней уехать.

В необычайно приподнятом настроении он едет с Люси в Порт-Элизабет, а оттуда в Нью-Брайтон, где им показывают дорогу на Ван-Девентер-стрит, к приземистому, похожему на крепость зданию полицейского участка, окруженному двухметровым забором с острой проволокой наверху. Бросающийся в глаза знак запрещает оставлять автомобили около участка. Они паркуются на улице, довольно далеко от участка.

— Я подожду в машине, — говорит Люси.

— Ты уверена?

— Мне здесь не нравится. Я подожду.

Он называет себя дежурному, получает указания о том, как, одолев лабиринт коридоров, добраться до отдела автомобильных краж. Эстерхьюз, низкорослый полный блондин, порывшись в папках, ведет его во двор, где бампер к бамперу стоит множество машин. Они идут вдоль рядов автомобилей, вперед, потом назад.

— Где вы ее нашли? — спрашивает он у Эстерхьюза.

— Здесь, в Нью-Брайтоне. Вам повезло. Обычно угонщики разбирают старые "короллы" на запасные части.

— Вы говорили, что арестовали кого-то.

— Двоих. Взяли по наводке. Нашли целый дом, набитый краденым. Телевизоры, видео, холодильники — все что хотите.

— Где сейчас эти люди?

— Выпущены под залог.

— Не разумнее ли было, прежде чем их отпускать, позвонить мне, чтобы я их опознал? Вы выпустили их под залог, и теперь они просто-напросто исчезнут. Вы же это знаете.

Натянутое молчание.

Они останавливаются перед белой "короллой".

— Это не моя машина, — говорит он. — У моей кейптаунский номер, который значится в деле, — он тыкает пальцем в номер, напечатанный на взятом из папки листке, — CA 507644.

— Номер они новый напыляют. Или ставят другой. А ваш — еще на какую-нибудь машину.

— Пусть так, но эта машина не моя. Вы можете ее открыть?

Детектив открывает машину. Внутри пахнет влажными газетами и жареной курицей.

— У меня не было акустической системы, — говорит он. — Машина не моя. Вы уверены, что где-нибудь здесь, на стоянке, нет моей машины?

Они повторно обходят стоянку. Его машины здесь нет. Эстерхьюз чешет в затылке.

— Я разберусь, в чем тут дело, — говорит он. — Должно быть, какая-то путаница. Оставьте мне ваш номер, я перезвоню.

Люси сидит, закрыв глаза, за рулем комби. Он стукает в стекло, Люси отпирает дверцу.

— Ошибка, — говорит он, забираясь в машину. — "Короллу" они нашли, да только не мою.

— А мужчин ты видел?

— Мужчин?

— Ты сказал, арестованы двое мужчин.

— Их уже выпустили под залог. Так или иначе, машина не моя, стало быть, те, кого арестовали, моей машины не крали.

Долгое молчание.

— По-твоему, одно из другого следует логически? — спрашивает Люси.

Она включает двигатель, резко выворачивает руль.

— Не знал, что ты так жаждешь их поимки, — говорит он. Он слышит в своем голосе раздражение, но не может справиться с ним. — Если их схватят, будет суд и все, что из него проистекает. Тебе придется давать показания. Ты к этому готова?

Люси глушит двигатель. Лицо у нее замершее, она борется со слезами.

— Как бы там ни было, их уже и след простыл. Нашим друзьям вовсе не улыбается, чтобы их поймали, и уж тем более чтобы их поймала полиция штата, в котором они живут. Так что забудем об этом.

Он пытается взять себя в руки. Он становится придирой, занудой, но ничего не может с этим поделать.

— Люси, тебе самое время на что-то решиться. Либо ты продолжаешь жить в доме, полном отвратительных воспоминаний, и растравлять себе душу мыслями о происшедшем, либо оставляешь этот эпизод в прошлом и начинаешь с чистой страницы где-нибудь в другом месте. Такова альтернатива, какой я ее вижу. Я знаю, ты предпочла бы остаться здесь, но не стоит ли тебе хотя бы обдумать иную возможность? Разве мы не способны обсудить ее как разумные люди?

Люси качает головой.

— Я больше не могу разговаривать, Дэвид, просто не могу, — отвечает она, тихо, торопливо, словно боясь, что слова иссякнут. — Я знаю, я выражаюсь путано. Если бы только я могла все объяснить. Но я не могу. Не могу из-за того, кто ты и кто я. Прости. Мне жаль, что так получилось с твоей машиной. Жаль, что тебя ожидало разочарование.

Люси опускает голову на руки; плечи ее вздрагивают — она дает волю слезам.

Его вновь омывает волна чувств: апатии, безразличия, но также и легкости, как будто он выеден изнутри и от сердца его осталась только прохудившаяся оболочка. Как, думает он, может человек в таком состоянии найти слова, найти музыку, которая воскресит мертвых?

Женщина в шлепанцах и драной одежде, сидящая на тротуаре ярдах в пяти от них, пронизывает их злобным взглядом. Словно оберегая Люси, он кладет руку ей на плечо. "Моя дочь, — думает он, — любимая дочь.

Которую мне выпало направлять и наставлять. Которая в скором времени станет направлять меня".

Способна ли *она* учуять его мысли?

Вести машину приходится ему. На полпути к дому Люси, к его удивлению, сама заговаривает с ним.

— Все выглядело таким личным, — говорит она. — Делалось с такой личной ненавистью. Вот что ошеломило меня больше всего. Остального можно было... ожидать. Но почему они меня так ненавидели? Я и не встречала их никогда.

Он ждет продолжения, но продолжения не следует, пока.

— Это история говорила через них, — произносит он наконец. — История зла. Постарайся *так* думать об этом, если это способно помочь. Их чувства могли показаться личными, но такими не были. Наследие предков, не более того.

— От этого не легче. Потрясение попросту не желает никуда уходить. Я имею в виду — потрясение от того, что тебя ненавидят. В тот самый миг.

"В тот самый миг". Говорит ли она о том, о чем он думает, что она говорит?

— Ты все еще боишься? — спрашивает он.

— Да.

— Боишься, что они вернутся?

— Да.

— И думаешь, что, если ты не выдвинешь против них обвинение, они не вернутся? Ты в *этом* себя уверила?

— Нет.

— Тогда что?

Она молчит.

— Люси, все так просто. Закрой псарню. Не медля. Запри дом, заплати за его охрану Петрасу. Передохни полгода, год, пока дела в стране не пойдут на лад. Поезжай за море. В Голландию. Я дам денег. А когда вернешься, ты сможешь трезво оценить свое положение и все начать сначала.

— Если я уеду сейчас, Дэвид, я не вернусь. Спасибо за предложение, но оно не годится. Ты не можешь предложить ничего такого, чего сама я не обдумывала бы по сто раз.

— Тогда что ты намерена делать?

— Не знаю. Но какое бы решение я ни приняла, я хочу принять его сама, без понукания. Есть вещи, которых ты просто не понимаешь.

— Чего я не понимаю?

— Для начала — ты не понимаешь того, что произошло со мной в тот день. Тебя заклинило на моем благополучии, я благодарна тебе за это, ты думаешь, что все понял, но на самом-то деле — нет. Потому что понять ты не можешь.

Он тормозит, съезжает на обочину.

— Нет, — говорит Люси, — не здесь. Это плохое место, тут слишком опасно останавливаться.

Он набирает скорость.

— Напротив, — говорит он, — я понимаю все слишком хорошо. Я произнесу сейчас слово, которого мы до сих пор избегали. Тебя изнасиловали. Несколько раз. Трое мужчин.

— И?

— Ты боялась за свою жизнь. Боялась, что, попользовавшись тобой, они тебя убьют. Избавятся от тебя. Потому что ты ничего для них не значила.

— И? — голос ее обращается в шепот.

— А я ничего не сделал. Не спас тебя.

Это уже *его* исповедальное признание.

Она нетерпеливо отмахивается.

— Не вини себя, Дэвид. Как можно было ожидать, что ты меня спасешь? Появись они неделей раньше, я была бы в доме одна. Но ты прав, я ничего для них не значила, ничего.

Пауза.

— Думаю, они делали это и прежде, — снова заговаривает Люси, и на этот раз голос ее звучит тверже. — Во всяком случае, те двое, что постарше. Думаю, они прежде всего и главным образом насильники. А воровство — это так, случайность. Побочный род деятельности. Мне кажется, их специальность — изнасилования.

— И ты думаешь, что они вернутся?

— Видимо, я живу на их территории. Они пометили меня. И возвратятся назад.

— Тогда ты не можешь здесь оставаться.

— Почему же?

— Потому что тем самым ты словно бы приглашаешь их к себе.

Прежде чем ответить, она надолго задумывается.

— Но разве на все это нельзя посмотреть иначе, Дэвид? Что если... что если такова цена, которую необходимо заплатить, чтобы остаться здесь? Возможно, они именно так на это и смотрят; возможно, и мне следует так на это смотреть. Они видят во мне владелицу некой собственности. А в себе — сборщиков податей или долгов. Почему мне должны позволить жить здесь, ничего не заплатив? Может быть, так они себе все и объясняют.

— Уверен, *себе* они все могут объяснить. Сочинять разные россказни в свое оправдание — более чем в их интересах. Но доверься собственным чувствам. Ты сказала, что ощутила в них одну только ненависть.

— Ненависть... Знаешь, Дэвид, когда дело доходит до мужчин и секса, меня уже ничем не удивишь. Может быть, на мужчин ненависть к женщинам, с которыми они спят, действует как добавочное возбуждающее средство. Ты мужчина, ты должен знать. Когда ты овладеваешь незнакомой женщиной — когда хватаешь ее, не даешь ей вырваться, всей тяжестью подминаешь ее под себя, — разве это отчасти не смахивает на убийство? Вонзить в нее нож и уйти, оставив за собой окровавленное тело, — разве это не ощущается как убийство, безнаказанное убийство?

"Ты мужчина, ты должен знать" — можно ли говорить такое отцу? На одной ли они с ней стороне?

— Возможно, — говорит он. — Иногда. Некоторыми.

И следом быстро, не подумав:

— Ты чувствовала это с ними обоими? Что словно бы борешься со смертью?

— Они распаляли один другого. Вероятно, потому и делали это вместе. Как псы в своре.

— А третий, мальчишка?

— Его привели поучиться.

Они минуют указатель "Саговые пальмы". Время почти вышло.

— Будь они белыми, ты бы говорила о них иначе, — произносит он. — Будь они белыми громилами, скажем, из Деспатча.

— Ты полагаешь?

— Полагаю. Я тебя не виню, дело не в этом. Но в рассказанном тобой присутствует нечто новое. Порабощение. Они хотели обратить тебя в рабство.

— Нет, не порабощение. Усмирение. Подавление.

Он качает головой.

— Это уже слишком, Люси. Продай ферму. Продай ее Петрасу и уезжай.

— Нет.

На том разговор и заканчивается. Но эхо слов Люси продолжает звучать в его ушах. "Окровавленное тело" — что она хотела этим сказать? Или он все же не зря видел во сне пропитанную кровью постель, ванну в потеках крови?

"Их специальность — изнасилования". Он думает о трех визитерах, уезжающих в не старой еще "тойоте"; на заднем сиденье навалены домашние вещи; их пенисы, их орудия, теплые и удоволенные, свернулись между их ног — *мурлыкая*, вот слово, которое приходит ему в голову. У них достаточно причин гордиться проделанной за день работой; служение своему призванию наполняет их счастьем.

Он помнит, как ребенком застрял на обнаруженном в газетном сообщении слове "изнасилование", пытаясь понять его точное значение, гадая, что делает буква "с", обычно столь мягкая, в середине слова, внушающего такой страх, что никто не решается произнести его вслух. В библиотеке он видел в одном альбоме картину "Изнасилование сабинянок"[1]: верховые в легких римских доспехах, женщины в покрывалах, воздевающие руки, стенающие. Какое отношение имели эти театральные позы к подозреваемой им сущности изнасилования — к мужчине, который, лежа на женщине, входит в нее?

Он размышляет о Байроне. Среди легионов графинь и горничных, в которых входил Байрон, несомненно имелись и такие, что называли это изнасилованием. Но ни одна из них уж верно не боялась остаться после соития с перерезанным горлом. Ему в его положении и Люси — в ее Байрон, безусловно, представляется старомодным.

Люси напугана, напугана до смерти. Голос у нее сдавленный, дышит она с трудом, руки и ноги немеют. "Этого не может быть, — говорит она себе, пока двое мужчин силой принуждают ее лечь, — это лишь сон, ночной кошмар". Мужчины меж тем упиваются ее страхом, наслаждаются им, делают все, что в их силах, чтобы запугать ее, умножить ее ужас до последних пределов. "Зови своих псов! — говорят они. — Ну давай, позови их! Что, псов нету? Ну так мы тебе покажем, что такое псы!"

"Вы не понимаете, вас же там не было", — сказала Бев Шоу. Ладно, она ошиблась. Но в конечном счете Люси права; он понимает, он может, полностью сосредоточившись, отказавшись от себя, проникнуть туда, стать теми людьми, вселиться в них, наполнить их своим призраком. Вопрос только в том, хватит ли ему воображения, чтобы стать женщиной.

В уединении своей комнаты он пишет дочери письмо:

1. У нас за этим сюжетом закрепилось название "Похищение сабинянок" (английский глагол "to rape" имеет значения "насиловать" и "похищать").

"Дорогая Люси, со всей любовью, какая есть в мире, я должен сказать тебе следующее. Ты стоишь на пороге опасной ошибки. Ты хочешь унизиться перед историей. Но путь, на который ты ступила, неверен. Он лишит тебя какой бы то ни было чести; ты не сможешь жить в мире с собой. Умоляю, прислушайся к тому, что я говорю. Твой отец".

Час спустя под его дверь подсовывается конверт с письмом. "Дорогой Дэвид, ты меня так и не услышал. Я не тот человек, которого ты знаешь. Я человек конченый и не знаю пока, что способно вернуть меня к жизни. Знаю только, что уехать отсюда я не могу.

Ты этого не понимаешь, а я не вижу, что еще можно сделать, чтобы заставить тебя понять. Все выглядит так, словно ты нарочно забился в угол, в который не заглядывает солнце. Ты кажешься мне одной из трех обезьян, той, что прижала лапы к глазам.

Да, путь, на который я ступила, возможно, неверен. Но если я теперь покину ферму, я уеду отсюда потерпевшей поражение и буду чувствовать вкус поражения всю жизнь.

Я не могу навек остаться ребенком. И ты не можешь вовек оставаться отцом. Я знаю, ты желаешь мне добра, но ты — не тот наставник, который мне нужен, во всяком случае сейчас. Твоя Люси".

Вот и вся их переписка — и вот каково последнее слово Люси.

На сегодня с убийством собак покончено, черные мешки грудой свалены у двери, в каждом сокрыты душа и тело. Он и Бев Шоу лежат обнявшись на полу хирургической. Через полчаса Бев предстоит вернуться к ее Биллу, а ему — начать погрузку мешков.

— Ты никогда не рассказывал мне о твоей первой жене, — говорит Бев. — Да и Люси ничего о ней не говорит.

— Мать Люси была голландкой. Уж это-то она наверное тебе говорила. Эвелина. Эви. После развода она уехала в Голландию. Потом снова вышла замуж. Люси не ужилась с приемным отцом. И попросила, чтобы ее отправили в Южную Африку.

— То есть выбрала тебя.

— В каком-то смысле. Ну и кроме того — определенную среду обитания, определенные горизонты. А теперь я пытаюсь заставить ее вернуться назад, хотя бы на время. У нее есть в Голландии семья, есть друзья. Голландия, быть может, и не лучшая для жизни страна, но она, по крайности, не награждает человека ночными кошмарами.

— И?

Он пожимает плечами.

— Люси сейчас не склонна следовать моим советам. Говорит, что я не тот наставник, какой ей нужен.

— Но ты ведь преподавал в университете.

— Это не более чем случайность. Преподавание никогда не было моим призванием. И уж определенно я не испытывал потребности учить кого бы то ни было жить. Я из тех, кого принято называть учеными. Писал книги о давно умерших людях. Вот к этому душа у меня лежала. А преподавал я единственно ради заработка.

Она ждет большего, но у него нет настроения продолжать.

Солнце заходит, становится холодно. Сегодня они не совокуплялись; в сущности, они перестали прикидываться, что встречаются ради этого.

В голове у него — Байрон, одиноко стоящий на сцене, набирающий воздуха в грудь, чтобы запеть. Ему предстоит вот-вот отправиться в Грецию. В тридцать пять лет он начал понимать, что жизнь бесценна.

"Sunt lacrimae rerum, et mentem mortalia tangunt"[1], — такими будут слова Байрона, теперь он в этом уверен. Что касается музыки, она маячит где-то вдали, но близко пока не подходит.

— Тебе не о чем тревожиться, — говорит Бев Шоу. Голова Бев прижата к его груди; вероятно, она слышит, как бьется его сердце, в такт биениям коего шествует гекзаметр. — Мы с Биллом присмотрим за ней. Станем почаще ездить на ферму. Ну, и Петрас. Петрас не будет спускать с нее глаз.

— Петрас с его отеческой заботливостью?

— Да.

— Люси говорит, что я не могу вовек оставаться отцом. А я и представить себе не способен в этой жизни, что я не отец Люси.

Бев зарывается пальцами в щетку его волос.

— Все будет хорошо, — шепчет она. — Вот увидишь.

Глава девятнадцатая

Дом воздвигли при общей застройке этих мест, и лет пятнадцать-двадцать назад, тогда еще новый, он выглядел довольно уныло, но с тех пор поросшие травой дорожки, деревья и ползучие растения, раскинувшие побеги по бетонным стенам, значительно улучшили его облик. У номера восемь по Растхолм-кресент расписная садовая калитка с переговорным устройством.

Он нажимает кнопку. Юный голос произносит:

— Алло?

— Я ищу мистера Исаакса. Моя фамилия Лури.

— Он еще не вернулся.

— Когда вы его ожидаете?

— Минутку.

Жужжание, щелчок замка, он толкает, открывая, калитку.

Дорожка ведет к передней двери, у которой стоит, поджидая его, тоненькая девушка. На ней школьная форма: темно-синий блузон, белые гольфы, рубашка с открытым воротом. У нее глаза Мелани, широкие скулы Мелани, темные волосы Мелани; если она чем-то и отличается от сестры, то большей красотой. Младшая сестра Мелани, о которой он уже слышал, вот только имени никак припомнить не может.

— Добрый день. Когда вернется отец?

— Занятия в школе кончаются в три, но он обычно задерживается. Да все в порядке, вы заходите.

Девушка, удерживая дверь открытой, вжимается в стену, когда он проходит мимо. Она жует хлеб, изящно держа ломоть двумя пальцами. Крошки на верхней губе. Его подмывает протянуть руку, стряхнуть их, и в тот же миг горячей волной накатывает воспоминание о ее сестре. "Господи, спаси и сохрани, — думает он, — что я здесь делаю?"

— Хотите, присядьте.

1. "Слезы сочувствия есть, и земное трогает душу" (*лат.*) — Вергилий. "Энеида". Перев. В. Брюсова.

Он садится. Мерцает мебель, в комнате царит почти гнетущий порядок.

— Как ваше имя? — спрашивает он.

— Дезире.

Дезире, теперь он вспомнил. Сначала родилась Мелани, темная, потом Дезире, желанная. Наградить ребенка таким именем — значит как пить дать ввести богов в искушение!

— Меня зовут Дэвид Лури. — Он вглядывается в нее, но никаких признаков узнавания не замечает. — Я из Кейптауна.

— У меня сестра в Кейптауне. Она студентка.

Он кивает. Он не говорит: я знаю вашу сестру, хорошо знаю. Но думает: плод с того же древа, вероятно схожий с первым до самых интимных подробностей. Но есть и отличия: по-разному пульсирует кровь, различно выказываются потребности страсти. Обе в одной постели — вот опыт, достойный короля.

Он вздрагивает, смотрит на часы.

— Знаете что, Дезире? Я, пожалуй, попробую поймать вашего отца в школе, только вы мне скажите, как ее найти.

Школа составляет часть жилого квартала: низкое, облицованное кирпичом здание со стальными оконными рамами и асбестовой крышей, стоящее посреди четырехугольного, обнесенного колючей проволокой двора. "Ф. С. Мараис" — гласит надпись на одной из приворотных колонн; "Средняя школа" — значится на другой.

Двор пуст. Побродив немного, он натыкается на табличку "Канцелярия". В канцелярии сидит, полируя ногти, немолодая пухлая секретарша.

— Я ищу мистера Исаакса, — говорит он.

— Мистер Исаакс! — зовет секретарша. — К вам посетитель! — И говорит ему: — Да вы входите, входите.

Сидящий за столом Исаакс начинает было привставать, замирает, недоуменно глядит на него.

— Вы меня не помните? Дэвид Лури из Кейптауна.

— О! — произносит Исаакс и садится. На нем все тот же великоватый ему костюм: шея тонет в вороте пиджака, из которого Исаакс торчит, будто остроклювая птица из мешка. Окна закрыты, пахнет застоявшимся табачным дымом.

— Если вы не хотите меня видеть, я сразу уйду, — говорит он.

— Нет, — откликается Исаакс. — Присаживайтесь. Я тут посещаемость проверяю. Вы не против, если я сначала закончу?

— Пожалуйста.

На столе фотография в рамке. Оттуда, где он сидит, не видно, кто на ней изображен, но он знает и так: зеницы очей мистера Исаакса, Мелани и Дезире, и женщина, которая выносила их под сердцем.

— Итак, — произносит, закрывая журнал, мистер Исаакс. — Чему обязан удовольствием?

Он думал, что будет волноваться, но теперь ощущает полное спокойствие.

— После того как Мелани подала жалобу, — говорит он, — университет провел официальное расследование. В результате я лишился места. Такова моя история, вам она, должно быть, известна.

Никакой реакции, Исаакс продолжает вопрошающе взирать на него.

— С тех пор я не у дел. Сегодня я проезжал через Джордж и подумал, что нужно бы задержаться здесь и поговорить с вами. Я помню, при последней нашей встрече мы были несколько... разгорячены. Но я решил, что все же стоит заглянуть к вам и рассказать, что у меня на душе.

Все сказанное до сих пор — правда. Он действительно хочет рассказать, что у него на душе. Вопрос только в том, что у него там, на душе.

В руках Исаакса дешевая шариковая ручка, "Бик". Исаакс поглаживает ее пальцами, переворачивает, поглаживает снова и снова, движениями скорее машинальными, чем нетерпеливыми.

Он продолжает:

— Вы знаете эту историю такой, какой она видится Мелани. Я хотел бы рассказать, если вы согласны меня выслушать, как я ее себе представляю.

Все началось без какого-либо умысла с моей стороны. Началось как приключение, одно из тех небольших нежданных приключений, которые выпадают мужчинам определенного сорта, выпадали и мне, позволяя держать себя в форме. Простите, что я так это излагаю. Я стараюсь быть искренним.

Однако в случае Мелани произошло нечто непредвиденное. Про себя я называю это огнем. Она зажгла во мне огонь.

Он замолкает. Ручка продолжает свой танец. "Небольшое нежданное приключение. Мужчины определенного сорта". А мужчине, сидящему напротив него за столом, приключения выпадали? Чем дольше он глядит на Исаакса, тем сильнее сомневается в этом. Он не удивился бы, узнав, что Исаакс отправляет некую должность в церкви — дьякона или причетника, хотя, собственно, что такое причетник?

— Огонь... Что в нем замечательного? Если он гаснет, вы чиркаете спичкой и разжигаете новый. Так я привык думать. Между тем в давние времена люди поклонялись огню. Они бы крепко подумали, прежде чем позволить пламени умереть — пламени-богу. Такого вот рода пламя и зажгла во мне ваша дочь. Не настолько жаркое, чтобы я в нем сгорел, но настоящее — настоящий огонь.

Погоревший — горел — сгорел.

Ручка замирает.

— Мистер Лури, — говорит с вымученной улыбкой, искривившей его лицо, отец девушки. — Я спрашиваю себя: чего, собственно, вы добиваетесь, придя в мою школу и рассказывая мне истории о...

— Простите, это недопустимо, я понимаю. Но я уже закончил. Это все, что я хотел вам сказать в свое оправдание. Как Мелани?

— У Мелани, раз уж вы спрашиваете, все хорошо. Она звонит нам каждую неделю. Мелани вернулась к учебе, ей дали на это особое разрешение — ну, вы знаете, с учетом всех обстоятельств. В свободное время она продолжает работать в театре, довольно успешно. Так что с Мелани все в порядке. А как с вами? Каковы ваши планы — теперь, когда вы больше не работаете по специальности?

— У меня тоже есть дочь, если вам это интересно. Она владеет фермой; я собираюсь проводить часть времени с ней, помогать по хозяйству. Кроме того, я должен закончить книгу, вернее, нечто вроде книги. Так или иначе, у меня есть чем заняться.

Он умолкает. Исаакс вглядывается в него с поражающим его выражением искренней заботливости.

— Да, — негромко произносит Исаакс, слова слетают с его губ подобно вздохам, — как пали сильные!

Пали? Что ж, падение было, тут не о чем и говорить. Но "сильные"? Применимо ль к нему это слово? Он привык считать себя человеком неприметным и становящимся чем дальше, тем неприметнее. Человеком с обочины истории.

— Возможно, — говорит он, — нам полезно время от времени падать. Пока мы не разбиваемся.

— Хорошо. Хорошо. Хорошо, — говорит Исаакс, все еще не сводя с него сосредоточенного взгляда. Впервые он примечает в лице Исаакса черты Мелани — в форме рта и губ. Повинуясь внезапному порыву, он тянется через стол, чтобы пожать этому человеку руку, но кончает тем, что гладит ее. Прохладная безволосая кожа.

— Мистер Лури, — говорит Исаакс, — есть ли еще что-нибудь, что вы хотели бы мне рассказать, помимо вашей с Мелани истории? Вы упоминали о том, что у вас нечто лежит на душе.

— На душе? Нет. Нет, я заехал в город, чтобы узнать, как Мелани. — Он встает. — Спасибо, что приняли меня, я вам очень признателен.

Он протягивает руку, на сей раз не испытывая смущения:

— Прощайте.

— Прощайте.

Он уже в дверях — практически в опустевшей к этому времени приемной, — когда Исаакс окликает его:

— Мистер Лури! Минуточку!

Он возвращается.

— Какие у вас планы на вечер?

— На сегодняшний? Я остановился в отеле. У меня нет планов.

— Приходите к нам перекусить. Приходите к обеду.

— Не думаю, что вашей жене это понравится.

— Возможно, нет. Возможно, да. Все равно приходите. Преломите с нами хлеб. Мы садимся за стол в семь. Позвольте я напишу вам адрес.

— В этом нет необходимости. Я уже побывал сегодня у вас, познакомился с вашей дочерью. Она-то меня сюда и направила.

Исаакс и бровью не ведет.

— Хорошо, — говорит он.

Дверь открывает сам Исаакс.

— Прошу, прошу, — говорит Исаакс и проводит его в гостиную. Никаких признаков ни жены, ни второй дочери.

— Мой вклад, — говорит он, протягивая Исааксу бутылку вина.

Исаакс благодарит, но, похоже, не знает, что ему делать с бутылкой.

— Налить вам немного? Я пойду открою.

Он покидает комнату, из кухни слышится шепот. Исаакс возвращается.

— Штопор куда-то запропастился. Ничего, Дези займет у соседей.

Ясное дело, они трезвенники. Мог бы и догадаться. Маленький мещанский дом со строгими правилами; расчетливость, бережливость. Машина вымыта, лужайка подстрижена, сбережения хранятся в банке. Все посвящено тому, чтобы обеспечить надежное будущее драгоценным дочкам — умнице Мелани с ее театральными устремлениями, красавице Дезире.

Он вспоминает Мелани в первый вечер их близкого знакомства — сидящую рядом с ним на софе, прихлебывающую кофе, в который добавлена маленькая стопочка виски, добавлена в виде — слово приходит к нему против воли — *смазки.* Ее аккуратное маленькое тело; ее волнующий чувства наряд; блестящие от возбуждения глаза. Девочка, вышедшая из леса, по которому рыщет серый волк.

Входит с бутылкой и штопором красавица Дезире. Направляясь к нему через комнату, она на миг запинается, сознавая, что необходимо как-то поздороваться с гостем.

— Па? — с едва приметным смущением шепчет она, протягивая отцу бутылку.

Так, Дезире уже знает, кто он. Родители разговаривали о нем, возможно, ссорились: нежеланный гость, человек, имя которому "мрак".

Отец задерживает ее ладонь в своей.

— Дезире, — говорит он, — это мистер Лури.

— Привет, Дезире.

Тряхнув головой, она отбрасывает назад упавшие на лицо волосы. Встречается с ним взглядом, все еще смущенная, но уже обретшая силу под защитой отца.

— Привет, — произносит она, а он думает: "Боже мой, боже мой!"

Что до Дезире, ей не удается утаить от него свои мысли: "Так вот человек, с которым лежала голой моя сестра! Человек, с которым она делала это! Этот старик!"

В доме имеется еще одна маленькая гостиная, соединенная с кухней окошком в стене. Стол накрыт на четверых — лучшие приборы, свечи.

— Садитесь, садитесь! — говорит Исаакс. Жены по-прежнему не видно. — Извините, я на минутку, — Исаакс скрывается в кухне.

Он остается наедине с сидящей против него Дезире. Девушка склоняет голову, смелость покидает ее.

Наконец они возвращаются, родители. Он встает.

— Вы еще не знакомы с моей женой. Дорин, наш гость, мистер Лури.

— Я благодарен вам за приглашение, миссис Исаакс.

Миссис Исаакс — невысокая женщина, немного раздавшаяся к середине жизни, с кривоватыми ногами, отчего она слегка переваливается на ходу. Но он видит, от кого унаследовали свою внешность сестры. В прежние дни она, надо полагать, была настоящей красавицей.

Лицо ее остается неподвижным, она не встречается с ним взглядом, но все же кивает, почти неприметно. Послушная, хорошая жена и помощница. "И оба плотью единой". Дочери тоже пойдут в нее?

— Дезире, принеси, пожалуйста, карри, — просит она.

Благодарное дитя выкарабкивается из кресла.

— Мистер Исаакс, я стал причиной размолвки в вашей семье, — говорит он. — Вы очень добры, что пригласили меня, я вам благодарен, но мне лучше уйти.

Исаакс отвечает улыбкой, в которой, к его изумлению, сквозит намек на веселость.

— Сидите, сидите! Все у нас будет отлично! Мы справимся! — Исаакс наклоняется к нему. — Вам следует быть сильным!

Возвращаются с подносами Дезире и ее мать: цыплята в пузырящемся томатном соусе, распространяющем аромат имбиря и тмина, рис, салаты и пикули. Именно та еда, по которой он, живя с Люси, соскучился пуще всего.

Перед ним ставят бутылку с вином и одинокий фужер.

— Я тут единственный, кто пьет? — спрашивает он.

— Прошу вас, — говорит Исаакс. — Не стесняйтесь!

Он наполняет фужер. Сладких вин он не любит и "Поздний урожай" купил, полагая, что это вино придется им по вкусу. Что ж, тем хуже для него.

Остается вытерпеть молитву. Семья Исааксов берется за руки, ему не остается ничего другого, как тоже протянуть руки — левую отцу девушки, правую матери.

— Да содеет нас Господь воистину благодарными за то, что мы станем сейчас вкушать, — говорит Исаакс.

— Аминь, — отзываются жена с дочерью; и он, Дэвид Лури, тоже бормочет: "Аминь" — и выпускает две ладони, отцовскую, прохладную как шелк, и материнскую, маленькую, мясистую, согретую ее трудами.

Миссис Исаакс раскладывает еду.

— Осторожнее, горячо, — говорит она, подавая ему тарелку. Это единственные обращенные ею к нему слова.

За едой он старается вести себя как хороший гость, рассказывает, не позволяя повиснуть молчанию, смешные истории. Он говорит о Люси, о ее псарне, пчелах, садоводческих планах, о своих субботних сидениях на рынке. Рассказ о нападении он смягчает, упоминая только, что у него угнали машину. Рассказывает он и о Лиге защиты животных, но не о своих тайных вечерних свиданиях с Бев Шоу.

История его, состеганная таким манером из отдельных кусков, лишена теней. Сельская жизнь во всей ее идиотической простоте. Как бы он хотел, чтобы это могло стать правдой! Он устал от теней, от сложностей, от сложных людей. Он любит дочь, но временами желает, чтобы она была более простым существом, простым и понятным. Человек, который ее изнасиловал, главарь банды, как раз таким-то и был. Подобным клинку, рассекающему ветер.

Он вдруг видит себя распяленным на операционном столе. Блещет скальпель, его распарывают от горла до чресел. Бородатый хирург, склонившись над ним, хмурится. "Это еще что? — рычит хирург. И тычет скальпелем в желчный пузырь. — Что это?" Он отсекает пузырь, отбрасывает его в сторону. И тычет в сердце. "А это?"

— Ваша дочь... она что же, в одиночку управляется с фермой? — спрашивает Исаакс.

— Там есть человек, который ей иногда помогает. Петрас. Африканец.

И он рассказывает о Петрасе, основательном, надежном Петрасе с двумя его женами и скромными амбициями.

Он, оказывается, не так голоден, как полагал. Разговор никнет, однако им удается дотянуть до конца обеда. Дезире извиняется и уходит, у нее еще не сделаны уроки. Миссис Исаакс убирает со стола.

— Мне пора, — говорит он. — Я завтра должен выехать пораньше.

— Постойте, задержитесь ненадолго, — говорит Исаакс.

Они остаются наедине. Он больше не может уклоняться от объяснения.

— Относительно Мелани, — говорит он.

— Да?

— Еще одно слово, последнее. Я верю, что у нас с ней все могло сложиться иначе, несмотря на разницу в возрасте. Но было нечто, чего я не

смог ей дать, нечто, — он нащупывает слово, — лирическое. Мне не хватило лиричности. Я слишком умело управляюсь с любовью. Даже сгорая, я не пою, вы понимаете, о чем я? И я прошу прощенья за это. Я прошу прощенья за то, через что пришлось пройти вашей дочери. У вас чудесная семья. Я извиняюсь за горе, которое причинил вам и миссис Исаакс. Я прошу вас простить меня.

"Чудесная" — неверное слово. Правильнее — "образцовая".

— Итак, — говорит Исаакс, — вы извинились. А я уж начал гадать, когда же это случится.

Исаакс задумывается. Он не садится, прохаживается взад-вперед по гостиной.

— Вы просите прощения. Говорите, что вам не хватило лиричности. Если б вам хватило лиричности, мы не попали бы в нынешнее наше положение. Но я говорю себе: мы все, когда нас хватают за руку, просим прощения. Тут мы преисполняемся глубоких сожалений о содеянном. Вопрос же не в том, сожалеем мы или нет. Вопрос в том, какой урок мы извлекли из случившегося. Вопрос в том, что мы станем делать теперь, переполнясь такими сожалениями.

Он раскрывает рот, чтобы ответить, но Исаакс поднимает ладонь.

— Могу я произнести в вашем присутствии слово "Бог"? Вы не из тех, кто выходит из себя, услышав имя Божие? Так вот, вопрос в том, чего, помимо сожалений, хочет от вас Бог? Имеются у вас какие-нибудь соображения на этот счет, мистер Лури?

Мельтешение Исаакса отвлекает его, но он все же старается подбирать слова поточнее:

— В обычной ситуации я сказал бы, что по достижении определенного возраста человек оказывается слишком стар, чтобы извлекать уроки. Ему остается лишь сносить наказание за наказанием. Но, возможно, это не так, не всегда так. Я жду, надеясь понять. Что касается Бога, то я человек неверующий, поэтому мне приходится переводить ваши слова о Боге и воле Божией на язык моих собственных представлений. В рамках этих представлений я несу наказание за то, что произошло между мной и вашей дочерью. Я погружен в бесчестье, а это состояние, выбраться из которого без посторонней помощи нелегко. Не то чтобы я отвергал наказание. Против него я не возражаю. Нет, я живу с ним день за днем, стараясь принять бесчестье как выпавший мне на долю способ существования. Как по-вашему, достаточно ли Богу того, что я живу в бесчестье, которому не видно конца?

— Не знаю, мистер Лури. В обычной ситуации я сказал бы: не спрашивайте у меня, спрашивайте у Бога. Но поскольку вы не молитесь, то и спросить Его ни о чем не можете. Стало быть, придется Богу отыскивать собственные средства, чтобы пообщаться с вами. Как по-вашему, мистер Лури, почему вы очутились здесь?

Он молчит.

— Ну так я вам скажу. Вы проезжали через Джордж, вам пришло в голову, что в Джордже живет семья вашей студентки, и вы подумали: "Почему бы и нет?" Вы этого не планировали и все-таки оказались в нашем доме. Вас это должно было удивить. Не так ли?

— Не совсем. Я не сказал вам всей правды. Я не просто проезжал мимо. Я заехал в Джордж по одной-единственной причине — чтобы поговорить с вами. Я уже довольно давно думал об этом.

— Да, вы говорите, что приехали ради разговора со мной. Но почему со мной? Со мной легко разговаривать, слишком легко. Это известно всем детям моей школы. От Исаакса ничего не стоит отбрехаться, вот как они говорят. — Он вновь улыбается той же кривоватой улыбкой, что и прежде. — Так вы действительно приехали, чтобы поговорить со мной?

Теперь он окончательно понимает: человек этот ему не нравится и его фокусы тоже.

Он встает, неуверенным шагом пересекает пустую гостиную, идет по коридору. За полуприкрытой дверью слышны негромкие голоса. Он распахивает дверь. Сидя на кровати, Дезире с матерью возятся с мотком шерсти. Пораженные его появлением, они замолкают.

С тщательной церемонностью он опускается на колени и лбом касается пола.

"Этого довольно? — думает он. — Сгодится? Если нет, что еще?"

Он отрывает лоб от пола. Женщины так и сидят замерев. Он встречается взглядом с матерью, затем с дочерью, и поток снова взбухает, поток желания.

Он поднимается на ноги с несколько большим скрипом, чем ему хотелось бы.

— Спокойной ночи, — говорит он. — Спасибо за вашу доброту. Спасибо за угощение.

В одиннадцать вечера в его номере раздается телефонный звонок. Это Исаакс.

— Я звоню, чтобы пожелать вам сил на будущее. — Пауза. — И еще, мистер Лури, у меня есть вопрос, который я так и не успел вам задать. Вы ведь не надеялись, что мы похлопочем за вас, ну, в университете?

— Похлопочете?

— Ну да. Например, чтобы вас восстановили в должности.

— И в голову никогда не приходило. С университетом я покончил.

— Потому что путь, на который вы вступили, избран для вас Богом как испытание. *Мы* тут вмешиваться не вправе.

— Понятно.

Глава двадцатая

В Кейптаун он въезжает по шоссе N2. Он отсутствовал меньше трех месяцев, и все же за это время лачуги успели перехлестнуть через дорогу и расползтись по пустошам к югу от аэропорта. Потоку машин приходится ждать, пока ребенок с хворостиной перегонит через шоссе отбившуюся от стада корову. Деревня, думает он, неумолимо вторгается в город. Скоро на Рондебош-коммон снова будет пастись скот; скоро история вновь завершит полный круг.

Ну вот он и дома. Хотя чувства возвращения домой у него не возникает. Ему трудно представить, как он опять заживет на Торранс-роуд, в тени университета, как будет, подобно преступнику, красться по улицам, избегая прежних коллег. Придется продать дом и поселиться в какой-нибудь квартирке подешевле.

В денежных его делах царит хаос. Счета не оплачивались со времени отъезда. Он жил в кредит, и теперь этот кредит может в любой день иссякнуть.

Конец скитаниям. А что наступает, когда кончаются скитания? Он видит себя седоголовым, сутулым, шаркая бредущим к угловому магазину, чтобы купить пол-литра молока и половинку батона; видит себя в заваленной пожелтевшими бумагами комнате, тупо сидящим за столом в ожидании, когда померкнет день и можно будет приготовить ужин и лечь спать. Жизнь престарелого ученого, без устремлений, без перспектив — готов ли он к ней?

Он отпирает калитку. Сад зарос, почтовый ящик забит извещениями, рекламными листками. Дом, хоть он по большинству стандартов и надежно защищен от взлома, пропустовал несколько месяцев: слишком долго для надежды на то, что его не посетили незваные гости. И действительно, едва открыв входную дверь и потянув носом воздух, он убеждается — что-то неладно. От волнения начинает болезненно колотиться сердце.

Ни звука. Кто бы ни вторгся в дом, сейчас здесь никого. Но как они проникли внутрь? Переходя на цыпочках из комнаты в комнату, он скоро получает ответ. Прутья решетки одного из выходящих на зады окон выломаны и отогнуты наружу, стекла разбиты, образовавшееся отверстие достаточно велико, чтобы в него смог пролезть ребенок, а то и щуплый мужчина. Пол устилают нанесенные ветром листья и песок.

Он бродит по дому, составляя список потерь. В спальне все перевернуто вверх дном, стенные шкафы зияют пустотой. Аудиосистема исчезла, пластинки, кассеты и компьютерное оборудование тоже. В кабинете взломаны письменный стол и картотечный шкаф, повсюду рассыпаны бумаги. Кухня обобрана полностью: столовое серебро, посуда, бытовые приборы, те, что поменьше. Исчезло все его вино. Пуст даже буфет, в котором хранились консервы.

Не просто ограбление. Группа вторжения занимает объект, обдирает его дочиста и отходит, нагруженная мешками, ящиками, чемоданами. Трофеи, военные репарации, еще один эпизод в великой кампании перераспределения. Кто сейчас носит его полуботинки? Нашли ли Бетховен с Яначеком новые пристанища или их просто вышвырнули в кучу мусора?

Из ванной комнаты тянет отвратительным запахом. Голубь, залетевший в дом, нашел свой конец в умывальнике. Он осторожно сгребает кучку костей и перьев в пластиковый пакет и туго завязывает его.

Свет отключен, телефон молчит. Если он чего-нибудь не предпримет, придется провести ночь в темноте. Но он слишком подавлен для каких-либо действий. Провались оно все в тартарары, думает он, опускаясь в кресло и закрывая глаза.

Когда наступают сумерки, он, стряхнув оцепенение, выходит из дому. Загораются первые звезды. Пустыми улицами, парками, напоенными запахами вербены и нарциссов, он идет к университетскому городку. У него еще сохранились ключи от входной двери факультетского корпуса. Самое время для появления призрака: коридоры пустынны. Табличка с его именем с двери кабинета снята. “Д-р С. Отто” — значится на новой. Из-под двери пробивается слабый свет.

Он стучит. Никакого ответа. Он отпирает дверь и входит.

Комната изменилась. Его картины и книги исчезли, стены голы, если не считать увеличенной до размеров плаката фотокопии с картинки из книги комиксов: Супермен, понуро внимающий укорам Лоис Лэйн[1].

1. Персонаж эпопеи о Супермене, журналистка, в которую он влюблен.

За компьютером сидит в полусвете молодой человек, никогда им прежде не виданный. Молодой человек недовольно хмурится.

— Вы кто? — спрашивает он.

— Дэвид Лури.

— Да? И что?

— Я пришел за своей почтой. Здесь был мой кабинет.

"В прошлом", — едва не добавляет он.

— А, да, Дэвид Лури. Простите, не сообразил. Я все сложил в коробку. Вместе с другими вашими вещами, какие я здесь нашел. — Он машет рукой: — Вон она.

— А мои книги?

— Внизу, в камере хранения.

Он поднимает коробку.

— Спасибо, — говорит он.

— Нет проблем, — откликается молодой д-р Отто. — Сами дотащите?

Он несет тяжелую коробку к библиотеке, чтобы разобрать там почту. Но, достигнув входного турникета, обнаруживает, что пропускной автомат больше не опознает его карточку. Приходится разбирать почту на скамейке в вестибюле.

Он слишком возбужден, чтобы спать. На закате он, решив порадовать себя долгой прогулкой, направляется к склону горы. Только что прошел дождь, потоки воды еще бурлят в водостоках. Он вдыхает пьянящий аромат сосен. Сегодня он человек свободный, никому, кроме себя самого, ничем не обязанный. Время простерлось перед ним, ожидая, что он потратит его по своему усмотрению. Чувство, внушающее некоторое беспокойство; впрочем, и к нему, надо полагать, можно привыкнуть.

Месяцы, проведенные у Люси, не обратили его в сельского жителя. Тем не менее по каким-то вещам он скучает — например, по утиному семейству: Матушка Утица с выпяченной от гордости грудью гуляет, меняя галсы, по насыпи, меж тем как Эни, Мени, Мини и Мо деловито ковыляют за ней, уверенные, что, пока она здесь, с ними никакой беды не случится.

А вот о собаках ему думать не хочется. Начиная с понедельника собак, избавленных в стенах клиники от жизни, будут бросать в огонь безвестными, неоплаканными. Получит ли он когда-либо прощение за это предательство?

Он навещает банк, относит в прачечную груду белья. Продавец магазинчика, в котором он многие годы покупал кофе, делает вид, что не узнает его. Соседка, поливающая свой садик, старательно держится к нему спиной.

Он вспоминает об Уильяме Вордсворте, впервые приехавшем в Лондон, посетившем пантомиму и видевшем, как Джек Победитель Великанов, размахивая мечом, беспечно разгуливает по сцене, защищенный написанным на его груди словом "Невидимка".

Вечером он из будки телефона-автомата звонит Люси.

— Решил позвонить, на случай, если ты обо мне тревожишься, — говорит он. — У меня все нормально. Видимо, потребуется какое-то время, чтобы снова обжиться здесь. Я чувствую себя в доме как горошина в бутылке, только что о стены не стукаюсь. И по уткам скучаю.

О том, что дом ограблен, он не упоминает. Зачем обременять Люси своими заботами?

— Как Петрас? — спрашивает он. — Помогает тебе или все еще никак не разделается с постройкой дома?

— Петрас очень меня выручает. И другие тоже.

— Ну что ж, если понадоблюсь, я готов сразу вернуться. Ты только скажи.

— Спасибо, Дэвид. Может быть, не сейчас, но в скором времени.

Кто бы мог подумать при рождении Люси, что наступят дни, когда он будет унижаться перед ней, прося пристанища?

Покупая кое-что в супермаркете, он обнаруживает в очереди прямо перед собой Элайн Винтер, заведующую его — теперь уж не его — кафедрой. У Элайн набитая покупками тележка на колесиках, у него — скромная ручная корзинка. Она не без нервности отвечает на его приветствие.

— Как там поживает без меня кафедра? — спрашивает он.

"Отлично, — так должен бы прозвучать наиболее честный ответ. — Прекрасно без вас обходимся". Но для такого ответа она слишком вежлива.

— Ну, колотимся как обычно, — туманно сообщает она.

— Нашли кого-нибудь на мое место?

— Да, взяли по договору одного молодого человека.

"Я с ним уже познакомился", — хочется сказать ему. "Маленький хер, в исправном состоянии", — мог бы прибавить он. Но и он тоже слишком хорошо воспитан.

— И какова его специальность? — вместо этого осведомляется он.

— Прикладная лингвистика. Занимается изучением языков.

Вот и конец поэтам, конец мертвым мастерам. Каковые, следует добавить, оказались не лучшими из наставников. Aliter[1] каковых он слушал без должного внимания.

Женщина, стоящая перед ними, уже расплачивается. У Элайн еще остается время для следующего вопроса, коим должен стать: "А как вы поживаете, Дэвид?", а у него для ответа: "Превосходно, Элайн, превосходно".

— Хотите, я вас пропущу? — предлагает она взамен и указывает на его корзинку. — У вас так мало всего.

— И не мечтайте, Элайн, — отвечает он и затем не без удовольствия наблюдает, как она выкладывает на стойку покупки: не только хлеб да масло, но и те маленькие радости, которые позволяет себе одинокая женщина, — настоящее сливочное мороженое (с настоящим миндалем и настоящим изюмом), завозное итальянское печенье, плитки шоколада плюс пакет гигиенических прокладок.

Расплачивается Элайн кредитной карточкой. Из-за барьера она машет ему на прощанье рукой. Явно испытывая облегчение.

— До скорого! — кричит он поверх головы кассирши. — Кланяйтесь всем от меня!

Элайн не оборачивается.

Опера, когда он только еще задумал ее, вращалась вокруг лорда Байрона и его любовницы, графини Гвиччиоли. Этим двоим, запертым на вилле Гвиччиоли, изнуренным удушающим летним зноем Равенны, выслеживаемым ревнивым мужем Терезы, предстояло бродить по унылым поко-

1. Или же, иначе, по-другому (*лат.*).

ям и петь о своей одолевающей препятствия страсти. Тереза чувствует себя узницей; негодование сжигает ее, она изводит Байрона просьбами увезти ее прочь отсюда, к другой жизни. Байрон же полон сомнений, которые ему хватает ума не высказывать. Их первые восторги, подозревает он, никогда уж не повторятся. В жизни Байрона наступило затишье, его, пока еще неосознанно, влечет к тихому, уединенному существованию, а если таковое окажется невозможным, то к апофеозу, к смерти. Выспренние арии Терезы не возжигают в его душе никакого огня; его вокальная тема, безрадостная, путаная, огибает тему Терезы, проходит сквозь нее и над нею.

Такой он задумал свою оперу — камерной пьесой о любви и смерти, с пылкой юной женщиной и некогда пылким, но уже поостывшим мужчиной постарше; пьесу, действие которой оттеняется сложной, тревожной музыкой, английским пением, то и дело норовящим перейти на вдохновенный итальянский.

Если говорить о форме — концепция неплоха. Персонажи хорошо уравновешивают друг друга: чета затворников, стучащая в окна отвергнутая любовница, ревнивый муж. Да и вилла — с люстрами, на которых раскачиваются ручные обезьянки Байрона, с павлинами, разгуливающими взад-вперед среди чересчур изукрашенной неаполитанской мебели, — создает нужное сочетание вневременья и распада.

И все же, сначала на ферме Люси, теперь здесь, этому замыслу никак не удается всерьез задеть струны его души. Что-то есть в нем неверное, идущее не от сердца. Женщина жалуется звездам, что шпионящие слуги вынуждают ее и любовника утолять свои желания в чулане, среди метел, — ну и что с того? Он способен найти слова для Байрона, но Тереза, которую завещала ему история — юная, алчная, своенравная, вздорная, — не отвечает музыке, о которой он мечтает, музыке, чьи гармонии, по-осеннему пышные, но отзывающие иронией, он улавливает внутренним слухом.

Он пробует пойти другим путем. Махнув рукой на исписанные нотами листы, махнув рукой на своевольницу, переживающую пору первой влюбленности в плененного ею Английского Милорда, он пытается воссоздать Терезу в ее зрелые годы. Новая Тереза — это кряжистая, низкорослая вдова, живущая со своим престарелым отцом на вилле Гамба, ведущая хозяйство, не любящая развязывать шнурки на мошне, присматривающая за слугами, чтобы те не крали сахар. В новом варианте Байрон давно мертв; единственное оставшееся у Терезы притязание на бессмертие, единственное утешение ее одиноких ночей — это сундучок с письмами и памятными вещицами, который она держит под кроватью — то, что она называет своими reliquie[1], и что внучатые племянницы Терезы найдут после ее смерти и станут с благоговением перебирать.

Вот это и есть героиня, которую он искал столько времени? Сможет ли постаревшая Тереза увлечь его сердце — такое, каким оно стало теперь?

Время обошлось с Терезой неласково. Отяжелевший бюст, коренастое тулово, коротковатые ноги делают ее похожей скорей на крестьянку, на contadina, чем на аристократку. Лицо, которое Байрон некогда так

1. Реликвиями (*итал.*).

обожал, покрыл нездоровый румянец; летней порой Терезу мучают приступы астмы, и она жадно хватает ртом воздух.

В письмах к Терезе Байрон называл ее "Друг мой", затем "Любовь моя", затем "Вечная любовь моя". Но существуют и письма-соперники, на которые она не может наложить руку, чтобы их сжечь. В этих письмах к английским друзьям Байрон непочтительно заносит ее в список своих итальянских побед, подшучивает над ее мужем, упоминает о женщинах ее круга, с которыми он спал. За годы, прошедшие после смерти Байрона, друзья, опираясь на его письма, понастрочили один за другим мемуаров. После того как Байрон увел Терезу у мужа, уверяют их россказни, она ему скоро наскучила; он быстро обнаружил, что Тереза пустоголова; и оставался с нею из одного только чувства долга; он для того и уплыл в Грецию, навстречу смерти, чтобы избавиться от нее.

Эти пасквили задевают ее за живое. Годы, проведенные с Байроном, это вершина ее жизни. Любовь Байрона — единственное, что отличает ее от всех остальных. Без этой любви она ничто: женщина, чья лучшая пора миновала, коротающая дни в унылом провинциальном городе, обмениваясь визитами с подругами, растирая отцу ноги, когда те болят, проводя ночи в одинокой постели.

Сможет ли он отыскать в своем сердце любовь к этой невзрачной, заурядной женщине? Сможет ли полюбить ее настолько, чтобы написать для нее музыку? Если не сможет, что ему останется тогда?

Он возвращается к тому, что должно теперь стать начальной сценой. Близится к концу еще один знойный день. Тереза стоит у окна третьего этажа отцовского дома, глядя поверх болот и чахлых сосен Романьи на солнце, блещущее на водах Адриатического моря. Конец вступления, тишина, Тереза делает вдох. "Mio[1] Байрон", — поет она, и голос ее дрожит от печали. Одинокий кларнет отвечает ей, затихает, смолкает. "Mio Байрон", — снова зовет она, на этот раз громче.

Где он, ее Байрон? Байрон умер, таков ответ. Байрон бродит среди теней. И она умерла тоже, Тереза, которую он любил, девятнадцатилетняя девушка со светлыми локонами, так радостно отдававшаяся властному англичанину и затем гладившая его чело, когда он, тяжело дышащий, впавший в оцепенение после всплеска великой страсти, лежал на ее нагой груди.

"Mio Байрон", — поет она в третий раз, и откуда-то, из вертепов преисподней, отвечает голос, колеблющийся, бестелесный голос призрака, голос Байрона. "Где ты?" — поет он, и следом приходит слово, которого ей не хочется слышать: secca, сухой. "Он высох, источник всего".

Голос Байрона так слаб, так неверен, что Терезе приходится пропевать ему его же слова, вдох за вдохом помогая ему, вытягивая его, возвращая к жизни — ее дитя, ее мальчика. "Я здесь, — поет она, удерживая Байрона, спасая от сползания вниз. — Я твой источник. Ты помнишь, как мы навещали ключи Аркуи[2]? Вдвоем, ты и я. Я была твоею Лаурой. Ты помнишь?"

Так оно теперь и пойдет: Тереза, наделяющая любовника голосом, и он, человек в ограбленном доме, наделяющий голосом Терезу.

Стараясь работать как можно быстрее, стараясь не выпустить Терезу из рук, он пробует набросать начальные страницы либретто. Перенеси слова на бумагу, говорит он себе. Сделаешь это — дальше пойдет лег-

1. Мой (*итал.*).
2. Аркуя — деревня под Падуей, в которой умер Петрарка.

че. Тогда наступит время поискать у мастеров — у Глюка к примеру — возвышенные мелодии и, возможно, — как знать? — да, возвышенные идеи.

Мало-помалу, по мере того как он проводит все больше времени с Терезой и мертвым Байроном, он начинает понимать, что заемные мелодии не подойдут, что эти двое требуют собственной музыки. И поразительно — нота за нотой музыка приходит к нему. Порою контур фразы возникает еще до того, как он понимает, какими будут слова; порою слова порождают каданс; порой же мелодия, несколько дней протоптавшаяся у порога слышимости, раскрывается, радостно являя себя. Больше того, действие, развиваясь, начинает взывать к собственным модуляциям, к переключениям, которые, он чувствует это, бродят в его крови, даже когда ему не хватает музыкальных средств для их выражения.

Он усаживается за рояль, намереваясь соединить разрозненные куски и записать начало партитуры. Но что-то в звучании рояля мешает ему: оно слишком округло, слишком материально, слишком богато. Он притаскивает с чердака, из набитой старыми книгами и игрушками Люси корзины, странноватое маленькое семиструнное банджо, купленное для дочери, тогда еще девочки, на улице Куамашу. И с помощью банджо принимается перекладывать на ноты музыку, под которую Тереза, то скорбящая, то гневная, поет, обращаясь к мертвому любовнику, и ту, под которую поет ей в ответ из страны теней тусклоголосый Байрон.

Чем дальше углубляется он за графиней в ее преисподнюю, выпевая за нее слова или мурлыча ее вокальную линию, тем, к его удивлению, более неотделимым от нее становится глупенькое треньканье банджо. Роскошные арии, которыми он мечтал ее наделить, тихо отступают в небытие, и остается всего лишь короткий шаг до того, чтобы вложить инструмент в ее руки. Теперь Тереза не расхаживает торжественно по сцене, но сидит, глядя поверх болот на врата ада, баюкая мандолину, на которой она аккомпанирует своим лирическим порывам; а обок нее скромное трио (виолончель, флейта, фагот) заполняет паузы или вставляет между строф скупые замечания.

Сидя за письменным столом и глядя в заросший садик, он дивится тому, чему научило его маленькое банджо. Шесть месяцев назад он полагал, что его собственное призрачное место в "Байроне в Италии" будет находиться где-то между Терезой и Байроном — между стремлением продлить летнюю пору страстного тела и неохотным пробуждением от долгого сна забвения. Он ошибался. В конечном итоге не эротика взывала к нему, не элегическое начало, но комическое. В опере он не Тереза, не Байрон, не даже некая их смесь: он живет в самой музыке, в монотонном металлическом щелканье банджовых струн, в голосе, который пытается воспарить над нелепым инструментом, но раз за разом послушно притягивается к нему, точно рыба на лесе.

Таково искусство, думает он, и вот так оно работает! Как странно! Как чарующе!

Он проводит целые дни в обществе Байрона и Терезы, питаясь черным кофе и овсянкой. Холодильник пуст, кровать не убрана, ветер, врываясь в разбитое окно, гоняет по полу листья. Неважно, думает он, пусть мертвые погребают своих мертвецов.

"У поэтов я научился любить, — на одной ноте поет резким голосом Байрон, одиннадцать слогов, *до бекар*, — но жизнь, как узнал я (хроматический спуск к *фа*), дело совсем иное". "Трень-брень-дринь", — коммен-

тируют струны банджо. "Почему, о, почему ты так говоришь?" — выпевает Тереза по долгой, укоризненной дуге. "Брень-трень-дринь", — вторят ей струны банджо.

Ей хочется быть любимой, Терезе, любимой вовек; ей хочется возвыситься до общества Лаур и Флор прежних времен. А Байрон? Байрон сохранит верность ей до гроба, но это и все, что он обещает. "Да не порвем мы уз, покуда живы оба".

"My love"[1], — поет Тереза, растягивая сочное английское односложное, заученное ею в постели поэта. "Трень", — отзываются эхом струнные. Женщина в любви, погрязшая в любви; кошка, воющая на крыше; сложные протеины, бурлящие в крови, вздувая половые органы, заставляя ладони потеть, а голос — хрипнуть, пока душа возносит свои упования к небесам. Вот для чего существовали Сорайа и прочие: чтобы высосать, как высасывают змеиный яд, сложные протеины из его крови, оставив его сухим и трезвомыслящим. У Терезы в равеннском доме ее отца нет, на ее беду, никого, кто высосал бы яд из ее жил. "Приди ко мне, mio Байрон, — восклицает она, — приди, люби меня!" И Байрон, изгнанный из жизни, бледный, как призрак, насмешливо отвечает: "Оставь меня, оставь, оставь, чтоб жить я мог!"

Много лет назад, живя в Италии, он посетил тот самый лес между Равенной и Адриатикой, в который за полтора столетия до него выезжали на верховые прогулки Байрон с Терезой. Где-то там, под деревьями, должно находиться место, на котором англичанин впервые задрал юбки своей только что ставшей женой другого мужчины восемнадцатилетней чаровницы. Он мог бы улететь завтра в Венецию, вскочить в поезд на Равенну, побродить по старым тропинкам для верховой езды, пройти мимо этого места. Он сочиняет музыку (или музыка сочиняет его), но не историю. На тех сосновых иглах Байрон обладал своею Терезой — "робкой, как газель" называл он ее, — сминая ей платья, забивая песком белье (и все это время лошади стояли поблизости, не любопытствуя); так зародилась страсть, которая заставляла Терезу до скончания ее земного бытия в горячке выть на луну, которая и из Байрона исторгла вой, пусть и несколько отличный.

Тереза ведет его; он следует по пятам за нею с одного листа на другой. И вот настает день, когда из темноты долетает еще один голос, которого он до сей поры не слышал и не думал услышать. Судя по узнанным им словам, голос принадлежит Аллегре, дочери Байрона, — да, но из каких тайников *его-то* души он исходит? "Зачем ты меня покинул? Приходи, забери меня! — взывает Аллегра. — Здесь так жарко, так жарко, так жарко!" — жалуется она, и ритм ее жалоб прорезает голоса любовников.

Ответа на призыв никому не нужной пятилетней девочки не приходит. Некрасивая, нелюбимая, забытая знаменитым отцом, она переходила из рук в руки и наконец была отдана на попечение монахиням. "Так жарко, так жарко! — скулит она в монастырской постели, умирая от la mal'aria. — Почему ты забыл меня?"

Почему отец ей не отвечает? Потому что он пресытился жизнью, потому что предпочел бы вернуться на *свое* место, на *тот* берег смерти, погрузиться в свой стародавний сон. "Бедная моя девочка!" — поет Байрон, неуверенно, невольно, слишком тихо, чтобы быть услышанным ею. Си-

1. "Любовь моя" (*англ.*).

дя поодаль, в тени, трое инструменталистов наигрывают зигзагообразную тему, линейка вверх, линейка вниз — тему Байрона.

Глава двадцать первая

Звонит Розалинда.

— Люси говорит, ты вернулся в город. Почему не звонишь?

— Я пока непригоден для общения, — отвечает он.

— А когда ты был для него пригоден? — сухо осведомляется Розалинда.

Они встречаются в кофейне на Кларемон.

— Ты похудел, — замечает Розалинда. — Что у тебя с ухом?

— Пустяки, — отвечает он и в дальнейшие пояснения не вдается.

Пока они беседуют, взгляд Розалинды то и дело возвращается к его изуродованному уху. Она содрогнулась бы, он в этом уверен, если бы ей пришлось притронуться к этой штуке. Розалинда не из тех, кто всегда готов броситься на помощь. Лучшие из связанных с нею воспоминаний относятся к их первым совместным месяцам: душные летние ночи в Дурбане, влажные от пота простыни, долгое, бледное тело Розалинды, мотающееся из стороны в сторону в судорогах наслаждения, которое нелегко отличить от боли. Чета сластолюбцев: это и держало их вместе, пока все не кончилось.

Они говорят о Люси, о ее ферме.

— Я думала, с ней там подружка живет, — удивляется Розалинда, — Грейс.

— Хелен. Хелен вернулась в Йоханнесбург. Подозреваю, они разошлись навсегда.

— А не опасно ли это для Люси — жить в таком глухом месте?

— Еще как опасно, Люси была бы сумасшедшей, если бы считала, что там безопасно. Но она все равно хочет остаться. Для нее это стало вопросом чести.

— Ты вроде говорил, что у тебя украли машину.

— Тут я сам виноват. Следовало быть поосторожнее.

— Да, чуть не забыла — мне рассказали о суде над тобой. Сведения из первых рук.

— Суде?

— Расследовании, разбирательстве, называй как хочешь. Судя по тому, что я услышала, ты показал себя не в лучшем виде. Был слишком несговорчив, даже агрессивен.

— Я и не собирался произвести на них приятное впечатление. Я отстаивал принцип.

— Может, и так, Дэвид, но ты же понимаешь, что на подобных судилищах главное не принципы, а то, насколько хорошо ты себя подаешь. Если верить моему источнику, ты себя подал плохо. Какой такой принцип ты отстаивал?

— Свободу речи. Свободу молчания.

— Звучит возвышенно. Впрочем, ты всегда прекрасно умел обманывать себя, Дэвид. Великий мастер обмана и самообмана. Ты уверен, что это был не тот случай, когда тебя просто-напросто застукали со спущенными штанами?

На эту приманку он не клюет.

— Так или иначе, какой бы принцип ты ни отстаивал, он оказался слишком сложным для понимания твоей аудитории. Аудитория решила, что ты попросту напускаешь туману. Тебе следовало подыскать человека, который заранее натаскал бы тебя. Как ты выкручиваешься с деньгами? Пенсию они отобрали?

— Попытаюсь вернуть то, что когда-то вложил. Продам дом. Он слишком велик для меня.

— А чем собираешься заняться? Работу будешь искать?

— Не уверен. У меня и так дел по горло. Я кое-что пишу.

— Книгу?

— Собственно говоря, оперу.

— Оперу? Это что-то новенькое. Надеюсь, она принесет тебе кучу денег. Ты думаешь перебраться к Люси?

— Опера не более чем хобби, просто чтоб было чем голову занять. Денег она не принесет. А к Люси — нет, к Люси я перебираться не стану. Это не самая удачная мысль.

— Почему? Вы с ней всегда отлично ладили. Что-нибудь случилось?

Розалинда определенно сует нос куда не следует, но она всегда делала это без колебаний. "Ты десять лет спал в одной постели со мной, — однажды сказала она, — какие же у тебя могут быть от меня секреты?"

— С Люси мы ладим по-прежнему, — отвечает он. — Но не так хорошо, чтобы жить вместе.

— История твоей жизни.

— Да.

Наступает молчание, оба озирают, каждый со своей колокольни, историю его жизни.

— Я тут твою подружку видела, — извещает его, меняя тему, Розалинда.

— Подружку?

— Ну, прелестницу твою. Мелани Исаакс — ее ведь так зовут? Играет в театре "Причал". Ты не знал? Теперь понимаю, чем она тебя взяла. Большие темные глаза. Тело как у маленькой ласки. В точности твой тип. Ты, должно быть, решил, что это будет еще одна из твоих недолгих эскапад, дежурный грешок. Ну и посмотри теперь на себя. Выбросил жизнь псу под хвост, и ради чего?

— Я вовсе не выбрасывал свою жизнь, Розалинда. Не городи ерунды.

— Как не выбрасывал! Работы нет, имя замарано, друзья тебя избегают, ты прячешься на Торранс-роуд, будто черепаха, боящаяся выставить голову из-под панциря. Люди, недостойные даже того, чтобы чистить тебе ботинки, отпускают шуточки на твой счет. Рубашка на тебе неглаженая, подстрижен ты бог знает кем и как, ты стал... — Розалинда обрывает тираду. — В конечном итоге тебя ожидает участь тех несчастных стариков, что роются в мусорных баках.

— В конечном итоге меня ожидает яма в земле, — говорит он. — Как и тебя. И всех прочих.

— Хватит, Дэвид, я и так расстроена тем, что увидела, не хочу я с тобой препираться. — Она собирает свои пакеты. — Когда тебе опротивеет хлеб с джемом, позвони, я для тебя что-нибудь приготовлю.

Упоминание о Мелани Исаакс выбивает его из колеи. Он никогда не вступал с женщинами в долгие связи. Если роман завершался, он просто поворачивался к нему спиной. Но в истории с Мелани присутствует нечто незавершенное. Глубоко внутри него хранится ее запах, запах самки.

Помнит ли и она, как пахнул он? "В точности твой тип", — сказала Розалинда, а уж кому и знать, как не ей? Что если пути их снова пересекутся, его и Мелани? Вспыхнут ли в них чувства, указывая, что роман их еще не закончился естественным образом?

И все же показаться Мелани на глаза было бы чистым безумием. С чего бы стала она разговаривать с человеком, осужденным за то, что он преследовал ее? Да и что она подумает о нем — обормоте с нелепым ухом, с жеваным воротником рубашки, нестриженом?

Бракосочетание Хроноса и Гармонии: деяние противоестественное. Дабы покарать за оное, и было — если отбросить красивые слова — затеяно судилище. Отдан под суд за образ жизни. За противоестественные деяния: за распространение старого семени, усталого семени, семени, не способного, contra naturam[1], к оплодотворению. Если старики захапывают юных женщин, какое будущее светит человеческому роду? Такова в основе своей суть обвинения. Тому же посвящена половина всей литературы: юным женщинам, изо всех сил пытающимся вывернуться из-под гнетущей тяжести стариков — ради блага человеческого рода.

Он вздыхает. Молодые люди в объятьях друг дружки, беззаботные, купающиеся в чувственной музыке. Эта страна — не для стариков. Что-то он слишком много времени тратит на вздохи. Раскаяние: покаянная нота, которой все и кончается.

Еще два года назад в здании театра "Причал" размещался склад-холодильник, в котором висели, ожидая отправки за море, туши свиней и волов. Ныне это модное увеселительное заведение. Он приезжает с опозданием и занимает место в зале, когда уже тускнеет свет. "Сокрушительный успех как следствие удовлетворения запросов общества" — так сказано в афише о новой постановке "Салон Глобус в часы заката". Декорации более стильны, режиссура более профессиональна, главную роль исполняет другой актер. И тем не менее он находит пьесу, с ее грубым юмором и голой политической тенденцией, такой же невыносимой, как прежде.

Мелани сохранила роль Глории, начинающей парикмахерши. В розовом балахоне поверх золотистых парчовых колготок, с безвкусно размалеванным лицом, с зачесанными наверх и уложенными в букли волосами, она ковыляет по сцене на высоких каблуках. Реплики ее предсказуемы, однако она произносит их с хныкающим капским акцентом и в точно рассчитанные моменты времени. Вообще она больше уверена в себе, чем прежде, — в сущности, даже хороша в этой роли, положительно талантлива. Возможно ли, что за несколько месяцев его отсутствия Мелани повзрослела, обрела себя? *Кто не убил меня, тот сделал лишь сильнее.* Быть может, суд над ним стал судом и для нее; быть может, она тоже отбыла наказание и осознала свою вину.

Ему нужен знак. Получив его, он знал бы, что делать. Если бы, например, этот нелепый наряд сгорел на ее теле холодным, не всякому видным пламенем и она предстала бы перед ним откровением, понятным только ему, нагая и совершенная, как в ту последнюю ночь в бывшей комнате Люси!

Пришедшие с приятностью провести вечер выходного дня люди, среди которых он сидит, краснолицые, уютно чувствующие себя в своей

1. Вопреки природе (*лат.*).

обильной плоти, наслаждаются пьесой. Им нравится Мелани-Глория, они хихикают в ответ на рискованные шутки, гогочут, когда персонажи принимаются чернить и поносить друг друга.

Это его соплеменники, но можно ли чувствовать себя среди них бóльшим чужаком, бóльшим самозванцем? И все же, когда они смеются над репликами Мелани, он ощущает прилив гордости. "Это моя!" — хотел бы сказать он, как будто Мелани — его дочь.

Без всякого предупреждения возвращается воспоминание многолетней давности: о женщине, которую он подсадил в машину на шоссе N1 под Тромпсбургом и подвез, — о двадцатилетней, путешествующей в одиночку туристке из Германии, загорелой и пыльной. Они доехали аж до Тоусрифира, остановились в гостинице; он накормил ее, переспал с нею. Он помнит ее длинные, тонкие и гибкие ноги; помнит мягкость ее волос, становившихся в его пальцах легкими, точно перья.

Внезапным беззвучным извержением — он словно проваливается в сон наяву — в него ударяет поток образов, образов женщин, которых он знал на двух континентах; некоторые так далеки от него во времени, что он с трудом узнает их. Будто несомые ветром листья, смешиваясь, пролетают они перед ним. *Полное публики прекрасное поле:* сотни чужих жизней, переплетенных с его. Он затаивает дыхание, ему хочется, чтобы видение продлилось.

Что с ними стало, со всеми этими женщинами, со всеми этими жизнями? Выпадают ли им мгновения, когда и их, или некоторых из них, окунают без предупреждения в океан памяти? Та немка: может ли быть, что в этот вот миг она вспоминает человека, подобравшего ее на африканской дороге и проведшего с нею ночь?

"Обогатил" — слово, к которому прицепились газеты, чтобы поглумиться над ним. Дурацкое в тех обстоятельствах, случайно вырвавшееся слово, и все же ныне, в эту минуту, он готов отстаивать его. Мелани, девушка в Тоусрифире, Розалинда, Бев Шоу, Сорайа — каждая из них обогащала его, да и другие тоже, даже те, что ничего для него не значили, те, с которыми он потерпел неудачу. В груди его словно распускается цветок — сердце переполняется благодарностью.

Откуда приходят мгновения, подобные этому? Предсонные — да, разумеется, но что это объясняет? И если он — ведомый, какое божество ведет его?

Спектакль все тянется, тянется. Вот и эпизод, в котором щетка Мелани запутывается в электрических проводах. Вспышка магния, сцена вдруг погружается во мрак. "Иисусе Христе, — визжит парикмахер, — чертова дурища!"

Его отделяют от Мелани двадцать рядов, но он надеется, что в этот миг она, через все расстояние, чует его, чует его мысли.

Что-то легонько стукает его по затылку, возвращая в привычный мир. Секунду спустя что-то еще, пролетев мимо, шлепает о спинку кресла, стоящего прямо перед ним: комочек жеваной бумаги величиной с детский стеклянный шарик. Третий ударяет его в шею. Сомневаться не приходится: мишенью является именно он.

Наверное, ему следует обернуться и вериться грозным взглядом в пространство. "Кто это сделал?" — наверное, следует рявкнуть ему. Или же чопорно уставиться перед собой, делая вид, что он ничего не замечает.

Четвертый катышек, врезавшись в его плечо, взвивается в воздух. Сосед по ряду удивленно косится на него.

На сцене продолжается действие. Сидней, парикмахер, вскрывает роковой конверт и зачитывает вслух ультиматум домохозяина. Им надлежит выплатить до конца месяца задолженность по оплате помещения, в противном случае "Глобус" закроют. "Ну и что нам теперь делать?" — стонет Мириам, женщина, моющая клиентам головы.

— Ссс, — доносится сзади шипение, тихое, но не настолько, чтобы его не услышали и в первом ряду. — Ссс.

Он оборачивается, и новый катышек ударяет его в висок. У задней стены стоит Райан, все тот же дружок Мелани, — в эспаньолке и с кольцом в ухе. Их взгляды встречаются. "Профессор Лури!" — хрипло шепчет Райан. Сколь ни возмутительно его поведение, он, похоже, чувствует себя совершенно непринужденно. Легкая улыбка играет на его губах.

Представление продолжается, но теперь вокруг него явственно нарастает нервозность. "Ссс", — снова шипит Райан. "Тише!" — восклицает, обращаясь к нему, хоть он и не издал ни звука, женщина, сидящая от него через два кресла.

Прежде чем ему удается добраться до прохода, отыскать путь к дверям театра и выйти в ветреную безлунную ночь, приходится миновать пять пар коленей ("Простите... Простите..."), косые взгляды, сердитый шепот.

Какой-то звук сзади. Он оборачивается. Вспыхивает кончик сигареты — Райан последовал за ним на парковку.

— Вы не собираетесь объясниться? — резко выпаливает он. — Объяснить ваше ребяческое поведение?

Райан затягивается.

— Я лишь оказал вам услугу, проф. Вы так и не усвоили урока?

— Какого еще урока?

— Что надо держаться поближе к своим.

"Поближе к своим"... Какое право имеет этот мальчишка указывать ему, кто свой, кто не свой? Что он знает о силе, толкающей совершенно посторонних людей в объятья друг друга, обращая их, вопреки всякому благоразумию, в родню, в "своих"? Omnis gens quaecumque se in se perficere vult[1]. Семя поколения, ведомое потребностью исполнить свое предназначение, вводимое в глубины женского тела, ведущее будущее к жизни. Вел, довел.

Райан нарушает молчание:

— Оставьте ее в покое! Мелани, стоит ей увидеть вас, наплюет вам в глаза!

Уронив сигарету, Райан делает шаг вперед. Звезды так ярки, что двое мужчин, стоящих друг против друга, верно, выглядят со стороны охваченными огнем.

— Найдите себе другую жизнь, проф. Так будет лучше, поверьте.

Он медленно едет, возвращаясь домой, по Мэйн-роуд Грин-Пойнта. "Наплюет вам в глаза"... Этого он не ожидал. Рука на руле подрагивает. Болезненные пинки существования — пора бы ему научиться принимать их с большей легкостью.

Множество пешеходов на улицах; на светофоре один из них, вернее, одна, высокая девушка в коротенькой кожаной юбочке, привлекает его

1. Всякое существо стремится достичь совершенства (*лат.*).

внимание. "Почему бы и нет? – думает он. – Как-никак нынче ночь откровений".

Они останавливаются в тупичке на склоне Сигнального холма. Девушка то ли пьяна, то ли накачалась наркотиком – ничего связного от нее добиться не удается. Тем не менее, обслуживает она его настолько хорошо, насколько он вправе был ожидать. Потом она лежит, уткнувшись лицом в его пах, отдыхая. Она моложе, чем казалась при уличном свете, моложе даже, чем Мелани. Ладонь его покоится на ее затылке. Дрожи как не бывало. Он ощущает сопливость, довольство; и странную потребность защитить эту девушку от бед.

"Вот и все, что нужно! – думает он. – И как это я позабыл?"

Не дурной человек, но и не хороший. Не холоден и не горяч, даже в самые пылкие минуты. Не горяч по меркам Терезы, да, собственно, и Байрона. Лишенный огня. Таков и будет вынесенный ему приговор – приговор Вселенной и ее всевидящих глаз?

Девушка, поерзав, садится.

– Где ты меня подцепил? – лепечет она.

– Сейчас я отвезу тебя туда, где подцепил.

Глава двадцать вторая

Он продолжает время от времени позванивать Люси. В разговорах дочь старательно уверяет его, что на ферме все в полном порядке, а он притворяется, будто верит ее словам. Она говорит, что у нее много возни с клумбами, на которых уже расцвели весенние цветы. Мало-помалу оживает и псарня. Люси взяла на полный пансион двух собак и надеется получить еще. Петрас занят своим домом, но занят не настолько, чтобы не помогать ей. Часто приезжают супруги Шоу. Нет, в деньгах она не нуждается.

И все же что-то в тоне Люси лишает его покоя. Он звонит Бев Шоу.

– Ты единственная, у кого я могу спросить, – говорит он. – Как там Люси? Только честно.

Бев настораживается.

– А что она тебе рассказала?

– Она говорит, все хорошо. Но голос у нее как у зомби. Впечатление такое, что она сидит на транквилизаторах. Это так?

Бев уклоняется от ответа. Впрочем, она говорит – и, похоже, тщательно подбирая слова, – что есть кое-какие "новости".

– Какие?

– Этого я сказать не могу, Дэвид. На заставляй меня. Люси должна сама тебе рассказать.

Он звонит Люси.

– Мне нужно съездить в Дурбан, – говорит он, и говорит неправду. – Не исключено, что я получу там работу. Можно я остановлюсь у тебя на день-другой?

– Ты разговаривал с Бев Шоу?

– Бев тут решительно ни при чем. Могу я приехать?

Он летит в Порт-Элизабет, берет напрокат машину. Два часа спустя он сворачивает с шоссе на ведущий к ферме проселок – к ферме Люси, к ее клочку земли.

Быть может, это и его земля тоже? Он не чувствует связи с нею. Несмотря на все то время, которое он здесь провел, земля эта ощущается им как чужая.

Кое-что здесь успело перемениться. Проволочная изгородь, сооруженная не очень искусно, обозначает ныне границу между владениями Люси и Петраса. На Петрасовой стороне пасутся две тощие телки. Дом Петраса воплотился в реальность. Серое, лишенное индивидуальности строение стоит на холме к востоку от старой фермы; по утрам, понимает он, строение это должно отбрасывать длинную тень.

Люси в бесформенной блузе, которая вполне может быть и ночной сорочкой, открывает дверь. Прежнего бодрого выражения, выражения человека, отличающегося крепким здоровьем, как не бывало. Лицо болезненно бледное, голова не мыта. Люси без всякой сердечности обнимает его.

— Входи, — говорит она. — Я как раз завариваю чай.

Они садятся за кухонный стол. Люси разливает чай, вручает ему пакетик с имбирным печеньем.

— Так что тебе предлагают в Дурбане? — спрашивает она.

— Это может подождать. Я приехал, потому что тревожусь за тебя, Люси. У тебя все в порядке?

— Я беременна.

— Ты — что?

— Беременна.

— От кого? Это с того дня?

— С того дня.

— Не понимаю. Я думал, ты приняла необходимые меры, ты и твой врач.

— Нет.

— Что значит "нет"? Ты хочешь сказать, что просто сидела сложа руки?

— Нет, не сидела. Я приняла все разумные меры, кроме той, на которую ты намекаешь. Аборта я делать не стану. Я не готова еще раз пройти через это.

— Не знал, что ты так к этому относишься. Ты никогда не говорила мне, что не признаешь абортов. Но я, собственно, не об аборте. Я думал, ты принимала оврал.

— Признание тут ни при чем. И я никогда не говорила, что принимаю оврал.

— Но что же ты раньше-то не сказала? Почему скрывала от меня?

— Потому что тогда мне пришлось бы вытерпеть очередную твою вспышку, а мне это не по силам. Дэвид, я не могу строить свою жизнь исходя из того, что тебе нравится и что не нравится. Больше не могу. Ты ведешь себя так, словно все, что я делаю, это часть твоей биографии. Ты у нас главный персонаж, а я — персонаж второстепенный, который и на сцену-то выходит, когда половина пьесы уже сыграна. Так вот, что бы ты себе ни думал, люди не делятся на главных и второстепенных. Я не второстепенна. У меня своя жизнь, настолько же важная для меня, насколько твоя важна для тебя, и в этой моей жизни решения принимаю я.

Вспышку? А это как называется?

— Будет, Люси, — говорит он и, потянувшись через стол, берет ее за руку. — Ты хочешь сказать, что собираешься оставить ребенка?

– Да.

– Ребенка от одного из тех мужчин?

– Да.

– Но почему?

– Почему? Я женщина, Дэвид. Ты что думаешь, я ненавижу детей? Или я должна избавиться от ребенка только потому, что его отец негодяй?

– Такое случается. Когда ты его ждешь?

– В мае. В конце мая.

– Ты все хорошо обдумала?

– Да.

– Ну и отлично. Признаюсь, для меня это потрясение, но я на твоей стороне, что бы ты ни решила. Тут и обсуждать нечего. А теперь я пойду прогуляюсь. Поговорить мы можем и после.

Почему не поговорить прямо сейчас? Потому что он не в себе. Потому что и он может сорваться.

Она не готова, сказала Люси, снова пройти через аборт. То есть аборт она уже делала. Ни за что бы не догадался. Когда это могло произойти? Когда она еще жила дома? И Розалинда все знала, а его держали в неведенье?

Трое бандитов. Три отца в одном. Скорее насильники, чем грабители, так сказала о них Люси, – насильники плюс сборщики податей, бродящие в этих местах, нападая на женщин, наслаждаясь насилием. Нет, Люси ошибалась. Они не насилуют, они спариваются. Их действия направляются не наслаждением, но мошонкой, мешочками, раздувшимися от семени, которому не терпится исполнить свое предназначение. И вот, прошу любить, *ребенок*! Он уже называет *ребенком* то, что является пока не более чем червячком, скрытым в утробе дочери. Какому ребенку способно дать жизнь подобное семя, семя, проникшее в женщину не в любви, но в ненависти, бессмысленно смешанное, извергнутое, чтобы ее запятнать, пометить, как метит собачья моча?

Отец, и не думавший породить сына. Значит, этим все и закончится, значит, так оборвется его род – подобно воде, по капле ушедшей в землю? Кто мог подумать! День как день, чистое небо, ласковое солнце, и вдруг все изменяется, изменяется раз и навсегда!

Прислонившись к наружной стене кухни, спрятав лицо в ладони, он испускает один тяжкий вздох за другим и наконец разражается рыданиями.

Он поселяется в прежней комнате Люси, куда дочь так и не вернулась. До конца дня он избегает ее, боясь ляпнуть что-нибудь неуместное.

За ужином его ждет новое открытие.

– А кстати, – говорит Люси, – мальчишка вернулся.

– Мальчишка?

– Ну да, мальчишка, с которым ты сцепился на празднике Петраса. Живет у Петраса, помогает по хозяйству. Его зовут Поллукс.

– А не Мнцедизи? Не Нкуабайяхи? Ничего непроизносимого, просто Поллукс?

– П-о-л-л-у-к-с. И, Дэвид, может быть, для разнообразия обойдемся без твоей жуткой иронии?

– Не понимаю, о чем ты?

— Ну как не понимаешь? Когда я была маленькой, ты год за годом прибегал к ней, чтобы меня подавлять. Не мог же ты об этом забыть. Между прочим, Поллукс приходится братом жене Петраса. Родным, не родным, не знаю. Но у Петраса есть перед ним обязательства, семейные обязательства.

— Так-так, вот все и проясняется. Юный Поллукс возвращается на место преступления, а мы должны вести себя так, будто ничего не случилось.

— Не распаляйся, Дэвид, этим ничему не поможешь. По словам Петраса, Поллукс бросил школу, а работу найти не может. Я просто хотела предупредить тебя, что он тут, рядом. На твоем месте я бы держалась от него подальше. По-моему, с ним не все в порядке. Но выгнать его отсюда я не могу, это не в моей власти.

— Тем более что... — Он не заканчивает предложения.

— Тем более — что? Говори уж.

— Тем более что он может оказаться отцом ребенка, которого ты носишь. Люси, твое положение становится смехотворным, хуже, чем смехотворным, пагубным. Не понимаю, как ты не видишь этого. Умоляю тебя, брось, пока еще не слишком поздно, ферму. Это единственный разумный шаг, какой ты можешь сделать.

— Перестань называть ее фермой, Дэвид! Никакая это не ферма, просто клочок земли, на котором я кое-что выращиваю, и оба мы это знаем. А отказываться от него я не собираюсь.

В постель он ложится с тяжелым сердцем. Ничего не изменилось между ним и Люси, рана ничуть не зажила. Они грызутся так, словно он и не уезжал.

Утро. Он перелезает через новую изгородь. Жена Петраса развешивает за старыми конюшнями стираное белье.

— С добрым утром, — говорит он. — Molo. Я ищу Петраса.

Женщина не встречается с ним взглядом, лишь апатично указывает в сторону строительной площадки. Движения ее замедленны, тяжелы. Близится ее время: даже он видит это.

Петрас стеклит окна. Петраса следовало бы поприветствовать, поболтать с ним о том, о сем, но у него нет для этого никакого настроения.

— Люси сказала мне, что мальчишка вернулся, — говорит он. — Поллукс. Тот, что напал на нее.

Петрас вытирает дочиста нож, откладывает его в сторону.

— Он мой родственник, — произносит Петрас с раскатистым "р". — Не могу же я выгнать его из-за того, что случилось.

— Вы говорили, что не знаете его. Вы мне наврали.

Петрас сует в рот трубку, сжимает ее желтоватыми зубами и со свистом втягивает воздух. Затем вынимает трубку и широко улыбается.

— Наврал, — говорит он. — Я вам наврал.

Снова затяжка.

— А почему?

— Это вы не меня спрашивайте, Петрас, а себя. Зачем вы врали?

Улыбка исчезает.

— Вы уезжаете, опять возвращаетесь — зачем? — Петрас глядит на него с вызовом. — Работы у вас здесь нет. Вы приезжаете, чтобы позаботиться о вашем ребенке. Вот и я забочусь о моем ребенке.

— Вашем ребенке? Так он, выходит, ваш ребенок, этот Поллукс?

— Да. Он ребенок. Он из моей семьи, из моего народа.

Вот, значит, как. Петрас больше не врет. "Из моего народа". Более прямого ответа не приходится и желать. Ну что ж, а Люси *из его народа.*

— Вы говорите, это плохо, то, что произошло, — продолжает Петрас. — И я говорю, что плохо. Плохо. Но с этим покончено, — он вынимает трубку изо рта и с силой тычет чубуком в воздух. — Покончено.

— Да нет, не покончено. И не делайте вид, будто не понимаете, о чем я. Ничего не покончено. Напротив, только начинается. И будет продолжаться еще долгое время после того, как мы с вами умрем.

Петрас задумчиво глядит на него, не притворяясь, что не понял сказанного.

— Мальчик женится на ней, — произносит он наконец. — Женится на Люси, только он пока слишком молод, слишком молод, чтобы жениться. Совсем еще ребенок.

— Опасный ребенок. Юный бандит. Шакаленок.

Петрас не обращает внимания на оскорбления.

— Да, он еще слишком молодой, слишком. Может, когда-нибудь и сможет жениться, но не сейчас. Я женюсь.

— На ком это вы женитесь?

— На Люси.

Он не может поверить своим ушам. Так вот к чему все свелось, вот ради чего затевался весь этот бой с тенью — ради этого предложения, этого удара! И вот он стоит, добропорядочный Петрас, попыхивая пустой трубкой, ожидая ответа.

— Вы женитесь на Люси? — говорит он, осторожно подбирая слова. — Объясните, что вы хотите этим сказать. Нет, не надо, не объясняйте. Я ничего не хочу слышать. У нас так дела не делаются.

"У нас"... Он едва не сказал: "У нас, людей Запада".

— Да я понимаю, понимаю, — говорит Петрас. И смешливо фыркает, буквальным образом. — Но я вам сказал, теперь вы скажите Люси. И тогда все кончится, все плохое.

— Люси не собирается замуж. Ни за кого. Ей это даже в голову не приходит. Яснее я выразиться не вправе. Она хочет жить своей жизнью.

— Я знаю, — говорит Петрас. И возможно, действительно знает. Глупо было бы недооценивать Петраса. — Но здесь, — продолжает Петрас, — опасно, очень опасно. У женщины должен быть муж.

— Я старался говорить с ним спокойно, — спустя некоторое время рассказывает он Люси. — Хотя едва смог поверить услышанному. Это же шантаж, чистой воды шантаж.

— Это не шантаж. Тут ты ошибаешься. Надеюсь, ты не вспылил?

— Нет, я не вспылил. Я сказал, что передам тебе его предложение, вот и все. И выразил сомнение в том, что оно тебя заинтересует.

— Ты почувствовал себя оскорбленным?

— Оскорбленным возможностью оказаться тестем Петраса? Нет. Я был поражен, изумлен, ошарашен, но нет, не оскорблен, тут ты мне можешь поверить.

— Потому что, должна тебе сказать, это не в первый раз. Петрас уже довольно давно делает намеки. Насчет того, что для меня было бы безопаснее стать членом его семьи. Это не шутка и не угроза. В определенном смысле он вполне серьезен.

— Я и не сомневаюсь в том, что он серьезен, в каком-то смысле. Вопрос — в каком? Знает ли он, что ты?..

— Ты хочешь сказать, знает ли он о моем состоянии? Я ему не говорила. Но уверена, и жена его, и сам он способны смекнуть, что к чему.

— И это не заставит его передумать?

— С чего бы? Это в еще большей степени сделает меня членом семьи. Как бы там ни было, ему нужна не я, а ферма. Ферма — мое приданое.

— Но это же абсурд, Люси! Он уже женат! Да ты ведь сама и говорила мне о двух его женах. Как ты можешь даже думать об этом?

— По-моему, ты так ничего и не понял, Дэвид. Петрас не предлагает мне венчание в церкви и медовый месяц на Диком Берегу. Он предлагает союз, сделку. Я вношу землю, взамен он позволяет мне заползти под его крыло. В противном случае, напоминает он мне, я остаюсь беззащитной — легкой добычей.

— И по-твоему, это не шантаж? А личная сторона дела? Или личная сторона в его предложении отсутствует?

— Ты хочешь сказать, рассчитывает ли Петрас, что я буду с ним спать? Не думаю, что Петрас захочет этого, разве только для того, чтобы заставить меня уразуметь серьезность его намерений. Но если говорить начистоту, спать с Петрасом я не собираюсь. Что нет, то нет.

— Ну так не о чем больше и толковать. Должен ли я передать твое решение Петрасу: предложение отвергается без каких-либо объяснений?

— Нет. Погоди. Прежде чем задирать нос перед Петрасом, потрать несколько минут на то, чтобы объективно оценить мое положение. Объективно говоря, я женщина одинокая. Братьев у меня нет. Есть отец, но он далеко, да и вообще беспомощен в том, что имеет здесь вес и значение. Кого я могу просить о защите, о покровительстве? Эттингера? В один прекрасный день его просто-напросто найдут с пулей в спине, это всего лишь вопрос времени. Остается практически один только Петрас. Он, может, и не самый большой здесь человек, но достаточно большой для такой мелюзги, как я. И Петраса я хотя бы знаю. Я не питаю иллюзий на его счет. Знаю, чего от него можно ждать.

— Люси, я сейчас занимаюсь продажей дома в Кейптауне. Я готов отправить тебя в Голландию. Не хочешь в Голландию, я дам тебе все необходимое для того, чтобы обосноваться в каком-нибудь месте побезопаснее. Подумай об этом.

Дочь будто и не слышит его.

— Вернись к Петрасу, — говорит она, — и предложи ему следующее. Скажи, что я принимаю его покровительство. Скажи, что он может выдумать любую байку о наших с ним отношениях, я спорить не буду. Если он хочет, чтобы я считалась его третьей женой, — пожалуйста. Его сожительницей — то же самое. Но тогда и ребенок будет его ребенком. Членом его семьи. А насчет земли... скажи, что я перепишу землю на него при условии, что дом останется за мной. Я стану арендаторшей его земли.

— Bywoner'шей[1].

— Bywoner'шей. Но дом, повторяю, будет моим. Никто не будет вправе войти в него без моего разрешения. Включая и Петраса. И псарню я тоже оставляю за собой.

1. Bywoner — на языке африкаанс обозначает бедного арендатора, который живет на чужой ферме, кормясь с возделываемой им земли и оказывая хозяину фермы какие-либо услуги.

— Это нереально, Люси. Юридически нереально. Да ты и сама знаешь.

— Тогда что можешь предложить ты?

Она сидит перед ним в халате и шлепанцах, со вчерашней газетой на коленях. Свисают пряди волос, полнота ее выглядит рыхлой, болезненной. Люси приобретает все большее сходство с женщинами, которые, шаркая и бормоча себе что-то под нос, бродят по коридорам домов престарелых. Непонятно, зачем Петрасу трудиться, вступать с ней в переговоры. Долго она все равно не протянет: оставьте ее в покое, и в должный срок она сама упадет, как подгнивший плод.

— Я свое предложение сделал. Даже два.

— Нет, отсюда я не уеду. Сходи к Петрасу, передай ему то, что я сказала. Передай, что я отказываюсь от земли. Что он может ее получить, что я подпишу необходимые документы и так далее. Ему это понравится.

Какое-то время оба молчат.

— Как унизительно, — произносит он наконец. — Питать такие надежды и вот чем кончить.

— Да, согласна, унизительно. Но возможно, это хорошая отправная точка, чтобы начать все сначала. Возможно, это то, с чем надо научиться мириться. Начать с нулевой отметки. С ничего. Нет, не с ничего. Без ничего. Без карт, без оружия, без собственности, без прав, без достоинства.

— Подобно собаке.

— Да, подобно собаке.

Глава двадцать третья

Утро в разгаре. Он гуляет с бульдожихой Кэти. Странно, но Кэти не отстает от него — то ли он стал передвигаться медленнее, чем раньше, то ли она стала бегать быстрее. Сопит и пыхтит она не меньше прежнего, но это почему-то больше не раздражает его.

Подходя к дому, он замечает мальчишку — того самого, о котором Петрас сказал "из моего народа", — стоящего лицом к задней стене дома. Поначалу он решает, что тот мочится, затем вдруг понимает — мальчишка подглядывает через окошко ванной, подглядывает за Люси.

Кэти начинает порыкивать, но мальчишка слишком поглощен своим занятием, чтобы обращать внимание на что-либо еще. Когда мальчишка оборачивается, они уже подходят вплотную к нему. Открытой ладонью он бьет сопляка по лицу.

— Ах ты свинья! — орет он и бьет еще раз, так, что мальчишка пошатывается. — Грязная свинья!

Скорее от испуга, чем от боли, мальчишка ударяется в бегство, но сразу же валится, запутавшись в собственных ногах. Собака немедля набрасывается на него. Зубы ее смыкаются на локте юнца; упираясь в землю передними лапами, она рычит и тянет его на себя. Мальчишка, вопя от боли, пытается высвободиться, лупит бульдожиху кулаком, но ударам его недостает силы и Кэти не обращает на них никакого внимания.

Слово еще висит в воздухе: "Свинья!" Никогда прежде не ощущал он такой примитивной ярости. Он с радостью угостил бы юнца тем, чего тот заслуживает, — хорошей трепкой. Фразы, которых он всю свою жизнь избегал, вдруг начинают казаться ему правильными и справедливыми: "Преподай ему урок. Покажи его место". Так вот на что это похоже! — думает он. Вот что такое злоба!

Он пинает юнца с такой силой, что того перекатывает на бок. Полукс! Ну и имечко!

Собака переступает, упирается лапами в тело мальчишки, продолжая безжалостно тянуть его за руку, раздирая на нем рубашку. Мальчишка пытается отпихнуть ее, но она не сдвигается с места.

— Йя, йя, йя, йя, йя! — голосит от боли мальчишка. — Убью!

Тут появляется Люси.

— Кэти! — приказывает она.

Собака бросает на нее косой взгляд, но не подчиняется.

Упав на колени, Люси тянет бульдожиху за ошейник, мягко и настойчиво повторяя ей что-то. Собака неохотно разжимает зубы.

— С тобой все в порядке? — спрашивает Люси.

Мальчишка стонет от боли. Из носа его текут сопли.

— Убью! — всхлипывает он. Похоже, он вот-вот заплачет.

Люси заворачивает его рукав. Видны глубокие отметины собачьих клыков, капли крови выступают на черной коже.

— Пойдем-ка, это надо промыть, — говорит Люси. Мальчишка, втягивая носом сопли и слезы, трясет головой.

На Люси один лишь пеньюар. Когда она встает, поясок пеньюара развязывается, обнажая ее грудь.

В последний раз он видел груди дочери, когда те были скромными розовыми бутончиками шестилетки. Ныне они тяжелы, округлы, белы почти как молоко. Повисает тишина. Он смотрит, мальчишка тоже, бесстыдно. Ярость вновь закипает в нем, застилая мглою глаза.

Люси отворачивается от них, запахиваясь. Мальчишка одним быстрым движением вскакивает и отбегает за пределы досягаемости.

— Мы вас всех перебьем! — орет он. Затем разворачивается, нарочно пробегает, топча ее, по картофельной делянке, ныряет под проволочную изгородь и удаляется в направлении Петрасова дома. Вышагивает он уже с прежней самоуверенностью, хотя все еще придерживает пострадавшую руку здоровой.

Люси права — с ним что-то не так, неладно с головой. Озлобленный ребенок в юношеском теле. Но есть во всем происшедшем и еще кое-что, некая странность, ему непонятная. О чем думает Люси, почему она защищает этого сопляка?

Люси прерывает молчание.

— Так продолжаться не может, Дэвид. Я способна ужиться с Петрасом и его aanhanger'ами, способна ужиться с тобой, но уживаться со всеми сразу я не в состоянии.

— Он подглядывал за тобой через окно. Ты это понимаешь?

— Он дефективный. Дефективный ребенок.

— Это его извиняет? Извиняет то, что он с тобой сделал?

Губы Люси движутся, но произносимых ею слов он не слышит.

— Я ему не доверяю, — продолжает он. — Он хитер. Вроде шакала, слоняющегося вокруг, вынюхивая, выискивая возможность сделать какую-нибудь гадость. В прежнее время было хорошее слово для обозначе-

ния таких, как он. Недоделанный. Умственно недоделанный. Нравственно недоделанный. Его место в лечебнице.

— Говорить это безрассудно, Дэвид. Если тебе нравится так думать, пожалуйста, думай, но держи свои мысли при себе. В любом случае, что бы ты о нем ни думал, это ничего не меняет. Он здесь, он не растает в облачке дыма, он — реальный факт. — Щурясь от солнца, Люси смотрит ему прямо в лицо. Кэти, довольная собой и своими достижениями, негромко пыхтя, сворачивается клубком у ее ног. — Мы не можем так жить, Дэвид. Все уладилось, здесь было тихо и спокойно, пока не вернулся ты. Мне необходим покой. Я готова сделать все что угодно, пойти на любые жертвы, лишь бы жить в покое.

— И я — часть того, чем ты готова пожертвовать?

Люси пожимает плечами.

— Ты сказал, не я.

— Ну что же, пойду укладываться.

После случившегося прошло уже несколько часов, а рука все еще ноет от ударов. Стоит ему вспомнить мальчишку с его угрозами, как он закипает от гнева. И в то же время ему стыдно. Он безоговорочно осуждает себя. Никакого урока он никому не преподал — и уж мальчишке-то во всяком случае. Он добился лишь одного — расширил пропасть, разделяющую его и Люси. Он предстал перед нею в конвульсиях страсти, и увиденное явно не пришлось ей по душе.

Ему следовало бы извиниться. Но он не может. Сдается, он утратил способность управлять собой. Что-то в Поллуксе приводит его в ярость: противные, мутные глаза мальчишки, его наглость, но также и мысль о том, что ему, словно сорной траве, было позволено переплестись корнями с Люси, с существованьем Люси.

Если Поллукс снова обидит дочь, он снова ударит его. Du musst dein Leben ändern!: ты должен переменить свою жизнь. Люси, быть может, и готова склониться перед грозой; он — нет, если не хочет лишиться чести.

И вот почему надлежит прислушиваться к Терезе. Тереза, возможно, последняя, кому по силам спасти его. Тереза вне понятий о чести. Она обнажает груди, подставляя их солнцу; она играет на банджо в присутствии слуг, не обращая внимания на их глупые ухмылки. Терезой правят бессмертные вожделения, и она их воспевает. Она не умрет.

В клинике он появляется как раз в тот миг, когда Бев Шоу покидает ее. Они обнимаются, неуверенно, точно чужие. И не скажешь, что не так давно они лежали нагие в объятьях друг дружки.

— Ты просто с визитом или вернулся, чтобы пожить здесь какое-то время? — спрашивает она.

— Вернулся, чтобы прожить здесь столько, сколько потребуется. Но не у Люси. У нас с ней что-то вроде несовместимости. Придется подыскивать комнату в городе.

— Мне очень жаль. Но что случилось?

— Между мной и Люси? Ничего, надеюсь. Ничего непоправимого. Проблема в людях, которые ее окружают. Когда к ним добавляюсь еще и я, нас становится слишком много. Слишком много людей в слишком малом пространстве. Вроде пауков в банке.

Его посещает образ из "Inferno": гигантское Стигийское болото, в котором души варятся, точно грибы. "Vedi l'anime di color cui vinse

l'ira"[1]. Души одолеваемые гневом, вгрызающиеся одна в другую. Наказание, достойное преступления.

— Это ты о мальчике, который перебрался на жительство к Петрасу? Должна сказать, что мне он тоже не нравится. Но пока там Петрас, Люси ничего не грозит. Вероятно, настало время, Дэвид, когда тебе следует отступиться и позволить Люси самой принимать решения. Женщины уживчивы. А она еще и молода. Да и к земле она живет ближе, чем ты. Чем любой из нас.

Люси уживчива? Что-то не заметил.

— Ты все повторяешь мне, чтобы я отступился, — говорит он. — Если бы я отступился в самом начале, что бы сейчас было с Люси?

Бев Шоу молчит. Возможно, в нем есть нечто такое, что способна, в отличие от него самого, разглядеть Бев Шоу. Животные доверяются ей — должен ли и он довериться тоже, позволить ей преподать ему урок? Да, животные доверяются ей, и она пользуется этим доверием, чтобы их убивать. Какой урок преподает это нам?

— Если бы я отступился, — запинаясь, продолжает он, — и на ферме произошел бы еще какой-нибудь кошмар, как бы я смог жить дальше?

Бев пожимает плечами.

— Разве вопрос в этом, Дэвид? — тихо спрашивает она.

— Не знаю. Я больше не знаю, в чем вопрос. У меня такое впечатление, что между поколением Люси и моим пал некий занавес. А я даже не заметил, как это произошло.

Наступает долгое молчание.

— Как бы там ни было, — продолжает он, — у Люси я оставаться не могу и потому ищу комнату. Если услышишь, что кто-то в Грейамстауне сдает жилье, дай мне знать. А вообще-то я зашел сказать, что снова могу помогать в клинике.

— Это замечательно, — говорит Бев.

Он покупает у знакомого Бев пикап грузоподъемностью в полтонны, за который расплачивается чеком на тысячу рандов и еще одним, на семь тысяч рандов, датированным концом нынешнего месяца.

— Кого вы на нем возить-то будете? — спрашивает продавец.

— Животных. Собак.

— Тогда вам надо поставить сзади решетку, чтобы они не выпрыгивали. Я знаю человека, который ставит такие.

— Мои не повыпрыгивают.

Согласно документам, грузовичку уже двенадцать лет, однако звук у двигателя ровный. И к тому же, говорит он себе, от пикапа вовсе не требуется, чтобы он протянул целую вечность. Целую вечность никто тянуть не обязан.

Поместив объявление в "Грокоттс мэйл", он снимает комнату невдалеке от больницы. Отдает плату за месяц вперед, сообщает хозяйке, что его зовут Лоури и что он приехал в Грейамстаун для амбулаторного лечения. От чего ему предстоит лечиться, он не говорит, но знает — хозяйка думает, что от рака.

Деньги текут как вода. Ну и пусть их.

1. "Ты видишь тех, кого осилил гнев" (*итал.*). — Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. Песнь семнадцатая. Перев. М. Лозинского.

В туристском магазине он покупает кипятильник, маленькую газовую плитку, алюминиевый котелок. Поднимаясь с ними к себе, он сталкивается на лестнице с хозяйкой.

— Мы не разрешаем готовить в комнатах, мистер Лоури, — говорит хозяйка. — Упаси бог пожар приключится.

Комната темная, душная, в ней слишком много мебели, матрас комковат. Ничего, свыкнется и с этим, как свыкся со всем остальным.

Кроме него в доме только один жилец, школьный учитель в отставке. За завтраком они обмениваются приветствиями, но в остальное время не разговаривают. После завтрака он отправляется в клинику и проводит там весь день, каждый день, включая и воскресенья.

Клиника становится его домом в большей мере, чем пансион. Он устраивает себе на голом заднем дворе подобие гнездышка: стол, полученное от супругов Шоу старое кресло и пляжный зонт — на случай, если солнце чересчур разгуляется. Сюда же он притаскивает и газовую плитку, чтобы заваривать чай и разогревать консервы: спагетти с тефтелями, макрель с луком. Дважды в день он кормит животных, чистит их клетки, а иногда и разговаривает с ними; прочее время читает, или дремлет, или, когда остается совсем один, наигрывает на банджо музыку, сочиненную им для Терезы Гвиччиоли.

Такой и будет теперь его жизнь — пока не родится ребенок. Как-то утром он поднимает взгляд и видит лица трех мальчишек, разглядывающих его поверх бетонного забора. Он вылезает из кресла; собаки разражаются лаем; мальчишки ссыпаются с забора и с восторженным гиканьем удирают. Будет им что порассказать дома о сумасшедшем пожилом мужике, который сидит в окружении собак и поет!

Да уж, мужик, ничего не скажешь. Как сможет он объяснить — им, их родителям, жителям района Д, — чем заслужили Тереза с ее любовником возвращение в этот мир?

Глава двадцать четвертая

В белой ночной сорочке стоит у окна спальни Тереза. Глаза ее закрыты. Самый темный час ночи. Она глубоко дышит, впивая шуршание ветра, взревы гигантских лягушек.

"Che vuol dir, — поет она голосом, ненамного более громким, чем шепот. — Che vuol dir questa solitudine immensa? Ed io, — поет она, — che sono?"[1].

Молчание. Solitudine immensa не дает ответа. Даже трио в углу сидит тише мыши.

"Приди! — шепчет она. — Приди, молю тебя, Байрон!"

Она раскидывает руки, обнимая мрак, обнимая то, что несет ей мрак.

Тереза жаждет, чтобы он пришел вместе с ветром, чтобы он обволок ее, зарылся лицом в ложбинку между ее грудей. Или же чтобы он явился ей на заре, богом-солнцем восстав над горизонтом, облив ее теплом своего сиянья. Пусть придет, когда захочет, но только придет. Сидя за столом на собачьем дворе, он вслушивается в спадающую по долгой дуге мольбу противостоящей мраку Терезы. Для нее это худшее время меся-

1. "О чем говорит это огромное одиночество? А я — кто я?" (*итал.*).

ца, она изболелась, не способна сомкнуть глаз, вожделение изнурило ее. Она жаждет избавления — от боли, от летнего зноя, от виллы Гамба, от дурного нрава отца, от всего.

Тереза берет лежащую в кресле мандолину. Нянча ее, как дитя, она снова подходит к окну. "Трень-брень", — произносит в ее руках инструмент, тихо, чтобы не разбудить отца. "Брень-трень", — громко клекочет банджо — в Африке, на пустынном дворе.

"Чтоб было чем голову занять" — так он сказал Розалинде. Ложь. Опера больше не хобби, теперь уже нет. Она владеет им днем и ночью.

И все-таки, несмотря на несколько удачных мест, "Байрон в Италии", если сказать правду, топчется на месте. В опере нет действия, нет развития, это лишь растянутая, спотыкающаяся кантилена, изливаемая Терезой в пустынный воздух и время от времени перемежающаяся стонами и вздохами скрытого кулисами Байрона. Муж и соперница забыты, словно их и не было никогда. Лирический порыв в нем, быть может, и не угас, но после десятилетий, проведенных на голодном пайке, порыв этот способен выползать из своего укрытия лишь изможденным, чахлым, обезображенным. Ему не хватает музыкальных средств, не хватает запасов энергии, чтобы свести "Байрона в Италии" с унылого пути, по которому тот потащился с самого начала. Опера обратилась в нечто такое, что мог бы сочинить лунатик.

Он вздыхает. Как хорошо было бы с триумфом вернуться в общество автором небольшой эксцентричной камерной оперы. Но этого не случится. Ему надлежит держаться надежды более скромной: что из сумбура звуков внезапно взовьется единственная точная нота, равновеликая бессмертному вожделению. А что касается ее опознания, им пусть займутся ученые будущего, если в будущем еще сохранятся ученые. Ибо сам он, когда эта нота прозвучит, если она вообще прозвучит, ее не расслышит — он слишком много знает об искусстве и о приемах искусства, чтобы на это рассчитывать. Хотя неплохо было бы, если б Люси еще успела услышать пробное исполнение и стала бы думать о нем чуть лучше.

Бедная Тереза! Бедная измученная девочка! Он выманил ее из могилы, пообещав ей новую жизнь, — и подвел. Он надеется, что ей достанет сердечной доброты, чтобы простить его.

Среди сидящих по клеткам собак есть одна, к которой он особенно привязался. Это молодой кобелек с парализованной левой задней лапой, которую песик приволакивает. От рождения ли она такова, он не знает. Никто из посетителей не изъявляет желания взять его. Пробный срок песика почти уж истек, скоро ему предстоит свести знакомство с иглой.

По временам, усаживаясь читать или писать, он выпускает кобелька из клетки, позволяя бедолаге поскакать, смешно ковыляя, по двору или вздремнуть у его ног. Пес не "его" в каком бы то ни было смысле; он осмотрительно не стал давать ему кличку (впрочем, Бев зовет его Трехножка), тем не менее он ощущает исходящую от пса великодушную преданность. Он оказался избранным — без спросу, безо всяких условий; он знает — пес готов умереть за него.

Звуки банджо завораживают кобелька. Когда он перебирает струны, тот садится, наклоняет голову, слушает. Когда же он напевает тему Терезы и голос его от прилива чувств возвышается (гортань словно бы сдавливается, он ощущает биение крови в горле), пес причмокивает и, кажется, тоже вот-вот запоет — или завоет.

Осмелится ли он сделать это: вставить пса в оперу, позволить ему вознести между строфами брошенной Терезы собственные жалобы к небесам? Почему бы и нет? Разве в творении, которое никогда не будет исполнено, не дозволено все?

Субботними утрами он по договоренности с Люси приходит на Донкин-сквер, чтобы помочь ей в торговле. Потом они завтракают вдвоем.

Люси теперь движется медленно. Беременность ее не бросается в глаза, однако если *он* замечает признаки таковой, много ль пройдет времени, прежде чем остроглазые дочери Грейамстауна также заметят их?

— Как там дела у Петраса? — спрашивает он.

— Дом достроен, остались лишь потолки и водопровод. Они сейчас переезжают.

— А их отпрыск? Он ведь должен вот-вот появиться.

— На той неделе. Все рассчитано точно.

— Петрас больше не подкатывался к тебе ни с какими намеками?

— Намеками?

— Ну, насчет тебя. Насчет твоего места в его планах.

— Нет.

— Возможно, когда ребенок... — он делает еле приметный жест в сторону дочери, в сторону ее живота, — когда появится ребенок, все переменится. В конце концов, он будет здешним уроженцем. Уж этого-то никто отрицать не станет.

Долгое молчание.

— Ты его уже любишь?

Хотя эти слова слетают с его собственных губ, они его удивляют.

— Ребенка? Нет. Да и как я могу? Но полюблю. Любовь подрастает — в этом на матушку-природу положиться можно. Я намереваюсь стать хорошей матерью, Дэвид. Хорошей матерью и хорошим человеком. Тебе тоже стоило бы попробовать стать им.

— Боюсь, для меня поздновато. Я всего-навсего рецидивист, отбывающий срок. Но ты не сдавайся, двигайся к цели. Ты уже основательно приблизилась к ней.

"Хорошим человеком". Не худшее из решений, в смутные-то времена.

По безмолвному их уговору он на какое-то время перестал приезжать на ферму. И все же в один из будних дней он выезжает на кентонскую дорогу, оставляет грузовичок у поворота и проходит остаток пути пешком, не по дороге, но по вельду, срезая путь.

С вершины последнего холма открывается вид на ферму: изначальный, еще сохранивший внушительность облика дом, конюшни, новое жилище Петраса, старая насыпь, на которой различаются пятнышки — скорее всего утки, а пятнышки покрупнее — это дикие гуси, навещающие Люси гости издалека.

На таком расстоянии цветники выглядят прямоугольниками слитных цветов: пурпура, сердолика, пепельной голубизны. Пора цветения. Пчелы, должно быть, на седьмом небе от счастья.

Петраса не видно, как и жены его, и живущего у них шакаленка. Зато видна Люси, которая, возится с цветами, а начав спускаться по склону холма, он различает и бульдожиху — желтовато-коричневую заплатку на дорожке позади дочери.

Он доходит до изгороди, останавливается. Люси, к которой он подошел со спины, его пока не заметила. На ней выцветшее летнее платье,

сапоги, широкая соломенная шляпа. Когда она наклоняется, что-то там подрезая, выдергивая или подвязывая, становится видна млечная в голубоватых прожилочках кожа и широкие, беззащитные сухожилия подколенных впадин — самой некрасивой части женского тела, наименее выразительной и потому, возможно, наиболее милой.

Люси распрямляется, потягивается, наклоняется снова. Полевые труды, крестьянские хлопоты, все это бессмертно. Его дочь понемногу становится крестьянкой.

Она все еще не замечает его присутствия. Что касается ее сторожевой собаки, та, по всему судя, дрыхнет.

Итак: некогда Люси была не более чем головастиком в теле матери, теперь же — вот она, женщина, основательно вросшая в жизнь, куда основательнее, чем это когда-либо удавалось ему. Если ей улыбнется удача, она проживет долго, гораздо дольше, чем он. Когда он умрет, дочь, если ей улыбнется удача, будет все еще здесь, среди цветов, будет предаваться привычным трудам. И из нее явится на свет новое существо, которое, если *ему* улыбнется удача, вырастет таким же основательным, таким же долголетним. Так она и станет длиться, линия жизни, в которой его доля, его вклад будет с неотвратимостью все уменьшаться и уменьшаться, пока о нем не забудут.

Дедушка. Иосиф. Ну кто бы подумал! Можно ли ожидать, что найдется смазливая девушка, которую удастся склонить к тому, чтобы она легла с дедушкой в постель?

Он негромко произносит имя дочери:

— Люси!

Люси не слышит.

Что оно влечет за собой, положение деда? Отец из него получился не самый удачный, даром что он старался поболее многих. Скорее всего, и дедом он окажется ниже среднего. Нет у него стариковских достоинств: невозмутимости, доброты, терпения. Но, возможно, эти достоинства приобретаются, как и другие: достоинство страсти, к примеру. Надо будет еще разок заглянуть в Виктора Гюго, поэта дедовства. Быть может, у него найдется чему поучиться.

Ветер стихает. Наступает мгновение полной тишины, хорошо бы оно продлилось навек: нежное солнце, послеполуденная безмятежность, пчелы, снующие средь цветов, а в центре картины — молодая женщина, das ewig Weibliche[1], в первой поре беременности, в соломенной шляпе. Сцена, будто созданная для Сарджента или Боннара. Ребята они городские, как и он, но даже горожанин способен распознать красоту, когда видит ее, даже у него может перехватить дыхание.

Правда состоит в том, что сколько он ни читал Вордсворта, особого вкуса к сельской жизни так и не приобрел. Да, собственно, и ни к чему иному, за вычетом смазливых девушек — и куда они его завели? Быть может, ему еще не поздно образовать свой вкус?

Он откашливается.

— Люси, — зовет он, на этот раз погромче.

Чары разрушены. Люси выпрямляется, полуоборачивается, улыбается.

— Привет, — говорит она. — А я и не слыхала, как ты подошел.

Кэти, подняв голову, близоруко щурится в его сторону.

1. Вечная женственность (*нем.*).

Он перелезает через изгородь. Кэти ковыляет к нему, обнюхивает туфли.

— А где грузовичок? — спрашивает Люси. Она разрумянилась от работы и, может быть, слегка загорела. Удивительно, но Люси снова пышет здоровьем.

— Оставил при дороге, решил пройтись.

— Зайдешь, выпьешь чаю?

Она предлагает ему чаю, как обычному гостю. И хорошо. Гостевание, гощение — новая отправная точка, новое начало.

Опять воскресенье. Он и Бев заняты очередным Lösung. Одну за другой он приносит кошек, потом собак: дряхлых, ослепших, охромелых, увечных, искалеченных, но также и молодых, здоровых — всех тех, кому приспели сроки. Одну за другой Бев гладит их, разговаривает с ними, утешает — и усыпляет их, а после стоит и смотрит, как он запечатывает останки в черный пластиковый саван.

Они с Бев молчат. Он уже научился — от нее — сосредоточивать все внимание на животном, которое они убивают, давая несчастному то, что он, не испытывая теперь неловкости, называет так, как и дóлжно называть: любовь.

Завязав последний мешок, он оттаскивает его к двери. Двадцать три. Остался лишь молодой кобелек, любитель музыки, тот, который, дай ему хоть полшанса, уже приковылял бы вслед за товарищами в здание клиники, в хирургическую с ее цинковым столом, с еще стоящей в воздухе смесью густых запахов, включая и тот, с которым псу пока сталкиваться не приходилось, — запах конца, легкий, нестойкий запах отлетающей души.

Чего пес не сможет уразуметь ("Даже за месяц, состоящий из одних воскресений!" — думает он), чего его нюх ему не расскажет, так это того, как можно войти в обычную с виду комнату и никогда из нее не выйти. Что-то в ней происходит, что-то несказуемое: здесь душу выдирают из тела, и на краткое время она повисает в воздухе, скручиваясь, искажаясь, а после ее затягивает в трубу — и все. Это выше его понимания — комната, являющаяся вовсе не комнатой, но дырой, сквозь которую ты вытекаешь вон из бытия.

"С каждым разом становится все тяжелее", — сказала однажды Бев. Тяжелее, да, но и легче тоже. Человеку свойственно привыкать к тому, что какие-то вещи становятся все тяжелее; когда бывшее таким уж тяжелым, что дальше вроде и некуда, обретает еще большую тягость. Это его уже не дивит. Он может, если захочет, даровать молодому псу еще неделю жизни. Но все равно настанет время, никуда от него не денешься, когда придется привести пса к Бев Шоу в хирургическую (возможно, он принесет его на руках, возможно, сделает для него это) и гладить его, раздвигая волосы, чтобы игле было легче найти вену, и шептать ему на ухо, поддерживая пса в миг, в который тот, так ничего и не поняв, вытянет лапы; а после, когда отлетит душа, сложить эти лапы, и запихать пса в мешок, и на следующий день вкатить мешок в огонь и присмотреть, чтобы тот загорелся, сгорел. Он сделает все это для пса, когда настанет срок. Не так уж и много — меньше, чем немного: совсем ничего.

Он пересекает хирургическую.

— Это был последний? — спрашивает Бев.

— Остался еще один.

Он открывает дверцу клетки.

— Пойдем, — говорит он, и наклоняется, и раскрывает объятия. Пес, виляя увечным задом, обнюхивает его лицо, облизывает щеки, губы, уши. Он не отстраняется. — Пойдем.

Неся кобелька на руках, как ягненка, он входит в хирургическую.

— Я думала, ты позволишь ему пожить еще неделю, — говорит Бев. — Решил поставить на нем крест?

— Да, решил поставить крест.

Умберто Беллинтани

Автопортрет

Стихи

Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

Те, что оказались на рубеже веков в сознательном возрасте, едва ли скоро привыкнут называть только что окончившееся столетие прошлым веком. Мысленно мы еще долго будем жить в нем — многострадальном двадцатом, называть его нашим и говорить о его поэзии как о поэзии *нашего* века, справедливо считая своими современниками Пастернака и Арагона, Заболоцкого и Неруду, Бродского и Монтале. Авторам книг и статей о поэзии, составителям поэтических антологий и стихотворных подборок еще долго предстоит корректировать свои оценки, пересматривая отношение к творчеству тех или иных поэтов XX века, порой решительно развенчивая устоявшиеся авторитеты и столь же решительно воскрешая забытые или полузабытые имена.

Более сорока лет назад будущий Нобелевский лауреат Сальваторе Квазимодо включил в свою антологию "Послевоенная итальянская поэзия" три стихотворения Умберто Беллинтани, автора двух небольших книжек стихов и нескольких публикаций в престижных литературных журналах. Позже, в 1963 году, у Беллинтани выходит еще один сборник, после которого поэт решает никогда больше не печататься. Возможно, отказ публиковать свои стихи (а писать стихи он продолжал) был продиктован отрицательным отношением к шумной саморекламе, которой в начале шестидесятых годов сопровождали каждое свое выступление отдельные энергичные поэты. Философия "мы сами с усами" была настолько чужда Беллинтани, что, говоря о нем, редакторы журнала "Банкарелла" признались однажды: "Банкарелла" охотно напечатала бы в его адрес панегирик, если бы не боялась привести его в бешенство".

Итак, стихи Беллинтани по-прежнему писал и не скрывал этого, однако он пресекал, порой в самой резкой форме, любую попытку выманить их у него и по-

© 1998, Arnoldo Mondadori Editore S. p. A.
© Е. Солонович. Вступление, перевод, 2001

лучить согласие на публикацию. Он демонстративно равнодушен к бурным дискуссиям о путях развития поэзии и в стихах, далеких по времени от когда-то принесших ему известность, остается все тем же, сохранив прежний негромкий голос, живую интонацию, человеческое тепло, согревавшее его ранние вещи, социальная ангажированность которых отвечала условиям послевоенной Италии — мира оправданных, но далеко не во всем оправдавшихся надежд. Он с той же простотой и непосредственностью раскрывает в стихах простые темы, он объясняется в любви к людям, животным, растениям, он не считает себя выше и лучше их, и это последнее, быть может, важнее всего в его поэзии.

Иногда кажется, что свободный стих Беллинтани опасно приближается к прозе, но поэт начеку, и вот он уже искусно нащупывает интонационный ход, исключающий любые сомнения в том, что строка, строфа, стихотворение в целом являют собой неопровержимый факт поэзии, отмеченной, по справедливому утверждению поэта и критика Маурицио Кукки, "насыщенным лиризмом" и "большой стилистической свободой".

Кстати, Маурицио Кукки — один из тех поклонников творчества Беллинтани, кому в конце концов удалось уговорить поэта доверить издательству "Мондадори" подготовку и выпуск книги его избранного, "На широкой равнине", куда вошли пятьдесят ранее не опубликованных стихотворений (цикл "Слуховое окно, выходящее на площадь Теофило Фоленго"). Книга увидела свет в 1998 году, незадолго до смерти поэта, и, приветствуя ее появление, маститый критик Карло Бо не преминул отметить: "Беллинтани по праву принадлежит место среди лучших в истории поэзии этого века". Того самого века, который мы еще не скоро научимся называть прошлым веком.

* * *

Остановимся на минутку, друзья.
Это дерево было,
когда еще не было
наших отцов, наших дедов.
Что-то мне говорит, что я перед ним в долгу, —
видно, так и есть, друзья, и моя
рука, потянувшись, гладит его,
моя дрожащая рука, друзья.

Анджела

Приятно слушать тебя,
Анджела, продавщица любви:
чувствуется добрая по-христиански,
мягкая, жизнерадостная душа.
В твоих добрых черных глазах
столько материнского тепла,
что тому, кто берет тебя, после стыдно.

Не *останется ни ласточки*

А ведь и правда пели
покинувшие мой поселок.
То были времена, когда людей
будили петухи, то были времена
неутомимых лошадей и прочих
животных, а теперь их больше нет
или не станет через несколько
недолгих лет
во всей округе. Редко даже
ежа увидишь под кустами поредевших
зеленых изгородей. И все дальше, дальше
кукушка в умирающих лесах
кукует. И наступит день, когда
на небе не останется ни ласточки, —
вот огорчился бы святой Франциск!
Так сердце
вещало прошлой ночью,
с луной перекликаясь, что садилась там,
где больше не было народной песни.

Г*олубые дали*

Мне диктовал ангел.
Ангел, которого я не видел
на фоне пропащего утра.
Я его слышал, это был ангел.

Лица, лица, призрачные
надежды,
лица, лица, несбыточные
ожиданья.

Чуть позже ангел решил появиться,
чтоб направить нас по ломбардской долине грез,
мы пошли и достигли голубых
далей,
далей, что нам предстали
и растаяли вместе с ангелом,
который унес с собой
отражение розовых крыльев
в озере, улетая.

Китобой, не надейся на спасенье
в день, когда твой корабль настигнет
буря, девятый вал,
где б ты ни проплывал.

Эмигрант, пересекающий океан
под эскортом дельфинов,
знай, что мой дед пересек его восемь раз,
минимум восемь, чтобы построить
видимость дома в родной деревне.

Не вырубайте колючий боярышник,
с которым дружат поэты,
не вырывайте крапиву и повилику —
с ними тоже в дружбе поэты.

* * *

“Закрой глаза на ужасы ночи
открой глаза на прекрасный день”
так учил меня не китайский мудрец
а всего лишь старый бахчевник
что на своей бахче получал —
на своей бахче — урожай лучших арбузов

“закрой глаза на мучительский ужас ночи
открой на чудесный день”
так учил меня не китайский мудрец
а старый бахчевник Америо Ботто
он не умел ни читать ни писать
но у него на бахче вырастали чудо-арбузы
как бы с прекрасным флагом внутри
самым прекрасным на свете.

Литовец

Нужно перевалить через Альпы,
а там махнуть через море, —
то ли спьяну сказал себе, то ли нет,
Пятрас Лукошюс из Вильнюса.

Раздобыв растоптанные башмаки —
две худые лодки, да и только,
и парусиновые лохмотья,
он с песней отправился в Эльдорадо,
куда и добрался в конце концов,
пьяный от кислого вина и мечты.
Он теперь в Калифорнии, мой литовский друг,
плывет на подземном паруснике.

Вуди Аллен

Рассказы

Перевод с английского Олега Дормана

Случай с Кугельмасом

КУГЕЛЬМАС, профессор классической литературы в Сити-колледж, был несчастлив во втором браке. Дафна Кугельмас оказалась плебейкой. Вдобавок у него было два олуха от первой жены, Фло, и он сидел по уши в алиментах и хлопотах о потомках.

— Откуда я знал, что так повернется? — как-то раз жаловался Кугельмас своему психотерапевту. — Дафна давала мне слово. Кто же подозревал, что однажды она сорвется с катушек и раздуется, как дирижабль? Потом, у нее водились деньжата, что само по себе еще не основание для женитьбы, но и не может повредить толковому человеку. Вы меня понимаете?

Кугельмас был лыс и мохнат, как медведь, но у него была душа.

— Мне нужна другая женщина. Мне нужен роман. Возможно, по мне не скажешь, но я человек, которому необходима романтика. Мне нужны нежные чувства, мне нужен флирт. Я не становлюсь моложе и, пока не поздно, хочу заниматься любовью в Венеции, острить за ломберным столом и обмениваться робкими взглядами над красным вином при свечах. Вы слушаете?

Доктор Мандель повернулся в кресле и сказал:

— Роман ничего не решит. Не будьте наивны. Ваши проблемы значительно глубже.

© by Woody Allen
© О. Дорман. Перевод, 2001.

Переводчик посвящает эту работу светлой памяти своего учителя — Л. З. Лунгиной.

— Само собой, я не намерен терять голову, — продолжал Кугельмас. — Второго развода я не потяну. Дафна выпьет из меня последние соки.

— Мистер Кугельмас...

— Но Сити-колледж исключается, потому что Дафна тоже там работает. Не то чтоб у нас на кафедре кто-то поражал воображение, но среди студенток, знаете...

— Мистер Кугельмас...

— Помогите мне. Прошлой ночью я видел сон. Я скакал по лужайке с корзинкой для пикника в руках, и на корзинке было написано "Варианты". И я увидел, что в корзинке дыра.

— Мистер Кугельмас, худшее, что вы можете предпринять, это начать действовать. Постарайтесь просто описать свои переживания, и мы вместе подвергнем их анализу. Вы достаточно опытный пациент, чтобы не рассчитывать на моментальное улучшение. В конце концов, я ведь психоаналитик, а не волшебник.

— В таком случае мне, вероятно, нужен волшебник, — сказал Кугельмас, вставая с кресла. И на этом прервал курс психотерапии.

Недели через две, когда Кугельмасы, как старая мебель, пылились дома, зазвонил телефон.

— Я возьму, — сказал Кугельмас. — Слушаю.

— Кугельмас? — спросил голос. — Кугельмас, это Перский.

— Кто?

— Перский. Мне что, представиться Великий Перский?

— Простите?

— Я слышал, вы по всему городу ищете волшебника. Хотите внести чуть-чуть экзотики в свою жизнь? Так или нет?

— Ш-ш-ш, — прошипел Кугельмас. — Не вешайте трубку. Откуда вы говорите, Перский?

На другой день пополудни Кугельмас одолел три лестничных марша в обветшалом доме в бедном квартале Бруклина. Вглядываясь во мрак коридора, он нашел нужную дверь и позвонил. Я еще пожалею об этом, сказал он себе.

Через мгновенье его приветствовал невысокий худой человек, словно вылепленный из воска.

— Вы и есть Великий Перский? — спросил Кугельмас.

— Перский Великий. Хотите чаю?

— Нет. Хочу романтики. Хочу музыки. Хочу любви и красоты.

— А чаю не хотите? Удивительно. Хорошо, садитесь.

Перский удалился, и Кугельмас услышал за спиной звуки передвигаемых ящиков и мебели. Потом Перский вернулся, катя перед собой большой предмет на скрипучих колесиках. Он убрал несколько старых шелковых носовых платков, лежавших сверху, и сдул пыль. С виду это была дешевая китайская горка с облупившимся лаком.

— Как будете морочить, Перский? — спросил Кугельмас.

— Вот смотрите, — ответил Перский. — Дивный трюк. Я готовил его к празднику рыцарей пифийского ордена в прошлом году, но билеты не разошлись. Полезайте внутрь.

— Зачем? Будете протыкать шпагами и все такое?

— Вы где-то видите шпаги?

Кугельмас скорчил недоверчивую мину и, ворча, полез в шкаф. Прямо перед собой он увидел пару нелепых фальшивых брильянтов, приклеенных к ободранной фанере.

— Если это розыгрыш... — пробормотал он.

— В каком-то смысле. Теперь внимание. Стоит мне поместить в шкаф вместе с вами какой-нибудь роман, закрыть дверцы и трижды постучать, как вы немедленно перенесетесь в эту книгу.

Кугельмас посмотрел на волшебника скептически.

— Чистая правда, — сказал Перский. — Да отсохнет моя рука. Впрочем, не обязательно роман. Рассказ, пьеса, стихи. Вы можете повстречать любую из женщин, созданных величайшими авторами на свете. Любую, о ком мечтали. В вашем распоряжении будут лучшие из лучших. Когда надоест — кричите, и я в полсекунды возвращаю вас назад.

— Скажите, Перский, вы лечитесь амбулаторно?

— Я вам говорю, это сервис высокого класса.

Но Кугельмасу не верилось.

— Что вы мне говорите? Что в этом трухлявом самодельном ящике можно отправиться в такое путешествие?

— За пару десяток.

Кугельмас вынул бумажник.

— Ну посмотрим, — сказал он.

Перский сунул деньги в карман брюк и повернулся к своим книжным полкам.

— Так кого желаете? Сестру Керри? Фрёкен Юлию? Офелию? Может быть, что-то из Сола Беллоу? Слушайте, а как вам Кармен? Хотя, пожалуй, для ваших лет это уже тяжеловато.

— Француженку. Я хочу французскую любовницу.

— Нана?

— Платить не хотелось бы.

— Наташа из "Войны и мира"?

— Я сказал — француженку. Знаю! Как насчет Эммы Бовари? По-моему, это именно то, что надо.

— Кугельмас, она ваша. Крикнете мне, когда будет довольно.

Перский бросил в шкаф роман Флобера в мягкой обложке.

— Вы уверены, что это безопасно? — спросил Кугельмас, когда Перский стал закрывать дверцы шкафа.

— Безопасно... Что безопасно в этом сумасшедшем мире?

Перский трижды постучал по шкафу и распахнул дверцы.

Кугельмаса внутри не было. В это мгновенье он стоял в спальне Шарля и Эммы Бовари в Ионвилле. Спиной к нему очаровательная женщина в одиночестве застилала кровать. Не может быть, подумал Кугельмас, уставясь на восхитительную жену доктора. Фантастика. Я здесь. Это она.

Эмма обернулась в изумлении.

— Господи боже, вы меня напугали, — воскликнула она. — Кто вы такой?

Она говорила словами превосходного английского перевода из книжки Перского.

Конец света, подумал Кугельмас. А затем, поняв, что она обращается к нему, произнес:

— Прошу прощения. Я Сидней Кугельмас. Из Сити-колледж. Профессор классической литературы. Нью-йоркский Сити-колледж, знаете? В верхней части города. Я... О господи!

Эмма Бовари кокетливо улыбнулась и сказала:

— Не хотите ли выпить? Может, бокал вина?

Она прекрасна, подумал Кугельмас. Какой контраст с троглодитом, делившим с ним постель! Он ощутил острое желание обнять это виденье и сказать, что мечтал о такой женщине всю свою жизнь.

— Да-да, вина, — севшим голосом ответил он. — Белого. Нет, красного. Или белого. Пожалуйста, белого.

— Шарля весь день не будет дома, — сказала Эмма игривым многозначительным тоном.

Выпив вина, они отправились на прогулку по прелестным французским окрестностям.

— Я всегда мечтала, как однажды придет загадочный незнакомец и спасет меня от монотонности грубой провинциальной жизни, — говорила Эмма, сжимая его ладонь. Они шли мимо маленькой церкви. — Мне нравится, как ты одет, — прошептала Эмма. — Я тут не видела ничего похожего. Это так... так современно.

— Называется костюм домашний, — ответил он нежно. — Схватил на распродаже.

Внезапно он поцеловал ее. Следующий час они провели под сенью дерева, шепотом и взглядами поверяя друг другу исключительно важные вещи. Потом Кугельмас вдруг сел. Он вспомнил, что обещал встретить Дафну у "Блумингдейла"[1].

— Мне надо идти, — сказал он Эмме. — Но не печалься. Я вернусь.

— Я буду ждать, — ответила Эмма.

Он порывисто обнял ее, и они пошли назад к дому. Он взял лицо Эммы в свои ладони, еще раз поцеловал ее и крикнул:

— О'кей, Перский! Мне надо в "Блумингдейл" к полчетвертому.

Раздался звучный хлопок, и Кугельмас очутился снова в Бруклине.

— Ну? — торжествующе спросил Перский. — Я не морочил вам голову?

— Послушайте, Перский, я уже опаздываю на Лексингтон авеню к моей каторжной колодке. Но когда можно в следующий раз? Завтра?

— Буду рад. Не забудьте пару десяток. И никому ни слова.

— Ага. Я как раз собирался звонить Руперту Мердоку[2].

Кугельмас схватил такси и помчался в центр. Сердце его пело. Я влюблен, думал он, у меня есть удивительная тайна. Мог ли он предположить, что в эти минуты в классах и аудиториях по всей стране ученики спрашивали своих преподавателей: "А кто этот персонаж на сотой странице? Лысый еврей, целующий мадам Бовари?" И учитель в Су-Фолс (Южная Дакота) вздохнул и подумал: дети, дети... Травка, колесики... Что только творится у них в головах!

Запыхавшийся Кугельмас нашел Дафну в отделе ванных принадлежностей.

— Где тебя носило? — набросилась она на него. — Уже полпятого.

— Попал в пробку, — ответил Кугельмас.

На следующий день Кугельмас снова пошел к Перскому и через несколько минут был чудодейственным образом перенесен в Ионвилль. Увидев его, Эмма не могла скрыть волнения. Они провели вдвоем несколько ча-

1. Один из крупнейших универмагов Нью-Йорка. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Руперт Мердок (1931–1993) – владелец транснациональной корпорации "Ньюс", контролирующей многие средства массовой информации.

сов, смеясь и рассказывая друг другу о своем непохожем прошлом. Перед расставанием они любили друг друга. "Боже мой, я делаю это с мадам Бовари! – шептал самому себе Кугельмас. – Я, который не мог одолеть даже курс начального английского".

Шло время, Кугельмас не упускал случая заглянуть к Перскому. У них с Эммой установились близкие и горячие отношения.

– Не промахнитесь, Перский: мне нельзя появляться у Бовари позже сто двадцатой страницы, – однажды предупредил волшебника Кугельмас. – Мы можем встречаться, только пока она не связалась с этим... Родольфом.

– Почему? – удивился Перский. – А вы не можете занять его часы?

– Занять его часы! Он же помещик, дворянин без титула. Этим ребятам только и дела что крутить романы и носиться верхом. По мне, таких пруд пруди на каждой странице "Женской моды". С причесочкой под Хельмута Бергера. Но для нее он штучка.

– А муж ничего не подозревает?

– Куда ему. Скучный маленький фельдшер, которого жизнь связала с тусовщицей. В десять он уже хочет спать, а она надевает туфельки для танцев. Ну ладно... Пока.

И Кугельмас снова вошел в шкаф и тотчас же оказался в имении Бовари в Ионвилле.

– Как дела, плюшечка?– спросил он у Эммы.

– О, Кугельмас, – вздохнула Эмма. – Если бы ты знал, что мне приходится терпеть! Вчера за обедом он заснул посреди десерта. Я уношусь в мечтах к "Максиму" или на балет и сквозь грезы слышу храп.

– Ничего, дорогая, я ведь снова с тобой, – сказал Кугельмас, обнимая ее.

Я заслужил это, думал он, погружая нос в ее волосы и вдыхая французский аромат. Довольно я страдал. Довольно платил аналитикам. Я искал не щадя сил. И вот я здесь, с ней, юной и совершеннолетней, через несколько страниц после Леона и прямо перед Родольфом. Чтобы взять свое, надо появиться в правильной главе.

Эмма, без сомнения, была так же счастлива. Она истосковалась по впечатлениям, и его волшебные сказки о бродвейской жизни, о мчащихся автомобилях и звездах Голливуда и телевидения зачаровывали прелестную юную француженку.

– Расскажи мне еще про О. Джея Симпсона, – умоляла она в тот вечер, когда они с Кугельмасом бродили близ церкви аббата Бурнисьена.

– Ну что расскажешь? Великий человек. В нападении ему вообще нет равных. Потрясающая техника. Его просто невозможно остановить.

– А "Оскар"? – спросила Эмма мечтательно. – Я бы все отдала за него.

– Сначала нужно попасть в номинацию.

– Я знаю. Ты объяснял. Но я уверена, что могу быть актрисой. Конечно, было б неплохо немного позаниматься. Может, у Страсберга. И если бы я нашла толкового агента...

– Посмотрим, посмотрим. Я поговорю с Перским.

Этим вечером, благополучно вернувшись к Перскому, Кугельмас выдвинул идею, чтобы Эмма погостила у него и повидала большой город.

– Нужно обдумать, – сказал Перский. – Может, я и сумею это устроить. Случались и более невероятные вещи.

Но оба так и не смогли припомнить ни одной.

— Где тебя всё черти носят? — прорычала Дафна, когда поздно вечером Кугельмас явился домой. — Завел потаскушку?

— Разумеется, — утомленно ответил Кугельмас. — Посидели с Леонардом Папкиным. Обсуждали социалистическое земледелие в Польше. Ты же знаешь Папкина. Это его конек.

— Ты какой-то странный последнее время, — сказала Дафна. — Чужой. Смотри не забудь про день рожденья моего отца в субботу.

— Ну конечно, конечно, — сказал Кугельмас, направляясь в ванную.

— Будут все мои. Приедут близнецы. И дядя Хэмиш. Будь повежливей с дядей Хэмишем, он тебя любит.

— Близнецы, великолепно, — сказал Кугельмас, закрываясь в ванной и избавляясь от голоса жены. Он прислонился к двери и глубоко вздохнул. Скоро он снова будет в Ионвилле, сказал он себе, с любимой женщиной. И на этот раз, если все пойдет хорошо, вернется оттуда с Эммой.

Назавтра, в три пятнадцать дня, Перский снова совершил чудо. Любовники провели несколько часов в Ионвилле с Бине, а потом вернулись в экипаж Бовари. В соответствии с инструкцией Перского они крепко обнялись, зажмурились и сосчитали до десяти. Когда они открыли глаза, шарабан как раз подъезжал к боковому входу отеля "Плаза", где с утра Кугельмас оптимистично заказал апартаменты.

— Как хорошо! Все точно как я представляла, — говорила Эмма, весело кружась по спальне и разглядывая город через окно. — Это здание Ф. А. О. Шварц. А вон Центральный парк, — а где же Шерри? А, вот, вижу. Божественно.

На кровати лежали пакеты от Хальстона и Сен-Лорана. Эмма развернула сверток и приложила черные бархатные брючки к своей безупречной фигуре.

— Костюмчик от Ральфа Лорана, — сказал Кугельмас. — Будешь смотреться на миллион долларов. Иди ко мне, малышка, поцелуемся.

— Я никогда не была так счастлива! — воскликнула Эмма, крутясь перед зеркалом. — Давай пойдем в город. Я хочу посмотреть "Кордебалет", Гуггенхайм и этого Джека Николсона, о котором ты все время рассказываешь. Сейчас идут какие-нибудь фильмы с ним?

— Непостижимо, — пробормотал профессор Гарварда. — Сначала — неизвестный персонаж по фамилии Кугельмас, а теперь она исчезла из романа. Впрочем, я думаю, это и есть свойство классики: можно перечитывать книгу тысячу раз, и всякий раз находишь что-то новое.

Любовники провели дивные выходные. Кугельмас сказал Дафне, что едет на симпозиум в Бостон и вернется в понедельник. Наслаждаясь каждым мгновеньем, они с Эммой ходили в кино, обедали в китайском квартале, провели два часа на дискотеке и, улегшись, смотрели фильм по телевизору. В воскресенье спали до полудня, побывали в Сохо и глазели на знаменитостей "У Элейн". Вечером заказали в номер икру и шампанское и проговорили до рассвета. Утром, когда они ехали на такси к Перскому, Кугельмас подумал, что лихорадка того стоила. Я не смогу привозить ее сюда слишком часто, но время от времени... будет чудесный контраст с Ионвиллем.

У Перского Эмма забралась в шкаф и, устроившись среди свертков и коробок с покупками, нежно поцеловала Кугельмаса и подмигнула ему:

"Следующий раз — у меня". Перский трижды постучал по шкафу. Ничего не произошло.

— Хм, — сказал Перский и почесал в затылке. Он снова постучал, но чудо не свершалось. — Что-то не в порядке, — пробормотал он.

— Перский, не надо шуток! — воскликнул Кугельмас. — Что тут может быть не в порядке?

— Спокойствие, спокойствие. Эмма, вы еще в шкафу?

— Да.

Перский постучал опять, на этот раз сильнее.

— Перский, я еще здесь.

— Я знаю, дорогая. Сидите смирно.

— Перский, нам необходимо отправить ее назад, — прошептал Кугельмас. — Я женат, и через три часа у меня лекция. Маленькое благоразумное приключение — на большее я не готов.

— Не пойму, — бормотал Перский. — Такой безотказный трюк.

Но он не смог ничего поделать.

— Потребуется немного времени, — сказал он Кугельмасу. — Надо разобраться. Я позвоню.

Кугельмас бросил Эмму в такси и отвез обратно в отель. Он едва успел на лекцию. Он весь день просидел на телефоне, названивая то Перскому, то возлюбленной. Волшебник сказал: чтоб докопаться до причины неполадок, может понадобиться несколько дней.

— Ну что симпозиум? — спросила Дафна вечером.

— Превосходно, превосходно, — ответил Кугельмас, поджигая фильтр сигареты.

— Что-то случилось? Ты заряжен, как кот.

— Я? Ха, забавно. Я безмятежен, как летняя ночь. Собираюсь пройтись подышать.

Он сразился с дверным замком, поймал такси и помчался в "Плазу".

— Как нехорошо, — сказала Эмма. — Шарль будет скучать по мне.

— Потерпи со мной, милая, — сказал Кугельмас.

Он был бледен и мокр. Он еще раз поцеловал Эмму, бросился к лифтам, наорал на Перского по автомату из вестибюля и еле успел домой до полуночи.

— Если верить Папкину, с тысяча девятьсот семьдесят первого года в Кракове не было более твердых цен на ячмень, — сказал он Дафне и измученно улыбнулся, залезая под одеяло.

Так прошла неделя.

В пятницу вечером Кугельмас сообщил Дафне, что должен срочно лететь на очередной симпозиум, на этот раз — в Сиракузы. Он бросился в отель, но эти выходные оказались совсем не похожими на прошлые.

— Верни меня в роман или женись на мне, — заявила Эмма. — А пока что мне надо найти работу или пойти на курсы, потому что целый день смотреть телик — это кретинство.

— Отлично. Можно пойти в горничные. Говорят, быстро сбрасываешь вес...

— Я вчера встретила в Центральном парке одного внебродвейского продюсера, и он сказал, что я могу подойти для его нового проекта.

— Что еще за клоун?

— Он не клоун. Он чуткий, добрый и симпатичный. Его зовут Джефф, фамилии не помню, он сейчас выдвинут на "Тони".

В тот вечер Кугельмас пришел к Перскому пьяный.

– Успокойтесь, – сказал ему Перский. – Схлопочете инфаркт.

– Успокойтесь! Он говорит "успокойтесь"! Я схлопотал художественный образ, который сейчас заперт в гостиничном номере, а моя жена наверняка посадила мне на хвост частного сыщика.

– Я понимаю, понимаю. Конечно, не все в порядке. – Перский залез под шкаф и принялся что-то откручивать большими пассатижами.

– Я одичал, – продолжал Кугельмас. – Я не хожу – я крадусь по улицам. Мы с Эммой осточертели друг другу. Не говоря о счетах за номер, которые больше похожи на бюджет минобороны.

– Что ж я могу поделать? Мир магии, – откликнулся Перский. – Тонкая материя.

– Тонкая! Как бы не так! Я потчую эту киску черной икоркой с "Дом Периньоном", плюс ее гардероб, плюс она поступила в театральную студию, и ей вдруг срочно понадобились профессиональные фото. И вдобавок – слышите, Перский? – профессор Фивиш Копкинд, который читает введение в литературоведение и всегда мне завидовал, узнал во мне персонажа, который периодически появляется в романе Флобера. Он грозится пойти к Дафне. Я предвижу катастрофу, разорение, тюрьму. За историю с мадам Бовари моя жена пустит меня по миру.

– Ну что мне вам сказать? Я ремонтирую, я бьюсь день и ночь. Что до личных переживаний – здесь я помочь ничем не могу. Я же волшебник, а не психоаналитик.

В воскресенье днем Эмма заперлась в ванной и не отзывалась на мольбы Кугельмаса. Кугельмас смотрел в окно на каток Вольмана и размышлял о самоубийстве. Жаль, невысоко, думал он, а то бы не откладывал. А может, бежать в Европу и начать жизнь сначала... Или пойти продавать "Интернэшнл геральд трибюн", как вон те девочки.

Зазвонил телефон. Кугельмас машинально поднес трубку к уху.

– Везите ее, – сказал Перский.

У Кугельмаса перехватило дыхание:

– Вы уверены? Вы починили?

– Что-то было с трансмиссией. Иди знай.

– Перский, вы гений. Мы будем через минуту. Даже раньше.

И снова любовники устремились к волшебнику, и снова Эмма Бовари забралась в шкаф со своими свертками. Поцелуя на этот раз не последовало. Перский захлопнул дверцы, глубоко вдохнул и трижды постучал по горке. Раздался обнадеживающий хлопок, и когда Перский заглянул внутрь, шкаф был пуст. Мадам Бовари возвратилась в свой роман. Кугельмас с облегчением перевел дух и пожал волшебнику руку.

– Кончено, – сказал он. – Это мне хороший урок. Отныне я буду верен жене до гробовой доски, клянусь.

Он снова пожал Перскому руку и решил прислать ему в подарок галстук.

Три недели спустя, на закате чудесного весеннего дня, Перский услышал звонок и открыл дверь. На пороге, застенчиво улыбаясь, стоял Кугельмас.

– Ну что ж, Кугельмас, – сказал волшебник, – куда на этот раз?

– Только один разок, – сказал Кугельмас. – Такая чудная погода, и я не становлюсь моложе. Скажите, вы читали "Жалобу Портного"? Помните Мартышку?

— Теперь это стоит двадцать пять долларов, сейчас ведь все дорожает. Но вас я запущу бесплатно, учитывая, сколько неприятностей я вам причинил.

— Дружище! — сказал Кугельмас и полез в шкаф, приглаживая остаток волос. — Машина работает?

— Надеюсь. Хотя после той истории я толком не пробовал.

— Секс и романтика, — произнес Кугельмас из глубин шкафа. — Чего не сделаешь ради симпатичной мордашки.

Перский бросил внутрь экземпляр "Жалобы Портного" и трижды постучал по шкафу. На этот раз вместо хлопка раздался глухой взрыв, за которым последовал треск разрядов и фонтан искр. Перский отскочил, почувствовал боль за грудиной и упал замертво. Шкаф вспыхнул, и в конце концов весь дом сгорел.

Кугельмас не ведал об этой катастрофе. У него были свои неприятности. По причине аварии он не попал ни в "Жалобу Портного", ни в какой-либо другой роман. Он оказался в старом учебнике интенсивного курса испанского языка и до конца своих дней носился по бесплодной скалистой местности, спасаясь от здоровенного мохнатого неправильного глагола tener (иметь), гонявшегося за ним на длинных тонких ножках.

Кара

Что Конни Чейзен, на которую мне было суждено положить глаз, ответила взаимностью, стало чудом, не имеющим аналогов в истории западной части Центрального парка. Стройная блондинка с высокими скулами, актриса, умница, она кружила головы, оставаясь безнадежно неприступной, а обаяние ее живого ироничного ума состязалось с притягательностью распутной влажной чувственности, таившейся в каждом изгибе, и всякий молодой человек на той вечеринке понимал, как отчаянно не хватает в его жизни этой девушки. Что она остановит взгляд на мне, Харольде Коэне, тощем носатом драматурге и паникере двадцати четырех лет от роду, было non sequitur[1], сравнимо только с рождением восьмерых однояйцевых близнецов. Да, я свободно острю и произвожу впечатление интересного собеседника, но удивительно, как быстро и точно сумело распознать мои скромные достоинства это безукоризненно сложенное виденье!

— Ты просто чудо, — сказала она после часового обмена флюидами, когда мы прислонились к книжным полкам, оставив вальполичеллу[2] и закуски. — Надеюсь, ты соберешься мне позвонить.

— Позвонить? Я мечтал бы прямо сейчас увести тебя отсюда.

— Конец света, — сказала она с кокетливой улыбкой. — Честно говоря, не думала, что произвожу на тебя впечатление.

Я постарался сохранить непринужденный вид, но кровь хлынула по артериям в известных направлениях. Я покраснел — вечная история.

— Я думаю, ты просто ураган, — сказал я, и она покраснела даже еще сильнее.

Вообще-то я не совсем был готов к немедленному согласию. Мое подогретое вином нахальство было лишь попыткой подготовить почву,

1. Здесь: невероятно (*лат.*).
2. Марка красного вина.

чтобы однажды, когда я на самом деле предложу перейти в спальню, это не стало полной неожиданностью и не разрушило невыносимо платонической близости. Но оказалось, мне, такому осторожному, любимой жертве неврозов и угрызений совести, принадлежит эта ночь. С пути, который свел нас с Конни Чейзен, свернуть было невозможно, и через час мы метались в самозабвенном па-де-де среди простыней, подчиняясь нелепой хореографии любовной страсти. Никогда прежде у меня не было такой бурной и успешной ночи любви, и потом, когда Конни лежала в моих объятьях утоленная и обессилевшая, я размышлял, как именно судьба собирается взимать свои неотвратимые налоги. Суждено ли мне вскоре ослепнуть? Или стать паралитиком? Какой кошмар предстоит взять на себя Харольду Коэну, чтобы миры смогли продолжить гармоничный круговорот? Но пока это было делом будущего.

Первый месяц прошел без осложнений. Мы с Конни изучали друг дружку и наслаждались каждым открытием. Она оказалась понятливой, пылкой и чуткой, ее воображение раскованным, а познания многочисленными и разнообразными. Она была способна рассуждать о Новалисе и цитировала "Ригведу". Знала наизусть тексты всех песен Кола Портера. В постели не признавала запретов и любила эксперименты, — настоящее дитя будущего. В поисках недостатков приходилось придираться к мелочам. Скажем, она бывала по-детски капризна. Каждый раз в ресторане, выбрав блюдо, передумывала, и обязательно когда уже было неловко менять заказ. И всегда сердилась, когда я объяснял ей, что это не очень хорошо по отношению к официанту и шеф-повару. Через день меняла диеты, всей душой предаваясь одной, а потом отвергая ее в пользу какой-нибудь новомодной теории похудания. Хотя нельзя сказать, что у нее был лишний вес. Как раз наоборот. Ее фигуре могли позавидовать манекенщицы из "Вог". Но комплекс неполноценности, изумивший бы даже Кафку, доводил ее до мучительных приступов самокритики. Тогда она называла себя жалким ничтожеством, бездарью, которой нечего лезть в актрисы и тем более браться за Чехова. Мои возражения действовали более-менее ободряюще, и я слагал всё новые гимны ее душе и телу, понимая, впрочем, что, если б не ее собственная целеустремленность, никакие доводы бы не помогли.

Волшебная сказка закончилась в один день, примерно через полтора месяца, из-за беспечности Конни. Ее родители устраивали пикник в Коннектикуте, и мне предстояло наконец познакомиться с семейством Чейзенов.

— Папа — класс, — с уважением рассказывала Конни. — И в отличной форме. И мама прелесть. А твои?

— Прелесть... я бы не сказал, — признался я.

Честно говоря, я не очень высоко оценивал внешние достоинства моих близких, сравнивая родственников по материнской линии с культурами, какие обычно разводят в чашке Петри. У меня были напряженные отношения с родней, мы вечно доставали друг друга, воевали, хотя все-таки оставались близки. Ни одно ласковое слово ни разу не сорвалось с их уст — ни на моей памяти, ни, подозреваю, с тех пор, как Господь поставил свой завет с Аврамом.

— Мои не ссорятся, — сказала Конни. — Они попивают, но очень обходительны. И Дэнни тоже милый. (Ее брат.) Правда, странноватый, но ласковый. Он сочиняет музыку.

— Мне уже не терпится их увидеть.

— Главное, чтоб ты не втрескался в мою сестренку, Линдсей.

— А как же.

— Младше меня на два года, страшно заводная и сексуальная. Всех сводит с ума.

— Звучит интригующе, — сказал я.

Конни погладила меня по щеке.

— Надеюсь, она тебе понравится не больше, чем я, — произнесла она полушутливым тоном, позволившим высказать опасения столь изящно.

— Можешь не беспокоиться, — заверил я.

— Правда? Даешь слово?

— Вы соперницы?

— Да нет. Мы любим друг дружку. Но у нее совершенно ангельская мордашка и аппетитная фигурка. В маму. И при этом довольно приличный IQ[1] и колоссальное чувство юмора.

— Ты прекрасна, — сказал я и поцеловал ее.

Но, сознаюсь, до конца того дня меня не покидали мысли о Линдсей Чейзен. Двадцать один год. Боже мой, думал я, а если это и вправду настоящий вундеркинд? Что если это на самом деле такое чудо, как описывает Конни? Мог ли такой слабак, как я, не затрепетать при одной мысли о сладких девичьих запахах и звонком хохоте сногсшибательной чистопородной американки из Коннектикута по имени Линдсей — а имя? — и не перевести хоть и завороженный, но не зашоренный же взгляд с Конни на юную шалунью? В конце концов, я был знаком с Конни всего полтора месяца, и хотя мне было с ней чудесно, влюблен я, в сущности, не был. Впрочем, эта Линдсей должна была оказаться поистине сказочно хороша, чтобы я различил свежее дуновенье в урагане радости и страсти, превратившем эти полтора месяца в сплошной праздник.

В тот вечер я любил Конни, но, когда заснул, в мои сны прокралась Линдсей. Сладкая малышка Линдсей, восхитительная студенточка с личиком кинозвезды и повадками принцессы. Я метался, ворочался и проснулся среди ночи со странным волнением и дурными предчувствиями.

Наутро все грезы рассеялись, и после завтрака мы с Конни отправились в Коннектикут, захватив вина и цветов. Мы катили по осенним дорогам, слушали Вивальди на УКВ и обсуждали сегодняшнюю рубрику "Культура и отдых". И только подъезжая к воротам чейзеновских владений, я снова подумал, произведет ли на меня впечатление запретная сестренка.

— А приятель Линдсей будет? — спросил я шпионским фальцетом.

— У них все кончено, — ответила Конни. — Она меняет их как перчатки. Роковая женщина.

Хм, подумал я, сестренка еще и общительна. Но неужели она вправду прелестнее Конни? Это трудно было вообразить, но я решил быть готовым к любым неожиданностям. К любым, кроме, конечно, той, что случилась этим ясным, свежим воскресным днем.

Мы с Конни присоединились к пикнику. Было полно харчей и выпивки. Переходя от одного светского кружка к другому, я перезнакомился с ее родней, и хотя сестренка вполне соответствовала описаниям — хорошенькая, игривая, я с удовольствием поболтал с ней, — я не предпочел бы ее Конни. Из сестер старшая привлекала меня больше. Но в тот

1. Intelligence quotient (*англ.*) — коэффициент умственного развития.

день мое сердце разбила совсем другая женщина – их потрясающая мать, Эмили.

Эмили Чейзен, пятьдесят пять лет, энергичная, загорелая, прекрасное лицо пионерки Дикого Запада, волосы с проседью убраны назад, сочные упругие округлости выступают безукоризненными арками, как у Бранкузи. Соблазнительная Эмили, чья широкая белозубая улыбка и громкий грудной смех сочетались так неотразимо, тепло и заманчиво.

Что за порода! – думал я Что за первоклассные гены у этого семейства! И какие стойкие, судя по тому, что Эмили Чейзен вела себя со мной так же свободно, как ее дочь. Я не отходил от Эмили ни на минуту, и ей явно нравилось болтать со мной, совершенно не заботясь о других новоприбывших гостях. Мы говорили о фотографии (ее хобби) и о книгах. Она сейчас читала, с наслаждением, одну вещь Джозефа Хеллера. Она находила ее очень забавной и, с очаровательным смехом наполняя мой бокал, сказала: "Господи боже, вы, евреи, и вправду совершенно невероятны". Невероятны? Знала бы она Гринблатов. Или чету Шарпштейнов – это папины друзья. Или еще лучше – моего племянничка Тову. Невероятны? Ну, они милы, но что уж такого невероятного в этих вечных спорах о том, как лучше бороться с запором или на каком расстоянии смотреть телевизор?

Мы с Эмили бесконечно говорили о фильмах, мы обсудили мои театральные планы и ее новое увлечение – составление коллажей. У нее безусловно были недюжинные творческие и интеллектуальные способности, но по той или иной причине они не проявились. Притом она явно не тяготилась своим образом жизни, и они с Джоном Чейзеном, постаревшим парнем из тех, с кем можно пойти в разведку, обнимались и выпивали на пару, как молодые влюбленные. Нет, правда: по сравнению с моими стариками, которые совершенно необъяснимым образом жили вместе уже сорок лет (вероятно, назло друг дружке), Эмили и Джон выглядели дуэтом воздушных гимнастов из дружной цирковой династии Лунтс. Моим не удавалось обсудить даже погоду без того, чтоб тут же не начались взаимные обвинения, упреки, только что не стрельба.

Когда пришло время уезжать, мне стало грустно, и на обратном пути все мои мысли занимала Эмили.

– Милые, правда же? – спросила Конни по дороге в Манхэттен.

– Очень, – согласился я.

– Папа ведь чудо, правда? Просто потрясный.

– М-м-м.

Честно говоря, мы с ее папой не обменялись и десятью словами.

– А мама прекрасно выглядит. Давно не видела ее в такой форме. Тем более что она после гриппа.

– Она удивительная.

– Мне нравятся ее фотографии и коллажи, – сказала Конни. – Жаль, отец не поощряет ее, он очень старомоден. Он просто не понимает, как можно заниматься искусством. И никогда не понимал.

– Действительно, жаль, – сказал я. – Надеюсь, это не слишком отравляло ей жизнь.

– Еще как отравляло, – ответила Конни. – Ну а Линдсей? Влюбился?

– Она очень мила. Но до тебя ей далеко. Другой класс. По крайней мере на мой вкус.

— Ты меня успокоил, — сказала Конни смеясь и уткнулась мне в щеку. Не мог же я, гнусная тварь, сообщить ей, что хочу снова увидеться с ее фантастической мамашей. Но даже пока я сидел за рулем, мой мозг жужжал и мигал, как ЭВМ, пытаясь состряпать какой-нибудь план, чтобы еще раз встретиться с этой сногсшибательной женщиной. Если бы меня спросили, чего я жду от этой встречи, я бы, честное слово, не знал, что сказать. Но я точно знал, ведя машину сквозь холодную осеннюю ночь, как сейчас надо мной хохочут Фрейд, Софокл и Юджин О'Нил.

В следующие несколько месяцев мне удалось повидаться с Эмили Чейзен не один раз. Обычно это бывали невинные развлечения втроем: мы с Конни встречали ее в городе и отправлялись в музей или на концерт. Пару раз, когда Конни оказывалась занята, я придумывал что-нибудь для Эмили сам. Конни была в восторге: ее мать и ее любовник смогли подружиться. Еще пару раз я ухитрялся подстроить безукоризненно случайную встречу с Эмили, которая совершенно стихийно перетекала в прогулку либо в легкую выпивку. Я с одобрением выслушивал ее творческие замыслы, понимающе смеялся шуткам, и было совершенно ясно, что Эмили по душе мое общество. Мы говорили о музыке, о литературе, о жизни — мои наблюдения никогда не оставляли ее равнодушной. И при этом было совершенно ясно, что она даже отдаленно не видит во мне никого, кроме нового приятеля. А если и видит, то ни за что этого не обнаружит. Да и на что я мог рассчитывать? Я жил с ее дочерью. Благопристойное сожительство в цивилизованном обществе, где соблюдаются определенные табу. В конце концов, что я себе воображал? Что она развратная вамп из немецких фильмов и примется соблазнять любовника собственной дочери? Честно-то говоря, я уверен, что потерял бы всякое уважение к Эмили, признайся она в своих чувствах ко мне или дай хоть малейший повод усомниться в ее недоступности. И все же я совершенно потерял голову. Моя страсть измучила меня, и вопреки всякой логике я молил судьбу ниспослать хоть малюсенький намек на то, что брак Эмили не столь идеален, как кажется, или что, отчаянно сопротивляясь, она все-таки по уши в меня влюбилась. Я даже подумывал о дерзких, агрессивных шагах, но огромные заголовки передовиц в бульварной прессе возникали перед внутренним взором, и я остерегался любых действий.

Я изнывал, мне ужасно хотелось рассказать Конни о своем смятении, открыть ей все и просить у нее помощи, чтобы вместе развязать мучительный узел, но боялся спровоцировать небольшое побоище. И вместо того чтобы проявить мужественную честность, как хорек, вынюхивал хоть что-нибудь, что могло бы рассказать об отношении Эмили ко мне.

— Я водил маму на выставку Матисса, — сообщил я однажды.

— Знаю, — сказала Конни. — Она в восторге.

— Ей повезло в жизни. Она выглядит совершенно счастливой. Удачный брак.

— Да.

Пауза.

— Ну, и... она тебе что-то рассказывала?

— Сказала, что вы потом чудесно поболтали. О ее фотографиях.

— Точно. — Пауза. — А еще? Обо мне? В смысле, я чувствую... Может, я начинаю ей надоедать?

— Да что ты, нет. Она тебя обожает!

— Правда?

— Дэнни проводит все больше времени с отцом, и ты в каком-то смысле заменяешь ей сына.

— Сына? — разочарованно переспросил я.

— Я думаю, маме хотелось бы, чтобы сын так же интересовался ее занятиями, как ты. Чтобы он был ей настоящим другом. И более склонен к размышлениям. Лучше понимал ее творческую натуру. Я думаю, ты для нее играешь именно такую роль.

В тот вечер я в гадком настроении сидел перед телевизором рядом с Конни, а мое тело рвалось с исступленной нежностью прижаться к женщине, которая явно считала меня не более опасным, чем собственный сынок. Или нет? Может, все это только домыслы Конни? Разве Эмили не была бы потрясена, узнай она, что мужчина, который значительно ее младше, находит ее великолепной, сексуальной, привлекательной и мечтает вступить с ней в отношения, мало похожие на родственные? Разве так уж невозможно, чтобы женщина ее лет, в особенности если она не встречает в муже отклика на глубинные потребности ее души, благосклонно отнеслась к пылкому влюбленному? И не придаю ли я с моими мещанскими предрассудками слишком большого значения тому обстоятельству, что живу с ее дочерью? В конце концов, случаются и более невероятные истории. Естественно, среди художественно одаренных натур. Мне необходимо было еще раз все взвесить и покончить с сомнениями, которые уже превратились в одержимость. Еще чуть-чуть, и я бы не выдержал; пришло время либо действовать, либо выкинуть все из головы. Я решил действовать.

Победоносные кампании прошлого подсказали наилучшую стратегию. Следовало заманить Эмили в "Трейдер Викс"[1], укромную сумрачную полинезийскую пещеру наслаждений, где в многообещающих темных уголках обманчиво легкие ромовые коктейли быстро выпускали разъяренное либидо из его темницы. Пара "Май-Тай", и сдается любая. Рука на колене. Внезапный неумолимый поцелуй. Переплетенные пальцы. На чары волшебного пунша можно положиться, осечек не бывало. А если ошеломленная жертва отстранялась, высоко подняв брови, можно было изящно дать задний ход, списав все на воздействие туземных напитков. "Прости меня, — мог оправдаться я, — у меня поехала крыша от этого зелья. Не соображаю, что творю".

Все, время светской болтовни прошло, думал я. Я люблю сразу двух — не такая уж невиданная ситуация. Они оказались дочкой и матерью? Тем заманчивее! Я был близок к нервному срыву. Меня переполняла самоуверенность; но, вынужден признать, в конце концов все произошло не совсем так, как было задумано. Да, однажды холодным февральским днем мы с Эмили действительно зашли в "Трейдер Викс". И мы смотрели друг другу в глаза, потягивая из высоких бокалов белые пенистые напитки, в которых под маленькими соломенными зонтиками плавали кусочки ананаса, и жизнь виделась нам во все более розовом свете — но этим дело и ограничилось. Ограничилось потому, что, хотя моим природным инстинктам была предоставлена свобода, я понял, что сломаю Конни жизнь. И моя грязная совесть — а вернее, возвратившийся здравый смысл — не позволили мне отработанным движением поло-

1. "У торговца Вика"; "Торговец Вик" — Виктор Бергерон, владелец ресторанов изысканной кухни.

жить руку на колено Эмили Чейзен и удовлетворить свои темные страсти. Я вдруг осознал, что я просто безумный фантазер, который на самом деле любит Конни и ни за что не станет рисковать, чтобы не причинить ей боли, — и пришел в себя. Да-да, Харольд Коэн оказался более приличным типом, чем можно было предположить. И любил свою подружку гораздо сильнее, чем он сам считал. Историю с Эмили Чейзен следовало сдать в архив и забыть навсегда. Как ни мучительно было подавить влечение к матери Конни, я полагался на рассудок и здравый смысл.

В завершение чудесной встречи, апогеем которой должен был стать яростный поцелуй сочных, манящих губ Эмили, мне подали счет, и я сказал себе: кончено. Смеясь, мы вышли на улицу, заметал снежок, я проводил Эмили до ее машины и смотрел, как она уезжает в Коннектикут; мне же предстояло вернуться домой к ее дочери с новым, более глубоким чувством к той, что по ночам делила со мной постель. Жизнь действительно сущий хаос, думал я. Чувства так непредсказуемы. Как могут люди прожить вместе сорок лет? Вот настоящее чудо, не то что заставить расступаться воды Красного моря, хотя мой отец по наивности считает последнее большим достижением. Я поцеловал Конни и признался в глубине своих чувств. Она ответила тем же. Мы легли.

Наплыв, как выражаются в кино; несколько месяцев спустя. Конни больше не может спать со мной. И почему же? Я сам навлек на себя эту беду, как протагонист в греческой трагедии. Наш секс стал мало-помалу портиться довольно давно.

— Что случилось? — спрашивал я. — Я что-то делаю не так?

— Господи, нет, ты ни в чем не виноват. Черт!

— Ну что? Скажи мне.

— Просто я не настроена, — отвечала она. — Может быть, нам не следует *каждую* ночь?

"Каждая ночь" на самом деле случалась лишь несколько раз в неделю, а вскоре и того реже.

— Я не могу, — виновато говорила Конни, когда я пытался проявить инициативу. — У меня сейчас трудный период.

— Какой трудный период? — с подозрением спрашивал я. — У тебя кто-то есть?

— Конечно нет.

— Ты меня любишь?

— Да. К сожалению.

— Так в чем же дело? Что случилось? И лучше не становится, становится только хуже.

— Я не могу спать с тобой, — наконец призналась Конни однажды ночью. — Ты напоминаешь мне моего брата.

— Что?

— Ты напоминаешь мне Дэнни. Не спрашивай почему.

— Твоего брата? Ты шутишь, что ли?

— Нет.

— Но ему же двадцать три года, он блондин, он чистокровный американец, он служит в юридической конторе у вашего отца — чем я его напоминаю?

— У меня чувство, что я ложусь в постель с собственным братом. — Она заплакала.

— Хорошо, хорошо, не надо плакать. Что-нибудь придумаем. Я только приму аспирин и лягу. Как-то неважно себя чувствую.

Сжимая пульсирующие виски, я изображал полное недоумение, но, конечно, было ясно: Конни ощутила во мне что-то братское из-за наших близких отношений с Эмили. Судьба принялась за сведение счетов. Я был обречен на танталовы муки: стройное, загорелое тело Конни лежало в десяти сантиметрах, но стоило протянуть руку, как классическое идиотское "Эй" останавливало меня. В необъяснимом распределении ролей (что так типично для наших душевных драм) мне неожиданно досталась роль брата героини.

Следующие месяцы ознаменовались разнообразными фазами мучений. Сначала пытка воздержанием. Затем признание самим себе, что положение не улучшается. При том мои старания быть чутким и терпеливым. Я вспоминал, как однажды в колледже потерпел неудачу с хорошенькой однокурсницей исключительно потому, что какой-то поворот ее головы вдруг напомнил мне тетю Ривку. Та девушка была гораздо симпатичнее тетки из моего детства, похожей на белку, но мысль, что я буду заниматься любовью с маминой сестрой, бесповоротно погубила свидание. Я понимал, каково Конни, но сексуальная неудовлетворенность накапливалась во мне и искала выхода. Через какое-то время я уже не мог удержаться от язвительных замечаний, а чуть позже — от острого желания спалить дом дотла. И все-таки старался держать себя в руках, пытаясь выбраться из бури безрассудства и сохранить наши, в остальном хорошие, отношения с Конни. Мой совет сходить к психоаналитику наткнулся на глухую стену, ибо не было ничего более чуждого ее коннектикутскому воспитанию, чем выдумки венских евреев.

— Спи с другими. Что я могу еще предложить? — посоветовала она.

— Я не хочу спать с другими. Я люблю тебя.

— И я тебя люблю. Ты же знаешь. Но я не могу ложиться с тобой в постель.

Я в самом деле был не из тех, кто норовит переспать с каждой встречной, и, если не считать несостоявшегося приключения с Эмили, ни разу не изменял Конни. Конечно, меня посещали естественные фантазии о всяких случайных женщинах — о какой-нибудь актрисе, или стюардессе, или глазастой старшекласснице, — но никогда бы я не изменил любимой. И не потому, что не было случая. Попадались женщины весьма настойчивые, даже агрессивные — но я был предан Конни. Тем более в дни тяжких испытаний ее фригидностью. Разумеется, мне приходило в голову снова взяться за Эмили, с которой мы по-прежнему виделись то втроем с Конни, то наедине — невинные дружеские встречи, — но я понимал, что, разворошив угли, которые с таким трудом сумел погасить, сделаю несчастными всех.

При этом я не скажу, что Конни оставалась мне верна. Нет, как ни печально, по крайней мере несколько раз она попадалась в коварные вражеские силки и втайне от меня делила ложе с актерами. Да и с драматургами тоже.

— Ну что ты от меня хочешь услышать? — плакала она, когда однажды к трем часам ночи я заставил ее запутаться в противоречивых алиби. — Я делаю это, только чтобы убедиться, что я не какая-то извращенка. Что я в состоянии спать с мужчиной.

— С любым, кроме меня! — Я был взбешен такой несправедливостью.

— Да. Ты напоминаешь мне моего брата.

— Я не хочу больше слушать эту чушь.

— Я же сказала тебе — спи с другими.

— Я старался не делать этого, но похоже — придется.

— Пожалуйста. Начинай. Это какое-то проклятье! — Она зарыдала.

Это и в самом деле было проклятье. Ну а что же еще, если двое любят друг друга, но вынуждены расстаться из-за почти комического недоразумения? Совершенно ясно, что я сам навлек на себя эту кару, сблизившись с матерью Конни. Наверное, это расплата за уверенность, что я смогу соблазнить Эмили Чейзен и переспать с ней, нагулявшись с ее дочерью. Грех гордыни, судя по всему. Я, Харольд Коэн, уличен в гордыне. Я, никогда не ставивший себя выше грызуна, приговорен за самонадеянность. Непостижимо.

И все-таки мы расстались. Превозмогая боль, мы остались друзьями и пошли каждый своим путем. Правда, нас разделяло всего десять домов и мы ежедневно разговаривали по телефону, но прежние отношения кончились. И вот тогда, только тогда я стал понимать, как же на самом деле я любил Конни. Сполохи отчаянья и страсти разрывали Прустову мглу душевной муки, в которой я жил. Я вспоминал заветные мгновенья нашего счастья, наши бесподобные любовные игры и плакал в одиночестве посреди огромной пустой квартиры. Я попробовал было встречаться с женщинами, но оставался безнадежно холоден. Юные поклонницы и секретарши, потянувшиеся караваном через мою спальню, только опустошили меня; это было еще хуже, чем одинокий вечер с хорошей книгой. Мир утратил свежесть и перспективу — так, мерзкое сумрачное местечко. Пока однажды я не узнал потрясающую новость: мать Конни ушла от мужа, и они разводятся. Ну надо же, думал я, а сердце мое впервые за долгое время билось быстрей обычного, мои старики воюют, как Монтекки и Капулетти, и прожили вместе всю жизнь. Предки Конни потягивают мартини и нежно обнимаются, а потом — бац — подают на развод.

План был ясен. Полинезийская пещера. Теперь на нашем пути не может возникнуть никаких ловушек. Конечно, немного неловко, что у меня был роман с Конни, но теперь это уже не такое препятствие, как раньше. Теперь мы просто два свободных существа. Мои чувства к Эмили Чейзен, все это время, конечно, тлевшие под пеплом, вспыхнули снова. Пускай жестокая судьба и разлучила меня с Конни, ничто не помешает мне завоевать ее маму.

В мощном порыве тайной гордыни я позвонил Эмили и условился о встрече. Через три дня мы сидели в людном сумраке моего любимого полинезийского ресторана, и, расслабившись после третьей бахии, она излила душу, рассказав мне все о гибели своего брака. Когда она заговорила о том, что хочет начать новую жизнь, менее замкнутую и более творческую, я поцеловал ее. Да, она отстранилась, но не вскрикнула. Она растерялась, но я признался в своих чувствах к ней и поцеловал опять. Она была смущена — но не вскочила в ярости из-за стола. После третьего поцелуя я понял, что ей не устоять. Она тоже. Я привез ее к себе домой, и мы любили друг друга. Наутро, когда чары пунша рассеялись, она по-прежнему казалась мне великолепной, и мы снова любили друг друга.

— Я хочу, чтоб ты стала моей женой, — сказал я, глядя на нее затуманенными обожанием глазами.

— Серьезно?

— Да, — ответил я. — На меньшее я не согласен.

Мы целовались, завтракали и смеясь строили планы. В тот же день я рассказал обо всем Конни. Я готовился к взрыву, но его не произошло. Я предвкушал разные реакции — от презрительной насмешки до нескрываемого бешенства, — но Конни восприняла известие с восхитительным спокойствием. Она сама в то время вела бурную жизнь, встречалась с несколькими интересными мужчинами и очень беспокоилась о будущем своей матери после развода. И вот внезапно появляется юный рыцарь и берет на себя все заботы о прекрасной даме. Рыцарь, у которого по-прежнему превосходные дружеские отношения с Конни. Это был добрый для всех поворот судьбы. С Конни снимается вина за мои адовы муки. Эмили будет счастлива. Я буду счастлив. Да, Конни восприняла известие со свойственными ей легкостью и юмором. Мои же родители проследовали прямо к окну своей квартиры на шестом этаже, но не могли решить, кому выбрасываться первым.

— Это неслыханно, — рыдала мама, с зубовным скрежетом раздирая на себе одежды.

— Он ненормальный. Ты идиот. Ты ненормальный, — повторял бледный потрясенный отец.

— Пятьдесят пять и шикса[1], — стонала тетя Роза, хватая нож для бумаг и поднося его к глазам.

— Я люблю ее, — протестовал я.

— Она тебя в два раза старше! — орал дядя Луи.

— Ну и что?

— То, что этому не бывать! — ревел отец и заклинал меня Торой.

— Он женится на маме своей подружки, — хрипела тетя Тилли, оседая на пол без чувств.

— Может, они мунииты[2]? — предполагал дядя Луи. — Может, они его загипнотизировали?

— Идиот! Дебил! — шептал отец.

К тете Тилли вернулись чувства, она уставилась на меня, вспомнила, что случилось, и отключилась снова. Преклонив колени в углу дальней комнаты, тетя Роза на все лады бормотала "Шма Исраэль".

— Господь покарает тебя, Харольд, — вскричал отец. — Господь прилепит твой язык к нёбу твоему, и погибнут все овцы твои, и все волы твои, и десятая часть от плодов твоих, и...

Но я женился на Эмили, и самоубийств не произошло. Присутствовали трое ее детей и с дюжину знакомых. Свадьбу устроили у Конни, шампанское лилось рекой. Мои опоздали: надо было сначала исполнить давнее обещание — принести в жертву агнца.

Танцевали, веселились, вечер удался на славу. В какой-то момент я оказался в спальне наедине с Конни. Мы подтрунивали друг над дружкой и вспоминали наш роман, его взлеты и падения, и каким желанным я был для нее когда-то.

— Это было упоительно! — воскликнула она.

— Что поделаешь, с дочкой сорвалось, пришлось отыграться на маме. А...

Но в следующее мгновенье я почувствовал во рту язычок Конни.

— Какого черта? — спросил я, отстраняясь. — Напилась?

1. Неврейка (*идиш*).
2. Члены секты, практикующей нетрадиционные методы психического воздействия.

— Ты меня так заводишь — не представляешь! — и она повалила меня на кровать.

— Что на тебя нашло? Ты что, нимфоманка? — сказал я, поднимаясь на ноги, но, конечно, возбужденный ее внезапным натиском.

— Я должна переспать с тобой. Если не сейчас, то как можно скорее, — сказала она.

— Со мной? С Харольдом Коэном? С тем парнем, что жил с тобой? И любил тебя? Которому было запрещено приближаться к тебе ближе чем на двадцать три сантиметра, потому что он стал напоминать тебе Дэнни? Это со мной ты хочешь переспать? С олицетворением твоего братишки?

— Теперь же совершенно другой расклад! — сказала она, тесно прижимаясь ко мне. — Женитьба на маме сделала тебя моим папочкой.

Она снова поцеловала меня и перед тем как вернуться к гостям добавила:

— Не волнуйся, папуля. У нас будет еще масса случаев.

Я опустился на кровать и уставился в окно. Я думал о своих стариках и о том, не пора ли кончать с театром и возвратиться в училище при синагоге. Через приоткрытую дверь мне были видны Конни и Эмили: обе смеялись, болтая с гостями. А на кровати в спальне сидела жалкая поникшая фигурка, и все, что она могла пробормотать себе под нос, было давнее выражение моего дедушки, звучавшее так: "Ой, вей".

Я обращаюсь к выпускникам

Ни разу за всю историю человечеству еще не было столь ясно, что оно на распутье. Одна дорога ведет к утрате последних надежд и отчаянью. Другая — к полному вымиранию. Дай бог, чтоб нам хватило мудрости сделать правильный выбор. Я говорю об этом отнюдь не с унынием, а лишь с кошмарной уверенностью в полной бессмысленности бытия, что может быть ошибочно расценено как пессимизм. Это не пессимизм. Это просто трезвое понимание трагедии современного человека. (Под "современным человеком" здесь понимается всякий родившийся в период между заявлением Ницше "Бог умер" и первым исполнением шлягера "Твоя рука в моей руке".) Есть два способа описать эту трагедию, хотя философы-лингвисты предпочли бы свести ее к математическому уравнению — его легко решить и носить с собой в бумажнике.

В простейшем виде проблема такова: можно ли постичь смысл жизни, имея мой размер брюк и ширину плеч? Вы ощутите всю сложность этого вопроса, признав, что наука надежд не оправдала. Конечно, ей удалось победить множество болезней, расшифровать генетический код и отправить человека на Луну; но оставьте восьмидесятилетнего наедине с двумя юными медсестричками, и ничего не случится, как и в прежние времена. Ибо подлинные проблемы неизменны. В конце концов, можно ли увидеть в микроскоп человеческую душу? Вероятно; но, судя по всему, только в очень мощный, с двумя окулярами. Мы знаем, что мозг самого современного компьютера не столь совершенен, как мозг пчелы. Правда, это же можно сказать и о некоторых наших родственниках — но с ними видишься только на свадьбах, по особым случаям, а от науки мы зависим постоянно.

Допустим, у меня появились боли за грудиной. Врачи велят сделать рентген. Но что, если от облучения я заработаю что-нибудь пострашнее? Обдумать всесторонне не успеваю — кладут в реанимацию. Дают кислород, и тут, естественно, какой-то практикант решает закурить. После чего на глазах изумленной публики я в одной пижаме пролетаю над зданием Центра международной торговли. И это называется наука? Да, безусловно, благодаря науке мы умеем пастеризовать сыры. И что говорить, в компании без предрассудков сыр — штука приятная. Чего не скажешь о водородной бомбе. Доводилось вам наблюдать, что бывает, если она скатится со стола?

А что проку от науки тому, кто в одиночку бьется над извечными загадками бытия? Откуда взялся мир? Давно ли? Началось ли все со взрыва или по слову Божию? Если по слову, то почему было не произнести его недельку раньше, чтобы мы застали побольше теплых деньков? Что конкретно имеется в виду, когда говорят "Человек смертен"? Судя по всему, это не комплимент.

Да и религия, увы, настроения уже не поднимает. Мигель де Унамуно где-то восторгается "неутомимой настойчивостью разума", но ведь она не всякому по плечу. Особенно при чтении Теккерея. Я часто думаю, как, наверное, легко жилось первобытному человеку, верившему во всемогущего доброжелательного Создателя, который присматривает за всем на свете. Воображаю его разочарование, когда жена вдруг начинала терять талию. Современный человек далеко не так безмятежен. Он ввергнут в пучину безверия. Он, как это деликатно называют, некоммуникабелен. Он повидал ужасы войны, он знает не понаслышке, что такое стихийные бедствия и вечера знакомств.

Мой близкий друг Жак Моно любит порассуждать о хаотичности Вселенной. Он убежден, что все на свете появилось по чистой случайности, за исключением его завтрака, который — тут не ошибешься — состряпала домработница. Да, вера в божественный промысел вселяет спокойствие. Но ведь это не снимает с человека ответственности. Разве не сторож я брату моему? Сторож. Любопытно, что лично я делю эту честь со смотрителями городского зоопарка.

Без Бога мы чувствуем себя сиротливо и создаем себе кумира в виде научно-технического прогресса. Но что может объяснить научно-технический прогресс, когда новенький "бьюик" (Нат Зипский, мой хороший приятель, не поездил на нем и трех дней) влетает в витрину ресторана "Телячья нежность" и посетители едва успевают броситься врассыпную? За четыре года мой тостер ни разу не сработал как следует. Я действую точно по инструкции, закладываю ровно два ломтика хлеба, и через секунду он выстреливает их обратно. Как-то раз таким выстрелом сломало нос одной дорогой для меня женщине. И мы надеемся, что гайки, болты и электричество решат все проблемы?

Конечно, телефон — дело хорошее. Да и холодильник. И кондиционер. Но ведь не всякий кондиционер. Не тот, например, что купила моя сестра Хенни. Он работает с диким грохотом, но прохлады не приносит. Вызвали мастера. Стало хуже. "Ну, на нет и суда нет, — сказал мастер. — Не нравится — покупайте новый". Сестра стала упрашивать, но мастер попросил не действовать ему на нервы. Этот человек явно некоммуникабелен. К тому же он все время улыбался.

Беда в том, что нас не подготовили к жизни в технократическом обществе. Что поделаешь, политики либо некомпетентны, либо продаж-

ны. Иногда и то и другое вместе. Государству нет дела до нужд маленького человека. Уже в пять минут седьмого бесполезно звонить в Конгресс своему депутату. Не отрицаю, демократия пока остается наилучшей формой общественного устройства. В демократическом государстве по крайней мере охраняются права человека. Никто не вправе без веских оснований подвергнуть гражданина пыткам, бросить в тюрьму или заставить досмотреть некоторые бродвейские шоу. По сравнению с тем, что творится в Советском Союзе, это — небо и земля, конечно.

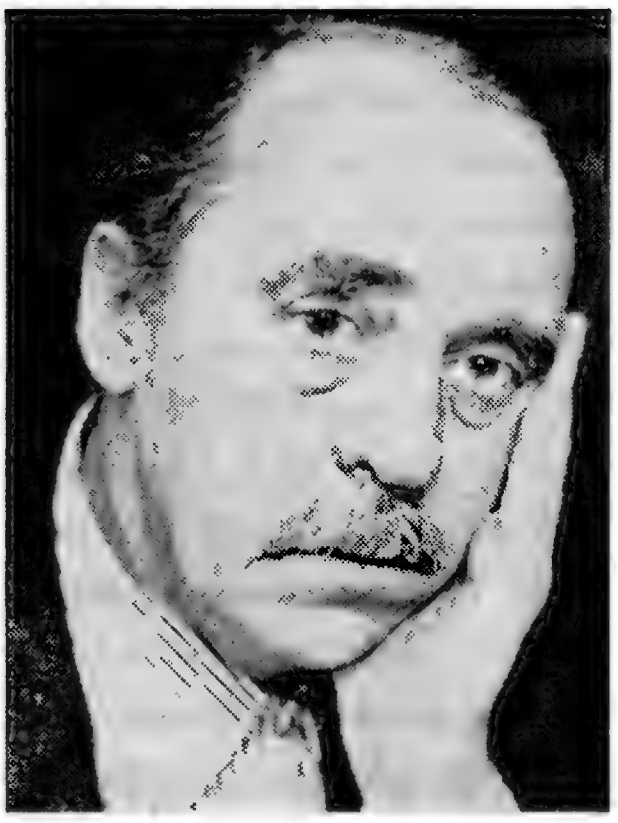
В тоталитарном государстве человека могут приговорить к тридцати годам исправительно-трудовых работ только за то, что он насвистывал. Если через пятнадцать лет он не перестает свистеть, его расстреливают. Плечом к плечу с варварством фашизма шествует по планете терроризм. Никогда за всю историю человек так не боялся включить электромясорубку: а вдруг она взорвется?

Насилие порождает насилие, и, по некоторым прогнозам, вскоре доминирующей формой общественных отношений станет взаимное похищение детей. Перенаселение накалит все проблемы до предела. Цифры свидетельствуют, что уже сейчас на Земле живет гораздо больше народу, чем нужно, чтобы перенести самый тяжелый рояль. Если призыв прекратить размножение не будет услышан, к 2000 году негде будет сесть пообедать — придется ставить стол на голову незнакомым людям. Они будут вынуждены неподвижно ждать, пока мы закончим с компотом. Неизбежно разразится энергетический кризис: автовладельцам будет отпускаться бензина ровно столько, чтобы сдать назад на полметра.

Но мы не желаем принять вызов, предпочитая одурманиваться наркотиками и сексом. В своем либерализме общество зашло недопустимо далеко. Когда еще так расцветала порнография? И вечно попадается третья-четвертая копия, на экране ничего не разберешь. Надо признать: у нас нет ясных целей. Мы так и не научились любить. Нам не хватает лидеров и четких программ. Мы разобщены духовно. В полном одиночестве мы проносимся по жизни, срывая друг на друге свое отчаянье и боль.

К счастью, мы пока еще не утратили чувства меры. Таким образом, подводя итоги, можно с уверенностью сказать: будущее сулит нам огромные возможности. Но также таит западни. Надо умудриться не попасть в западню, не упустить возможностей и вернуться домой часам к шести.

Генрих Бёлль



Завет

Повесть

Перевод с немецкого и вступление М. Рудницкого

Перед читателем — одна из первых вещей Генриха Бёлля и вместе с тем одна из последних его прижизненных публикаций. Так уж парадоксально сложилась ее судьба. Начатая осенью сорок седьмого, законченная весной сорок восьмого, повесть "Завет" была разослана сразу в несколько издательств, которых в нищей, но освобожденной Германии оказалось на удивление много. Правда, пару месяцев спустя, после конфискационной денежной реформы, проведенной в западных оккупационных зонах летом 1948 года, почти все эти издательства в одночасье разорились. А Бёлль к тому времени уже завершил другую свою военную вещь — "Поезд пришел вовремя" (кстати, первоначальное ее название "От Львова до Черновцов"), напряженно работал над романом "Где ты был, Адам?" и судьбой затерянной рукописи интересовался мало. Когда через несколько лет, обнаруженная в одном из издательских архивов, она все же вернулась к автору, тот посчитал, что публиковать ее поздно — и время, и собственное творчество Бёлля ее уже обогнали.

Подобные решения почти всегда делают автору честь, свидетельствуя о его взыскательности и высокой требовательности к себе. И все же, как показывает судьба повести "Завет", иной раз они ошибочны. Когда в начале восьмидесятых младший сын Бёлля вместе с группой друзей-энтузиастов затеял небольшое "альтернативное" издательство "Ламуф", писатель отдал туда свою опальную повесть, которая в 1982 году увидела свет. Лейтмотивом едва ли не всех рецензий было изумление: критики отказывались понимать, как можно было такую вещь тридцать пять лет держать под спудом.

© 1990 by Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln
© М. Рудницкий. Перевод, 2001

Наш читатель, знакомый с искусством Бёлля давно и основательно, без труда подметит, что в этом дебютном произведении с немалым изяществом обозначены и, так сказать, предварены многие мотивы будущего творчества писателя, а некоторые уже воплощены с незаурядной художественной силой. И в первую очередь это касается изображения войны, ее страшной окопной правды. Тут надо бы заметить, что живописанием своего фронтового прошлого Бёлль никогда особенно не увлекался. Герой одного из его военных рассказов признается, что ему нравятся пушки, "даже когда они стреляют". В этом "даже" — все отношение Бёлля к войне: она ему тем интереснее, чем дальше от самой себя, от своей человекоубийственной сути. Однако в 1947 году вчерашний фронтовик, только что вернувшийся из американского плена, видимо, не только считал своим долгом, но и жаждал поведать о неправедной войне, которую ему пришлось пройти всю, от звонка до звонка, и рассказать подробно, точно и специально то, что пережил он сам. Сцены боевого крещения, описанные в заключительных эпизодах "Завета", на мой взгляд, принадлежат к числу лучших страниц бёллевской прозы вообще. Но главное в повести все-таки не противостояние фронтов, а, как всегда у Бёлля, извечное — что в военной, что в мирной жизни — противостояние правды и лжи, совести и приспособленчества, "причастия агнца" и "причастия буйвола". И, пожалуй, именно в этой узнаваемости поэтики и нравственных коллизий — основное обаяние повести: воспринимая ее будто в обратной перспективе, сквозь опыт всего позднейшего творчества Бёлля, читатель радуется тому, что даже в этой дебютной вещи автор уже сумел в полной мере оказаться самим собой.

СЕГОДНЯ, многоуважаемый сударь, я повстречал молодого человека, чья персона Вам, смею полагать, небезызвестна. Фамилия его Шнекер, живет он, сколько я знаю, уже не первое десятилетие по соседству с Вами и был школьным товарищем Вашего брата, пропавшего без вести. Но это еще не все. С сегодняшнего дня я знаю, что Вы вот уже пятый год тщетно ждете хоть какой-нибудь весточки от Вашего брата, о судьбе которого Вам сообщили только обычную казенную ложь – "пропал без вести", и точка. Так вот, Шнекер вполне мог бы эту ложь прояснить. Только два человека на свете в силах избавить Вас от роковой безызвестности, один – это Шнекер, другой – это я. Я молчал. Когда Вы прочтете мой отчет, Вы поймете: не мог я просто так к Вам заявиться и, что называется, всё выложить.

Простите меня: мне придется сообщить Вам нечто, чего не смягчишь и не приукрасишь. Ваш брат погиб.

А вид у Шнекера вообще-то был очень даже бодрый. Я заприметил его среди больших красных ящиков с геранями на террасе летнего кафе, под одним из веселеньких пестрых зонтов, где нынче так любят сиживать иные беззаботные люди в темных очках, наблюдая за потоком прочих смертных. Шнекер к тому же был в обществе весьма приятной молодой дамы.

Дама была хороша собой, весела и скованности не ощущала. Сам не знаю почему я вошел в кафе, сел за соседний столик и заказал мороженое — до того мне вдруг захотелось подслушать их разговор.

Волнение мое усугублялось тем, что Шнекер почти не изменился. Ну да, слегка пополнел, стал скорее старше, чем моложе, и приобрел легкий налет той матерой буйволиности, которым почти неизбежно обрастают немецкие молодые люди из лучших кругов годам этак к тридцати двум, когда и для них приспевает пора вступать в партию отцов и ак-

тивно в этой партии функционировать. Как только я, поблагодарив официанта, уселся наконец так, чтобы ничего не упустить, Шнекер произнес:

— А Винни?

— Замужем. Разве ты не знал? И счастлива, безумно счастлива, ты уж мне поверь.

Шнекер рассмеялся.

— Мы тоже будем счастливы, — сказал он мягко и накрыл руку девушки своей рукой. В ответ она до того восторженно вскинула на него огромные, кроткие, лишь самую малость глуповатые глаза, что мне показалось, она от счастья сейчас совсем растает да так и растечется по красивому плетеному летнему стулу липкой лужицей сиропа.

— Сигарету? — предложил Шнекер, протягивая ей открытый портсигар.

Она взяла, оба закурили, каждый углубился в свое мороженое. Мимо тянулся поток легко одетых, но все равно сморенных зноем и давкой людей, торопящихся в город на последнюю летнюю распродажу или уже возвращающихся домой с покупками. На лицах у всех та же судорога, какую еще в прошлом году можно было наблюдать в "картофельных поездах", когда по осени все кидались за город запасаться картошкой. Усталость, жадность и страх — вот что читалось в этих лицах. Опустив глаза, я помешивал свое мороженое, сигарета тоже была мне уже не в радость.

— Вообще-то, — снова начал Шнекер, — сегодня у нас настоящий праздник.

— А как же, — подтвердила его спутница, — такой торжественный, такой знаменательный день!

— И в самом деле.

— Еще бы! Ты еще сомневаешься! Ты просто потрясающе справился, так уверенно, так лихо! Единственный, кому "очень хорошо" поставили. А скажи-ка, — она вдруг хихикнула, — тебе что, правда докторскую шапочку наденут?

— Да нет же, радость моя, но послушай, — тут он сперва отправил в рот ложечку мороженого, — я вот что предлагаю: давай мы прямо сейчас куда-нибудь за город съездим, а уж после переоденемся в парадное и, прежде чем вся эта официальная дребедень начнется, устроим в "Космо" маленькое интимное торжество для нас двоих.

На сей раз она накрыла его руку своей.

Мне вдруг стало до того муторно, что понадобилось немедленно встать и хоть что-то сделать. Я положил на столик купюру, вообще-то слишком крупную, чтобы мне такими чаевыми бросаться. Но сейчас мне было не до того. Пошатываясь, я вышел, дал потливому и болтливому людскому потоку снести себя вниз по течению и только потом нырнул в тихую разбомбленную улочку, укрытую ломаными тенями уцелевших фасадов. Только тут на какой-то обломок стены я и присел. Покой развалин — это кладбищенский покой...

Но полагаю, пора мне уже Вам представиться. Фамилия моя Венк, у Вашего брата, старшего лейтенанта Шеллинга, я служил ординарцем. Как я Вам уже сказал, он погиб. Вы, впрочем, давно могли узнать об этом сами. Достаточно было просто зайти в дом к Вашему соседу и чуть пристальней обычного посмотреть ему в глаза, те самые глаза, ради которых столь юная и цветущая, столь восторженная особа готова в полном

соответствии с намеченной семейной программой зачать от него двух прелестных детишек. Ах, как трогательно будет плакать эта милашка, когда священник соединит их руки, а орган с хоров грянет баховскую фугу, для чего, не довольствуясь простецкой игрой местного органиста, будет заказан настоящий исполнитель-виртуоз. Уж Вы постарайтесь не пропустить такую свадьбу. Не побрезгуйте отведать пирожных и вина, не откажитесь и от сигарет, но первым делом не забудьте проследить, чтобы и Ваша матушка соседскую свадьбу не пропустила, чтобы пришла подобающим образом поздравить молодоженов и вручила подарок, тщательно подобранный с учетом степени приятельства. Этот брачный союз, призванный подарить миру новых Шнекеров, достоин подобающих почестей и торжеств. Не знаю, что дарят на свадьбу с учетом такой степени приятельства в Ваших кругах, в наших это был бы утюг или крюшонница, которую ставят на стол раз этак лет в пять, а то и вовсе никогда. Впрочем, оставим эту болтовню. Я просто пытаюсь оттянуть то, что мне так трудно написать, слишком уж неправдоподобно прозвучат эти слова, слишком плохо вяжутся они со всем обликом новоиспеченного доктора обоих прав, даже невзирая на его тронутый жирком загривок. И тем не менее выслушайте: Шнекер — убийца Вашего брата. Вот оно и сказано. Вот оно и написано. И не в каком-то там переносном, аллегорическом смысле, а просто и ясно, именно так, как Вы прочтете: Шнекер — убийца Вашего брата...

Вы-то сами человек еще молодой. Вам, по моим наблюдениям, лет двадцать. Я позволил себе бесцеремонность пару-тройку дней пошпионить за Вашими — Вашим и Шнекера — домами, но Вы наверняка даже и не вспомните абсолютно безликую внешность анонимного современника, что в темных очках и с неизменной сигаретой в зубах, этакий нанятый самой судьбой частный детектив-любитель, торчал под кустом бузины, чувствуя себя обязанным за инвалидную пенсию в тридцать марок, которую государство соизволяет ежемесячно ему выплачивать через окошечко на почте, отблагодарить отчизну маленькой ответной услугой.

Итак, Вам, по моим прикидкам, лет двадцать. Я видел, как Вы с портфелем в руках спешно уходите куда-то к определенному часу, и в лице Вашем я узрел нечто, что могу истолковать только как страх перед выпускными экзаменами. Не бойтесь. Вы все сдадите. Не принимайте этого слишком всерьез. Мы тоже очень гордились тем, что по географии и математике у нас твердые четверки, когда нас заставили взглянуть, как выглядят люди, у которых животы по всем правилам военного искусства прошиты автоматной очередью. Вы уж мне поверьте, все они — и те, у кого по латыни было "хорошо", и те, кто ни о какой латыни слыхом не слыхивал, — выглядели одинаково. Отвратительно выглядели. И не было в этом зрелище ничего, ну ровным счетом ничего возвышенного. Все смотрелись одинаково: французы, и немцы, и поляки, что герои, что трусы. И больше тут ничего не скажешь. Они уже принадлежали земле, а земля им уже не принадлежала. Вот и весь сказ.

Но прежде чем поведать Вам, как Шнекер убил Вашего брата, я, пожалуй, представлюсь чуть подробнее. Особого доверия как современник я, пожалуй, не внушаю. Большую часть времени я провожу лежа на кровати и куря сигареты. Жалюзи закрыты, так что света в мою каморку проникает ровно столько, сколько нужно, чтобы разглядеть полоску клея на сигаретной бумаге. Около кровати стоит стул, на нем аппетит-

ная желтая горка рассыпного табака. Все мое занятие состоит в том, чтобы скрутить себе новую сигарету, когда окурок предыдущей, которую я изо рта не выпускаю, намокнет настолько, что перестает тянуться. От табака у меня першит в горле, окурки я не глядя швыряю в окно, а когда иной раз все-таки выглядываю на улицу, то вижу, как они в бессчетном количестве лениво кружат в сточной канаве, словно раздувшиеся желтоватые гусеницы-личинки — некоторые уже полопались и выпустили из себя табак, так что он бурой кашицей застаивается в зеленоватой, вонючей илистой луже, ибо уклон у канавы малость не в ту сторону. Время от времени, когда жижа достигает критической кондиции, я одалживаю у уборщицы моего квартирного хозяина метлу и гоню всю эту грязь к стоку, в котором она с утробным урчанием и исчезает...

Лишь изредка я подвигаю себя на какие-то иные действия. Единственная моя серьезная забота — это обеспечить себя табаком, с чем я справляюсь путем продажи собственных книг. Однако даже это занятие для меня достаточно утомительно. Я, по счастью, неплохо ориентируюсь в мире книг, но мне никогда не хватает терпения заполучить за книги настоящую цену. Так что я с крайней неохотой тащусь в мелкие темные букинистические лавчонки, насквозь пропитавшиеся тем тяжелым духом, который исходит только от груд старых книг, — сухим запахом плесени и пыли одновременно. Узеньким желтоватым ладошкам, чьи движения почему-то напоминают мне суетливую и проворную повадку енотов, я вручаю свои духовные богатства на предмет определения их материальной ценности. Торгуюсь я очень редко, только если предложенная цена кажется мне бессовестно низкой; обычно же просто киваю, а неуступчивость проявляю лишь тогда, когда жадное лицо скупщика, пересчитывающего деньги, доверительно приближается ко мне, чтобы в последнюю секунду еще немного сбавить цену. Я уже смирился с тем, что с людишками этими мне не совладать — как и с памятью о войне.

II

Первая моя встреча со Шнекером случилась летом сорок третьего. Из подразделения военных переводчиков, размещенного в Париже, я был откомандирован в одну из дивизий на побережье, где мне предстояло вновь приобщиться к радостям "настоящей" пехотной службы. От последней железнодорожной станции я добрался до заспанной деревушки, которая, казалось, сплошь состоит из длинных и низких стен, прорезавших ковер густой и высокой травы. Там, в северо-западном углу Нормандии, параллельно морскому берегу протянулась полоска земли, навсегда отмеченная безнадежной тоской и унылой затерянностью пустошей и болот вперемежку; тут и там по ней разбросаны крохотные деревеньки, заброшенные и полуразрушенные хутора, вялые, почти неподвижные ручейки, лениво текущие к заболоченным протокам, а то и вовсе бесследно уходящие под землю.

После долгих расспросов я добрался наконец от станции до штаба батальона. Там, как обычно, меня сперва заставили долго ждать, но в конце концов приписали к какой-то роте. Фельдфебель-писарь предложил мне дождаться полевой почты, чтобы вместе с ней отправиться в расположение части. Однако это означало еще четыре часа тоскливого сидения в угрюмом штабном замке, так что я только попросил объяснить мне дорогу, отдал честь и откланялся.

В полутемном коридоре, где я забирал свои вещи, мимо меня прошел офицер, рослый ладный парень, невзирая на свою молодость уже в погонах капитана. Я исполнил предписанное уставом "отдание чести посредством принятия стойки "смирно", он посмотрел на меня, как на пустое место, даже не кивнул и прошел мимо. Это и был Шнекер.

Все это заняло, быть может, полсекунды, но за эти полсекунды я успел ощутить всю меру унижения, в которое загоняет человека мундир. Каждый миг, что на мне был мундир, я мундир ненавидел, но в эти полсекунды на меня накатило такое отвращение, что я буквально физически ощутил во рту горький привкус желчи. Я ринулся за офицером, что не спеша направлялся к штабной канцелярии, успел загородить ему дверь, снова встал по стойке "смирно" и отчеканил:

— Попрошу господина капитана отданием чести ответить на мое приветствие.

Ненависть переполняла меня, как восторг вожделения. Он смотрел на меня, словно на сумасшедшего.

— Что? — переспросил он, внезапно охрипнув.

Как можно более безразличным голосом я повторил свои слова, посмотрел ему прямо в глаза и снова отдал честь.

Это был поединок одними глазами. Капитан был в ярости и, будь его воля, просто стер бы меня в порошок, но и меня от кончиков взъерошенных мурашками страха волос до самых пяток пронизывала ненависть редкой, кристальной чистоты. Тут он наконец вдруг вскинул руку к козырьку, я посторонился, отворил ему дверь и только после этого вышел. Я быстро пересек деревню, спящую, казалось, беспробудным сном, свернул, как мне было указано, в третью улицу налево, что вела к берегу, и уже вскоре очутился в совершенно необитаемой местности. Полуденный зной висел над лугами зыбким маревом, на тропе только белесые камни и пыль, изредка попадались на глаза два-три деревца, чаще кустарник, нигде ни одной возделанной делянки. Завидев вдалеке пятнышко скудной тени, я двинулся к нему и шел так полчаса, прежде чем опомнился, поднял глаза и только тут сообразил, что все это время иду вперед, бессмысленно уставившись в одну точку. Усталость накатила внезапно — я вдруг совсем обессилел. Край тропы порос сочной муравой, я уж совсем было собрался на нее присесть, но тут завидел метрах в ста, не дальше, небольшую рощицу, под сенью которой, похоже, угадывалось нечто вроде человеческого жилья. Коровы, вконец сморенные духотой, жались поближе к кустарнику. Пройдя по плитам дорожки, я остановился у крыльца: это был не дом, а почти руина, наполовину заросшая кустарником, с забитыми окнами и облупившейся, совершенно выцветшей вывеской над дверью, на которой от слова "Ресторация" сохранилось нечто, что я поначалу, не разобрав, почему-то прочел как "рацио".

Но дверь была открыта, я вошел в прихожую, где даже угадывались какие-то запахи, отворил следующую, коричневую, дверь справа. И очутился в пустой комнате. Я поставил сумку, снял с плеч ранец, бросил на стул пилотку и ремень, извлек из кармана необъятный носовой платок и, продолжая осматриваться, принялся отирать пот.

Обычно в подобных заведениях невольно ожидаешь встретить старую грымзу — злющую, как ведьма, усатую и в засаленном переднике старуху, которая мрачно сунет тебе тарелку еле теплого варева. Вот почему я был весьма удивлен, когда в комнату вошла молоденькая, хорошень-

кая, к тому же и опрятная девушка, которая коротко, но скорее любезно поздоровалась со мной обычным "Добрый день, мсье".

Я ответил на ее приветствие и слишком долго не сводил с нее глаз. Девушка была очень красива. Огромные карие глаза были подернуты дымкой и, казалось, упорно уклонялись от моего назойливого взгляда. Светло-каштановые волосы, перехваченые голубой лентой, свободно ниспадали на плечи. От ее рук исходил запах парного молока, она сжимала и разжимала пальцы — видимо, только что доила...

— Что вам угодно? — спросила она.

Я чуть было не брякнул: "Вас!", но движением руки стер с губ едва не сорвавшееся слово и спокойно сказал:

— Попить чего-нибудь, если можно похолоднее.

Она опустила веки, как будто услышав мое непроизнесенное слово и молча погрузив его в себя, потом снова открыла глаза и спросила с едва слышной усмешкой в голосе:

— Вина или лимонада?

— Воды, — ответил я.

— Не советую, мсье, — заметила она. — Вода у нас такая же тухлая, как в Сомме.

— Хорошо, — согласился я. — Тогда вина. Белого, если есть.

Она кивнула, повернулась и исчезла.

Обстановка вокруг была такая же, как и почти всюду во французских деревенских кабачках. Среди нас принято было отзываться о ней пренебрежительно, с нажимом на отрицательные определения — "неряшливо", "безвкусно", "неуютно". Разумеется, там было много аляповатостей, и старинных, и современных, но каждый из этих кабачков хранил для меня неповторимое очарование сезанновских "Картежников".

Бледное лицо девушки вдруг показалось за стеклом двери, почти как лицо утопающей, что в последний раз всплывает к поверхности, прежде чем окончательно уйти под воду. Я испугался, вскочил, отворил ей дверь. В правой руке она с трудом удерживала бутылку и бокал, в левой — сифон с содовой. К немалому моему изумлению, сифон, который я у нее забрал, оказался прохладным на ощупь. Я спросил, как ей это удается в такую жару, на что она, ставя передо мной бокал и бутылку, спокойно объяснила, что сифоны они обычно держат в ручье. По-прежнему избегая моего взгляда, пробормотала:

— Позовете меня, если еще что-нибудь понадобится.

И собралась уходить.

Я тихо взмолился:

— Скажите мне только одно: вы всегда здесь? Вы — хозяйская дочка?

Лишь теперь она обернулась и посмотрела на меня прямо. Похоже, я все-таки вызвал на ее лице тень улыбки.

— Да, — ответила она. — Я всегда здесь.

— Тогда я хотел бы расплатиться сразу. Бутылку, если позволите, я потом возьму с собой, неизвестно, что ждет меня впереди, — сказал я, кивнув в сторону побережья.

— Там тоже есть кабачки, — равнодушно заметила она и передернула плечами. — Но если вам угодно...

Она прошла за стойку, и я понял, что она делает это лишь для того, чтобы избежать прикосновения моей руки, — обычно в таких заведениях не принято столь торжественно рассчитываться у кассы, деньги

здесь просто передают из рук в руки. Она же подала мне сдачу на большом счете и холодно произнесла:

— До свиданья, мсье.

И я остался один. Приятно было вспоминать, как она сказала: "Я здесь всегда". Я сел, вытянул ноги, поел, попил, закурил. Когда бутылка наполовину опустела, я встал, уложил свой ранец, крикнул в сторону двери, что вела куда-то на кухню: "До свидания", — и вышел.

Тропа была трудная, с подъемами, вокруг ни души, только бескрайние луга со змейками пропадающих в них ручейков, кустарники, купы ив, пока наконец где-то вдали не завиднелся ровный ряд деревьев, высаженных, должно быть, вдоль прибрежной улицы. Я сделал еще один привал, перекурил под серым, квелым небом, а уж потом двинулся дальше — к бледным голубоватым очертаниям этих выстроившихся шеренгой деревьев.

III

Обещаю Вам — я не буду слишком болтлив. Ничто из того, о чем я Вам рассказываю, не покажется Вам никчемным, если Вас и вправду интересует судьба брата, роль, которую сыграл в ней Шнекер, ну и, в определенной мере, Ваш покорный слуга. Я просто не могу больше молчать. Ужас и страх охватили меня с тех пор, как мне довелось бросить хотя и беглый, но вполне исчерпывающий взгляд за розовые фасады нашего "восстановления" и "преодоления", взгляд в лицо Шнекера. В лицо нашего среднего человека.

Забыл Вам сказать: я не люблю солнце. Иногда мне даже кажется, я его ненавижу. Если бы пришлось выбирать между идолами диких первобытных народов, я бы прибился к тем меланхоличным племенам, которые, отдавая солнцу дань положенных подношений, видели в нем дьявола, а не к тем, что почитали его богом. Причем ненавижу я вовсе не свет, нет, свет, когда он проливается во тьму, я очень даже люблю, но вот это нестерпимое ослепительное летнее сияние, когда один только свет, — в нем есть что-то ужасное.

Проселок, до которого я вскоре наконец-то доплелся, оказался окаймлен деревьями только с одной, правой стороны, так что тень от деревьев падала в чистое поле, вернее, на прибрежный луг, заросший пышной и высокой, в человеческий рост, травой. Только потом я узнал, что все луга по обе стороны дороги заминированы, вот почему трава и цветы по обе ее стороны произрастали с невиданной силой и пышностью. Иногда там попадались и крохотные сосенки. Вот уже три года луга эти не обиходила и не скашивала человеческая рука, три года не паслась на них скотина.

Где-то впереди я уже заметил дом, примостившийся на перекрестке дорог под сенью тенистого леса, однако неотвязный солнечный свет слепил до рези в глазах, доводя меня до исступления. До дома не было и трехсот метров, но расстояние это показалось мне бесконечностью. Однако минут через пять я его все-таки преодолел. Это опять оказался кабачок. Вокруг, живописно разбросанные в ельнике, расположились небольшие современные виллы, остальные дома, попроще, тянулись вдоль улицы. На перекрестке был даже установлен дорожный указатель с названием населенного пункта — Бланшер. На кабачке красовалась све-

жевыкрашенная вывеска "Восточный буфет". Я вошел, поставил, даже не оглядевшись, на пол свои вещи и снова принялся отирать пот.

Мало-помалу придя в себя от изнеможения, я наконец узрел перед собой жуткое лицо, одаривавшее меня улыбкой. Разумеется, Вам неведомы эти создания, живущие по другую, редко описываемую сторону войны. В нашей отечественной литературе для действительной жизни вообще очень мало находится места.

Необъятное это лицо было сверх всякой меры оштукатурено пудрой, большие водянистые глаза заплыли, а под заплаканными глазами набрякли мешки. Это была хозяйка кабачка в Бланшере. Кстати, и она тоже играла существенную роль в жизни Вашего брата, она стирала ему белье, чистоте которого он всегда придавал большое значение, причем стирала хорошо и брала недорого.

— Привет, солдатик, — проговорила она неожиданным басом, от которого я вздрогнул. — Да ты садись, — добавила она.

— Добрый день, мадам, — сказал я.

— О-ля-ля! — воскликнула она. — Я не мадам, я мадемуазель!

— Добрый день, мадемуазель, — поправился я.

— Что будешь пить?

Я присел на один из стульев поближе к двери.

— Пожалуйста, пива, если у вас есть.

Пока я видел только голову трактирщицы, я представлял ее толстухой. Теперь же, когда, вооруженная бутылкой пива и кружкой, она двинулась к моему столику, я вздрогнул еще раз. Она была тощая, как драная кошка, и такая же страшная.

Она сказала:

— Пей на здоровье! — и не ушла. — Новенький, да?

— Да, — ответил я. — Вот в роту иду.

— С такой тяжеленной поклажей?

— Да.

— Тогда подожди-ка, — она глянула на допотопные стенные часы над стойкой, — подожди, сейчас придет посыльный из Ларнтона, вон оттуда, — она указала на дорогу, что сворачивала влево, тогда как мне, согласно полученной инструкции, полагалось еще километр шагать прямо. — Он в четыре придет, с велосипедом. Он тебе с вещами и подсобит. Он славный парень. Тебе ведь в пехоту, верно?

— Да, — подтвердил я, удивленный столь полной ее осведомленностью.

Я посмотрел на часы — до четырех оставались считанные минуты.

Она между тем просто поедала меня глазами и, казалось, вот-вот лопнет от любопытства. Ведь главное занятие подобных созданий — собирать и распространять сплетни. А болтливы и наблюдательны они ничуть не меньше, чем их кажущиеся антиподы — ханжи и святоши. Так что она продолжила беседу неукоснительно и точно, как журналист, берущий интервью.

— Ротный фельдфебель у тебя отличный, — сообщила она. — Командир, правда, свинья. Сам увидишь. Ну а который вон там, — она снова махнула куда-то в сторону тенистой аллеи, что убегала к морю, где, видимо, располагался опорный пункт обороны, — тот вообще ангел. Да-да, ангел, — добавила она с неожиданной запальчивостью, словно кто-то собирался ей возражать.

— Вот как? — сухо проронил я.

— И откуда же в наши края? — продолжала наседать она, явно не намереваясь оставлять меня в покое. Теперь в ее глазах наряду с любопытством читалось еще и неприкрытое нахальство.

— Из Парижа.

— О-о! — взвыла она своим трубным гласом. — Город любви!

Я промолчал.

— Рота у тебя хорошая, ребята почти все что надо, — продолжала болтать она. — Я вообще пехоту люблю. Бедно, да честно — вот мой девиз.

Я же все это время смотрел на ту, другую дорогу — казалось, она осенена покоем тенистых райских кущ. Она уходила в сосновую рощу, где, предвестьями близких дюн, веселыми солнечными зайчиками светились проплешины песка. По обе стороны дороги вразброску, словно игрушечные, были разбросаны небольшие, аккуратные виллы, и только тут я заметил, что вся эта красота тоже обнесена колючей проволокой и щитами с надписью "Заминировано!". Так вот почему и эта тишина брала за душу, как кладбищенская.

— Не угостишь? — неожиданно сказала хозяйка, и я сообразил, что она смотрит на мои сигареты.

— О, простите! — воскликнул я.

— Это хорошо, что ты на табачок не скупишься, но посмотрим, какой ты недельки через две добренький будешь.

Я ничего не сказал, хоть она и хапнула у меня сразу две сигареты.

— С табаком здесь так же худо, как с хлебом, — продолжала она.

Тут, по счастью, я наконец-то завидел мышино-серый полевой мундир велосипедиста, который вынырнул и быстро приближался из темных, тенистых недр аллеи. Винтовка у него висела не на плече, а строго по уставу была закинута за спину.

— Ага! — воскликнула хозяйка. — Вот и он. Вилли!

Она вышла на крыльцо и помахала подъезжающему солдату, лицо которого я теперь уже мог хорошо разглядеть. Это был бледный, пожилой уже мужчина с соломенными усиками, узкая и редкая полоска которых казалась приклеенной к его верхней губе. У него и пилотка на голове сидела, как у новобранца, да и все лицо излучало какую-то образцовость.

Соскочив с велосипеда, который он оставил у крыльца, он вошел.

— Добрый день, товарищ! — поздоровался он.

— Добрый, — вяло отозвался я.

Он бросил изголодавшийся взгляд на хозяйкину сигарету, потом посмотрел на меня, уселся на табурет к стойке бара и спросил:

— У тебя что, опять левые сигареты?

— Не-а, — ответила она. — Завтра получу, дешевые, по семь франков штука.

— А эти?

В ответ она ткнула горящей сигаретой в мою сторону. Я уже вытащил свою пачку и протягивал Вилли. Он глянул на меня ошарашенно, смущенно усмехнулся и сказал:

— Спасибо, приятель, ты, наверно, прямо из дома, но у вас там тоже не больно разживешься...

— Да уж, — вздохнул я. — Но неужто у вас тут до того худо?

— А-а, чтоб их... — чертыхнулся он. — Сам увидишь. Каждый день сидим, как проклятые; трех пайковых сигарет дожидаемся, за час их скуриваем, чинариками добираем, потом опять двадцать три часа маемся.

— Выпьешь что-нибудь? — спросила хозяйка.

— Да, Кадетта, одно пиво, пожалуйста.

— Ну, твое здоровье! — сказал он, получив свое пиво. — За твои сигареты, товарищ.

Поскольку пиво он выпил залпом и тут же собрался уходить, я тоже поспешил расплатиться; когда я подошел к стойке, он уже надевал пилотку. Я спросил:

— Послушай, барахлишко мое не подбросишь?

Он заважничал, изобразив на лице крайнее сомнение, придирчиво осмотрел мой ранец и сумку, потом сказал:

— Вообще-то, приятель, велик почти разваливается. Это же просто старый рыдван. Ну да уж ладно, — тут он как бы сам себя пришпорил, — не бросать же товарища с багажом на дороге. Так ты, значит, к нам?

— Ну да, — ответил я. — Третья рота.

— Правильно, мы третья и есть. Тогда нагружай.

Потом он укатил, а я с завистью смотрел ему вслед. Дорога, по счастью, оказалась тенистой. Слева стеной стоял лес, тянувшийся прямо от дома Кадетты, а по правую сторону гладкой асфальтированной ленты то и дело попадались дома, похоже, даже обитаемые. Кое-где висело на веревках солдатское бельишко: сорочки, подштанники и те серые, в белую полоску, гетры, что расползлись уже чуть ли не по всему свету. Теперь я шагал быстро: ведь при мысли о своей новой службе я испытывал не только страх, но и любопытство. Каждый перевод на новое место таит в себе нечто будоражащее. Я пока еще не видел моря, а на карте, по которой фельдфебель в штабе батальона показывал мне дорогу, точка, обозначавшая канцелярию роты, находилась совсем рядом с той волнующей пунктирной линией, вдоль которой поверху тянулась надпись "Первая линия обороны", а понизу — "Линия прилива". Так что мне не терпелось снова увидеть море — впервые за последние три года. Еще через пять минут лес кончился. По обе стороны вновь потянулись изобильные луга, пока наконец из-за пологой складки пригорка не показалось здание с ведущей к нему песчаной дорожкой. Это был очаровательный домик, напоминавший курортную виллу очень состоятельного человека. Справа от дороги виднелся еще один кабак, нечто вроде летнего кафе с деревянной крытой верандой, за ним и другие дома, ну а потом — давненько, аж с полудня не видел! — я вновь узрел ненаглядные фельдфебельские звездочки вперемежку с унтер-офицерскими петлицами, унылую толпу солдат, сгрудившихся возле полевой кухни, и все мои романтические мечтания о дивном лете на побережье Атлантики как ветром сдуло. Успев откозырять нескольким фельдфебелям, что стояли возле сарая, наблюдая за раздачей пищи, я наконец добрался до канцелярии.

Поднявшись по ступенькам, я первым делом увидел свои вещи, сложенные на полу. На меня дохнуло сухостью жары и прокаленного зноем дерева. Послышались голоса, в том числе и голос Вилли, крикнувший из комнаты, где, очевидно, шла раздача почты: "Есть!", я же вошел в дверь с надписью "Полевая почта № ...". Номер этот я потом часто видел на открытках, которые забирал для Вашего брата и отвозил ему в Ларнтон. Полагаю, Вы этот номер тоже уже не забудете.

Исполнив на пороге церемонию отдания чести, я тотчас же услышал голос с жестким саксонским выговором. Там, откуда он доносился, я узрел старшего лейтенанта, жгучего брюнета с пышной пижонской прической, и первым делом подумал, что красная ленточка Железного

креста замечательно подходит к его смоляным, будто нафабренным волосам. Ему было около сорока, он тоже носил усы, разумеется, черные, и при виде этих усов я невольно снова отметил, как замечательно гармонирует их черный цвет с серебряным эсэсовским значком.

— Ага! — произнес этот человек, едва он меня увидел.

Сказано это было отнюдь не с насмешкой, а скорее тоном педагогической укоризны, и действительно уже через полчаса я знал, что на гражданке этот красавчик подвизался школьным учителем. За его спиной я узрел вполне нормальное лицо ротного фельдфебеля, еще молодого парня, и каменную мину писаря, которая сразу показалась мне очень симпатичной.

— Ага! — произнес, значит, этот человек. — Так вот кто у нас такой неженка, что не в силах протащить свои манатки какой-то лишний километр, не так ли?

При последних словах глаза его расширились, почти карикатурно сверкнули, он смотрел на меня с вызовом.

— Господин старший лейтенант, — ответил я, приняв в соответствии с уставом стойку "смирно", — мне показалось бессмысленным отпускать товарища порожняком на велосипеде, а самому плестись с багажом, который я и так уже от самого Крютеля на себе волок.

— От самого Крютеля! — повторил он с издевкой. Фельдфебель рассмеялся.

— Ничего смешного, Фишер! — рявкнул на него старший лейтенант. — Эти интеллигенты вонючие, еколько ими ни командуй, всё умников из себя корчат. — После чего он повернулся ко мне: — Так вы, значит, господин старший ефрейтор, думать изволите, изволите размышлять, если я вас правильно понял, не так ли?

В Париже я настолько привык к почти цивильной манере общения, что чуть было с поклоном не ответил: "Безусловно". Но вовремя опомнился и строго по уставу отчеканил:

— Так точно!

— Вот как! А кое-чему наоборот, то есть умению отключать ваши умственные способности, вас никогда не учили?

— Никак нет! — гаркнул я. — На предыдущем месте службы от меня хотя бы изредка требовалось умение думать.

— Вот как, — заметил он озадаченно и на миг напомнил мне боксера, нарвавшегося на точный встречный удар. Но тут он вдруг просто заорал. — Вы мне здесь это бросьте, ясно? Я вас тут мигом думать отучу, слышите? Тут вся ваша интеллигентность даром не нужна, понятно?

— Так точно, — отозвался я.

— И еще зарубите себе на носу: солдат ни при каких обстоятельствах не бросает свою амуницию. — Он отвел от меня свой горящий опереточный взор, обратив его на фельдфебеля, и коротко спросил: — Ну, куда мы его засунем?

Фельдфебель извлек из ящика стола список, а старший лейтенант тем временем снова вперил в меня свое партийное око (позже я узнал, что на родине у себя он и вправду руководил партийной ячейкой). Он спросил у меня:

— Какое у вас образование? Я имею в виду, разумеется, сугубо военное.

— Пулеметчик, господин старший лейтенант, — выпалил я. — И еще телефонист.

— Еще чего! — сказал он с тихой яростью. — Телефонистов у нас хоть пруд пруди. А вот пулеметчиков всегда не хватает.

— За пополнением у нас Ларнтон на очереди, — сообщил старший фельдфебель.

— Ладно. Вот и пошлем его к господину Шеллингу. Что там у нас еще? Наряды на завтра расписаны, боеприпасы для боевых стрельб на укрепления надо доставить, ясно?

— Так точно, — ответил ротный фельдфебель.

Я распахнул дверь и принял стойку "смирно", пропуская мимо себя господина учителя. Он больше даже взглядом меня не удостоил.

— Дружище! — вскричал ротный, едва шаги командира стихли за дверью. — Да я чуть обнимать тебя не кинулся, когда по говору рейнландца услышал, землячок!

Он протянул мне руку, а я глядел ему в глаза и радовался. Тогда он кивнул на писаря, который с улыбкой наблюдал за нами.

— Это Шмидт, — пояснил он. — Шмидт хотя бы берлинец. У нас еще только несколько берлинцев, остальное всё шушера.

Я вручил писарю пакет с моими бумагами, который в Париже в нашей либеральной части собственноручно заклеил и запечатал сургучом. Покуда писарь его открывал, читал и раскладывал бумаги, фельдфебель жадно допытывал меня, когда я в последний раз был в отпуске и не проезжал ли, часом, через его родной Кёльн.

Вскоре после этого он ушел поесть, я же, оставшись с симпатичным писарем наедине, расспросил его о настроениях в роте и о службе, обменялся с ним парой скептических соображений о войне вообще и о нашем командире в частности, после чего уже четверть часа спустя тем же путем двинулся обратно. Я снова заглянул к Кадетте, снова выпил у нее пива и угостил ее сигаретой.

И только потом двинулся к аллее, которая так меня манила. Я все еще так и не видел моря, из окон канцелярии оно было загорожено лесом, к тому же там мне было не до того — сильно отвлекал светло-серый мундир старшего лейтенанта.

Но теперь-то море должно было появиться вот-вот. Дорога протискивалась между минными полями, и меня не оставляло чувство, будто я прямиком иду в западню. По обе стороны аллеи виднелись очаровательные, правда полностью заросшие, виллы, потом эти чащобы мало-помалу расступились и слева показалось большое, совершенно разоренное здание, похожее, скорее всего, на бывшую школу, и только потом я увидел широкую светлую полосу морского песка... Самой воды почти не было видно, берег в этих местах настолько пологий, что во время отлива море отходит на километры. Где-то вдали, как мне показалось, невероятно далеко, я разглядел широкий и светлый клин песчаной косы и узенькую ленточку пены, которую море так любит гнать на берег и утаскивать обратно, а уж за ней такую же узкую полоску серого цвета — воду. И больше ничего — только песок, песок и выгоревшее, тоже серое небо. На меня накатила вдруг такая тоска, будто я не на берегу моря, а в бескрайней безводной пустыне, когда же я отвел глаза от безотрадных далей, куда так опрометчиво упал мой взгляд, то вокруг себя тоже увидел лишь песок, поросшие скудной растительностью дюны, развалины каких-то явно взорванных построек и опять песок — песок без конца...

И, вопреки моим ожиданиям, ни одного бункера в поле зрения. По счастью, на гребне одной из дюн, подле перегородивших дорогу метал-

лических ежей, виднелся часовой с винтовкой, и в его сторону вела бетонная дорожка. Я двинулся по ней. Стальная каска и ствол винтовки мало-помалу увеличивались в размерах, и когда я наконец забрался наверх, взору моему открылось странное селение. На вид оно больше всего напоминало рыбацкую деревеньку, где на ночь на просушку развесили сети. Но сети были маскировочные, они укрывали орудия и бараки — эти убогие деревянные строения были частью знаменитого Атлантического вала и летом 1943 года представляли собой весьма важный стратегический объект. Подойдя к часовому, я спросил, как мне найти лейтенанта Шеллинга, тот равнодушно махнул в сторону барака, стоявшего поодаль чуть выше, но прежде чем я до этого барака дошел, успел крикнуть мне в спину:

— Вообще-то он старший лейтенант, приятель, смотри, не ляпни!

— Что? — переспросил я.

— Он старший лейтенант. Ему это, правда, все равно, но он старший. Лучше тебе об этом знать.

Старший лейтенант — и всего лишь командир взвода; я был крайне удивлен. В сорок третьем, когда офицеров не хватало уже катастрофически, как хлеба в голодуху, тут было чему удивляться. С этим жалким укрепленным пунктом на худой конец мог управиться и фельдфебель, и вдруг на́ тебе — старший лейтенант.

Первым, кого я увидел, войдя в барак, оказался Вилли. Он был в одиночестве и читал письмо.

— А-а! — обрадовался он. — Тебя, значит, к нам определили?

— Да.

Вилли отложил письмо, подсунув его под телефонный аппарат: он сидел у открытого окна, в которое со стороны моря тянуло легким сквознячком.

— Посмотрим, — сказал Вилли, — примет ли тебя господин старший лейтенант.

Он постучал в дверь, кто-то крикнул оттуда, как мне показалось, неохотно: "Войдите!", Вилли открыл дверь и доложил куда-то почти в кромешную тьму о моем прибытии. В ответ надтреснутый голос произнес:

— Хорошо, пусть войдет.

Я вошел и притворил за собой дверь.

Окно было занавешено, я смутно разглядел койку и чью-то серую долговязую фигуру на ней, шкаф-пенал, стол и несколько совсем уж неразличимых картин по стенам.

Я ощутил неизъяснимое блаженство оттого, что челове́к этот при моем появлении тотчас же встал. Вам-то это, наверно, покажется мелочью, но поверьте, когда вы много лет отбарабанили в этой армии простым солдатом и постоянно имели дело с так называемыми старшими по званию, у вас развивается обостренная чуткость к человеческому обхождению. Знай вы, как ведут себя иные из ваших знакомых — мне-то для этого достаточно подумать о своих, — какой-нибудь вполне приятный молодой человек, в котором вы не предполагали ровным счетом ничего дурного, знали бы вы, что он вытворяет, что позволяет себе, имея дело с так называемыми подчиненными, — знай вы об этом, вы бы, глядя на него, просто сгорели от стыда...

За пять лет моей армейской службы Ваш брат был первым встреченным мной офицером, о котором я твердо могу сказать: он поразительно тонко чувствовал грань между приказом и унижением и, как и подобает

настоящему командиру, никогда эту грань не переступал. Боюсь, Вам куда лучше знаком противоположный тип, все эти "идеологически выдержанные" долдоны, бескультурные, заурядные, несведущие даже в своем офицерском, не говоря уж о нелегком солдатском, ремесле, жалкие лейтенантишки, чей авторитет держится только на звездочках погон да еще, не в последнюю очередь, на блеске дорогих офицерских сапог. А о демоническом всемогуществе мундира Вам красноречивее всего скажет тот факт, что вся наша гигантская армия только на эту идиотскую иерархию чинов и опиралась, ибо все иные ценности, пресловутая "идея", вокруг которой поначалу было столько шума и трескотни, уже задолго до сорок третьего обнаружила свое полное ничтожество и пустоту, как сдувшаяся оболочка балаганного воздушного шара, безжалостно затоптанная в воскресный день на базарной площади.

Попытайтесь-ка вообразить себе кого-нибудь из ровесников, из однокашников Вашего брата — забудем пока что Шнекера, — говорю Вам, возьмите любого, по мне так и разлюбезного молодого человека, который везде и всюду будет вести себя прилично, даже безукоризненно, и я Вам скажу: "А в казарме он свинья!" А ведь эта армия тащила за собой свои казармы по всей Европе...

Таким был Икс, и таким же был Игрек. Тот самый Икс, который, горюя сегодня о своей пока что столь незадавшейся карьере, глушит обиду дымком американских сигарет и дымкой смутных политических чаяний, но тем не менее регулярно встречается со своими бывшими товарищами по оружию, дабы вместе предаваться сладостным воспоминаниям о том, "как мы им показали". И тот самый Игрек, что ожесточенно готовится сейчас стать прокурором или школьным учителем, то есть овладеть профессией, которая дает возможность вволю, как над солдатами, поизмываться над другими беззащитными — над стариками или детьми.

IV

Итак, Ваш брат при моем появлении встал. Мне нет нужды описывать Вам его внешность: высокий, стройный, но уже немного сутулый, в голубых глазах скорбь, мундир без всяких побрякушек. Он был примерно моего возраста, лет двадцати пяти — двадцати шести, и, пусть Вам не покажется это смешным, казалось, звездочки старшего лейтенанта лежат на его плечах, на всем его облике страшным гнетом непомерной ответственности. Старший лейтенант — и в этой барачной крепости в дюнах, всего двадцать пять человек в подчинении, какой-то жалкий укрепленный пункт, который в те годы уже запросто доверяли унтерофицерам. Это судьба.

Своим почти хриплым голосом он повторил мою фамилию.

— Останетесь здесь, — сказал он, бегло просмотрев мои бумаги. — Мне нужен ординарец, тот, что у меня, завтра уезжает в отпуск. Вам понятно?

— Так точно, — ответил я.

— Ну и хорошо. Пожалуйста, размещайтесь, вам все покажут. Будете на пару с санитаром дежурить на телефоне. Кроме того, дважды в день на велосипеде будете ездить в расположение роты. И еще, — он помолчал немного, потом снова поднял на меня глаза, — Вы, должно быть, по пути сюда уже заметили: мы здесь как в мышеловке, поэтому никто не

имеет права покидать расположение взвода без моего ведома. Так называемого свободного времени у нас нет. Вам понятно?

— Так точно, — сказал я.

— Хорошо. Пожалуйста, попросите посыльного ввести вас в курс дела.

Он снова поднял на меня глаза. Расценив это как знак окончания разговора, я отдал честь и вышел.

На этой линии фронта вдоль атлантического побережья, сударь, шла совершенно особая война — война со скукой. Вообразите себе фронт протяженностью от Норвегии до Бискайского залива, где перед вами нет ни единого противника, кроме моря. Фронт этот был обставлен и содержался точно так же, как всякий другой, нормальный, где ежедневно бывают новые убитые и раненые, умирающие и контуженные, истошно орущие и онемевшие навеки. Но здесь все застыло раз и навсегда. Каждую ночь тысячи часовых заступали на посты в ожидании противника, который все никак не появлялся и появления которого иные из нас жаждали уже почти с вожделением. Из года в год тысячи людей вставали на посты лицом к морю, этому чудовищу, вечно одинаковому и вечно непостижимому, которое приходит и уходит, приходит и уходит и улыбается, улыбается без конца, непреклонное и невозмутимое, хоть ты вниз головой в него сигай. О, эти вечно улыбчивые воды! Даже когда их штормило, в них слышалось нечто вроде смеха — дикий, необузданный смех, без всякой издевки, просто смех, и только. Море смеялось над нами, вот в чем штука. На берегу стояли орудия, минометы, пулеметы, сотни тысяч автоматов и винтовок лежали на брустверах либо болтались на животах и спинах в такт усталому шагу часовых. И ничего. Годами одно и то же. Под вечер заучивай пароль — световые сигналы в разной последовательности, раскладывай ручные гранаты (против океана — ручные гранаты!), целыми днями обучение и подготовка — на орудиях, гранатометах, пулеметах и других видах оружия, после обеда чистка и смазка оружия, оборудования и машин либо строевая подготовка на шоссе за дюнами, и так годами. Годами! По восемь часов муштры днем, как минимум по четыре часа караула ночью. Вечная борьба с песком, что, забиваясь во все, даже самые труднодоступные пазы и щели любого оружия, плохо поддавался вычистке, зато был прекрасно заметен сонному оку одуревшего от скуки фельдфебеля. А где-то за горизонтом, далеко-далеко, неимоверно, непредставимо далеко, настолько далеко, что в него трудно поверить, стоял неприятель, тот самый, у которого море, похоже, и подслушало свой нескончаемый смех. Все это висело над идиллическими заливами и бухтами побережья тяжелой пеленой тупого безумия, от которого люди начинали спиваться.

Были солдаты, куковавшие тут аж с сорокового. Но и тех, кто провел здесь всего несколько месяцев, и то охватывало отчаяние. А отчаяние — это надежда плоти, сударь мой. Бывает отчаяние, которое, хоть и бушует сугубо у нас в мозгу, дарит нам неистовые чувственные восторги. В отчаянии есть что-то от кино. Ты им упиваешься, упиваешься без конца, в нем есть сладость, такая сладость, что кажется, целое море отчаяния так бы и выпил, но чем больше пьешь, тем больше в тебе жажда и тем больше чувствуешь, что тебе эту жажду никогда не утолить, и тогда понимаешь, что ад-то, быть может, уже здесь, на земле, ибо что еще есть ад, как не вечная, неизбывная жажда? Отчаяние ужасно, отчаяние — это надеж-

да плоти, тут недолго впасть и в искушение новой молитвы: “Не введи нас во отчаяние”.

Даже такой человек, как Ваш брат, способный в любую минуту положиться на утешительный оплот своей веры, человек большой внутренней силы, который мог бы всю жизнь идти по лезвию, чтобы в конце концов с острия этого лезвия прямо в вечное блаженство спрыгнуть, даже такой человек, как Ваш брат, был этим отчаянием изрядно подточен — по крайней мере, ко времени, когда я с ним познакомился. Тоска, застывшая в его глазах в первые дни моего пребывания в роте, таила в себе нечто неизъяснимо-ужасное и напоминала порой взгляд бесноватого, с которым вот-вот случится припадок. Часто, когда ему приходилось говорить по телефону с этим нашим учителешкой-ротным, голос его начинал дрожать, словно в следующую секунду он не выдержит и заорет прямо в трубку: “Скотина! Скотина! Во веки веков скотина!”

Что до меня, то я был настолько же слаб, насколько он силен. К тому же я как-то уже поотвык от житейских тягот и неприятностей. Даже в форме простого солдата я исхитрялся жить припеваючи. Военного пороха я нюхнул в сороковом, очень уж меня тянуло на фронт после двухто лет муштры в казарме, где меня обучали нехитрому ремеслу пехотинца. Но этих полутора месяцев в наступлении мне хватило за глаза. Пыль, жарища, грязь, вечная боль и зуд в стертых ногах, кровь, бесконечная нервотрепка, а самое скверное — печальная обязанность участвовать в вывешивании омерзительных нацистских флагов над французскими садами и парками. Благодарю покорно. За четыре дня до перемирия, уже почти в Бургундии, меня наконец ранило. В лазарете я нежился месяцами, снова наслаждаясь радостями жизни, а потом — со своим-то лишь слегка освеженным школьным французским — даже исхитрился выбить себе назначение в Париж. В ту пору на раненого еще смотрели как на героя. А уж когда в Париже оказался, я даже маленько пособил своему недугу, чтобы, как у нас принято было говорить, теплое местечко за собой придержать.

Но переводу на новое место, к морю, сперва даже радовался, как радуешься в жизни всякой новизне. Однако уже через несколько дней я был на грани отчаяния.

Ужаснее всего была полная бессмыслица происходящего. Каждое утро среди этих песчаных дюн люди становились к своим пулеметам, гранатометам или к чему там еще и упражнялись, упражнялись без конца, разучивая приемы, которые они уже просто не в состоянии были повторить, до того им эти приемы осточертели. Да они здесь уже почти каждую песчинку в лицо знали! Каждое утро одно и то же, и каждую ночь одно и то же, и вечно один-единственный противник — море. Минные поля и пустые дома вокруг. И даже не поешь вдоволь для поддержания иссякающих сил. Довольствие — очень важная часть войны. Каждый толковый офицер это знает. Практика войны лишена какой бы то ни было романтики, тут нет места так называемым идеям и чувствам. Солдат, которого регулярно не докармливают, способен на что угодно и имеет полное право добывать себе пропитание. А у нас, сударь, пайки были просто смехотворные. Я знаю, что Вам это неизвестно. Я достаточно часто носил на почту открытки: “Жив, здоров, за посылку спасибо. Генрих”.

А теперь поставьте себя на место человека, оттрубившего восемь часов днем, четыре часа отстоявшего на посту ночью и получающего в сутки полкило хлеба, две ложки повидла, тридцать граммов маргарина и

литр супа из котла, где на сто пятьдесят ртов помимо воды и цветной капусты выварено четверть тощего говяжьего скелета, с которого кухонные амбалы уже успели ободрать последние остатки жира и мяса. Может, Вы подумаете, что этого даже много. Уверяю Вас, это ничто, когда приходится сражаться со скукой.

Разумеется, мы научились выкручиваться. Зажимали патроны и обменивали их на хлеб у раскормленных моряков и артиллеристов, которые располагали досугом даже для охоты на кроликов. Моряки — те вообще обзавелись своим хозяйством, по ночам в промежутках между караульными сменами мы совершали набеги на их картофельные поля, ползком обходили часовых, которые с заряженными винтовками ревностно стерегли плоды своих аграрных трудов, рылись в темноте, точно кабаны, подкапывая картофельные кусты и торопясь наполнить мешки вожделенными клубнями. И не подумайте, что мы лезли под пули из каких-то там романтических побуждений — а опасность схлопотать пулю была нешуточной, ведь часовые, когда обнаруживали нас, стреляли без предупреждения.

Так что присовокупите к скуке еще и голод, а теперь прикиньте: Ваш брат провоевал на этом фронте три года.

На третий день, проснувшись спозаранок, я первым делом ощутил спертый воздух казармы, свинцом застоявшийся в моих легких. В бараке было накурено, санитар, дежуривший на телефоне, как всегда, заснул, и его дебильная черепушка беспробудно покоилась на смятой консервной банке, что служила нам пепельницей. Как новоприбывший я, разумеется, спал на верхней койке, еще не привык к низкому потолку и каждое утро при пробуждении больно стукался головой о доски. Я глянул на часы — было полседьмого. Опять он побудку на целый час проспал.

А спали солдаты насмерть. За каждую минуту сна они сражались, как львы. И их можно было понять, ведь ни одной ночи им не дали отоспаться по-человечески, каждую ночь будили, а нет ничего омерзительнее, когда тебя каждую, буквально каждую ночь вырывают из крепкого молодого сна.

Ночные часовые стояли в карауле до шести, потом сменялись, если, конечно, в это время не было прилива, ибо каждый прилив автоматически означал для нас состояние полной боеготовности. Они уходили и при желании могли еще поспать до половины восьмого, но в восемь обязаны были снова заступить на службу. А чтобы на эти два часа не оставлять береговую линию вовсе без охраны, с шести до восьми выставлялся один-единственный так называемый дневной пост, он размещался на сторожевой вышке, был оснащен сиреной и покидал свое расположение только в восемь, заступая на службу вместе с остальными. Будить этого дневного часового было обязанностью посыльного. И уж не сомневайтесь, ни один из ночных часовых, даже если на дневной пост предстояло заступить его соседу по койке, и пальцем бы не пошевелил, чтобы его разбудить. Будить должен посыльный, не разбудил — и баста, пусть этот чертов укрепленный пункт огнем горит, пусть приходят хоть томми, хоть американки, ежели наконец-то сподобятся.

Так вот, наш опорный пункт обороны опять целый час оставался без охранения. В первые дни я с непривычки еще относился к таким вещам более или менее всерьез. Мне и вправду мерещилось, что вот-вот нагрянут англичане, и просыпаясь в этот рассветный, для внезапного нападе-

ния безусловно самый благоприятный час, я очень живо представлял себе бесшумно подплывающие к берегу боты, спрыгивающих с них десантников и даже слышал их громкое вражеское "Ура!".

Так что, разумеется, я тотчас же вскочил, ткнул санитара в бок и заорал:

— Часового буди, живо!

Санитар этот был одним из самых тупых людей, встреченных мною в жизни. Много старше нас — ему было сорок два, — он запомнился мне своей кучерявой и непрошибаемой капустной башкой и маленькими, испитыми глазками. Он чуть ли не все время дрых, почти не умел писать, и даже устную его речь средством общения можно было назвать лишь с большой натяжкой.

— А-а? — вскрикнул он, протирая глаза. — К черту, спать, я спать, ни хрена никогда...

— Нет, — твердо сказал я. — Может, никогда и ни хрена, но сейчас, будь добр, иди, давно пора.

Он долго нашаривал записку, что лежала под телефоном, потом долго на нее пялился, про себя по складам читая фамилию. Наконец надел пилотку, собираясь идти, но поскольку я уже знал, что он часто будит не того — уж сколько раз мы с огромным трудом отбивали его от такого вот по ошибке разбуженного однополчанина, — я взял записку и громко сказал ему вслед:

— Пеллериг, четвертый бункер, первая нижняя койка слева от двери.

— Чего? — он вяло и хмуро обернулся. — Я думал, Брунсвик.

— Нет, — сказал я. — Брунсвика надо в канцелярию послать, ему в отпуск ехать.

— А-а, — промямлил он и ушел.

Я закурил сигарету, провел рукой по волосам и вышел на крыльцо. Там было замечательно. Легкий прохладный бриз веял с моря, чей пенный, лениво перекатывающийся язык лизал подножье дюны совсем неподалеку от нашего барака. Был прилив, вода играла всеми оттенками голубого и серого, и в воздухе действительно пахло морем. Я смотрел на эту нескончаемую гладь, на эту бескрайнюю водную равнину, на полет чаек — и даже ладонь к глазам козырьком приложил, чтобы полнее насладиться одиночеством. Может, мне повезет увидеть катер береговой охраны — было так приятно наблюдать этот одинокий катер на неподвижной поверхности залива. День был пасмурный, солнце дремало где-то глубоко в серых тучах у меня за спиной. К северу горизонт был заслонен сосновой рощей, что тянулась от кабачка Кадетты до самого берега. Мне сказали, если дойти до окончания этого лесистого мыса, можно увидеть устье Соммы. Я решил сегодня после обеда в свободные полчаса туда прогуляться. А где-то там, на северо-западе, значит, Англия... Так вот плывешь, плывешь морем, и вдруг остров, Англия...

Я проследил за Кандиком, санитаром, и убедился, что он зашел в нужный бункер. Вокруг стояла тишина, сизые шлейфы утреннего тумана мягко стелились над дюнами и крышами бараков, был единственный час суток, когда здесь действительно царил покой. Неожиданно чей-то голос у меня за спиной произнес:

— Доброе утро!

Я обернулся, вытянулся во фрунт, отдал честь и поздоровался по уставу.

Лицо Вашего брата болезненно скривилось.

— Прошу вас, оставим это, ладно?

Мне и самому было неловко, но как-то ведь отвечать на приветствие надо, а я уже слишком долго томился в застенках мундира, чтобы позволить себе вольность запросто сказать кому-то "Доброе утро", словно какой-нибудь курортник, здоровающийся на пляже с другим курортником... От него мое смущение не укрылось.

— Я знаю, вас так обучали. Но это ведь нескладно, да и не нужно вам, верно ведь? Если хотите, можете говорить мне просто "Доброе утро". Простите, если я вас обидел невзначай, но, по-моему, мы понимаем друг друга.

Я смотрел в сторону.

— А главное, — добавил он, — я ведь знаю, что вам это противно. И мне тоже.

Он прикурил от моей сигареты и сел на маленькую скамеечку, что стояла у крыльца нашего барака. Эти первые утренние минуты, когда ты выходил — и тебя встречало море, легкий ветерок, удивительный воздух, а вокруг еще царила тишина, — эти первые минуты были упоительны. Но все равно слишком явно витал над ними призрак повседневной тягомотины, чтобы можно было этими минутами наслаждаться. Тупость — вот самое эффективное оружие современной войны.

— Представляете, — снова заговорил он, — есть ведь родители, которые по утрам своих еще полусонных детишек этим "Хайль Гитлер!" встречают. Такие действительно есть, вы только подумайте. — Лицо его посерьезнело и помрачнело. — Можно ли представить себе нечто более отвратительное?

Я уже говорил Вам: за три дня я успел отчаяться больше, чем Ваш брат за три года. Я слабый человек, у меня нет своей внутренней опоры, нет веры, разве что весьма смутная и зыбкая мечта, скорее даже греза, словом, некое видение красоты и порядка. И все же в то утро мы оба, по-моему, были на одном уровне отчаяния. Он уже три года в одиночку плыл против ленивого течения однообразия и ужаса, я плюхнулся в эту затхлую жижу всего три дня назад, но пойти ко дну мы оба боялись в равной мере. И каждый из нас действительно был как пловец, что пропадает среди бескрайной водной пустыни в полном одиночестве и вдруг, оглянувшись, видит совсем рядом голову другого пловца.

Только теперь я посмотрел ему прямо в глаза. Этим замечанием насчет приветствия "Хайль Гитлер!" он вверился мне всецело — настолько это было рискованно во времена, когда даже за пересказ крамольного сна можно было "вышку" схлопотать.

Я сказал ему:

— Господин старший лейтенант, по-моему, мы с вами одного мнения.

В эту секунду из-за гребня дюны показалась понурая голова Кандика.

Ваш брат встал и направился к своему бараку — очень уж не хотелось ему в пятисотый раз выговаривать Кандику за то, что тот опять проспал.

А у меня было радостно на душе.

До вечера мы больше не говорили друг с другом. Я заступил на телефонное дежурство, он же вместе с Кандиком отправился на стрельбы. Означало это, что он, переходя от стенда к стенду, наблюдал за ходом занятий, в то время как Кандик в полной санитарной готовности на случай чьего-нибудь ранения дрых неподалеку от нужника — переносного дощатого скворечника, что стоял на возвышении.

К одиннадцати Кандик опять меня сменил — мне надо было в расположение роты. В Пошеле — так называлась деревенька, где была у нас канцелярия, — для меня лежала повестка с предписанием срочно прибыть в расположение батальона и явиться там на допрос к офицеру военного трибунала по делу, приключившемуся еще в Париже. Раньше времени и наспех я проглотил свой обед, чтобы ровно к половине первого оказаться в Крютеле. К счастью, сегодня хоть солнце не палило. Пролетая на полной скорости мимо заветного кабачка, я только бросил отчаянный взгляд на пустой палисадник.

Допрос состоялся в маленькой комнатенке в здании батальонного штаба. Проводил его желчный поручик, младший советник военного трибунала, прикрепленный к нашему полку и ждавший скорого повышения в лейтенанты.

На допросе этом от меня требовалось быть начеку, и даже очень.

Мне предстояло давать показания о товарище из нашей парижской части, который, как обнаружилось при расформировании части, годами приторговывал пустыми бланками французских удостоверений личности. Сколько денег он тратил, сколько женщин у него было, какие покупки делал, и вообще не заметил ли я чего-нибудь подозрительного в его поведении? На все эти вопросы я, внутренне трепеща, отвечал как можно более благоприятно для обвиняемого, то бишь уверял, что знать ничего не знаю. Дрожал же я потому, что и у самого было рыльце в пушку. Я ведь тоже подделывал кое-какие бумаги, чтобы разжиться сигаретами, кроме того, я играл на бегах и даже выигрывал — а уж сколько раз я в каких-то жутких притонах менял немецкие деньги на французские!

Почти битый час он меня мытарил, но я настолько ловко ускользал от его вопросов, прикидываясь полным дурачком и простофилей, что он так ничего из меня и не вытянул. Пришлось ему меня отпустить.

— Вот черт! — пробормотал он сквозь зубы. — Прямо трясина какая-то, ни на шаг не продвинешься.

Обратно я ехал как можно медленнее, было уже почти два часа. Три дня назад я заходил в этот кабачок почти в то же самое время. Я остановился и, намереваясь войти, приставил велосипед к стене. Но дверь оказалась заперта.

Меня словно оглоушило. Разве она не сказала: “Я здесь всегда”?

Хотя что значит “всегда”? Что вообще означают слова, которые мы так бездумно бросаем на ветер? Я подергал дверь, покричал — в ответ ни звука. Обошел дом, через запертую калитку перелез во двор, подергал там за все ручки, прошел в хлев, посмотрел в спокойные глаза коров. И опять кричал, кричал — никакого толка. Перелез обратно, с улицы обошел вдоль забора всю усадьбу, но ничего не увидел, кроме все тех же дышащих дурманом лугов с их заросшими осокой ручьями... В лугах сонные коровы... Нигде ни души...

Когда-то еще я снова выберусь из своей мышеловки? Когда еще все так складно устроится? Я уже начал строить планы, как мне тайком смыться сюда ночью, уже выдумывал фантастические предлоги, чтобы меня снова отпустили в штаб батальона. Бог ты мой, да я должен, обязательно должен ее увидеть!

От ревности я ненавидел каждый булыжник на этом ухабистом дворе, по которому, быть может, через какие-то полчаса снова будут ступать ее ноги, я ревновал к дверным ручкам, которые она будет трогать своими пахнущими парным молоком ладонями. Я ненавидел весь этот дом, и

неистовая моя ненависть была почти сродни надежде снова увидеть ее. Надежда плоти — это отчаяние.

В отчаянии налегая на педали, я наконец придумал безупречный план, как мне снова ее увидеть. Планы, планы... Наши планы всегда безупречны. Я скажусь больным, меня пошлют в батальон, мне бы только в Крютель вырваться, а уж после ничто не сможет помешать мне снова ее увидеть.

Но ждало меня нечто совсем иное.

V

Сперва я решил напиться у Кадетты.

Точно так же, как для христиан ultima ratio[1] — это молитва, для меня последнее спасение — выпивка.

Любой наркотик притягивает меня с неодолимой силой. Может, мне вообще нужно было стать фармацевтом и осчастливить человечество новым снадобьем, чудодейственными таблетками забвения; впрочем, вряд ли у меня хватило бы характера на долгие годы трудов и неудачных опытов, я ведь не только слаб, но еще и нетерпелив. Мне подавай все сразу и сейчас же, вот и ту девушку мне надо было увидеть немедленно, увидеть и обнять сейчас же...

Утешительное забвение каждому солдату нужно сейчас же. Именно в этом объяснение извечного альянса между солдатами и проститутками, который столь шокирует иных штатских лиц своей нерасторжимой откровенностью. Ведь проститутка все предоставляет сейчас же.

Каждый солдат всегда перед лицом смерти и всюду на краю погибели, как на тихо подрагивающей, на предательски шаткой доске трамплина, которая в любую секунду готова его сбросить.

Пока я катил назад, уверенность, что я никогда больше ее не увижу, наполняла меня неподдельным отчаянием. Никогда больше — это бледное лицо, никогда больше — эти бездонные затягивающие глаза и эти темные, с каштановым отливом волосы над матовой, зеленовато мерцающей кожей.

Я решил напиться у Кадетты.

Для солдата всякое прощание — с полным правом прощание навсегда. Какой непомерный, нечеловеческий груз горя переволокли на себе отпускные армейские эшелоны по всей Европе! Если бы эти заплеванные тамбуры, если бы эти мутные от грязи окна могли заговорить, а уж если бы когда-нибудь возопили вокзалы, эти жуткие вокзалы, если бы они наконец взвыли от всего горя и отчаяния, которые они перевидали! Поверьте, войн больше не было бы. Но двадцати ведер побелки хватает для того, чтобы замызганные горем вокзальные стены снова превратить в хоромы для жизнерадостных идиотов, штук шесть малярных кистей да бригада маляров, весело посвистывающих на лесах, — и жизнь продолжается! Жизнь продолжается. Люди живут только за счет своей короткой памяти. Тот же самый турникет, через который они лишь пару лет назад проходили в смертном страхе, сегодня они минуют с беззаботным смехом, торопясь куда-то, чтобы и самим внести свою лепту в возведение очередного потемкинского фасада.

1. Последний довод (*лат.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Если бы заговорили павшие — те, кого тащили навстречу смерти фронтовые эшелоны; серые потерянные лица, в карманах бутерброды с повидлом, еще из дома. Если бы заговорили павшие, поверьте, войн больше не было бы. Но взгляните на меня: в живых остаются одни болтуны, те, кто "выкрутился", те, кто "умеет устроиться", — на этих лис в Европе никогда не ставили капканов.

Если бы армии состояли из одних пехотинцев, всем кликушествам о войне и мире давно пришел бы конец. Войн больше не было бы. Все эти уцелевшие герои, специалисты, для которых война была чем-то вроде спорта, ну разве что малость рискованного, все эти болтуны, что прославляют войну и, одурев от скуки своего сытого буржуазного прозябания, тоскуют по временам "когда мы еще..." Если бы армии состояли из одних пехотинцев! В прежние времена, чтобы считать войну презренным делом, не требовалось слов. Всякий знал, что война — это бедствие, это мор и ужас. А посмотрите на нынешних сентиментальных идиотов, что в скучном тепле своих контор рассуждают о войне, блаженно вытягивая под столом толстые ножки в зимних ботиночках на меху.

Нет, напиться, напиться...

Я опустошил две бутылки, прежде чем жуткое моллюсковое лицо за стойкой перестало внушать мне отвращение. Только после этого язык мой развязался настолько, чтобы со всей отчетливостью дать понять этой даме, что даже самая пленительная ее улыбка не в силах меня обольстить. Тогда она сосредоточила свой пыл на том, чтобы подносить мне все новые и новые бутылки, тщательно подбирать за мной окурки и время от времени бросать мне добродушное словцо утешения, за что грех было на нее обижаться.

Вам, конечно, еще не знакомы странные ощущения человека, который сидит за стойкой бара, чувствуя, как у него постепенно все путается в голове. Ты сидишь совершенно спокойно, уставившись в одну точку, а в тебе происходит своя бурная, полная приключений жизнь. Вибрирующая тишина опьянения сопоставима только с железной выдержкой канатоходца, который, покачиваясь где-то в бездонной подкупольной высоте, движется от вышки к вышке. Если не видеть его ног, подумаешь: господи, какой бояка, как же медленно он ступает, как осторожно. А на самом-то деле там, вверху, отчаянный смельчак.

Секрет счастливого опьянения — в умеренной неумеренности.

Отнеситесь к этому парадоксу как угодно. Ты пьешь вино, пропускаешь его под придирчивыми арками своего нёба, и сперва оно просто уходит куда-то вниз, в молчание колодца, который наполняется, наполняется — и вдруг из него начинает что-то подниматься, словно столбик барометра. Где-то внутри незримо и помимо твоей воли образуются сообщающиеся сосуды между телом и духом, и ощущение счастья и довольства в тебе растет по мере того, как уровни содержимого этих сосудов сближаются. Пока наконец душа и тело не окажутся в состоянии упоительного балансирования, волшебной игры, танца на канате — о, это дивное чувство, когда ты сам испытываешь свои способности держать равновесие! В тебе просыпаются, тебя вдруг пронзают озарения поразительной ясности, однако ты ничего не запоминаешь. Как обидно! Но, видимо, такова уж туманная бескорыстная природа этих откровений, что после них ничего не остается.

И конечно же, я прекрасно видел, что Кадетта меня обманывает (все трактирщики мира наживаются на пьяницах), она много раз стира-

ла цифру потребленного мной спиртного и писала другую, больше прежней. Я ничего не говорил. Чувство равнодушия к материальным вещам, которое охватывает тебя в этом состоянии, почти сродни райскому блаженству. Любовь и выпивка, в каких бы неприглядных обстоятельствах они ни случились, до самого конца несут в себе нечто райское. Так что я предоставил Кадетте полную свободу действий — не только из-за вышеупомянутого равнодушия, но и просто потому, что лень было связываться. Даже рот открыть и то казалось глупостью, а уж затевать разговор, а тем паче склоку с этой омерзительной харей — нет, увольте. Она следила за мной исподтишка, боязливо и жадно, как паук за последними содроганиями мухи в своей паутине...

Потом никогда не понимаешь, как добрался домой. Но домой идешь твердо, с убийственной уверенностью, знакомой только выпивохам, идешь самым прямым и коротким путем.

Разумеется, наутро тело мстит за себя, роняя барометр самочувствия глубоко ниже нулевой отметки. Четырех часов сна мне хватило бы, но Кандик оказался мелочен, как последний старьевщик. Был мой черед дежурить на телефоне, значит, я обязан его сменить, пусть даже эти два часа он просидит рядом со мной, клюя носом. И он действительно сидел рядом, пыхтя, сочинял письмо жене и время от времени злорадно пихал меня в бок. Только благодаря таким вот тупицам и исполняются законы.

Брат Ваш ушел на совещание. Вернулся он, как я позже узнал, около восьми, когда я уже уснул, да и Кандик завалился на боковую. Ваш брат просидел около меня с восьми почти до полуночи. Я спал как убитый, даже телефон, пронзительно надрывавшийся возле самого моего уха, не в силах был меня разбудить. Сон после вина почти так же прекрасен, как само вино: со сладостным замиранием сердца ты погружаешься куда-то в темную синь колодца, в его бездонные глубины, пока не опустишься в илистую гущу темного полубеспамятства. Пьяный от вина человек производит во сне странные, безотчетные движения, словно младенец в материнской утробе, и пробуждение его схоже с появлением на свет младенца — оно болезненно и блаженно одновременно... Во сне у меня было чувство, будто я за что-то ухватился и изо всех сил тяну на себя с таким неистовством, что в итоге притягиваюсь сам. Проснувшись, я увидел над собой улыбающееся лицо Вашего брата; мои пальцы вцепились в пуговицу его мундира и не хотели выпускать.

Мне стало ужасно стыдно, я не знал, куда глаза девать, но он перехватил мой взгляд и спросил:

— Протрезвели хоть сколько-нибудь?

— Полностью, — ответил я, и это действительно было так.

Он встал, посмотрел на койку, где тихо похрапывал Кандик, снова сел и лишь после этого заговорил.

— Послушайте, — сказал он тихо, — умоляю вас, только не пейте. Начнете здесь пить — и через месяц вы конченый человек. Если уж вы и трех дней не можете прожить без этого искусственного и недолговечного утешения, то через месяц вы perdu[1]. Ищите утешения в трезвости, прошу вас. — Он помолчал.

Была полночь, за окном слышалось тихое шуршание прилива. Из-за необходимости затемнения окно приходилось держать закрытым, дверь тоже нельзя было открывать, в комнате стояла духота и неприят-

1. Пропали (*франц.*).

ная, тяжелая тишина. Я встал, без спроса выключил свет, распахнул окно и дверь. Мягкая ночная прохлада дохнула свежестью и волей.

— Я сам ненавижу, — продолжал он, — пугать людей так называемыми пагубными примерами. Получается, что читаешь мораль, а кроме того, хочешь не хочешь, во всех этих беседах невысказанным упреком сквозит мысль: я-то не такой, я другой, посмотри на меня. Умоляю вас, опомнитесь. Что ищите вы в питие? — спросил он неожиданно и резко.

Я испуганно подыскивал слова, и мне ничего не пришло в голову, кроме скудоумной банальности:

— Забвение и счастье.

— Счастье? — повторил он за мной. — Счастье? Мы не для счастья рождены. Мы рождены, чтобы страдать и познавать, почему мы страдаем. Наша боль — это единственное, что мы сможем предъявить. Добрые дела окажутся по плечу лишь нескольким святым, но не нам... И еще молиться, может, вы этого не понимаете? Или понимаете лучше меня, а?

Я молчал. Что-то помешало мне рассказать ему о той девушке; кроме того, меня изрядно отпугнул его пафос, ведь я его еще совсем не знал. Хотелось мне только одного — чтобы больше вообще не рассвело.

— Но если вы не понимаете, что мы рождены не для счастья, то уж то, что мы рождены не для забвения, понимаете наверняка. Забвение и счастье! Да мы рождены, чтобы вспоминать и помнить! Не забвение, а воспоминание — вот наш долг...

Он говорил очень тихо, но редко когда чьи-то слова входили в мое сознание столь же незабываемо и ясно. Кандик спал, в темноте за окном вода стала отступать, откатываясь по едва заметному уклону пляжа.

Я не знал, что ему возразить.

— Больше не заснете? — спокойно спросил он наконец.

— Нет, — ответил я.

— Доброй ночи.

— Доброй ночи.

Он встал, открыл, стараясь не шуметь, свою дверь, и я остался один. За окном негромко и неумолчно отступал прилив, рядом тихо и несокрушимо похрапывал Кандик.

Моей первой мыслью, когда Ваш брат закрыл за собой дверь, было: "Я увижу ее снова". Этого я никогда не забуду.

Всякое пробуждение было ужасно, сударь. Утешение, которое ты, казалось, обрел вчера вечером, истаивало перед лицом занимающегося дня, как дым, и ни красота моря, ни свежесть ветра, ни тихое журчание воды уже не спасали вас.

Несколько дней прошли в каком-то странном, тревожном покое. Я исправно нес службу, время монотонно уползало куда-то, словно лента конвейера, которой нет конца. Вечерами, когда я дежурил на телефоне, Ваш брат всегда сидел вместе со мной. Кандик отсутствовал; в подвале взорванного дома за дюнами он обустроил нечто вроде пивнушки.

В наших разговорах мы никогда не упоминали учреждений тонущего рейха, не называли фамилий, должностей или титулов его функционеров. Мы играли словами, мы были как дети, перебрасывающиеся мячиком, могли, в зависимости от настроения и усталости, стукнуть им о стенку четырнадцать раз, а могли и семь, и только когда чувствовали, что силы на исходе, быстро откидывали мяч партнеру...

— Всякий человек, — допустим, рассуждал он, — который не в состоянии уразуметь границы своих возможностей, все-таки изрядный тупица и, в сущности, дурак. А тщеславный гений — уже не гений. Кто не понимает, что является частицей неведомого замысла, тот глупец. Глупых гениев не бывает, значит, он уже не гений. Ему остается только одна бесславная возможность — гений глупости. Или гений преступления. Понимаете?

— Конечно, — подхватывал я. — А вообразите себе глупца, который считает себя гением и которому множество людей, допустим, аж восемьдесят миллионов человек, изо дня в день неистовым ревом подтверждают, что он гений, причем не просто гений, а гений во всем, гениальный художник, государственный деятель, стратег, короче, гений, равных которому еще не знала история. И каждый день они будут об этом ему орать. Что он само совершенство, венец творения. В этом случае одна только попытка, допустим, утверждать: "Я не хуже, чем Икс", будет истолковываться как более страшная крамола, чем если бы я сказал: "Я не хуже, чем Господь Бог". Не так ли?

— Безусловно. Требовать от такого человека, чтобы он сам образумился, совершенно безнадежно. Но как в таком случае его обезвредить?

— Остается только один выход, — сказал я спокойно. — Его надо убить.

— Замечательно. Допустим. Но тут-то и начинаются главные трудности. Как к нему подобраться, какой выбрать способ? Видите ли...

Несколько дней мы провели в беседах об устройстве этого проклятого государства, стирая в порошок все его учреждения — мы надували их, как мыльные пузыри, давали им лопаться и брезгливо изучали капельки оставшейся субстанции.

Эти несколько дней пролетели быстро. Однажды вечером, около пяти, я, как обычно, поехал в роту. Поездки эти всякий раз были отрадой — ты выбирался из мышеловки. Я медленно ехал по чудесной аллее, что тянулась между заминированными домами, мимо кабачка Кадетты, от берега моря до шоссе. Я радовался виду обычных людей, женщин, штатских. Бог ты мой, сколько же радости может доставить солдату один только вид женщины! Когда ты все время, изо дня в день с мужиками, вечно и всегда только с мужиками, с их вонью, с их болтовней, с их грязью и их чопорной сухостью! Так что я всегда радовался этим поездкам. И как же мне повезло по сравнению со многими другими, которым такое счастье выпадало от силы раз в месяц. Правда, были и у них свои лазейки, выведанные отчаяньем и отвагой, что при такой лютой тоске по мирским радостям неудивительно, — были и у них свои потаенные тропы по минным полям, были внезапные самовольные отлучки с поста. И это при том, что мирские радости для большинства из них сводились к сомнительным утешениям в объятиях Кадетты!

Понятно, что ехал я всегда медленно, выпивал по пути то пива, то винца, забирал в канцелярии нашу почту и очередные пароли на ночь и так же неспешно катил обратно.

Уже наступил сентябрь, но жара почти не спадала. Вечерами в просветах между клиньями сосняка она ложилась на пески зыбкой пеленой душного марева, и казалось, само одурение нависло над домами — в большинстве это были наши армейские бараки, они понуро впитывали в себя неотступный зной.

Командир роты в те дни пребывал в хорошем настроении. Обычно он то и дело придирался ко мне по мелочам — и сапоги у меня не вычищены, и ремень не так затянут, и велосипед грязный. Но сейчас он был в хорошем настроении, я это сразу же заметил, как только вошел. Глаза у него просто сияли. Причину этой его жизнерадостности мне еще предстояло узнать. В легком летнем френче, выбритый до синевы, загорелый до бронзы, он с увлеченностью мальчишки лупил фуражкой мух, что, как угорелые, бились о стекла канцелярии. У ротного фельдфебеля вид был несколько нервозный, зато лицо писаря сохраняло выражение бесподобной невозмутимости. Этот Шмидт своей безразличной миной умел выразить что угодно: презрение и дружелюбие, радость и ненависть.

— Теперь видите, дорогой мой Фишер, как с ними надо. Да и давно уже пора что-то предпринять для снабжения роты провиантом. Что ж, главное сделано, ваша задача организовать остальное. Хайль Гитлер! Я уже предвкушаю жаркое!

Он прошел мимо меня, я распахнул перед ним дверь и вытянулся во фрунт, но он, прежде чем выйти, еще раз остановился и сказал:

— Очень вами доволен, просто приятно удивлен, в самом деле.

Я чуть не отвесил поклон этому смазливенькому щелкоперу. Он шагал по двору, являя собой картину в своем роде безупречную. Что называется, всем взял: и собой пригож, и фигура ладная, и офицер образцовый, и все побрякушки, которые полагается носить на парадном мундире, сияют на груди, как новенькие.

— Вот черт, — фельдфебель в сердцах шваркнул на стол ручку. — Как жратву почует, никакой управы на него нет.

Писарь рассмеялся.

— Сказал, мозги пусть ему оставят. Говорит, давно не ел телячьих мозгов.

— А мозгов старой свиньи он не хочет? — рявкнул фельдфебель, потом заметил меня, и взгляд его подозрительно потеплел.

— Дружище! — воскликнул он. — Ты ведь говоришь по-французски?

— Говорю, — ответил я.

— А со скотиной обращаться умеешь?

— Нет.

Он рассмеялся.

— Это и не важно. Послушай: нынче ночью, в два часа, нам надо забрать корову, это в двух километрах отсюда, у крестьянина одного. Сумеешь?

Я пожал плечами.

— Если дадите подводу и лошадь, деньги и двух человека в подмогу — почему нет?

— Заметано! — гаркнул фельдфебель. — И считай, что следующий крест за заслуги, который на нашу ораву по разнарядке спустят, уже твой.

Он достал из ящика карту и показал мне место. Это был крестьянский хутор на отшибе, в двух километрах к северо-востоку от нас, в сторону Соммы. В два часа ночи я должен был там на перекрестке встретить подводу, но сперва сегодня же вечером мне надо было съездить туда и дать окончательные распоряжения крестьянину. Я очень обрадовался неожиданному поручению. Всякая возможность выбраться из казарм и вдохнуть хоть глоток свободы была для меня благом. А кроме того, я на-

деялся где-нибудь по пути разжиться по дешевке маслом, Кадетта за все драла втридорога, а деньги у меня были на исходе.

VI

В тот вечер и Ваш брат был очень весел. На поверке он как бы между прочим дал понять, что наш скудный пищевой рацион в ближайшее время, возможно, будет пополнен. Когда мы вернулись в наш бункер, я его спросил:

— Так вы, значит, уже знаете?

Я-то думал, что он намекает на покупку коровы.

— О чем? — удивился он.

Я рассказал ему о своем задании. Он обрадованно воскликнул:

— Так это же просто замечательно! Значит, вы заодно сможете без лишнего шума осуществить и мою задумку. Я хотел, но только для одного нашего взвода, купить барана.

Я рассчитывал выехать пораньше, но оказалось, что еще назначено совещание, в котором мне тоже надо участвовать. Речь шла о новой разнарядке караулов, которая предоставляла каждому солдату взвода возможность хотя бы раз в две недели отоспаться — правда, для этого продолжительность ночной караульной смены надо было увеличить еще на полчаса. Нас во взводе двадцать восемь человек, это позволяло выгадать в сутки четырнадцать часов времени или одну ночь беспробудного сна. Я даже вызвался эту новую разнарядку составить, мы все равно каждую ночь расписывали наряды в журнал караульной службы, так что нехитрую технику этого дела я давно освоил. И вот теперь было назначено совещание всех младших командиров, то бишь трех унтер-офицеров и одного старшего ефрейтора, которые явились с результатами опроса своих людей. План был отвергнут, солдаты заподозрили в нем надувательство. Больше всех агитировал против нового графика некто Тёпфер, один из самых пожилых солдат в отделении старшего ефрейтора; его волновало, как быть, ежели человека внезапно переведут — он, дескать, много дней подряд лишние полчаса в карауле отстоял, кто и как, спрашивается, на новом месте ему этот недосып восполнит?

Ваш брат выслушал все это спокойно, потом пожал плечами.

— Заставить, разумеется, я никого не могу. Попытайтесь, по крайней мере, объяснить людям, что уж *нам-то*, во всяком случае, от этого никакой выгоды. Может, тогда они согласятся. — Он обвел глазами всех четверых. — Хотя, может, они и правы. Караульная служба стара, как игра в солдатики, и распределение караульных нарядов тоже. И уж не сомневайтесь, если бы продолжительность несения караула можно было увеличить без ущерба для дела, простого солдата никто бы и спрашивать не стал. Но поговорить еще раз все же стоит. — Он на секунду умолк, потом воскликнул: — Все, господа! До свиданья! А вас, Нольте, — он повернулся к младшему из унтер-офицеров, — я попрошу сегодня же вечером распорядиться заделать проем в ограждении минного поля, причем желательно той же проволокой, чтобы не так бросалось в глаза, хорошо?

Нольте покраснел, все откозыряли и вышли.

Я проследовал за Вашим братом в барак. Он распахнул окно, поманил меня рукой и указал на юг, туда, где берег был заминирован до самой линии прилива, — оттуда и до расположения соседней роты тянулся не-

охраняемый участок. Там чуть ли не у самого моря, заминированное со всех сторон, стояло очень миленькое, хорошо сохранившееся здание детского дома. Возможно, у кого-то просто рука не поднялась его взрывать — слишком уж добротная постройка. Я проследил за его указательным пальцем, но тут он сбил меня с толку вопросом:

— Скажите, вас ничто не удивило в почте, которую вы отправляли в последние два дня?

— Да, — опешив, признался я. — Больно уж много посылок.

— Именно! — подтвердил он со смехом. — Вы, сами того не зная, потихоньку перевозите имущество этого детского дома, отправляя его в Дрезден, Лейпциг, Глаухау, Шнайвитценмюль и как там еще называются наши города и веси. Да-да, — бросил он мне прямо в мою вытянувшуюся физиономию, — вот уже несколько дней отделение Нольте в промежутках между караульными сменами систематически там мародерствует, но теперь туда же повадилось и отделение Фригера, так что драки не миновать, а не сегодня-завтра туда тихой сапой по песочку потянется ночью вся рота — кому же охота оставаться на бобах?

— Помилуйте! — воскликнул я. — А как же мины!

— Ах, ерунда, тут как раз совершенно не о чем тревожиться, даже если все они туда наперегонки побегут. Этот проныра Нольте разыскал в Жено, в штабе полка, унтер-офицера саперной роты, который в свое время проводил здесь минирование. Так что у них есть точнейшая карта минных полей, а, кроме того, мины, которые ржавели три года, уже не так опасны. Надеюсь, Нольте правильно понял мой намек. Незадолго до вашего появления один из моих унтер-офицеров пошел под трибунал за то, что перерезал ограждение минного поля кусачками. Коровы унюхали дивную некошеную траву и, конечно же, всем стадом повалили пастись на минное поле. В результате — две тяжело раненные коровы, которых пришлось тут же на месте прирезать. — Он снова усмехнулся. — Надеюсь, Нольте будет умней, мне бы очень не хотелось о чем-то таком докладывать по начальству. Вся штука в том, что я даже не против мародерства. — Он закурил сигарету, с наслаждением затянулся и медленно выпустил дым; он вообще был очень весел и оживлен в тот вечер. — Судите сами, — продолжил он, — по моему разумению, это просто часть солдатского ремесла. В самом деле, нельзя же ожидать от солдата, что он будет вести себя как священник на отдыхе. Каждая профессия предполагает свои правила игры. Всех этих работяг: сапожников, обмотчиков, землепашцев — сделали солдатами, они славные парни, но сперва их всячески укрощали, а теперь пробудили в них норов и дикость. Вы понимаете?

Я ничего не понимал.

— Ну сами посудите. Вас засовывают в мундир и убивают в вас то, что пруссаки называют "гнилой сущностью", то бишь чувство человеческого достоинства и все эти гордые свободы штатского гражданина. Хорошо. Быть по сему. Будем считать, что муштра и казарма свою задачу выполнили. После чего этих людей посылают на смерть или на смертоубийство, а люди от этого малость дичают, даже здесь, где, слава богу, пока что никто никого не убивает. Если же вдобавок этих героев почти не кормить, они дичают вдвойне. А к ним между тем цепляются с какими-то уставами и предписаниями, требуя от них большей кротости, чем даже от штатских. Больше честности, достоинства, готовности к самопожертвованию, о которых они и на гражданке-то не слишком много

знали. Им запрещают воровать и грабить, но при этом держат впроголодь. Вот оно — типично немецкое слюнтяйство. Они распинаются, произносят неистовые речи, они грозят весь мир покорить, вопят о революции — и готовы в штаны наделать от страха за свою добрую репутацию, едва только несколько солдатиков где-нибудь витрину кокнут, чтобы прихватить батон колбасы или пару рубашек. Вы меня понимаете?

В ответ я только кивнул, пораженный его очередной рискованной откровенностью.

— Далее, — воскликнул он, — далее! Раз уж об этом зашла речь, выговорюсь до конца. Бог ты мой, что делать, на бойне льется именно кровь, а кто не выносит вида крови, пусть перестанет есть мясо. Мародерство, на мой взгляд, абсолютно законное право всякого солдата. Либо не делайте их солдатами, либо не запрещайте мародерство. А вся эта прекраснодушная болтовня пошла от бредовой романтической идеи народного воинства. Но солдат, черт возьми, это профессия, ей можно обучиться, как всякой другой. И если вас вынуждают ей обучаться, — а всех этих славных ребят именно вынудили, — что же потом удивляться, что они в итоге стали солдатами? Ну да ладно, — он направился к своей койке, — надеюсь, они мой намек поняли и сделают все так, чтобы я ничего не заметил. А вы можете идти, только не забудьте про нашего барана.

Карта, полученная мною от фельдфебеля, оказалась надежной. За перекрестком, от которого я обычно сворачивал к канцелярии, мне предстояло еще немного проехать по прямой и потом свернуть направо. В этих местах некоторые дороги уже считались опасными. Они петляли здесь между топями, что поблескивали черными проталинами воды, исполненные зловещего покоя. Дважды я пересек излучину ручья и, проехав еще минут пять, слегка забеспокоился, не обнаружив на своем пути примет человеческого жилья. Но, миновав небольшой лесок, увидел наконец одинокий домишко. Судя по моим прикидкам, на карте это место значилось как Даваль. Поскольку едва ли не во все крестьянские дома на свете полагается заходить с заднего крыльца, я заехал во двор и, едва я свернул за угол, взору моему открылась на редкость мирная картина: темноволосая женщина сидела над корзиной и лущила горох; рядом мальчик лет четырнадцати ей помогал, сам же хозяин сидел неподалеку и курил трубку. Очевидно, я нарушил их мирную повседневную болтовню. Их смех умолк, как только я бесшумно выкатил из-за угла и затормозил прямо перед ними на песчаной дорожке. Женщина, заметив меня, даже слегка вскрикнула, мужчина молча повернулся в мою сторону, а парнишка уже с интересом разглядывал знаки различия у меня на рукаве.

— Добрый вечер, — поздоровался я. — Простите, это ведь Даваль, я не ошибаюсь?

Они растерянно переглядывались. Видимо, ожидали от меня совсем другого — реквизиции или еще чего-то в том же духе. Поэтому я добавил:

— Мне надо в Тюльби.

— Туда, — буркнул мужчина и ткнул трубкой в восточном направлении.

— Значит, это Даваль?

— Да, — подтвердил он сухо.

— А мсье Претера вы не знаете? — спросил я.

— Да, — ответил он столь же немногословно. — Это ее дядя. — И он снова ткнул трубкой, на сей раз в женщину.

— Ах вот как, — проронил я.

Женщина на секунду вскинула на меня глаза, и взгляд ее показался мне уже не столь неприветливым, как у мужчины. Тот между тем продолжал пялиться на меня без всякого стеснения.

— Мсье, — обратился я к нему, — не могли бы вы продать нам барана?

— Кому это "нам"? — холодно спросил он.

Я, как мог, объяснил кому и назвал нашу цену — марок тридцать, тридцать пять.

Мужчина и женщина с улыбкой переглянулись, после чего он заметил:

— Если бы я и захотел продать, но это еще очень большое "если", — добавил он с ленцой, — то вам пришлось бы заплатить вдвое дороже.

— Это можно обсудить.

— Слишком сухой год нынче, — проронил он. — Не могу я продать вам барана. С кормами будет туго.

— Вот как раз поэтому, — возразил я.

— Что?

— Ну, раз кормов не будет. Одного прирежете — одним едоком меньше.

Он рассмеялся, уже не столь неприветливо.

Как мне хотелось просто присесть с ними рядом и помочь лущить горох! Был такой тихий вечер, но я стоял перед ними в ненавистном мундире, опершись на раму велосипеда, мял пилотку в руке и чувствовал себя бездомным и никому не нужным.

— Ну, так как? — спросил я.

— Больно вы настырный.

— Так если мы голодные.

В его сонных глазах мелькнула искорка любопытства.

— Голодные? — спросил он с притворной, почти детской наивностью. — А что же, разве в вашей роте вас не кормят?

Тут мне и вправду стало стыдно, и я покраснел.

— Ну так что, — сказал я нетерпеливо, — продаете или нет?

— Клэр? — обратился крестьянин к жене. — Ты что скажешь?

Тут я понял, что моя взяла. Женщина, не поднимая глаз, произнесла:

— Ну, если за хорошую цену...

Он встал.

— Пойдемте.

Мы вошли в дом.

Уже вскоре я с ним сторговался, договорившись, что барана мы забираем этой же ночью. Я оставил ему сорок пять марок франками. Мне ужасно не хотелось покидать этот дом. Мы уже вышли из хлева, а я все еще торчал во дворе, мусолил свою сигарету и смотрел на небо, которое серовато-розовым шатром ласково простерлось над гладью моря. Было очень тихо — только далекое кваканье лягушек и приглушенный, почти мелодичный перестук горошин, падающих из стручков в жестяную миску и иногда с неожиданно нежным звоном стукавшихся о край.

Но и тихое, шипящее посапывание трубки я тоже слышал, и хотя вместо прежней враждебности между нами даже установилось нечто вроде дружелюбия, я все равно чувствовал, что я здесь не только лишний, но и просто всем помеха.

Так что я бросил окурок на плиты двора, в сердцах придавил его каблуком, сказал "Доброй ночи!" и снова вскочил на велосипед. Уже вскоре я достиг соседнего хутора, что укрылся в кустистом лесочке неподалеку, это была тихая, почти заброшенная развалюха, какие попадаются в тех краях сплошь и рядом. Самое страшное в этих крестьянских подворьях то, что они кажутся нежилыми, между тем как в них обитают люди. Но теплого духа, который приносит с собой крестьянская работа, в них нет, наоборот, на всем лежит налет бездумной праздности, которая казалась нам совершенно недеревенской, этакий воздух декаданса, атмосфера какой-то почти литературной хандры, особенно зловещая именно на крестьянском дворе.

Крестьянин с женой сидели в темной кухне, поэтому первое, что я увидел, был огонек сигареты.

— Добрый вечер, — сказал я, невольно переходя почти на шепот. — Я насчет коровы.

— Коровы? — переспросил из темноты тягучий, насмешливый женский голос.

— Да-да, — отозвался хрипловатый, но тоже с каким-то подвохом мужской голос, — они хотели корову купить, только...

— По-моему, — прервал я его, — все уже обговорено.

— Обговорено! — повторил за мной неприятный мужской голос, к которому я никак не мог разглядеть лица. — Ничего еще не обговорено, вовсе ничего, понятно?

Я помолчал. Поскольку сесть мне не предлагалось, я сам уселся на табурет возле окна и тоже закурил.

— Обговорено! — снова хмыкнул тот же голос, но уже без прежней уверенности.

— Мне сказали, — откликнулся я, — что все решено. Этой ночью мы должны забрать корову.

— *Merde!*[1] — чертыхнулся голос. — Вот те и на! В Париже люди за килограмм мяса по пятьдесят франков платят, а мне, значит, корову четырех центнеров весом за пять тысяч им отдавай! Нет уж, дудки, я пока что в своем уме, нет...

— Хорошо, — сказал я тихо, но твердо. — Берите вашу корову на привязь и ведите в Париж. Может, там вы даже по восемьдесят франков за килограмм выручите.

Я почувствовал, как оба они подняли головы и на меня уставились, но что самое скверное, я-то сам ничего не мог разглядеть, кроме редкого поблескивания вязальных спиц и смутных очертаний светлой вязаной шапочки; сигарету, видимо, уже успели выплюнуть.

— В конце концов, — по-прежнему тихо сказал я, — вас ведь никто не заставляет продавать корову, верно?

Ответом мне было неприязненное молчание.

Все подобные сделки были своего рода полулегальным черным рынком, они противоречили закону, который мы сами же установили и за соблюдением которого сами же должны были следить, но я уже говорил вам: солдаты, которых держат впроголодь, плевать хотели на любые законы. Разумеется, вопрос мой был смешон, ведь я задавал его, облаченный грабительскими полномочиями оккупанта, — пусть даже по закону крестьянин просто обязан был нам в этой сделке отказать.

1. Проклятье! (*франц.*)

— Нет, — с издевкой ответил мне голос. — Никто нас не заставлял, никто.

— Хорошо, — сказал я, вставая. — Тогда этой ночью в два часа мы приходим, задаток у меня с собой.

Я раскрыл бумажник и извлек из него три новенькие, похрустывающие тысячные купюры.

— Прошу, — бросил я небрежно.

Редко какой крестьянин устоит при виде живых денег. Эти двое поднялись тотчас же, женщина бросилась к выключателю, включила свет, и только теперь я наконец узрел их обоих, но почти сразу же увидел только их затылки, низко склонившиеся над банкнотами. Оба уже старые, седые, с заострившимися лицами, в первую секунду мне даже подумалось — брат с сестрой, и только потом я углядел их одинаковые, стершиеся обручальные кольца. Старик, разумеется, устоять не смог, забрал купюры у меня из рук и с жутковатой нежностью ими похрустел, помяв их между пальцами.

Мы, солдаты, сударь мой, питаем к деньгам глубочайшее презрение. Деньги сами по себе ничто. Они ценны только тем, что́ в данную минуту за них можно получить: вино, женщину, курево... Деньги — это ведь только средство. Копить их и держать под спудом смешно, так нам кажется.

Итак, сделка состоялась. Старуха предложила мне еще масла и яиц. Я ушел от них, унося с собой полкило масла, десяток яиц и совсем уж драгоценное лакомство — бутылку свежих сливок.

На дворе между тем почти стемнело, сонный, унылый мрак сгущался над лугами и кустарниками. Медленно, осторожно ехал я назад.

На меня вдруг накатила жуткая тоска. Я очень ясно увидел все, что будет дальше: сейчас я доеду до шоссе, выпью пива у Кадетты, потом буду четыре часа дежурить у телефона, борясь со сном. Буду курить, хотя от сигарет меня к вечеру уже мутит, попробую написать письмо и брошу, буду слушать храп Кандика, а еще через два часа во мне уже не останется ничего, кроме усталости, безнадежной, тупой усталости, и тиканья часов, которое я буду жадно слушать, то и дело спрашивая себя, не пора ли будить Кандика. И так еще месяц, если не полтора, после чего нас сменят и перебросят в какую-нибудь вонючую дыру километров за десять от берега на строевую подготовку, а у меня к тому времени даже на выпивку и курево денег не останется, а еще через полтора месяца я опять, только в другом бункере, буду сидеть около этого проклятого, безмолвного, как деревяшка, телефона, дожидаясь минуты, когда можно провалиться в чугунный, одуряющий сон.

Этой ночью в два часа я заберу корову, потом барана, с семи до одиннадцати опять буду сидеть на телефоне, в одиннадцать в роту поеду...

Я ненадолго спрыгнул с велосипеда, так невыносим мне стал даже шорох шин.

В то время, сударь, я еще верил в так называемый случай. Я полагал, что наша жизнь — это неповторимость в ряду других случайных неповторимостей, и каждая в своем роде блистательное полотно; я верил в абсолютную несопряженность всех вещей, в слепую и гадательную бесцельность нашего существования, даже не подозревая о той таинственной сети, сотканной из бесчисленных нитей, о той всеохватной паути-

не, в которой для каждого из нас уже раскинута своя ячейка. Я дошел до шоссе, вскочил на велосипед и поехал к кабачку Кадетты.

Когда я отворил дверь, меня с порога обдала волна непривычного шума. Хмельное пение и бессмысленный гам. В глазах рябило от мундиров моряков и летчиков — неподалеку от нашего взвода располагались еще и маяк, и звукоулавливающая установка зенитчиков, — но тут меня окружила орава солдатни, все они тыкали пальцами в бедолагу, который в полной беспомощности, с остекленелыми, ничего не видящими глазами сидел на скамейке у окна и только бубнил какую-то идиотскую, совершенно пьяную околесину; оказалось, это солдат нашего взвода, некто Виринг, тихий, обычно совершенно неприметный человечек, который, сколько я помнил по разнарядке, вовсе не должен был находиться в увольнительной — у него, как я вспомнил, увольнительная была совсем недавно, но он ее продал за полпачки табаку. Пришлось мне забирать Виринга, который покорно дал себя увести и даже не особенно пошатывался. Испуганная Кадетта заверила меня, что она здесь ни при чем, и указала на компанию гогочущих зенитчиков — дескать, это они его подпоили.

Я сдал Виринга с рук на руки командиру отделения, и мы условились, если получится, эту его самоволку замять. После чего я отправился в бункер, доложил Вашему брату об успешном выполнении задания и тупо уселся у телефона. При моем появлении Кандик, как по команде, встал, рухнул на койку и через секунду уже храпел.

Любезное предложение Вашего брата подежурить часок вместо меня я отклонил и какое-то время сидел против него молча.

В молчании моем была угрюмая враждебность. Я ненавидел такую свою жизнь и невольно переносил эту ненависть на Вашего брата, раз уж он тоже расхаживает в мундире, имеет офицерское звание и одним этим, казалось, всю эту жизнь как бы оправдывает.

Наконец он встал и направился в свою комнату, но на пороге обернулся и сказал:

— Не забывайте, жизнь наша способна перемениться в любую минуту. Нет ничего неизменного. Доброй ночи.

Быть может, он даже знал, что слова его скоро сбудутся.

VII

Дальнейшие события обрушились на нас с такой стремительностью, что мне, дабы не спутать их последовательность, придется сперва самому упорядочить их в памяти.

Той ночью я почти не спал. Усталость и отчаяние засасывали меня своей неотступной зловонной топью, я даже ощущал на губах вкус этой омерзительной жижи, которая лениво покачивалась вокруг, не желая ни отступить, ни накрыть меня с головой.

Кандик, сменивший меня в полночь, разбудил меня незадолго до двух, и я тут же выехал на встречу с кухонными амбалами, вместе с которыми нам предстояло забирать корову и барана — утомительное предприятие, сопровождавшееся взаимным раздражением и ленивой руганью.

Было уже около пяти, когда я, вконец разбитый, тронулся в обратный путь, и уже светало, когда я от кабачка Кадетты свернул в нашу аллею. Наступило, разумеется, дивное, свежее утро, но я слишком устал,

чтобы наслаждаться его красотами; тупым, совершенно бесчувственным взглядом смотрел я на розовато-серый свет, что своими первыми, робкими лучами тронул матовый антрацит предрассветного небосвода. Бывает мера усталости — какой солдат ее не знает! — почти убийственная для души и тела. Когда, кажется, ради одной-единственной ночи мертвецкого сна готов убить кого угодно, когда хочется рыдать от изнеможения, когда тебе все безразлично — только бы забыться, только бы уснуть.

Когда я вошел в бункер, Кандик дрых, уронив голову на стол, и даже мой громкий топот его не разбудил. Я не раздеваясь рухнул в койку и тоже тотчас же заснул, у меня не было сил даже ткнуть Кандика локтем в бок, да и потом, мне было все едино — будь что будет, по мне, пусть кто хошь приходит и хоть весь наш опорный пункт вырежет.

Проснулся я уже в полдень; на столе стоял дымящийся котелок, за столом сидел Ваш брат и спокойно на меня смотрел. Только он раскрыл рот, чтобы со мной заговорить, зазвонил телефон. Он взял трубку, назвал наш отзыв, и в следующую секунду лицо его вытянулось от безграничного изумления. Потом он несколько раз повторил "Да, я вас понял" и, положив трубку, громко расхохотался.

А случилось вот что: командир роты распорядился-таки поджарить себе к завтраку мозги коровы, забитой той же ночью, и съел их один, целиком, после чего ему вдруг сделалось до того худо, что пришлось срочно на машине отправлять его в военный лазарет в Абвиль (оказалось, у него хроническая болезнь желудка, из-за которой его и на Восточный фронт не послали). Вашему брату как старшему по званию было приказано принять командование ротой.

В течение часа нам нужно было перебраться из Ларнтона в Пошеле, где мы с нашим не слишком-то солидным багажом расположились на вилле шефа, в очаровательном четырехкомнатном домике, для начала радуясь просто тому, что вырвались из Ларнтона. Еще двух часов нам хватило, чтобы обосноваться на новой квартире, а вещи прежнего хозяина сложить в кладовку. Около четырех Ваш брат отправился в канцелярию принимать дела.

Я же до самого вечера просидел на нашей маленькой террасе с видом на море и читал дневники Кьеркегора, которые одолжил мне Ваш брат.

Поскольку он и к восьми все еще не вернулся, я отправился спать и почти сразу же уснул. Я и правда очень устал от мытарств и треволнений прошедших суток, так что надежда наконец-то без помех проспать целую ночь манила меня несказанно.

Наутро я проснулся около восьми, едва успев вовремя разбудить Вашего брата, прежде чем самому помчаться в расположение роты. Впервые за последние три года мне довелось снова заняться строевой подготовкой. Если бы Вы знали, какой ужас охватывает меня и по сей день от одних только слов "строевая стойка", этого краеугольного камня незабываемой прусской шагистики!

Ваш брат примерно в половине девятого уехал принимать два опорных пункта обороны на нашем северном фланге.

Утро тянулось невыносимо долго. И за обедом я был один, без всякого удовольствия проглотил свою порцию, после чего улегся подремать на койку с сигаретой и початой бутылкой вина.

Возвращение Вашего брата меня разбудило; я слышал, как он прошел в свою комнату, шваркнул портупею. Вскоре после этого он позвал меня к себе.

Вид у него был раздосадованный и усталый, и первым делом он попросил у меня сигарету. Мы уселись в креслах друг против друга, и после первых же затяжек он протянул руку под стол и, к немалому моему изумлению, извлек оттуда бутылку вина. Потом принес из буфета бокалы, откупорил бутылку и разлил вино. Мы чокнулись и выпили.

— Послушайте, — произнес он наконец после продолжительного молчания. — Есть люди, призвание которых чистить сапоги. Кстати, это безупречно честная и очень достойная работа, получше многих других. Вероятно, это не ваше призвание, впрочем, я не знаю. С другой стороны, я не хочу никого, кроме вас, видеть своим ординарцем. Полагаю, мы уже можем говорить друг с другом откровенно, без околичностей. Я хочу *сделать* что-то, понимаете? Не только все время говорить. Пора что-то делать, понимаете?

Я кивнул, хотя ничего путного по части сделать, хоть убей, в голову не шло.

— Поэтому, — продолжал он, — я предлагаю чистить сапоги по очереди. Чем плохо? День вы мои и свои, день я свои и ваши. Согласны? Кстати, завтра утром вы пойдете в роту, а после обеда свободны, как и полагается ординарцу командира роты. У нас будет все строго по уставу. Но боюсь, еще одно вам придется взять на себя: чего я совершенно не умею, так это готовить.

Я долго на него смотрел, потом сказал:

— У меня другое предложение. Пусть каждый чистит свои сапоги сам. А готовку и продовольственное снабжение я беру на себя.

— Прекрасно! — воскликнул он. — Прекрасно! Превосходная идея. Благодарю вас.

Он протянул мне руку, мы снова чокнулись, после чего он вдруг встал, подошел к большому портрету Гитлера, что висел в торце комнаты, этакий казенный шедевр в массивной золоченой раме, и просто повернул его лицом к стенке. Он еще не оторвал рук от рамы, как дверь распахнулась: на пороге стоял Шнекер.

Как и положено по уставу, я встал. Шнекер посмотрел на меня, потом на Вашего брата, который тем временем успел вернуться к столу, потом снова на меня и тихо сказал:

— Оставьте нас одних.

Я подошел к двери, отдал честь и вышел.

Громко чеканя шаг, я прошел по коридору, затылком изо всех сил прислушиваясь к тому, что происходит в комнате, но ничего не услышал и понял: он тоже слушает и ждет, пока мои шаги не затихнут окончательно. Я вышел из дома, но тут же обогнул его с другой стороны и, прокравшись вдоль стены, залег в саду возле открытого окна. Внутри по-прежнему было тихо.

— Так, — произнес наконец капитан Шнекер спокойным голосом, очевидно, подойдя к картине и повернув ее как положено. — Для начала покончим с этими детскими шалостями.

— Позволь спросить, — в тон ему ответил Ваш брат, — мое ли это помещение и существует ли предписание, обязывающее офицера держать у себя в комнате портрет вождя?

— Нет.

Я услышал, как Ваш брат подходит к стене, и знал, что он снова переворачивает картину.

— Хорошо, — сказал капитан. — Отлично. При твоих несомненных умственных способностях тебе, полагаю, должно быть ясно, что, когда офицер в присутствии своего непосредственного начальника демонстрирует неприязнь к портрету верховного главнокомандующего, это чревато вполне однозначными выводами.

— Ошибаешься, мой дорогой. Мне внушает неприязнь только рама. Ты же не станешь отрицать, что я кое-что смыслю в искусстве, так вот, мне кажется почти кощунством, что портрет нашего вождя, такого скромного, такого простого, такого по-военному неприхотливого человека, который сказал, что не снимет солдатский китель, покуда война не кончится, — что портрет такого человека помещают в эту жуткую аляповатую раму, да я, если хочешь, воспринимаю это как оскорбление его личности. Не говоря уж о том, что наш вождь и сам ведь художник.

— Ты, как я погляжу, по-прежнему у нас шибко грамотный.

— Даже шибче прежнего. Много практиковался на досуге. А уж о досуге вы позаботились.

Оба замолчали, и я знал, что сейчас Ваш брат стоит, сложив руки за спиной, и спокойно смотрит этому Шнекеру прямо в глаза.

— Послушай меня хорошенько, — снова заговорил Шнекер. — Я столько сил положил, чтобы в штабе полка за тебя вступиться, столько хлопотал, чтобы тебе все твои прошлые делишки забыли и назначили сюда командиром роты. Этот слюнтяй, надо думать, снова полгода в лазарете проваляется, потом в отпуск уедет, а оттуда опять свеженькую язву желудка привезет. А были, были доброжелатели, которые с удовольствием посадили бы тебе в начальники лейтенантишку, только я не допустил.

— Мне бы это было безразлично.

— А зачем, по-твоему, я для тебя все это делаю?

— Чтобы подстроить мне ловушку.

Капитан расхохотался дьявольским смехом.

— Да лучшей ловушки, чем ларнтонская мышеловка, и придумать нельзя! Ты бы там так и просидел до глубокой старости. Так нет же, — голос его негодующе взмыл, — ты не находишь ничего лучшего, как в первый же день, *в первый же* день, написать мне почти слово в слово тот же самый рапорт, из-за которого тебя в прошлый раз от командования ротой отстранили. Ты не находишь ничего лучшего, как донимать инстанции напоминаниями о хлебе, маргарине и сахаре для твоих солдат. Такое впечатление, будто тебе доставляет особое удовольствие создавать нам лишние трудности.

— Не могу себе представить ничего более важного, чем хлеб, маргарин и сахар для моих солдат. К сожалению, я не могу за свой счет произвести ремонт укреплений. По степени важности это следующее, что надо было бы предпринять.

— Да ты просто делаешь из себя посмешище. И потом, в первый же день опять это твое очередное прошение о переводе в Россию. Ты напрасно так тревожишься, в России еще столько офицеров понадобится, что и до тебя обязательно дойдет черед.

— Что ты намерен делать с рапортом о снабжении? — спокойно спросил Ваш брат.

— Порву.

— Ты этого не сделаешь! — Теперь он закричал, и я слышал, как они шагнули друг другу навстречу.

— Тогда я подотру им задницу! — заорал в ответ капитан. — Вот! — возникла небольшая пауза. — Вот! — воскликнул он снова. — Полюбуйся, погляди на этот маленький беленький листочек. Его нашли вчера на почтовом голубе, которого подстрелили над нашим участком. "Боевой дух солдат подорван, в частях голод". Для меня как командира батальона это, конечно, особо лестное отличие, и в полку, и в дивизии, ты уж поверь, сумеют оценить, что именно из расположения моего батальона выпускают пташек с такими депешами. Очень лестное отличие, а тут еще являешься ты со своим дурацким рапортом, согласно которому — тут, судя по явно издевательскому тону, он процитировал, — "у солдат возникает ощущение, что им регулярно недодают определенные, хотя и небольшие, количества жиров, сахара и хлеба, в ответ на что интенданты заявляют, что на основе выделенного провианта невозможно обеспечить положенный рацион, что, разумеется, — тут голос его пронзительно зазвенел, — способствует моральному разложению интендантской части, ибо там, где в действительности недостает двух граммов, очень даже просто утаить и похитить пять". Одно к одному! Лучше подарка для меня просто не придумаешь!

— Ты еще скажи, что это неправда.

Голос Вашего брата снова звучал совершенно спокойно.

— Правда, неправда! Мы призваны на этот свет не для того, чтобы искать правду. Мы призваны на этот свет, чтобы одержать победу в войне.

— А если не наживаться на вечно голодных солдатах, то победы нам, конечно, не видать, так, что ли?

Повисла страшная тишина, и по-моему, они еще ближе подступили друг к другу.

— Уж не считаешь ли ты, — спросил наконец Шнекер внезапно осипшим голосом, — что это я сахаром и маргарином твоих солдат обжираюсь?

Ваш брат молчал.

— Ты правда так считаешь? Ну скажи, скажи!

Казалось, еще немного, и он лопнет от ярости.

— Ну, не то чтобы так прямо.

— Значит, косвенно?

— А ты сам посуди, — голос Вашего брата по-прежнему был очень спокоен. — Казначей у тебя ведь не просто долдон, он еще и сволочь. Хоть это, надеюсь, ты понимаешь?

— Разумеется. Но я просто не могу от него избавиться.

— А этого и не требуется. Нужно просто каждый день неукоснительно его проверять. Но ты этого делать не станешь, ведь ты от него зависишь, он выдает тебе дополнительный рацион шнапса, много больше, чем тебе положено. Пойми же, ведь ты каждый день напиваешься. Но я-то знаю: на жалованье капитана как следует напиться можно от силы раза три в месяц, никак не больше. Ну а потом, тебе же еще и бабы нужны. Ты же у нас красавец и, как принято в таких случаях говорить, большой жизнелюб. Ты от казначея просто *не можешь* ничего потребовать. А эти ребята — коммерсанты, у них на все двадцать четыре стороны света все схвачено и всюду прикрытие имеется. И ты прекрасно знаешь, что я прав. Не так ли?

Самое страшное было, что я ничего не видел, а сейчас еще и не слышал ничего, и именно тогда, лежа под окном, я понял, что подслушивать — это ужасно.

Господи, да что же Шнекер-то делает? Просто стоит потупясь или уже наставил пистолет на Вашего брата, готовый в любую секунду его прикончить? Я лежал, ни жив ни мертв, и не то что отползти — шелохнуться боялся...

Но тут снова раздался голос, и снова это был голос Вашего брата.

— Постарайся меня понять, — сказал он. — По-моему, нет большей подлости, чем воровать у солдата еду и сон. В конце концов, на нас офицерский мундир, и мы облечены представлять в нем ту самую власть, которая посылает этих людей на верную смерть и обрекает их на смертную скуку. С меня более чем достаточно бремени такой ответственности. И я не желаю отвечать еще и за то, что им приходится голодать больше положенного. — Он помолчал немного, а когда заговорил снова, голос его звучал глуше и горше, чем прежде. — Даже жалко, что мне суждено погибнуть, в противном случае я бы с радостью написал после войны философию одного грамма.

Только тут я понял, что Шнекер все это время стоял, скрестив руки на груди, и нагло скалился. Потому что теперь он разразился громким, раскатистым хохотом — словно плотину прорвало.

— Вот оно что, — произнес он неожиданно громким и твердым голосом. — И такое, оказывается, еще бывает, и даже в мундире немецкого офицера расхаживает. И такое еще бывает. — Он снова звонко захохотал. — Ну ладно, — произнес его голос, и я понял, что Шнекер встает и поправляет портупею. — А теперь поговорим трезво. Я дам ход твоему рапорту, пусть в штабе полка почитают. Если хочешь делать из себя посмешище из-за каких-то трех граммов повидла, которые *недодачы вынужденно*, воля твоя, пусть тебя весь полк засмеет. И еще кое-что: если уж тебе приспичило взять в ординарцы самого отъявленного наглеца во всем батальоне, то потрудись хотя бы не пьянствовать с ним в служебное время.

Похоже, Ваш брат смерил его долгим взглядом, потом рассмеялся:

— Ах вот ты о чем, — сказал он. — Правда твоя, ты ведь зашел в половине пятого. Что ж, ты вправе подать на меня встречный рапорт.

Лишь когда я услышал, как капитан вышел из дому, хлопнул дверцей машины и укатил, я выполз из своего укрытия, прокрался до ближайших кустов, только там встал в полный рост и поспешил к перелеску, что застил от нас море. Там, прислонясь к сосновому стволу, я долго смотрел на море, еле катившее к берегу ленивую, медленную волну. В мягком ласковом воздухе замерла тишина, и вокруг ничего не было видно, кроме воды и полосы берегового песка перед ней, медленно, очень медленно поглощаемой неумолимым морским приливом; и только колючая проволока, протянутая вдоль всего берега, напоминала о войне.

Меня охватила такая лютая тоска, какой я, пожалуй, в жизни не испытывал. “Нету никакой справедливости, — думал я, — нету ни на грамм. Казалось бы, что такое грамм — ерунда, видимость одна, но вы ведь все-таки говорите “один грамм”. И на этой величине, а вернее, на этой ничтожной малости все они богатеют. Все богатеют только на граммах, значит, грамм — это не совсем ничто, это что-то. Потому-то, наверно, на свете столько бедных и обманутых, что грамм — это так мало и этих граммов так много нужно, чтобы богача сделать богачом. Потому-то их

и понадобилось столько, этих серых, замызганных мышиных фигурок с винтовками на спине, что послушно расползлись по всей Европе ради того, чтобы жирели крысы, для которых грамм — их единственное и любимое лакомство. Их должно быть безумно, неисчислимо много, этих серых фигурок, чтобы по сорок штук упихивать их в вагоны, куда, как ни бейся, не лезет больше восьми лошадей — просто потому, что лошади крупнее людей, крупнее и дороже".

Мне тогда было двадцать пять, сударь. И я был отнюдь не ангел, нет, наемник, как и все, и верил только в колбасу на моем куске хлеба, как у нас принято было говорить, а еще в вино и курево. По крайне мере, мне казалось, что ни во что другое я не верю. Только откуда тогда эта неизъяснимая тоска, от которой сердце как свинцом налилось и до того тошно, такая вдруг навалилась усталость, что даже в карман за сигаретами и спичками полезть — и то почти сил нет?

Мне было пятнадцать, когда над небом Германии, точно огромного черного паука, водрузили свастику.

Мне вдруг захотелось очутиться за океаном, далеко-далеко отсюда, в совсем другом мире, где ни мундиров, ни полицейских, где нет войны, но я был заперт в этой клетке, что называется Европой, и не было из нее никакой лазейки. С этого побережья хоть тысячи километров в любую сторону плетись, дойди хоть до Владивостока, до самого края этого безумного материка, и нигде, нигде не будет тебе жизни!

В те минуты я бы с легкостью запродал всю свою оставшуюся жизнь за то, чтобы оказаться в объятиях девушки, которая пообещала мне всегда быть здесь, пообещала — и не исполнила.

Уже смеркалось, когда я тихо вернулся домой, улегся на свою койку и вверил себя тягучей лаве своего свинцового отчаяния, в котором даже вожделению не осталось места. В маленьком нашем домишке не слышно было ни звука. Издали, со стороны бараков, доносилось слабое пение. Я был не в силах ни думать, ни действовать, до того я был разбит и подавлен.

VIII

А еще через двое суток мы уже были на пути в Россию...

Когда утром следующего дня я проснулся, все было как всегда. Со стороны кухни слышались привычные звуки — уже вовсю шла раздача кофе. В комнате Вашего брата было тихо. На часах уже семь, я встал, прошел в нашу крохотную кухоньку, поставил на плитку сковородку, бросил на нее кусок жира, достал из буфета буханку хлеба, отрезал несколько кусков. Жир тем временем разошелся по сковороде, я разбил в миску несколько яиц, добавил немного сливок, тщательно все это перемешал и вылил на сковородку. Потом поставил на поднос две тарелки, две чашки, положил приборы и отнес все в столовую.

По утрам тут всегда было очень мирно. В этот час маленькое селение напоминало скорее несколько запущенный летний лагерь. Было уже тепло, голые по пояс солдаты мылись возле бараков.

Старший фельдфебель торчал на кухне и обмозговывал вместе с поваром, как получше распорядиться остатками коровьей туши. Ко мне он стал относиться значительно прохладнее.

— Скажите шефу, — крикнул он мне, пока я доверху наливал кофе в котелок, — после обеда у нас богослужение — оба вероисповедания — прямо здесь, опорные пункты я уже оповестил.

— Есть, — ответил я.

Кухонный амбал тоже подарил меня не слишком дружелюбным взглядом. Не мог мне простить, что я пятьсот франков ему не дал заработать на покупке коровы, да еще и подозревал, наверно, что я Вашему брату на него настучал.

Когда я уже уходил с кухни, меня из канцелярии окликнул Шмидт:

— К девяти в штаб батальона человека послать надо, особый приказ получить, у тебя, случайно, нет желания прокатиться?

Я глянул на Шмидта, прямо в его непроницаемо-дружескую физиономию и сказал:

— Есть.

А у самого перед глазами — только бледное лицо той девушки и как я касаюсь губами ее щек, ее уст и маленькой впадинки у нее на шее.

— Есть, — повторил я еще раз.

Еще издали я увидел в окне нашего домика Вашего брата с белым от мыльной пены лицом. Было уже полвосьмого.

Уже вскоре я внес в столовую кофе, хлеб и омлет, после чего доложил ему о богослужении и о том, что меня сегодня к девяти посылают в штаб батальона за приказом.

— Хорошо, — сказал он, надевая китель. — Ох, чую я, что-то носится в воздухе. Как бы эта корова не стала нашей прощальной трапезой.

— Вы считаете? — спросил я с сомнением в голосе.

— В России дело совсем дрянь.

Мы сели, я разлил кофе по чашкам, разложил по тарелкам омлет, но прежде чем есть, закурил сигарету. Это был мой первый человеческий завтрак за долгое время. Огромное, почти во всю стену окно на север было распахнуто, из него веяло прохладной, но ласковой свежестью и открывался бескрайний вид на море.

И Ваш брат тоже только прикоснулся к хлебу, но есть не стал, отпил глоток кофе и вдруг заговорил, нет, почти затараторил, но как-то механически, словно по-заученному:

— Да будет вам известно, — сказал он, — мне было определено служебное несоответствие по должности командира роты после того, как в первой же роте, которую мне вверили, я вознамерился отыскать концы этих вечных мелких неточностей в провиантском снабжении. Судите сами: в первый же день моего командования положено было выдать на человека по двадцать пять граммов масла. Казалось бы, простейшая арифметическая задача — пачка масла на десять человек, и дело с концом. Но у нас непостижимым образом пачка масла выходила на двенадцать человек. В моей роте со всеми приданными подразделениями было тогда сто восемьдесят человек. Это пятнадцать дюжин, то бишь получалось, что семьсот пятьдесят граммов масла оседают где-то по пути. Я тотчас же вызвал к себе интенданта, тот клялся и божился, что ему масла недодали. Тут же в его присутствии я позвонил снабженцу батальона, и тот действительно признался, что да, недодал на роту по две пачки, ему, мол, так отпустили. Значит, одну-то пачку я уже сыскал, она прилипла к рукам моего интенданта — как известно, мелкая рыбешка легче всего ловится. Осталось выяснить, каким образом из дивизии на пять подразделений нашего батальона не доходит два с половиной кило масла. Я названивал

этим жуликам до умопомрачения, они там считали и подсчитывали часами, пока не признали: да, пришлось выдать каждому подразделению на полтора кило меньше, потому что, дескать, масло испортилось. Недостачу обещали восполнить. Итак, проведя на телефоне почти два дня, я теперь уже и батальонного снабженца прищучил на килограмм масла. Чудненько. Теперь сами прикиньте, сколько батальонов, дивизионов, короче, сколько единиц снабжения насчитывает дивизия. Как ни удивительно, три дня подряд нам выдавался полный рацион. Масло и маргарин почему-то утратили пагубное свойство портиться со страшной скоростью. Но я не ослаблял бдительности. На четвертый день — опять недостача. На сей раз и ротный, и батальонный интенданты были чисты. Этих я однажды уже схватил за руку, и они боялись, но те, что в тылу... Что ж, у меня ведь есть телефон. Полагаю, вы догадываетесь, как эта шатия меня возненавидела, но я был неумолим. Если мне говорили, что где-то что-то испортилось, я обращался в вышестоящую инстанцию с запросом, составлен ли акт на порчу продукта и проверялся ли сам продукт. Но дальше этого я не продвинулся. Бесполезно. Дольше, чем четыре дня кряду, мои солдаты полный рацион не получали ни разу. Как ни странно, и в роте меня стали недолюбливать; старший фельдфебель и фельдфебель — те просто трусили и, видимо, считали меня сумасшедшим. К счастью, нескольких офицеров я сумел склонить на свою сторону. Я не слезал с телефона и каждый день, как только недоставало хотя бы грамма повидла, писал рапорт. Ну, а кончилось тем, что я дивизионному интенданту собственноручно дал в морду, благо она у него вся жиром заплыла. На сей раз офицеры меня не поддержали — дескать, бессмысленно бороться с начальством, все они одна шайка и так далее. — Он отхлебнул глоток кофе, взялся было за хлеб, но опять отложил. — Ну, а один я, разумеется, ничего не смог, — продолжил он. — Было служебное расследование, меня обвинили в фанатизме, в донкихотстве. Дивизионный интендант был выставлен этаким розовым агнцем, безвинно пострадавшим на ниве офицерской чести. Я понес наказание, перевод с понижением, едва-едва разжалования избежал. Но, черт побери, я и по сей день не знаю борьбы более осмысленной, чем борьба против начальства, всякое начальство — это оплот тупости, оплот начальственного чванства, бог ты мой! Перед этим начальством я должен отстаивать первоначала жизни! Против этих вурдалаков я буду отстаивать права живых, даже если в следующем столкновении мне придется швырнуть свои погоны в лицо хоть генералу! Мне они все равно ни к чему! — Тут он понял, что раскричался, смущенно потупился, помешал кофе в чашке, хотя ни молока, ни сахара не брал, потом со вздохом поднял голову и сказал: — Ну, а сейчас все начинается сызнова. Вы бы могли мне помочь. Хотите?

— Господин старший лейтенант, — сказал я, заливаясь краской. — Совесть моя недостаточно чиста, чтобы уличать в хищениях других.

— Вот как? — только и спросил он.

Я рассказал ему о своих парижских махинациях. Он слушал, опустив голову, признания мои явно были ему неприятны.

— Видите ли, — добавил я, изложив суть, — там, где можно обмануть государство, я не раздумываю ни секунды. Это государство похитило у меня шесть лет молодости, не дало мне получить профессию, так что я считаю, с моей стороны это просто возмещение ущерба.

— И что же, — спросил он спокойно, — вы бы без колебаний продали армейский велосипед, а деньги прикарманили?

— Без колебаний, — ответил я, — правда...

— Что правда?

— Правда, я бы сперва решил, что несколько лет в концлагере — слишком дорогая цена за один велосипед.

— Но удерживает вас только угроза наказания?

— Только.

— Как интересно! — воскликнул он с энтузиазмом. — Весьма интересно! В столь чистой, циничной форме мне таких признаний еще не доводилось слышать. И все же, — добавил он с улыбкой, — при малейшей вероятности нанести ущерб кому-то лично вы бы ведь ничего брать не стали, верно?

— Верно, — согласился я.

— Что ж, там видно будет, — проронил он. — Пора мне на службу.

Было уже восемь. Только теперь он съел свой бутерброд, выпил еще немного кофе и ушел.

А я выскочил из дому уже через полминуты после него, так и оставив свой завтрак нетронутым.

В четверть девятого я соскочил с велосипеда возле заброшенного кабачка, где какую-то неделю назад я встретил ту девушку и даже говорил с ней. Вокруг было так тихо, что я невольно остановился и прислушался. По-моему, впервые в жизни я ощутил, как бьется мое собственное сердце. Гулкий, частый и сильный стук сотрясал мою грудь, словно незримый молот...

Стараясь не шуметь, я прислонил велосипед к стене и через открытую калитку направился прямиком во двор, откуда мне в первую секунду почудились неповторимо мягкие звуки молочных струй, брызгающих в подойник. Я увидел ее сразу же, да и она, услышав мои шаги, обернулась. Так она и стояла передо мной — руки чуть в стороны, с пальцев еще каплет молоко, волосы на точеной головке стянуты тугим узлом, алые губы приоткрыты от неожиданности, серый замызганный рабочий халатик сполз с левого плеча; она тоже сразу меня узнала и будто вросла в землю — а я уже подходил к ней.

Ни слова не говоря, я обнял ее и какой-то миг еще чувствовал запах ее волос у своей щеки, ее теплое дыхание где-то у своей шеи, но только повернув к себе ее голову для поцелуя, я вдруг почувствовал, что она безучастна и холодна, как камень, а на лице написан такой страх и такой отпор, что я даже испугался.

— Девочка, — шептал я по-немецки, обезумев от боли, — девочка, я же люблю тебя.

Губы ее скривились.

— Laisse-moi, — пролепетала она, — je ne t'aime pas[1].

Я сразу же ее отпустил, но она даже шага не сделала, чтобы от меня отстраниться, так и осталась стоять, и я увидел, что она сейчас заплачет. Но плакала она от жалости ко мне. Такая мука, должно быть, запечатлелась у меня на челе.

Она мне сострадала, и когда я это осознал, прочел в ее чертах, только тогда я понял, как сильно ее люблю. Даже сострадание ее казалось мне даром небес.

1. Отпусти меня, я же тебя не люблю (*франц.*).

— Девочка, — пробормотал я снова, — девочка!

И только потом повернулся, чтобы уйти, но она окликнула меня каким-то странным, певучим, почти птичьим звуком "О-о" — как оклик из правремен. Она улыбалась.

— Хочешь чего-нибудь выпить? — спросила она.

И, не ожидая ответа, прошла мимо меня, отирая руки подолом халатика и — жестом неповторимо величественной бедности — поправив его на плече. Я, как в воду опущенный, последовал за ней и понуро вошел в дом.

Там я взглянул на свои часы — было двадцать минут девятого. Каких-то пять минут, а для меня весь мир чуть не рухнул в тартарары, и только едва тлеющая розовая полоска слабо мерцала где-то на горизонте, ибо какой же любящий навсегда расстается с надеждой?

Она тем временем откупорила бутылку, наполнила два бокала.

— Очень пить хочется, — тихо сказала она. — С утра — и такая духота.

Мне трудно описать ее улыбку, в ней была нежность с примесью боли, не оставлявшей мне даже искры надежды, но и без тени кокетства — в улыбке этой было что-то непередаваемо человеческое, другого слова не подберу. Она подняла свой бокал, я ответил ей тем же, кивнул и выпил.

Вино было замечательное, прохладное и терпкое, и по лицу ее я увидел, что оно ее освежило.

— Да, — произнес я наконец с трудом, ибо собственная немота давила мне на плечи непосильной ношей, — мне бы хоть иногда просто видеть тебя...

Мы поставили бокалы, и снова она встала и пошла первой, а я молча последовал за ней. Она только еще раз кивнула мне на прощанье — и исчезла.

Без четверти девять я уже был в штабе батальона и застал там посыльных из других рот. Я сидел на крыльце, вокруг меня шумела разноголосица обычных и всеведущих штабных сплетен, а время, казалось, летит с неимоверной быстротой. Снова и снова в который раз перебирал я свои воспоминания, воскрешая в памяти сцену в хлеве, пытаясь отыскать хоть кроху надежды, но не находя ничего, и все же, все же...

Ждали мы долго; мы курили, расхаживали взад-вперед, снова садились; я вполне безучастно вносил свою лепту во всеобщую трепотню; было почти одиннадцать, когда нас наконец вызвали в канцелярию. Там нам вручили так называемые пеналы донесений — плоские запирающиеся ящички, по одному ключу от которых находились в штабе батальона и в соответствующей роте, так что прочесть содержание донесения посыльный не мог.

Но всем и так уже было ясно, что нас отправляют в Россию. Еще вчера я ничего страшнее такого известия и вообразить не мог, но сегодня оно оставило меня совершенно равнодушным. Меня словно оглушило. Я видел окружающее — и не видел его. Я чувствовал, что стало еще душнее, осознавал, что небо покрыто густыми серыми тучами. Волю мою тоже как будто отключили. Где-то в самой глубине своего заживо погребенного сознания я понимал, что надо бы остановиться, слезть с велосипеда, отдохнуть и попытаться опомниться, в себя прийти, но вместо этого, наверно, так и катил бы до самого края света, все дальше и дальше,

одержимый лишь тупой механикой вращения педалей, — вперед, вперед... Я был словно мертвый.

Очнулся я от страшного удара грома. В ту же секунду на меня потоком хлынул тяжелый теплый ливень. Я огляделся и сразу же узнал местность: вон та самая рощица, *ее* дом и в округе никакого другого убежища. Я помчался туда, бросил велосипед у порога и, прижимая к груди пенал, кинулся к дверям.

Не притворяя дверь, я замер на пороге.

Наши связи с природой глубже, проникновеннее, чем мы полагаем. Не знаю, сколько я так стоял, — я был почти без сознания. Но когда я вновь его обрел, оказалось, что я плачу.

Красота рушащегося стеной летнего ливня, вселенская мощь, таящаяся во всякой влаге, видимо, отворила и во мне какие-то живительные ключи. Я плакал. Чудовищная судорога боли в душе вдруг ослабла, я снова был жив.

Трепещущими ноздрями вбирал я в себя живительный, влажновато-сладкий туман, что легкой дымкой поднимался над лугами.

Я плакал...

Внезапно я услышал шаги, они приближались. По шершавым плитам огибающей дом бутовой дорожки шли двое. Дождь уже стихал, падал все мягче. И тут я вздрогнул, будто кто-то с безошибочной точностью вонзил длинную тонкую иглу в самую сердцевину моих нервов: это была походка Вашего брата. Людей, с которыми живешь бок о бок, знаешь лучше, чем кажется. Да, это была его походка. Прильнув к стене темной прихожей, я стоял ни жив ни мертв.

Когда Ваш брат наконец показался, я даже не удивился, увидев его вместе с той девушкой. Велосипед он катил рядом, слегка на него опираясь и повернувшись к своей спутнице лицом, так что и я мог видеть его в полупрофиль. Зато ее лица я не видел — только спину, затылок над чуть склоненной шеей и узенькую полоску щеки, по которой я сразу понял, что она улыбается. В его серьезном, бледном лице застыло нечто вроде счастливой муки, но страшнее всего была та само собой разумеющаяся естественность, с которой эти двое смотрелись в паре. Тихо, не говоря ни слова, только слегка улыбаясь друг другу, они шли рядом — и просто были созданы друг для друга, вот и все.

Не скажу, чтобы я испытал ревность. Тяжело дыша, я стоял, преисполненный боли, и ощущал себя безнадежно лишним. Эти двое почти не прикасались друг к другу, только переглядывались изредка, а я будто прирос к влажной стене полуразрушенного дома и думал о том, как прекрасно, наверное, умереть.

Наконец он склонился над ней, поцеловал и сказал:

— Au revoir, Madeleine[1], — потом отвернулся и быстрыми шагами направился со своим велосипедом к воротам.

Она кричала ему вслед по-немецки:

— До свидания, до свидания!

Не оборачиваясь назад, она стала подниматься по лестнице, наверно, хотела как можно дольше видеть его с верхней ступеньки, но, наткнувшись на закрытую створку двери, на миг оглянулась, заметила меня и издала истошный, пронзительный крик...

1. До свидания, Мадлен (*франц.*).

Брат Ваш еще не дошел даже до ворот. Он кинулся назад, подскочил к двери — девушка, не веря собственным глазам, все еще смотрела на меня с ужасом. Он же, подойдя, увидел меня и тотчас все понял.

— Идем, — только и сказал он хриплым голосом.

И я, зажав под мышкой пенал донесений, последовал за ним, как приговоренный, поднял за воротами с земли свой велосипед, влез на него и бок о бок с Вашим братом покатил прочь.

Мы оба даже не оглянулись.

IX

И оба никогда больше ее не видели.

Мы молча доехали до расположения роты и там, ни слова не говоря, расстались. Он пошел к нам на квартиру, а мне еще предстояло сдать пенал и получить на кухне обед на нас обоих. Котелок я всегда еще с утра на кухне оставлял.

Я поставил велосипед в сарай, забежал на кухню, получил две порции гуляша с картошкой и отправился к нам в домик.

При моем появлении он мгновенно встал. Тарелки уже были принесены из кухни и расставлены, приборы тоже разложены на столе, но все это крайне неумело, так что я первым делом поставил котелки на поднос, потом спокойно переставил как надо тарелки, поправил ножи и вилки, красиво уложил хлеб в хлебнице, вынул из букета, что стоял в вазе на столе, несколько увядших цветков.

Все это время он, скрестив руки на груди, расхаживал взад-вперед по комнате.

— Можно есть, — сказал я спокойно, когда все было готово.

— Да, — произнес он, и только в эту секунду мы впервые посмотрели друг другу в глаза, причем я, сам не знаю почему, невольно улыбнулся. Он же только растерянно покачал головой, потом пожал плечами; я все еще ждал, когда же он наконец сядет.

— Молчать об этом вовсе не обязательно, — сказал он тихо. — Но надо ли нам об этом говорить, решать тебе.

— Нет, — в тон ему ответил я. — Я хотел бы об этом молчать.

— Хорошо, — сказал он.

Мы сели, и я протянул ему небольшую разливательную ложку, которой мы раскладывали еду из котелков по тарелкам. В эту секунду в дверь постучали, он положил ложку и сказал: "Войдите!" Дверь отворилась, на пороге стоял старший фельдфебель. Лицо его, обычно спокойное, было взволнованно.

Уже на следующее утро эшелон увозил нас в Россию. Штабные распоряжения и приказы, пока я их доставлял, уже успели утратить силу и были заменены срочными телефонограммами. Людей, подлежащих передислокации, надо было еще сегодня отобрать по опорным пунктам и с полной походной выкладкой держать наготове к отправлению вплоть до прибытия на грузовиках сменного пополнения из резерва, чтобы на тех же грузовиках доставить их на сборный пункт в Абвиле. Там вообще-то на днях уже сформировали, погрузили и даже отправили целую дивизию, но по пути эшелон подорвали, было много убитых и раненых, так что требовалось срочное пополнение боевого состава численностью в

сто двадцать человек. Ваш брат и Шнекер оказались в числе офицеров, направляемых к новому месту службы.

Пока я бездельничал, присматривая за нашими рюкзаками, у Вашего брата секунды спокойной не было. В последнюю минуту, как всегда, приходилось пополнять обмундирование и экипировку отъезжающих, убеждать внезапно и тяжело заболевших в том, что они совершенно здоровы, тех, кому в скором времени предстояло ехать в отпуск, по возможности заменять другими. А главное, как можно раньше доставить всех отправляемых в Пошеле, чтобы они, упаси бог, не пропустили богослужение.

Дивизионный католический священник прикатил на авто уже около четырех, и, поскольку сумятица вокруг царила неописуемая, его разместили у нас на квартире; полчаса мне пришлось сносить его общество, покуда не начали являться первые исповедующиеся. Я предоставил им свою комнату для ожидания, а для торжества святой мессы и приобщения к святым дарам Ваш брат распорядился освободить гостиную. Но, пока все это делалось, я успел побыть со священником наедине. Кожа у него, как и подобает штабному офицеру во Франции, была розовая и холеная, а манеры обходительные и любезные, ну прямо как у бонвивана. Когда я рискнул вплести в нашу беседу несколько общих замечаний насчет войны, продажности и офицерства, он благостно сложил ручки на животике, даже вынул ради такого случая сигару изо рта, после чего с безмятежной миной и столь же безмятежной душой заметил:

— Да, в нашем мире еще много скверны.

Тут нас прервали: в дверь постучал первый исповедующийся, отдал на пороге честь и вошел.

Не удержавшись, я тихо произнес:

— Ave, Caesar, morituri...[1]

Священник глянул на меня с улыбкой. Он окончательно расстался с сигарой, положив ее в пепельницу, и заметил:

— Смотри-ка, да вы у нас латинянин.

После чего его кроткий взгляд вынудил меня встать и удалиться в сад.

Там было удивительно тихо. Ласковая осенняя теплынь сменилось похолоданием, небо сияло умытой голубизной, маленькие домишки поселка мирно дремали за своими заборами и высокими живыми изгородями. Брат Ваш поехал в Ларнтон приводить в чувство какого-то совсем молоденького солдатика, якобы пораженного внезапными судорогами.

Приготовления были закончены, все остальные отъезжающие были уже в сборе, предполагалось, что ровно в пять можно будет начать богослужение. Евангелического священника тоже ждали с минуты на минуту.

Задами ротных бараков я прошелся до перекрестка и в первый раз за все время решил зайти в здешний кабак; это была низкая, одноэтажная постройка на манер летних пивнушек с плетеными садовыми стульями на деревянной веранде. Внутри в просторной зале не было ни души, дверь на кухню распахнута, там расположились трактирщица с мужем, они обедали. Трактирщица оказалась блондинкой с неприступным лицом буфетной красавицы; не переставая жевать, она вышла ко мне, одарила меня дежурной улыбкой и подала затребованную бутылку вина, про которую я еще не знал, как буду за нее расплачиваться.

1. Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть... (*лат.*)

— Давайте уж сразу две, — хохотнул я, — чтобы вас больше не беспокоить.

Она предостерегающе улыбнулась, кокетливо поколебалась, но потом все-таки решилась — протянула руку под стойку и извлекла оттуда вторую бутылку. Я уселся в самый угол залы, из остальных углов которой на меня дохнуло безысходным унынием всех пустующих увеселительных заведений на свете. Пахло пылью, еще летней пылью.

Отправление я пропустить не мог: дорога, по которой двинутся ребята из Ларнтона, да и из других опорных пунктов, лежала перед самым моим носом, так что мимо меня они не пройдут.

У меня оставался еще час времени, чтобы позабыть лик той девушки, распрощаться с Францией и утопить в вине елейное, розовое, будто законсервированное, трупное лицо священника.

Это золотистое вино — самое восхитительное, что здесь есть; в нем и мед, и огонь, и свет, и шелковистость; я даже думаю, Господь насадил здесь эту лозу, чтобы в мерзейшем притоне, который принято именовать человеческим обществом, воспоминания о рае не умирали окончательно. Чем больше я пил, тем больше ощущал в себе несказанную и неведомую прежде веселость, а вдобавок еще и нечто вроде мудрости. Как же это прекрасно — напиваться до беспамятства, пока не заснешь и не опустишься в сладостные объятия любезного брата смерти!

Убей бог, не помню, как мне удалось выторговать у столь же холодно, сколь и мило улыбающейся трактирщицы еще две бутылки в обмен на мои часы.

Очнулся я уже в вонючем грузовике, в ужасе поспешил тут же снова закрыть глаза и окончательно пришел в себя только на вокзальной площади Абвиля при виде готового к отправлению эшелона. Надо мной склонилось смеющееся лицо Вашего брата.

— У него был вид, — пробормотал я, — у него был вид бонвивана...

— Хорошо, хорошо, — спокойно согласился он. — А теперь вставай.

Я встал, после чего он засунул меня в шеренгу из четырнадцати человек, придаваемых роте сопровождения.

Мы ехали через Францию, потом мимо рдеющих виноградников Рейна, через среднюю Германию, Саксонию, Силезию, Польшу. Вокзалы становились все серее и обшарпаннее, солдаты все наглее и ожесточеннее. Постепенно нам все чаще начали встречаться поезда с ранеными, эшелоны с пленными; оборванное население занятых нами областей толпами осаждало наши вагоны. Последние французские спички шли в обмен на яйца, одеяла из французских домов превращались в масло, предметы военной экипировки выменивались в темных вокзальных закутах на махорку и сало, ибо снабжение наше и в дороге оставалось более чем скудным.

Стало холодно, была уже середина октября. Полы наших длинных шинелей волочились по грязи украинских полустанков, на которых к нашему поезду срочно подцепляли платформы с тракторами или где мы вынуждены были простаивать, пропуская по единственной колее эшелон с тяжело раненными.

Вашего брата я видел лишь изредка. Иногда на остановках он подходил к нашему вагону и разговаривал с нами, а стоянки подольше, чтобы можно было прогуляться, выпадали нечасто. О прошлом мы никогда не

говорили. Это была переполненная, еле закрытая кладовка, к щеколде которой лучше было не притрагиваться.

Сидя рядышком то на упорном брусе какого-нибудь тупика, то на штабелях мокрых шпал, мы осторожно, ощупью старались приблизиться к той неизвестности, что ждала нас впереди и называлась фронтом. Ибо давно уже, по мере медленного внедрения эшелона в эту темную, сумрачную страну, нам становилось ясно: ничего даже отдаленно похожего на ту курортную разновидность войны, какую мы изведали во Франции, здесь не будет. Все живое, что было облечено здесь в серую дерюгу шинелей, буквально содрогалось от поистине устрашающего нетерпения как можно скорее и как можно дальше отсюда смыться.

Эта армия так никогда и не сумела преодолеть потрясение здешней первой, роковой для себя зимы. Раненые, с которыми мы говорили, боязливо прислушивались, не в силах дождаться, когда же тронется поезд, увозя их отсюда, — лишь бы скорее прочь, прочь, и лучше совсем без остановок; каждая минута в этой стране казалась им гиблой и гибельной, поэтому их и влекло отсюда — не только как можно скорей, но и как можно дальше. Было тяжело слушать, с какой надеждой говорят они о Германии, о доме. Разве может эта, теперь уже тоже ободранная и нищая, голодная и растерзанная страна, в которой казармы давно превратились в тюрьмы, а госпиталя в казармы, — разве сможет эта страна не обмануть их наивных, восторженных ожиданий?

Через неделю мы прибыли на солидный вокзал узловой станции, неподалеку от которого расположилась штаб-квартира группы армий "Юг". Здесь нас неожиданно хорошо — после того как всю дорогу держали на голодном, еще во Франции укомплектованном пайке, — просто отлично накормили. Был наваристый суп, много мяса с картошкой, а после еды раздали еще и сладости, шнапс и сигареты.

Даже шампанское давали, и мне повезло: по жребию я выиграл целую бутылку, которую мы решили не делить, а разыграть. Было очень холодно, в вагоне нашем тщетно исходила жаром раскаленная докрасна печурка, и я хорошо помню, как, приоткрыв вагонную дверь и глядя в щелку, я эту бутылку опустошил, почти бездумно наполняя походную чарку, — наполнял, выпивал, снова наполнял и вдыхал при этом ледяной воздух с улицы; я был как неживой.

Едва мы успели насладиться всеми своими лакомствами, как нам вдруг приказали выгрузиться из вагонов и построиться, после чего отправили в долгий, тяжелый марш-бросок до ближайшего, но вовсе не близкого аэродрома. Это было после обеда.

А на следующее утро еще в темноте мы уже шли в первую атаку.

Как же красиво звучат эти слова — идти в атаку! Так и слышится в них клич фанфар, так и видятся молодые вдохновенные воины, которые с превеликим трудом и только в уступку военной хитрости сдерживают на устах боевую песнь, а сами рвутся, рвутся вперед с одним только ликованием в сердцах!

Мы же, не в пример этим молодцам, в предрассветной тьме еле сошли с самолета, в котором нам пришлось дорого заплатить за наш скоропалительный кутеж накануне. Тут нас как сельдей в бочку затолкали в кузова грузовиков, а потом, заваленных и полузадушенных собственным багажом и оружием, повезли куда-то вперед, покуда не сбросили на околице безымянной деревушки, в избах которой мы провели еще два часа. Любой звук, исходящий с линии фронта, внушает только страх, ибо не

вписывается ни в какой твой предыдущий опыт. Так, меня то и дело пугало внезапное и визгливое тявканье противотанковой пушки, стоявшей, судя по всему, прямо за нашим домом; почему-то я всякий раз решал, что русские танки вот-вот нас сомнут, и всякий раз чуть не умирал от страха.

Свет в избушке, где мы сидели всем гуртом, был погашен, и когда наконец стало чуточку потише, я в этой темени просто протиснулся к стене, не обращая внимания на скопище чужих плеч, ног, голов и винтовок, и, притулившись к стене, закрыл глаза. В избе стояла чудовищная вонь. Должно быть, где-то лопнула кадушка засоленных и перебродивших огурцов, весь пол был залит этой вонючей клейкой жижей, и рука, куда ни протяни, всюду натыкалась на размякшие, тухлые овощные трупы. Я курил без остановки, просто чтобы заглушить тошноту, а вокруг никто не говорил ни слова — мы-то представляли себе все это несколько иначе, не так скверно и не так ужасающе внезапно.

Было еще темно, когда нам приказали выходить. Я был счастлив, узнав голос Вашего брата. В маленьком дворе крестьянской хаты набилось полным-полно солдат, я разглядел это, когда красная вспышка ствольного пламени из близкого орудия коротко и зло полыхнула над нашими головами. Рота — это ведь множество живых людей, множество разных судеб, но что такое одна рота на необъятных пространствах этого фронта!

Ваш брат коротко и серьезно объяснил нам, что поведет нас в атаку, что наша боевая задача — выровнять клин неприятельского прорыва. Сущий пустяк, задача для необстрелянных юнцов. Тем не менее даже разобрать в этой темноте роту по взводам и отделениям, придав каждому своего командира, и то оказалось делом невероятно муторным. Меня он выкликнул специально, подозвал к себе, и, когда схватил за рукав, я по судорожной хватке его дрожащих пальцев понял, что ему тоже страшно.

— Останешься при мне, — приказал он охрипшим голосом.

Еще до рассветных сумерек мы вышли из деревеньки, впереди фельдфебель из штаба полка, отвечавший за нашу дислокацию. О, как еще было далеко до настоящей передовой! И хоть какое-то облегчение оттого, что под ногами снова твердая земля, а не эти осклизлые половицы. Впереди и позади нас, да и всюду по сторонам то и дело вспыхивали снопы орудийного огня и не утихал гром канонады. Определить прохождение линии фронта по этим вспышкам казалось делом совершенно безнадежным. Ведший нас фельдфебель тоже ничего определенно не знал. Да где уж тут знать хоть что-то определенное! Он-то по пути и успел нам шепнуть, что здесь совсем недавно целый батальон под внезапную атаку угодил, большинство полегло, других в плен взяли, лишь единицам удалось унести ноги. И никто не знает, заняли русские эти позиции или, сами не веря своему успеху, довольствовались только пленными и трофеями и отошли на прежние рубежи.

Как ни странно, беспрерывная пальба вокруг уже вскоре почти перестала нас беспокоить. Куда страшнее было жуткое безмолвие там, впереди, в той черной мгле, куда мы шли и куда вскоре предстояло бежать, покуда мы либо не напоремся на неприятельский огонь, либо не займем прежние позиции. По сути задача наша сводилась к тому, чтобы установить фактическое прохождение линии фронта, а уж по возможности занять прежние рубежи обороны и удерживать их.

Мы четверкой шли первыми. Ваш брат и фельдфебель совсем впереди, а я еще с одним унтер-офицером следом. Иногда, вспоминая о тех временах, я думаю, что война — это своего рода стихия. Когда падаешь в воду — вымокаешь до нитки, а когда идешь вот так, к передовой, где закапываются в землю пехотинцы и саперы, — ты погружаешься в войну. И словно пересекаешь некий водораздел, за которым рядом с тобой остаются только хорошие и плохие ребята, все промежуточные стадии отпадают или, наоборот, только начинаются, но уже совсем иначе.

Я это просто чувствовал; вот унтер-офицер, что идет со мной рядом, он точно подонок. Он трус, дает страху сожрать себя с потрохами и даже не пытается сопротивляться. По тому, как он кидался на землю, едва только Ваш брат или фельдфебель тихо командовали: "Ложись!", я сразу понял: этот на все способен. Было что-то безудержно животное, даже рептильное в этих его нырках, в том, как пластался он по земле. А вот фельдфебель спокоен и излучает нечто, что только отвагой и можно назвать, — какую-то духовную энергию, которая сильнее страха.

Не встретив сопротивления, даже не попав ни разу под пулеметный огонь, мы достигли передовой, где справа и слева, куда ни глянь, шла яростная пальба, тогда как перед нами по-прежнему лежала все та же черная и безмолвная вата, готовая, казалось, нас поглотить.

Слух у нашего фельдфебеля оказался невероятно чуткий. Ума не приложу, как из множества тихих и оглушительных шумов кипящего вокруг боя он безошибочно сумел распознать единственно для нас важный — хлопок ракетницы. Он молниеносно бросился на землю — для нас это был сигнал падать самим и передать назад команду "Ложись!", чтобы в разливе тягучего серебристого сияния мы не торчали, как столбы.

Снова и снова в самых разных всполохах света я пытался разглядеть окружающее, но вокруг виднелась только темная, черная земля с великим множеством неровностей, которые с равным успехом могли оказаться как бороздами пашни, так и залегшими или полегшими бойцами.

Я часто спрашиваю себя: бог ты мой, сколь же необорима должна быть власть, чтобы подвигнуть миллионы людей вот так, совершенно безропотно и безвольно, даже вопреки собственному страху и трусости, ползти навстречу смерти, как мы той ночью...

Мы заняли прежние оборонительные рубежи, не понеся потерь и не встретив сопротивления. Впервые в жизни я ходил в темноте по трупам, впервые в жизни прислушивался к неприятелю, который, возможно, залег в засаде, в укрытии, где-то совсем близко, в восьмидесяти, в ста метрах от нас. А действовать нужно было неимоверно быстро. До наступления дня командиры должны быть в командных пунктах, рядовой состав на боевых позициях, на флангах надо было обеспечить примыкание к соседним частям.

Кто-то, возможно, представляет себе фронт в виде прямой линии, которую по линейке проводит на карте офицер-штабист. На самом деле это весьма витиеватое, извилистое образование, как бы разной толщины змея, норовящая залечь в складках рельефа местности или, что хуже, вытолкнутая противником на неудобные открытые пространства.

Мы должны были все закончить в течение часа, чтобы встретить день во всеоружии. А у нас на правом фланге все еще не было связи. Унтер-офицер и двое рядовых, которых послали на правый фланг до первого нашего поста, ушли и не вернулись, мы больше никогда их не видели, не слышали. Следующую разведгруппу возглавил Ваш брат, они

пошли чуть ближе к тылам и выяснили, что на правом фланге мы продвинулись слишком далеко. Значит, всю линию обороны надо было срочно отодвигать, снова окапываться, и все это без шума да еще в кромешной тьме, на изрешеченной воронками местности. Кругом лежали убитые — немцы и русские, — валялись ранцы, брошенное оружие...

Командный пункт роты расположился почти в центре наших позиций, чуть в углублении. Это были два блиндажа, каждый на трех человек. Связь с полком была оборвана. Вообразите себе чувства связника, просидевшего три года во Франции в гостиничном номере, обеспечивая безобидную телефонную болтовню штабов и штабистов, а теперь, в России, на поле боя, за полчаса до рассветных сумерек получающего приказ найти обрыв провода и восстановить связь с полковым командованием.

Фельдфебель, который привел нас на позиции, был тихий, щуплый человек с бледным, небритым лицом. Обычные боевые ордена болтались у него на груди вразнобой, как никчемные побрякушки. Теперь, когда задача его была выполнена, он напоследок молча выкурил в нашей компании сигарету. Мы и до этого почти с ним не разговаривали, но сейчас, встав попрощаться, он с улыбкой, словно извиняясь за что-то, заметил:

— Сегодня вечером в отпуск уезжаю.

Перебросил за плечо автомат, передернул плечами, пожал нам всем по очереди руки и отдернул брезентовый полог, которым завешен был вход в блиндаж.

В следующую секунду он лежал у наших ног бездыханным.

Мина шмякнулась о бруствер окопа, черное небо, казалось, рухнуло, свет погас, унтер-офицер орал как резаный, и когда я, весь в комках глины, с великим трудом превозмогая страх, поднялся на ноги, рука моя нечаянно ткнулась в его окровавленное тело, я ощутил под пальцами теплое мокрое месиво и тоже заорал. Ваш брат тем временем задернул полог, зажег свет — и жуткая картина открылась нашему взору. Сапоги убитого фельдфебеля, подошвами к нам, голенищами наружу, торчали из-под полога, унтер-офицеру оторвало ногу выше колена, а сигареты наши по-прежнему дымились, причем свою Ваш брат держал во рту.

— Перевяжи его, — сказал он мне, бледный как смерть. А сам вышел.

Обстрел между тем продолжался. Мы быстро научились различать голоса русских минометов и жуткий утробный вой их тяжелых артиллерийских мин, что несли в себе смерть и разрушение. Земля вокруг ходила ходуном, а я все еще перевязывал скулящего унтер-офицера — какие-то навыки перевязки смутно мне помнились. Недолго думая я сорвал с себя подтяжки — днем позже я сорвал бы их с него, ему-то они все равно уже без надобности, тогда как мне отсутствие подтяжек потом иной раз едва не стоило жизни, — что есть силы перетянул культю, очистил, насколько возможно, кровоточащую рану от грязи и обрывков тряпья. Когда я захотел выйти из блиндажа, раненый вцепился в меня мертвой хваткой, но я, твердо вознамерившись принять смерть под открытым небом, безжалостно его отпихнул.

Снаружи темноту рвали в клочья красные вспышки разрывов, казалось, пламя изрыгается прямо из земли, чтобы тут же погаснуть в черной тьме ночи.

Короткий этот обстрел показался мне вечностью. Я был уверен — весь наш Восточный фронт опрокинут, противник начал какое-то невероятное наступление. В действительности все продолжалось — Ваш

брат заметил по часам — семь минут и обошлось относительно безобидно. Рота потеряла четырех человек убитыми и семь ранеными.

Все мы едва держались на ногах от усталости: недельные мытарства в эшелоне, марш-бросок, самолет, тряские грузовики, а теперь еще и первое, совсем нешуточное боевое крещение. Но нам еще только предстояло узнать, что сна больше не будет вообще. Разумеется, бывали часы, когда ты просто куда-то проваливаешься, спишь как убитый, покуда тебя вдруг не растолкают — и снова на пост или связным к взводному командному пункту...

В первые ночи — днем-то нам за позиции вообще шагу ступить не давали — я постоянно терял ориентацию. Лежал, распластавшись на земле в кромешной тьме, и ждал, пока кто-нибудь не запустит ракету, в свете которой я смогу наконец различить хоть какие-то приметы и понять, куда мне ползти — вперед, назад или в сторону. Иногда после этого, стоило мне начать свои поползновения, я вдруг ощущал в звенящей тишине вокруг нечто странно зловещее и не поддающееся описанию, какое-то незримое и неслышимое, но физически ощутимое напряжение — близость противника. Тогда я понимал, что меня занесло совсем близко к русским окопам, и часто хриплый шепот неподалеку, чей-то оклик или пугающе чужой и чуждый смех подтверждали правильность моих предположений.

О, этот страх перед русским пленом! Только он не дал войне в России закончиться уже в сорок втором. Разве можно себе вообразить, чтобы наши солдаты в тех же нечеловеческих условиях, при том же бездарном командовании столько же лет сопротивлялись бы американцам или англичанам?

Мы оставались на этих позициях неделю.

X

Атака противника, ожидавшаяся наутро, последовала только к вечеру. И произошло во время этой атаки нечто такое, во что я ни секунды не верил: мы ее отбили.

С того мгновения, когда в ста метрах от себя, наяву и во плоти, я узрел первые бесформенные фигурки в каком-то теплом, стеганом зимнем тряпье, — с этого мгновения я с трубкой в зубах стоял у задней стенки окопа, рукой опершись о его бортик, чтобы легче было выпрыгнуть, — словом, пребывая в полной боевой готовности немедленно драпать. Ваш брат стоял тут же, рядом, был совершенно спокоен и отдавал команды, которые нам следовало передавать дальше. То и дело волны неприятельского огня прижимали нас к земле, а когда можно было снова поднять голову, в глазах у всех читался только один панический вопрос: “Они уже здесь?”

Иногда я оглядывался назад, дабы убедиться, не отрезан ли путь к отступлению, памятуя совет одного пожилого вояки, который между двумя глотками шнапса из фляжки успел мне буркнуть:

— В этой клятой войне, главное, парень, чтобы в тылу у тебя всегда было чисто.

Русские между тем подбирались все ближе, хотя шквальный огонь наших пулеметов все чаще принуждал их залегать, серый воздух, густой и стылый, уже полнился криками и стонами раненых. Сзади нас поддерживала тяжелая артиллерия, соседние роты тоже перенесли огонь сво-

их орудий на наш участок обороны. И все же остановить этот неудержимо накатывающий поток казалось делом совершенно безнадежным, когда Ваш брат внезапно велел передать команду "Приготовиться к контратаке!". Едва он отдал эту команду, как мощнейший залп русской тяжелой артиллерии загнал нас в укрытия, и я, сжавшись в комочек, успел подумать: "Все, теперь не выскочить, а сейчас нагрянут русские!" Но в этот самый миг звонкий голос Вашего брата выкрикнул:

— Вперед, в атаку!

Он выскочил из окопа первым, каким-то неистовым, диким жестом и повторным криком увлекая за собой всю роту, и мы действительно бросились вперед. Русские на миг опешили, но этого мига оказалось достаточно: сперва побежали одиночки, потом почти все, мы слышали визгливые крики и брань их командиров, а остальные уже стояли перед нами, вскинув руки вверх. Мы захватили двадцать пленных, первые живые русские, которых мы видели вблизи, и в глазах у них читалось только одно — страх.

Неделю спустя уже к вечеру я впервые за долгое время снова оказался с Вашим братом наедине. Мы сидели в блиндаже, пили шнапс, курили сигареты и с нетерпением дожидались подносчиков пищи. Санитар тоже с ними ушел, чтобы пополнить запас лекарств, бинтов и противостолбнячных ампул, особенно нужных на передовой, поскольку раненых за день полагалось вплоть до наступления сумерек оставлять в окопах и только потом выносить. Ваш брат сидел у телефона, а я устроился у него в ногах на соломе, которая служила нам подстилкой.

— Весь секрет атаки в том, — произнес он вдруг после долгого молчания, — чтобы представить себе страх противника. Вообрази себе: ты сидишь в яме, а на тебя с дикими криками бегут вооруженные люди. Да тут с ума сойдешь от страха, ты сам во вторник видел, мы же совсем растерялись. Надо принудить противника к пассивной обороне, и ему конец.

— Раз уж ты владеешь секретом победы, — сказал я ему, — продай его подороже, большим человеком станешь.

Он рассмеялся, но лишь на миг, потом лицо его опять посерьезнело, и он взял себе новую сигарету.

— Самое страшное, что я даже не знаю, кому здесь желать победы...

В эту секунду с ликующим воплем к нам ворвался санитар:

— Нас сменяют, господин старший лейтенант, нас сменяют!

На самом деле линию фронта, оборона которого требовала все новых и новых бессмысленных жертв, решено было выровнять, дабы сберечь на несколько дней несколько частей, которые потом для укрепления этой же самой выровненной линии предполагалось снова бросить на передовую. И все равно это было счастье — хоть ненадолго снова оказаться в тылу. Подносчики еды вернулись уже с пустыми руками — поедим спокойно после отхода. В полночь, когда тьма сгустилась до черноты, мы отступили. Скорбное это было шествие: неделю назад, когда мы занимали позиции, нас было почти восемьдесят, сейчас оставалось сорок восемь.

В темноте трудно было различить, та же ли самая это деревня, но когда мы в нее вошли, я радовался жизни, будто родился заново.

У Вашего брата еще оставались дела. Надо было позаботиться о размещении солдат, проследить за раздачей пищи, объявить на следующий день отдых, а также уладить в ротной канцелярии кучу нудных бюрокра-

тических формальностей. Мне он поручил тем временем согреть побольше воды, чтобы нам как следует помыться.

Мы расквартировались в небогатой избе, подслеповатые окна которой изнутри были забиты картоном и вдобавок завешаны одеялами. Я зажег четыре осветительных патрона, по одному в каждом углу, и щедрой рукой подбросил в печку хороших дров. Был конец октября, почти ноябрь. Сна не было ни в одном глазу, хотя час назад я, готовый, казалось, заснуть где угодно, с ног валился от усталости. Медленно, с наслаждением опустошил я свой котелок, напоследок сдобрил сытный, густой фасолевый суп несколькими приличными рюмками шнапса и из двух своих трубок ту, что побольше, набил до такой степени, что табак свисал с краев лохмами. Глубоко и с наслаждением затягиваясь, я время от времени прихлебывал шнапс и глазел на трескучие языки пляшущего в печи пламени. Иногда я опускал руку в ведро, чтобы понять, насколько нагрелась вода. И с каждой новой затяжкой впитывал в себя новую порцию чего-то несказанно упоительного, чего-то такого, что даже при мысли об убитых и раненых все равно оставалось прекрасным, — я вбирал в себя жизнь.

Когда я счел, что вода нагрелась достаточно, я тщательно отобрал белье из своего узла, который до того успел взять в обозе, выбрал и красивую штатскую рубашку, светло-голубую, с нормальным человеческим воротом, и первым делом долго ее нюхал: она еще пахла мылом Кадетты.

Медленно, с какой-то пьяной вдумчивостью я стал мыться. Вообразите себе: вы живете на земле и ежедневно получаете столь скудное (а может, и столь обильное, это как посмотреть) количество жидкости, что его едва хватает для утоления элементарной жажды; ни разу у вас нет возможности вымыть хотя бы кончики пальцев — при том, что по земле вы ползаете беспрерывно и буквально заросли грязью. По счастью, поскольку все мы были новенькие, судьба уберегла нас хотя бы от вшей — деморализующее это насекомое немало способствовало нашему поражению в войне. Позднее мне еще предстояло свести с ним знакомство.

Я мылся до того долго, что новое ведро, поставленное мною на печку, тоже успело согреться, потом я брился, потом надевал свежее белье и носки. Я был на верху блаженства — никогда еще мне так сладко не пилось, никогда так вкусно не курилось! Около двух ночи вернулся Ваш брат. Он устало мне кивнул, уселся на скамью возле печки, снял фуражку и с неожиданной злостью швырнул ее прямо на пол куда-то в середину горницы.

Пока он ел, я выставил ведро с водой на небольшую деревянную скамеечку, пристроил рядом мыло и полотенце, разложил и белье, которое достал из его рюкзака.

Потом я улегся на кровать и просто наблюдал за ним. Когда он начал бриться, я сказал:

— Кстати, ты мне еще должен разгадать одну загадку, помнишь, в Абвиле на вокзале... Насчет бонвивана...

— Ах да, — сказал он со смешком, — это было две недели назад и как будто в другой жизни.

— Это и было в другой жизни, — мрачно заметил я.

— Может, ты и прав. А загадку я обязательно разгадаю, может, даже еще сегодня.

Дверь отворилась, и вошел Шнекер. Нас, впрочем, не столько удивил сам его приход, сколько новехонький орден у него на груди.

Я вскочил и оказал ему требуемые уставом почести. Он отмахнулся и милостиво разрешил:

— Лежите, лежите...

Ваш брат молча поздоровался с ним кивком головы и так же молча предложил ему табуретку.

Шнекер уселся на табуретку верхом и закурил, наблюдая, как Ваш брат бреется.

Сейчас у меня было вдоволь времени на него насмотреться — он сидел, повернувшись ко мне боком. Было в нем какое-то необычное спокойствие, почти монументальность, и только присмотревшись поближе, я понял, что он в стельку пьян. Он был на той стадии опьянения, когда человек преисполнен свинцовой уверенности в себе и держится на ногах только благодаря этой вот тупой, свинцовой тяжести. Едва он заговорил, предположения мои подтвердились.

— Дорогой мой, — произнес он каким-то сдавленным, заплывшим голосом. — Дорогой мой, миленькие, однако, ты выкидываешь у нас коленца, а?

— Что? — переспросил Ваш брат. Покончив с бритьем и вытерев лицо, он как раз натягивал чистую сорочку.

— Миленькие, говорю, коленца ты у нас выкидываешь. Об отдыхе мне лично ничего не известно, а ты, оказывается, просто взял и распорядился.

Он рассмеялся. Ваш брат тоже ответил со смехом:

— Вот и хорошо, раз тебе ничего не известно.

— Зато теперь мне это известно, — сказал капитан с нажимом и резко встал. — И имей в виду, это не шутки: завтра с утра люди должны привести в порядок оружие и обмундирование, а уже послезавтра нас в составе семнадцатой, это южнее, снова бросают на передовую, понятно тебе? — Теперь он почти кричал.

— Очень даже понятно, но сперва я дам людям отоспаться. А вообще... — Тут он запнулся, медленно завязал подворотничок, провел рукой по волосам, внимательно посмотрел на Шнекера и промолчал.

— Что вообще? — переспросил Шнекер.

— А вообще, — спокойно продолжал Ваш брат, — было бы куда приятнее хоть разок повидать тебя на прошлой неделе рядом со мной в окопах.

— Что? — В лице капитана вспыхнуло что-то выжидательно-хищное; он покосился на меня, но я лежал с закрытыми глазами, будто сплю. Оба говорили теперь вполголоса.

— Было бы, говорю, куда приятнее хоть разок повидать тебя на прошлой неделе рядом со мной в окопах. Людей бы это очень поддержало. Да и меня, честно говоря. Это ужасно — все время чувствовать, что ты совсем один. Приказы — это ведь, в конце концов, только бумага.

— Бумага? — снова переспросил Шнекер; лицо у него теперь было почти безумное, да и голос вдруг сел, он почти сипел.

— Да, бумага! — вдруг вскричал Ваш брат так громко, что я подскочил на койке уже без всякого притворства. — Бумага! Бумага! Материя еще более ничтожная, чем эти позолоченные жестянки на твоей геройской груди!

— Ого! — воскликнул капитан и снова рассмеялся. Потом внезапно вытянулся по стойке "смирно". — Имею вам сообщить, старший лейтенант Шеллинг, — отчеканил он, — что вы награждены Железными крестами первого и второго класса, а также серебряным значком пехотинца "За боевую доблесть". Чертовски хорошо дрались. Через четверть часа офицеры батальона устраивают скромную вечеринку в вашу, а также — тут он почему-то с поклоном указал на себя, — а также и в мою честь.

Он надел фуражку и, сохраняя неестественную прямоту осанки, вышел. Словно его здесь и не было. Ваш брат, продолжая чистить пилкой ногти и не выпуская сигарету изо рта, только тихо присвистнул. Я встал и загасил два патрона, фитили в которых начали утопать и грозили пожаром.

— Что-то мне спать расхотелось. Пожалуй, сходим-ка мы на вечеринку.

— Мы? — удивленно переспросил я.

— Конечно, ты пойдешь со мной, тебе тоже полагается орден, а то и два.

— Мне? — вскричал я.

— Разумеется, — он засмеялся. — К тому же там будут женщины. Очень уж мне хочется снова на женщину взглянуть.

— Бабы? — вскричал я.

— Может, и бабы, — снова засмеялся он. — Не знаю, какой разряд здесь представлен. Но в любом случае это женщины, и с одной из них я, возможно, захочу выпить бокал вина.

— Бог ты мой!— снова вскричал я. — Женщины!

Он встал и накинул шинель. Я надел пилотку и нырнул в свой теплый маскировочный халат.

Мы вместе вышли в холодную ночь; было тихо, какой-то удивительный, почти мирный покой расстилался под темным шатром неба. Штаб размещался в довольно солидном здании — нечто среднее между поместьем и маленьким дворцом, наверно, до войны тут было правление колхоза.

Часовой пропустил нас без звука, хоть мы и не знали пароля. Мы вошли в темный вестибюль, в одной из комнат вспугнули заспанного телефониста, который отправил нас на третий этаж. Пьяное пение оглашало гулкие своды, еще хранившие запах чужой, русской жизни. Где-то впереди распахнулась дверь, волна света и шума вырвалась в коридор и тут же снова померкла, а еще через пару метров мы различили пошатывающуюся фигуру, которая неуверенным шагом двигалась к окну, явно намереваясь из него блевать.

— Пистер! — воскликнул Ваш брат.

Фигура оглянулась, очевидно, узнала Вашего брата и вяло махнула рукой. Мы подошли. Пистер стоял, опершись на подоконник, и тяжело стонал. Это был адъютант, молодой лейтенантик, симпатичный и неословоохотливый.

Едва мы подошли, он сказал:

— Шеллинг, я больше не могу. Он заставляет меня пить еще и еще, а я просто не могу больше, но каждому, кто не пьет, он грозит пистолетом. Я больше не могу.

Он перегнулся через подоконник. Я проследил за его взглядом и увидел внизу темный, тихий сад, из которого, похоже, даже вились по стене виноградные лозы.

— Где ваша комната? — спросил Ваш брат.

— Это зачем?

— Пойдемте.

Ваш брат подхватил Пистера под руку и энергично потащил вперед по длинному коридору, а всякий раз, когда тот пытался артачиться, он чувствительно его встряхивал и тащил дальше.

— Посвети, — сказал он мне.

Я достал спички, зажег одну, мы вошли в круг света от ее неверного, зыбкого пламени, я увидел дверь, распахнул ее и первым делом кинулся к окну задергивать полог затемнения.

Комната казалась очень голой, на полу лежал рюкзак, возле узкой деревянной кровати стоял офицерский баул, на нем начатое письмо и свеча, приплавленная к баулу парафином. На стене — осколок зеркала.

Мы уложили Пистера в кровать, вид у него был неважный, лицо желтое.

— Сейчас будет катастрофа, — пробормотал он с закрывающимися глазами. — У него выпивка кончилась, а казначей больше не выставляет. Полная катастрофа, все ждут вас...

Мы снова вышли в коридор. Все это время я почти со страхом прислушивался, не раздастся ли где-нибудь женский голос, однако и теперь все по-прежнему тонуло в идиотском реве пьяных мужских глоток.

Но едва мы распахнули дверь, стало тихо. Картина нам открылась красочная. Шнекер, растопырив ноги, сидел на столе, из расстегнутой гимнастерки виднелась жирная, густо заросшая черным волосом грудь. Подле него стоял офицер-артиллерист, горлышком вниз держа над его раскрытой пастью уже пустую бутылку коньяка. Через какое-то время оба возобновили свой нечеловеческий, звериный рев.

В углу стоял батальонный врач, пожилой, штатского вида штабной медик, а рядом с ним молодая русская женщина, с пышными белокурыми волосами и чуть красноватым, почти деревенским лицом. На вид почти девушка. Я догадался, что это любовница врача, тоже врачиха, мне не раз о ней рассказывали в батальоне, когда я ходил за едой. Говорили, она замечательно делает перевязки и очень бережно относится к раненым. Сцену у стола она наблюдала с совершенно непроницаемым, холодным любопытством — в отличие от своего любовника, который, схватив ее под руку, следил за происходящим с явным испугом.

— Добрый вечер, господа, — сказал Ваш брат.

Шнекер в ответ издал какой-то хриплый вопль, попытался спрыгнуть со стола, но, поскользнувшись, полетел головой вперед прямо на нас и непременно бы расшибся, не подхвати мы его с двух сторон. Артиллерист, хрястнув пустую бутылку об пол, смотрел на нас с идиотским торжеством в глазах.

— Добрый вечер, — сказал Ваш брат еще раз, с улыбкой поклонившись в сторону русской; та кивнула и улыбнулась нам в ответ.

Мы помогли Шнекеру слезть со стола, на который он опять успел взгромоздиться.

— Ни капли не осталось, — орал он. — Черт возьми, ни капли больше, Карлуша, друг мой бесценный, с самого донышка последнее мне выцедил.

При этом он признательно тискал артиллериста за плечо, а тот продолжал бессмысленно ржать.

— Нечего сказать, хорош гостеприимный хозяин, — усмехнулся Ваш брат. — К моему приходу все уже выпито.

Шнекер тупо на него уставился. Эти заплывшие, налитые кровью глаза были отвратительны.

Все это время я не сводил глаз с русской; один вид ее нежной, розоватой кожи наполнял меня таким пронзительным, почти болезненным счастьем, что теперь, когда она подошла ближе, я чуть не задрожал. Не упуская Шнекера из виду, твердой рукой ведя за собой трусоватого эскулапа-штабиста, она легким, неслышным шагом двинулась к двери.

Шнекер между тем вел какой-то невнятный, больше смахивающий на мычание диалог с артиллеристом, но едва русская дошла до двери — пропуская ее, я посторонился, и меня обдало волной ее терпкой, освежающей чистоты, — он молниеносно обернулся и рявкнул раззявленным от смеха ртом:

— Стой, дитя мое! Еще не время! Ты со мной еще не выпила!

Врач-штабист выпустил руку женщины и отступил назад.

— Так у тебя же не осталось ничего, — сказала русская, и в ее звонком голосе послышался металл.

— Сейчас будет! — не переставая хохотать, Шнекер обежал стол, шустро метнулся к двери, распахнул ее и истошным голосом заорал:

— Тревога! Тревога! Тревога!

Мы сперва просто остолбенели, даже артиллерист от неожиданности, казалось, слегка протрезвел. Шнекер же, вернувшись из коридора, радостно воскликнул:

— Теперь-то он обязательно встанет, этот трутень, и мы получим свой шнапс!

Ваш брат глубоко вздохнул, набирая в грудь побольше воздуха, и бросился на Шнекера, мгновенно вытолкнув его обратно в темный коридор. Я кинулся вслед за ними, русская закричала, врач трясущимися губами лепетал "Господи! Господи!", в то время как артиллерист, тупо бормоча "Карлуша! Карлуша!", все еще тщетно пытался обогнуть стол.

В коридоре Шнекер сцепился с Вашим братом не на шутку — парень он был крепкий, а во хмелю, похоже, силы его удваивались. Я подскочил к Шнекеру, обхватил сзади и потащил поближе к окну, где вне себя от ярости принялся дубасить вслепую. Было слышно, как в темноте жалкой жестянкой звякнул о плитки пола его новый орден. Шнекер стонал, плевался, кусался и всякий раз, как только ему удавалось высвободить рот, который Ваш брат пытался ему зажать, орал как резаный:

— Тревога! Тревога!

Снизу прибежал посыльный — узнать, что случилась. Ваш брат крикнул ему:

— Ничего, он просто напился!

Мы уже были довольно близко к окну, но тут из-за двери выскочил артиллерист, накинулся на Вашего брата сзади, а по коридору уже трусил штабной фельдфебель с криками:

— Что такое? Что случилось?

— Тревога! — орал Шнекер. — Тревога!

— Ничего! — крикнул Ваш брат. — Он просто напился.

Теперь он ухватил Шнекера за глотку, а я тем временем успел опрокинуть артиллериста подножкой и не давал ему подняться.

Шнекера совсем оттеснили к окну, он стонал и, похоже, был избит уже до крови.

— В состоянии ты, скотина, понять, — сказал ему Ваш брат, — что последним ста двадцати бойцам твоего батальона хоть когда-то пару часов поспать надо?

Шнекер, которого никто теперь не держал, завопил громче прежнего:

— Тревога! Я объявляю тревогу!

А когда Ваш брат, уже не сдерживаясь, со всего маха врезал ему кулаком в лицо, Шнекер мгновенно выдернул из кобуры пистолет, приставил его Вашему брату к виску и выстрелил.

Ваш брат погиб на месте, тут же, в коридоре, он замертво упал на тупо скулящего артиллериста. Шнекер, бледный как смерть, все еще стоял с пистолетом в руке. Было невероятно тихо, и только я хотел на него броситься, как откуда-то из-за дома ухнула пушка первого русского танка. Мы в оторопи смотрели друг на друга. Невероятный грохот, казалось, разрывает небо, Шнекер метнулся по коридору, я кинулся за ним, но сперва заскочил в комнату Пистера, гаркнул ему на ухо: "Русские! Сматываемся!", а уж после очертя голову ринулся вниз по лестнице, потом в нижний коридор и сиганул из окошка в сад.

Даже не знаю, как мне удалось ноги унести, издалека я видел здание штаба, живописно охваченное ярким пламенем. Потом я долго бежал без оглядки, пока не прибился к другому полку и снова не угодил на передовую. Из части нашей не уцелел никто. Русские вошли в деревеньку превосходящими силами и сразу с трех сторон. Но хотя я никогда больше Шнекера не встречал, даже не слышал о нем ни разу, почему-то было у меня чувство, что уж этот-то сумел выкрутиться. Такие не умирают. Я даже предполагал, что он хоть что-нибудь расскажет Вашей матери о смерти Вашего брата. Но он, конечно же, ничего такого не сделал — он же вообще тут ни при чем. Просто живет себе, и все. Я только в последние дни об этом узнал.

Вверяю правду Вам, она теперь Ваша...

[224]
ИЛ 1/2001

Роберт Льюис Стивенсон

Стихи

Перевод с английского и вступление Евгении Славороссовой

Дар юности

"Школу Стивенсона" проходят с детства. Первой встречей с поэзией для маленьких англичан давно стал его "Детский цветник стихов", а любимой книгой отрочества во всем мире — "Остров сокровищ". Возможно, это одна из причин его необыкновенно высокой популярности. Имя Стивенсона упоминается на страницах самых разных изданий — в том или ином контексте — постоянно, а не только в связи с юбилейными торжествами.

"Остров сокровищ", родившийся из нарисованной вместе с пасынком карты, и "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", явившаяся во сне и породившая множество кинематографических версий, - наиболее известные произведения Стивенсона. Чистота юности и соблазнительная притягательность зла — эти психологические и моральные контрасты открыл ему Достоевский, который произвел на него глубочайшее впечатление еще в юности. Но не менее замечательны романы "Похищенный", "Владетель Баллантре" и незавершенный "Уир Гермистон", малая проза, поэзия и эссеистика. Непревзойденный стилист и мастер литературной игры, он творил под девизом "Словом я живу". Честертон, считавший его великим писателем, отмечал: "Скрупулезная точность, с которой он подбирает слова, напоминает выверенность математической формулы". Стивенсон — основатель и теоретик такого известного направления в литературе, как неоромантизм. Остро ощущая противоречие между реальностью и мечтой, он искал в обычном необычайное, героя в простом человеке. Путешествия, приключения, опасности нужны для того, чтобы придать жизни яркость и полноту, прорвав монотонность будней, увидеть тайну и красоту мира. Писатель утверждал мужественный оптимизм и веру в непреходящую ценность добра. Юношескую романтическую устремленность к прекрасному Генри Джеймс считал главной страстью и отличительной чертой Стивенсона. Рассуждая о нравственной стороне литературной профессии, Стивенсон подчеркивал, что пишущим необходимо стремиться к правде жизни, чтоб человек "не считал себя ангелом или чудовищем; не принимал окружающий мир за ад; не позволял себе воображать, будто все права принадлежат его касте или его отечеству".

Стивенсон родился 13 ноября 1850 года в столице Шотландии, "городе ветров" Эдинбурге. По материнской линии он происходил из старинного шотландского рода Бэлфуров. Дед и отец его были известными морскими инженерами — строителями маяков; другой дед был пастором. Загадочные голоса моря, трагические шотландские легенды и высокие нравственные принципы очень рано вошли в его душу. Под плащом вольного бунтаря скрывалась взыскательная совесть моралиста. Детство этого искателя приключений было омрачено тяжелой болезнью легких, которая преследовала его всю жизнь. Рядом с ним всегда была открыта "смертельная дверь", по его собственному выражению. Пленник "одеяльной страны" отправлялся в путешествия по волнам своего неукротимого воображения. Но "романтика судьбы" (определение Олдингтона) повела этого хрупкого и бесстрашного мечтателя, прозванного друзьями "эльфом", в дальние странствия, в экзотические края, где ему было легче дышать. "Сослан на юг" назвал он один из своих очерков. Этот человек-легенда, проживший всего 44 года, и из своей биографии сумел создать захватывающий роман. Избороздив на парусном "Серебряном корабле" южные моря, он навеки обрел свой "остров сокровищ" на Самоа в Тихом океане. Благодаря Стивенсону этот далекий остров стал духовным цент-

© Е. Славороссова. Перевод, вступление, 2001

ром и местом литературного паломничества. Он умер там "слишком молодым и слишком любимым" (слова одного из его почитателей). Туситала — рассказчик историй, так нарекли его преданные самоанцы, похоронен ими на вершине горы Веа, как он и предсказывал в своем поэтическом "Реквиеме". Строки "Реквиема" высечены на надгробной плите.

Великий аргентинец Хорхе Луис Борхес, который признавался, что любит "песочные часы, географические карты, издания VIII века, этимологические штудии, вкус кофе и прозу Стивенсона", в стихотворении со знаменательным названием "Праведники" писал:

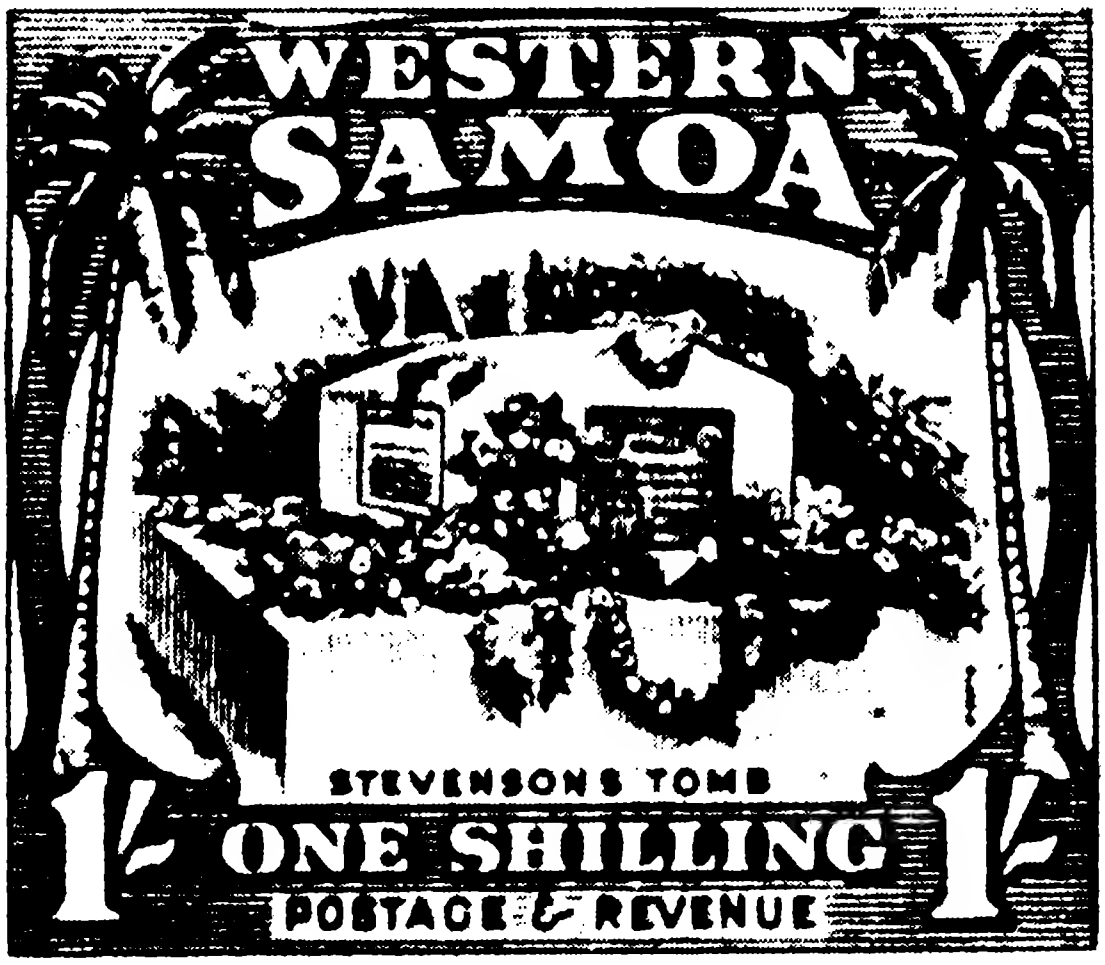
> Тот, кто возделывает свой сад, как завещал Вольтер.
> Кто благодарит эту землю за музыку...
> Тот, кто гладит спящую кошку.
> Кто искупает или пытается искупить причиненное зло.
> Кто благодарит эту землю за Стивенсона.
> Кто предпочтет правоту другого, —
> Вот кто, каждый поодиночке, спасает мир.[1]

Поэзия Стивенсона читаема у нас меньше, чем его проза, хотя в 20-е годы детские его стихи переводили Брюсов и Ходасевич, Балтрушайтис, Бальмонт и Мандельштам, наибольшее признание получила баллада "Вересковый мед" в блестящем переводе Маршака. Позднее переводили его А. Сергеев, И. Ивановский и другие. Стивенсоном написано несколько поэтических книг: "Детский цветник стихов", "Подлесок", "Баллады", "Песни странствий" и много стихов, не вошедших в сборники. "Детский цветник стихов" был создан им во время обострения болезни, на грани жизни и смерти. Стивенсон лежал в темной комнате, и ему было запрещено двигаться и говорить. Из жуткой тьмы безмолвия душа его устремляется в райский сад детства, где человек еще невинен, прекрасен и свободен. Олдингтон считал, что Стивенсон пытался писать так, как писал бы стихи ребенок, но только ребенок, читавший Мильтона и Блейка. Детские фантазии и сны с визионерской отчетливостью оживают в этих музыкальных стихах. Говоря о виртуозном мастерстве поэта, Олдингтон подчеркивал, что "этот сборник сугубо личных стихотворений" смог пережить не только все причудливые капризы литературной моды, но и глобальные военные и политические потрясения. Стивенсон одним из первых обратился в своей лирической поэзии к миру детства и провозгласил его величайшую ценность. Эта небольшая книжка, полная внутреннего света, оказала неоценимое влияние на все пространство англоязычной литературы. Даже создатель легендарного ансамбля "Битлз" Джон Леннон говорил, что лучшие его песни навеяны обаянием стивенсоновской поэзии. Любовь и смерть, дух и плоть, взлеты и падения души, разговор с Богом на краю бытия — основные темы его лирики. Жизнь для него — встреча и прощание с любовью, радость — подвижнический труд. Духовно близкий ему Честертон утверждал, что, наполненный "радостью ребенка или мистика", "он открыл новую аскезу веселья, куда более трудную, чем аскеза отчаянья".

В чем же заключена тайна магического воздействия Стивенсона? Создать ад на земле гораздо легче, чем рай, и описание ада гораздо убедительнее описания рая. Но юный человек не может жить без образа рая в своей душе, даже если живет в аду. Стивенсон, познавший с детства ад тяжелой болезни, еще в конце XIX века в своем романтическом творчестве создал этот образ рая, живой и яркий,

1. Перевод Б. Дубина.

как видение пророка. Ад XX века: ад войн, революций, катастроф и болезненный ад подсознания — слишком тяжелое бремя для юной души. И чтобы выжить, душе нужно окунуться в бескорыстный мир игры и мечты, где по невероятной синеве моря, подобно ангелам, скользят белые паруса. И Стивенсон дарит нам райский сад поэзии — в детстве; рыцарский бой за справедливость — в отрочестве; фехтование романтической иронией в лабиринтах жизни — в юности; мудрость детской простоты — в зрелости. Честертон, назвавший романтику душой жизни, был уверен: "Стивенсон победит не потому, что его многие любят, не потому, что его читает толпа и ценят эстеты. Он победит потому, что он прав".



Марка с изображением могилы Стивенсона, выпущена на Самоа

Путешествие

Я когда-нибудь уйду
В мир, где скачут какаду,
Где под куполом небес
Первобытный дремлет лес,
Там, где, слушая муссон,
Строит лодку Робинзон.
Я впитать в себя готов
Пыл восточных городов,
Где, затмив небесный цвет,
Блещет синий минарет,
Где раскинул свой товар
Пестрым стойбищем базар.
Я когда-нибудь взгляну
На Китайскую страну
И увижу мир иной
За Великою стеной.

Я пойду ловить в леса
Обезьяньи голоса,
Ведь кокосы зреют там,

А вожди стучат в тамтам. –
Я хочу приплыть на Нил,
Где вздыхает крокодил,
А фламинго вдалеке
Розовеет в тростнике.
Не желаю детских игр –
Я хочу туда, где тигр,
Растянув в улыбке рот,
В жарких джунглях жертву ждет.

Я хочу уйти туда,
Где в пустыне города,
Странные, как будто сны,
Пылью лет занесены,
Где не слышен смех и свист,
Где и принц, и трубочист
Стали взрослыми давно,
Где ночами так темно,
Нет ни вспышек, ни огней,
Словно в комнате моей.
Я залезу на диван –
И верблюжий караван
Повезет меня во мгле
К неизвестной той земле.
Я увижу в полусне
Тени празднеств на стене,
И в окно мое влетят
Смех и песни негритят.

Армии в огне

Зажглись фонари, как во тьме светляки,
Чуть слышно стучат за окном каблуки.
И сумраком синим безмолвно объят
Затихший мой дом и задумчивый сад.

Но мрак отступает, и вечер согрет –
Огонь все окрасил в свой яростный цвет.
Тревожно дрожа, он в камине возник
И вдруг замерцал на названиях книг.

Я город горящий увидел в огне.
(А может быть, это привиделось мне?)
Две армии бьются у башен его...
Но вот все погасло и нет ничего.

Но угли потухшие вспыхнут потом –
И город пылает, как чудный фантом,
И в этой горячей и алой стране
Вновь армии бьются в смертельной войне.

Кто видел горящие те города?
И армии те маршируют... куда?
О, сколько миров обратилось в золу,
Пока у огня я сидел на полу!

К М*инни*

Ты помнишь, Минни, или нет
Обоев в детской нежный цвет
В вечерней дымке голубой,
Ведь там играли мы с тобой,
И я — не смейся надо мной —
Мечтал, что станешь мне женой.
Припомни, Минни, те слова,
Дни именин и Рождества,
Шептанье перед сном.
Ты помнишь, много лет назад
Дышал и плакал ночью сад
В июне за окном.
Для милой Минни столько раз
Я небывалый вел рассказ
О битвах в дальней стороне,
О Севастополе в огне,
Про флибустьерский флот...

Тонули из коры суда,
Тревожно блеяли стада,
А дети, прибежав сюда,
Шли через речку вброд.
Все это помнится с трудом.
Как изменился старый дом!
Теперь средь нашего двора
Шумит чужая детвора.
Река сверкает как стекло.
А детство? Нет его, прошло.
Поток меж мельничных колес
Так далеко его унес.
Но, Минни, нам издалека
Звенят два детских голоска,
Два голоска из серебра
Звучат, как прежде, как вчера:
“Далёко ль Вавилон?”[1]

Ах, дорогая, если б знать,
Где чудный Вавилон искать!
Где ты? Где я? Где он?
“Пусть нас уносит свечки свет!” —

1. Английская детская песенка. (*Прим. перев.*)

Мне слышится опять.
С тобой вдвоем препятствий нет...
Но время через столько лет
Не повернется вспять!
Не ранее, чем час пробьет
И хлынет свет слепя,
Судьба нас в детство приведет,
И встречу там — тебя.

Тебе, далекая моя,
Я шлю привет через моря,
Через пустыню лет.
Нашли так много дней назад
Мы в шкафчике индийском клад:
Нить бусин и браслет;
Перо павлинье было там,
Божок из бронзы, пестрый хлам.
Но душу наполнял тоской
Внутри ракушки шум морской.
Ты помнишь, Минни, у стола
В гостиной Индия была?
И знал я, что когда-нибудь
Мы в Вавилон отыщем путь!
Но свет тех давних небылиц,
Сиянье наших детских лиц,
Моя мечта, глаза твои —
Вот все сокровища мои.
О, Минни, сквозь года и дни
Свою мне руку протяни,
Как будто стали мы детьми,
И строки нежные прими.

Небесный хирург

Когда желания умрут
И радости великий труд
Мне станет вдруг не по плечу
И я угрюмо замолчу,
Когда сиянье детских глаз
Меня не тронет в первый раз,
А плеск дождя и блеск огня
Не будут волновать меня —
О Боже, счастья острие
Вонзи в сознание мое.
Но если не проснется дух,
Не будь к моим моленьям глух
И скальпель смертной боли Ты
Вгони мне в сердце с высоты!

* * *

"Мой дом", — скажу. Но стая голубей
Считает крышу вотчиной своей,
Так влюблены, что им не до меня —
Весь день в трубе каминной воркотня.
И кошка — спеси царственной полна
Под шкуркой золотистого руна —
На кресло мое влезет, как на трон,
Чтоб озирать владенья с трех сторон.
И пес со мною по-хозяйски строг —
Захочет и не пустит на порог.
Садовник называет сад своим.
И я давно уже поверил им:
В свой дом вхожу я робко, словно гость,
Корону скромно вешая на гвоздь.

Романс

Я сделать обещаю тебе, мой друг, всерьез
Цветные украшенья из радуг, звезд и гроз.
Построить я сумею нам замок на двоих
Из дней лесных зеленых и синих дней морских.
А спальню я устрою на берегу реки,
Где зацветет ракитник, зашепчут тростники,
Где ты омоешь тело, чтоб засиять красе,
В летучем летнем ливне, в сверкающей росе!
И музыкой чудесной покажутся в тиши
Тебе тогда все песни живой моей души,
А прямо от порога незримого дворца
Откроется дорога, которой нет конца.

К морю

Зачем тебе трудиться день и ночь,
Чтобы в песок каменья растолочь?
Бесплодно тратить летний свой досуг,
Волной беспечно водоросли рвать,
Могучей силой великаньих рук
Цветную гальку гладко шлифовать —
Для лилипутов сотни тысяч штук
Тех безделушек выточить с утра.
Труд этот вечный полон тяжких мук —
Вот так из камня, все забыв вокруг,
Китайский мастер режет кружева.
Но есть в любой работе Божьих слуг
Свой тайный смысл смиренья и добра,
Ведь скрыто в нас дыханье Божества.

***

Проделки эльфов и чертей,
Тиранов злобных торжество
На представленье для детей
Увидим мы на Рождество.

Лишь только кашлянет суфлер,
Как фея палочкой взмахнет:
На злых накинув нежный флер,
С них сбросит всех пороков гнет.

Вот так же ангелы с небес
На наш спектакль глядят скорбя,
Где все мы — в масках или без —
Сыграть пытаемся себя.

Но прежде чем опустит вниз
Свой занавес судьбы рука,
К нам выйдет Смерть из-за кулис,
Как королева фей, легка.

И прежде чем сгустится мгла,
Освободимся мы тогда
От добродетели и зла,
Молвы, и страха, и стыда,

Чтоб наконец любой из нас
Смог стать собой вне суеты
И проступили в смертный час
Души прекрасные черты.

Печальная перемена

Я слишком долго молод был,
Я жизнь вкусил сполна.
Но проступает седина,
Теряет песня пыл.

За прежний жар я заплатил
Тоскою и мольбой.
Я слишком долго молод был —
Не обойден судьбой.

Теперь я все права купил,
Жизнь обменяв на смерть,
С толпой идти и в хоре петь,
А против — нету сил.
Я знаю все, я все забыл...
Я слишком долго молод был.

Эмиль Мишель Чоран

Разлад

Фрагменты книги

Перевод с французского Н. Мавлевич

О беге времени на его краю

В творчестве — невыносимый кунктатор, в редком общении с другими — ревнивый, невротический говорун, в повседневном одиночестве — вечный голодарь и книгожор каких мало, Чоран зачитывался в основном историками и мистиками. Странно, но и в мистике, и в истории он искал одно — свободу от времени, от своего времени, от времени как такового. Переживанием временности этот "наполовину гностик, наполовину буддист" (так он себя аттестовал) глубже всего и мучился каждый день, причем еще с детской поры, когда реальность однажды вдруг улетучилась у него, пятилетнего, прямо на глазах. Так что проклятое сознание времени он всю жизнь приравнивал к грехопадению (одна из его книг, шестьдесят четвертого года, так и называлась "Грехопадение времени"), а метания собственной мысли помещал "между Утопией и Апокалипсисом".

Детство помянуто здесь неслучайно. Первые годы почти растительного существования в восточноевропейском захолустье, в глухой трансильванской деревушке Решинари и безлюдных горах вокруг, навсегда остались для Чорана воплощенным раем ("Я одной ногой в раю, как другие — в гробу", — признавался он в пятидесятые годы в "Записных книжках"). И кстати, там осталась не просто его блаженная и неповторимая, как у каждого, начальная пора — там осталась целая страна, лоскутная Австро-Венгрия, доживающая и уже пораженная гибелью империя, многонациональная и многоязыкая Атлантида, которая, точно так же на глазах, через несколько лет исчезла (с карт, но не из умов). Мало того: именно провинциала Чорана, человека окраины и крайности, уроженка Нового Света Сьюзен Сонтаг, и совершенно справедливо, называет "одним из последних печальников по всей уходящей Европе — европейскому страданию, европейской интеллектуальной отваге, европейской энергии, европейской усложненности". Граница, ставшая средоточием, обрыв как центр мира — такова метафора и проблема всей чорановской судьбы ("случай-предел" называл такие судьбы Морис Бланшо).

Отсюда, из этого отправного жизненного пункта, главного мысленного узла — всегдашнее и изматывающее стремление Чорана "быть несовременным как камень". Но отсюда же его самозабвенная любовь к биографиям ("Как у всяко-

© Édition Gallimard, 1979
© Н. Мавлевич. Перевод, 2001
© Б. Дубин. Вступление, 2001

Полностью книга "Разлад" войдет в сборник эссе Э.-М. Чорана, готовящийся к выпуску в 2001 г. в издательстве "Симпозиум", СПб.

го, кто не живет", — самокритично замечал он). Такими неразрешимыми противоречиями подрывалось изнутри и его понимание Истории; вот еще несколько строк из тех же "Записных книжек" (теперь за 1968 год): "Прочел об одном поэте прошлого века такие слова: 'Возмущенный уродством истории но обезоруженный интересом к ее механике...' В точности мой случай". Однако таков же и сам его невозможный, бешено-бесстрастный, саморазрушительный способ думать и писать. В литературе Чоран, начинавший в тридцатые с позднесимволистской лирической экзальтации (когда переводил на румынский стихи Малларме), в зрелые годы превыше всего ставил "сухую, как скелет, прозу, сведенную судорогой" (в "стилистах" он числится явно по недоразумению). Американский писатель Уильям Гасс сравнивал каждую чорановскую фразу с философскими парадоксами-головоломками Зенона Элейского, в основе которых, напомню, невозможность движения, существования, мысли. А вот как характеризует парализующую силу чорановского письма Сонтаг: "Афористический стиль для Чорана — принцип не столько реальности, сколько познания: любая хоть чего-нибудь стоящая мысль обречена тут же потерпеть поражение от другой, которую сама втайне породила... Обычное чорановское эссе можно описать в нескольких словах: это свод тем для размышления одновременно с подрывом любой приверженности к изложенным мыслям, не говоря уж о "действии" на их основе. Вырабатывая сложнейшие интеллектуальные формулировки для одного интеллектуального тупика за другим, Чоран создает замкнутый мир — мир трудного, главный предмет своей лирики". "Трудность" здесь — как всегда в настоящей лирике и в лирической мысли XIX—XX веков, мысли Новалиса, Кьеркегора, Ницше, Рильке, Кафки и других предшественников Чорана — это градус неотступности тех вопросов, над разрешением которых гипнотически, безысходно бьется неутолимый разум. Автор в подобных случаях не пишет о сложности, он пишет саму сложность и пишет при этом сложностью — "огнем по огню", сказали бы любимые чорановские мистики-каббалисты.

Борис Дубин

Две истины

"В садах Запада пробил час закрытия".

Сирил Коннолли[1]

ГНОСТИЧЕСКАЯ легенда рассказывает о битве ангелов, в которой воинство архангела Михаила победило воинство Змия. Те же ангелы, что лишь нерешительно наблюдали, были сосланы сюда, на землю, чтобы сделать выбор, который не сделали на небе, и выбирать им тем труднее, что у них не сохранилось ни малейшего воспоминания ни о сражении, ни о своем малодушии. Таким образом выходит, что побудительной причиной истории послужило колебание, а человек появился в результате первородного сомнения и неспособности занять определенную позицию до изгнания. Сброшенный в этот мир, чтобы научиться выбирать, он обречен на деятельность, на поступки, и сможет выполнить это предназначение, только если подавит в себе созерцателя. Если на небе нейтральность в какой-то мере еще была возможна, то земная история стала наказанием сущест-

1. Сирил Коннолли (1903—1974) — английский писатель, литературный критик, мемуарист. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

вам, которые до воплощения не сочли нужным примкнуть к тому или иному лагерю. Тогда становится понятно, почему смертные так стремятся очертя голову принять чью-либо сторону, так склонны сбиваться в группы, собираться вокруг какой-нибудь истины. Какова же эта истина?

В позднем буддизме, в частности в школе мадхьямика[1], существует отчетливое различие между истиной подлинной, или *парамартой*, достоянием свободных душ, и обыденной, или *самврити*, "замутненной", точнее "ошибочной", уделом или проклятием скованных.

Абсолютная истина, не боящаяся ничего, даже отрицания всякой истины и самой идеи истины, — привилегия пассивности, привилегия тех, кто сознательно устранился из сферы действий и озабочен лишь одним — выпадением (мгновенным или постепенным) из действительности, которое не сопряжено ни с каким огорчением, ибо переход в нереальность, напротив, приносит несказанное блаженство. История для такого человека всего лишь дурной сон, с которым он смиряется, поскольку никто не может видеть сны по собственному произволению.

Чтобы уяснить, в чем смысл исторического процесса, или, вернее, уяснить, как мало в нем смысла, нужно согласиться с той очевидностью, что все выдвигаемые им истины ошибочны, а ошибочны они потому, что приписывают содержательность пустоте, выдают мнимое за вещественное. Теория о двух истинах устанавливает место истории, этого рая лунатиков, этого грандиозного наваждения, в ряду других фикций. Строго говоря, нельзя сказать, что в ней совсем нет сути и смысла, ибо ее смысл — обман, она и есть *по сути своей обман*, универсальное ослепляющее и облегчающее жизнь во времени средство.

1. Наиболее значительная философская школа буддизма, возникшая в II в. н. э.

Сарвакармафалатьяга... Когда-то, много лет тому назад, я написал большими буквами это волшебное слово на листе бумаги и приколол на стену у себя в комнате так, чтобы весь день иметь перед глазами. Оно провисело так несколько месяцев, пока я не снял его, заметив, что все больше поддаюсь его магическому звучанию и все меньше вспоминаю о содержании. Между тем оно означает *безразличие к результату действия*, и важность его такова, что у того, кто по-настоящему проникнется им, не останется больше никаких стремлений, потому что он достигнет единственно стóящей из всех крайностей — подлинной истины, отменяющей все остальные как пустышки. Впрочем, пуста и она сама, но в отличие от них эту пустоту сознает. Еще немного трезвости, еще шаг к пробуждению — и сделавший его окончательно станет призраком.

Когда прикоснешься к этой предельной истине, то неуютно чувствуешь себя в истории, где намешано множество истин ложных, одинаково напористых и, разумеется, одинаково иллюзорных. Прозревшие, пробужденные неминуемо оказываются немощными и не могут участвовать в событиях, ибо заранее знают, что все это пустая суета. Столкновение двух истин полезно для отрезвления мысли, но губительно для деятельности. С него начинается крушение как отдельной личности, так и целой культуры или даже целого народа.

Пока пробуждение не наступило, мы проводим дни в беспечности, блаженстве, упоении. Ког-

да же спадает пелена иллюзий, наступает пресыщение. Протрезвевшему от всего тошно; как всякий излечившийся фанатик, он больше не может выносить бремя химер, уродливых или симпатичных — все едино. Теперь он так далек от них, что не понимает, в силу какого помрачения мог ими прельститься. Когда-то благодаря им он преуспевал и утверждался. Ныне ему так же трудно представить себе прошлое, как и будущее. Он растратил впустую всю свою энергию, подобно одержимым бесом перемен народам, которые развиваются слишком быстро и, отбрасывая один идол за другим, в конце концов исчерпывают их запас. Еще Шаррон[1] отмечал, что во Флоренции за десять лет происходило больше потрясений и смут, чем в Гризоне[2] за пятьсот, и делал вывод, что жизнеспособно то общество, где *дремлет* дух.

Архаичные цивилизации потому просуществовали так долго, что не знали страсти к обновлению и смене мнимых ценностей. Когда же шкала меняется с каждым поколением, об исторической долговечности нечего и мечтать. Древняя Греция и современная Европа — примеры культур, обрекших себя на преждевременную смерть своей жаждой менять обличья и неумеренным потреблением богов и их заменителей. Китай же и Египет тысячелетиями млели в величественной косности. Как и африканские культуры до контакта с европейцами. Теперь эти культуры тоже под угрозой, потому что приспособились к чужому ритму. Утратив благотворную неподвижность, они все больше разгоняются и неизбежно придут к падению, как и образцы, которым они подражают, как и все скоротечные, неспособные протянуть больше десятка веков цивилизации. Народам, которые займут господствующее место в дальнейшем, достанется еще меньший срок: в истории замедленный темп всегда сменяется гонкой. Как не позавидовать фараонам и их китайским коллегам!

Установления, общества, цивилизации разнятся по масштабам и продолжительности существования, но все подчиняются общему закону, согласно которому источник неуемной энергии, которому они обязаны своим подъемом, со временем ослабевает и входит в рамки, а как только исступление, эта главная движущая сила, остывает, наступает упадок. По сравнению с буйными периодами роста закатная пора кажется нормальной, она и впрямь нормальна, даже чересчур, и это делает ее едва ли не столь же губительной.

Народ, достигший процветания, истративший все свои таланты и полностью истощивший свой гений, искупает этот успех бесплодием. Он выполнил свой долг и мечтает пожить спокойно, но, увы, этого-то ему не удается. Когда римляне — или их жалкие остатки — вознамерились отдохнуть, пришли в движение варвары. В учебниках, рассказывающих о нашествиях, говорится, что до середины V века германцы, служившие в армии и администрации империи, брали латинские имена. Ну а потом обязательными стали германские. Выдохшиеся господа, теснимые во всех областях, не внушали больше ни страха, ни почтения. Зачем было называться на их лад? "Повсюду царила убийственная сонная одурь," — писал Сальвиан[1], самый

1. Пьер Шаррон (1541—1603) — французский мыслитель-моралист, автор "Трактата об умудренности".
2. Гризон — французское название кантона Граубюнден в Швейцарии.

1. Сальвиан (ок. 390—484) — латинский христианский писатель.

беспощадный обличитель античной культуры в последней стадии вырождения.

Как-то вечером в метро я внимательно огляделся по сторонам: все сплошь, включая меня самого, приезжие... Только двое или трое, судя по лицам, *местные*, они явно испытывали неловкость и словно извинялись за то, что затесались среди нас. Та же картина в Лондоне.

В наше время миграции происходят не как массовые переселения, а в виде постепенного проникновения: чужаки понемногу просачиваются в среду "коренных жителей", слишком анемичных и утонченных, чтобы опускаться до идеи "своей территории". Тысячу лет бдительно охранявшиеся двери распахнулись настежь... Когда подумаешь о долгих распрях между французами и англичанами, потом между французами и немцами, кажется, что все они, взаимно выматывая друг друга, старательно приближали общий крах, чтобы уступить место другим представителям человечества. Новое Volkerwanderung (переселение народов), как и в древности, вызовет этническое смешение, все фазы которого пока не предугадать. Глядя на эти разномастные физиономии, нельзя и помыслить о сколько-нибудь однородном сообществе. Сама возможность такого пестрого сборища — признак того, что у коренных жителей того пространства, которое это сборище занимает, не было желания хоть в какой-то мере сберечь свою идентичность. В Риме в III в. н. э. только шестьдесят тысяч жителей из миллиона были латинского происхождения. Как только какой-нибудь народ доведет до конца историческую идею, воплощение которой входило в его миссию, ему становится незачем сохранять свою самобытность, свою характерную внешность в хаосе разноплеменных лиц. Европейцы, господствовавшие в обоих полушариях, мало-помалу становятся всемирным посмешищем: им, худосочным, в буквальном смысле измельчавшим, уготована участь париев, дряхлых, слабосильных рабов, и только русские, *последние* белые люди, возможно этой участи избегнут. У них еще осталась гордыня, этот двигатель, нет, этот *стимул* истории. Нация, потерявшая гордость и переставшая видеть в себе смысл или главную ценность вселенной, сама себе отрезает дальнейшее развитие. На свое счастье или несчастье — как посмотреть, — *она насытилась*. Честолюбец, глядя на нее, отчается, зато созерцатель с червоточинкой в душе придет в восторг. Только продвинувшиеся до опасной грани народы и интересны, особенно для тех, кто сам не слишком обласкан Временем и заигрывает с Клио из желания наказать себя, заняться самобичеванием. Впрочем, этой потребностью продиктованы чуть ли не все человеческие деяния, как большие, так и малые. Каждый из нас работает *против* собственных интересов; мы этого не сознаем, пока вовлечены в дело сами, но достаточно оглянуться назад, чтобы убедиться — во все времена люди боролись и жертвовали собой ради пользы своего явного или потенциального врага: деятели Революции старались для Бонапарта, Бонапарт — для Бурбонов, Бурбоны — для Орлеанов... Так что же, история — это сплошное издевательство и у нее нет никакой цели? Есть, и не одна, а много, но она достигает их, двигаясь *в противоположную сторону*. Это явление универсальное. Мы достигаем обратного тому, к чему стремились; мы рвемся навстречу прекрасной лжи, которую сами се-

бе выдумали. Вот откуда успех биографий, наименее скучного из несолидных жанров. *Воля* никогда никого не доводила до добра: обычно то, чего добиваются упорнее всего, ради чего идут на самые большие лишения, оказывается более чем сомнительным благом. Это верно для писателей, завоевателей — для всех, кого ни возьми. Конец любого из нас дает не меньше пищи для размышлений, чем конец целой империи или конец человека вообще, который так гордится своим с трудом приобретенным прямохождением и так боится вернуться в исходную точку: закончить эволюцию таким, каким начал — согнутым и заросшим шерстью. Над каждым существом нависает угроза деградировать до первоначального состояния (не говорит ли это о тщетности его да и любого развития?), если же кому-то удается этой угрозы избежать, то кажется, что он уклонился от выполнения долга, нарушил правила игры, из экстравагантности выбрав для себя другой способ падения.

Роль периодов упадка заключается в том, чтобы обнажить, разоблачить цивилизацию, разбить ее кумиры, избавить ее от привычки кичиться своими достижениями. Она получает таким образом возможность оценить свое прошлое и настоящее, увидеть бесплодность всех потрясений и усилий. И по мере отстранения от бредней, на которых основывалась ее слава, она все больше продвигается к осознанию реальности... к отрезвлению, к всеобщему пробуждению — словом, делает роковой скачок и вскоре вырывается из истории; либо иначе: она оттого и просыпается, что уже выпала из исторической колеи и потеряла лидерство. Итак, сначала слабеют инстинкты, затем просветляется сознание, затем утверждается трезвость, а это означает раскрепощение сферы духа и атрофию сферы деятельности, в частности деятельности в истории, которая замирает на отметке "крушение": кто обратил взгляд на собственную историю, тот так и останется удрученным зрителем. Мы машинально сопрягаем понятия "история" и "смысл", между тем это типичный пример ошибочной истины. Некий смысл в истории при желании можно найти, но этот смысл ставит под сомнение ее самое, отрицает ее в каждый ее момент, показывает ее смешной и жуткой, жалкой и грандиозной — словом, попирающей всякое представление о нравственности. Кто принял бы ее всерьез, не будь она прямой дорогой к гибели? Само то, что в обществе занялись историей, говорит о ее определенной стадии: как сказал Эрвин Райснер[1], историческое сознание есть симптом конца времен (Geschichtsbewusstsein ist Symptom der Endzeit). В самом деле, озабоченность историей приходит вместе с озабоченностью ее близким закатом. Богослов размышляет о жизни, *провидя* Страшный суд, человек, охваченный тревогой (или пророк), — провидя вещи менее эффектные, но столь же важные. Оба ждут катастрофы, подобной той, какую индейцы-делавары проецировали в прошлое: по преданию, в то время молились от ужаса не только люди, но и звери. Но, возразят мне, разве не бывает спокойных периодов? Бесспорно бывает, но это спокойствие — всего лишь складный кошмар, *безукоризненная* пытка.

1. Эрвин Райснер (1890—1966) — немецкий религиозный философ и богослов, выходец из Австро-Венгрии, в 1930—1940 годах служил библиотекарем в городке Сибиу (Германштадте), где все юношеские годы жил Чоран.

Нельзя согласиться с теми, кто утверждает, будто понятие трагического приложимо только к отдельной личности, а не к истории. Это отнюдь не так: история не просто подвластна трагедии, но и проникнута ею еще больше, чем судьба трагичнейшего из героев, и за ее перипетиями следят с пристальным вниманием. Мы так увлечены ею, потому что инстинктивно чувствуем, какие неожиданности подстерегают ее в пути и на какие неподражаемые фортели она способна. Правда, для искушенного ума она добавит не много нового к общей неразрешимости и безвыходности. Да ведь и трагедия ничего не разрешает, потому что разрешать нечего. Угадать будущее можно лишь по недоразумению. К сожалению, нам нестерпимо положение полной неопределенности. Едва же события хоть немного проясняются, как мы впадаем в крайний детерминизм, в буйный фатализм. Свободным произволением людей объясняется лишь *поверхностный слой* истории, обличия, которые она принимает, какие-то внешние завихрения, но не глубины, не настоящий ее ток, который несмотря на ни что остается таинственным и непостижимым. Мы до сих пор даемся диву, как это Ганнибал после битвы при Каннах не двинулся на Рим. Сделай он это, и сегодня мы бы гордо именовали себя потомками карфагенян. Конечно, глупо отвергать роль случая, прихоти, а значит, личности в истории. И все же каждый раз, когда оглядываешь всю картину, неизменно приходят на ум слова из "Махабхараты": "Нельзя развязать узел Судьбы, ничто в этом мире не зависит от наших поступков."

Жертвы двойного обольщения, мечущиеся между двумя истинами, не в силах выбрать одну из них и тотчас не пожалеть о другой, мы слишком прозорливы, чтобы не утратить кураж, не остыть от иллюзий и от их потери. В этом смысле мы похожи на Рансе[1], оставшегося в плену у своего прошлого и посвятившего годы отшельничества полемике с теми, кого сам же покинул, или с авторами вздорных книжонок, где оспаривалась искренность его обращения и хулились все его дела, — вот доказательство того, что легче реформировать траппистский орден, чем отрешиться от времени. Точно так же легче легкого обличать историю и страшно трудно оторваться от нее: она окружает тебя и не дает о себе забыть. Она мешает окончательному прозрению, она — та преграда, которую можно перескочить, только осознав ничтожность всех событий, кроме одного-единственного — самого этого осознания, поскольку лишь оно позволяет нам хоть на миг увидеть подлинную правду, то есть одержать победу над всеми ошибочными. Недаром Моммзен говорил: "Историк обязан, подобно Богу, любить все и всех, даже самого дьявола". Другими словами, он должен отринуть все предпочтения и учиться полному самоустранению. Историк, сумевший встать вне времени, мог бы служить примером свободного человека.

Мы вынуждены выбирать между убийственной истиной и целительным враньем. И только такая не совместимая с жизнью истина достойна своего названия. Она выше того, чтобы отвечать каким-то требованиям, и не снисходит до уступок смертным. Такие

1. Арман-Жан Ле Бутилье де Рансе (1626–1700) — французский государственный и церковный деятель, принимал активное участие в бурной жизни французского двора, позднее стал настоятелем траппистского монастыря, где провел жесткую реформу устава и нравов.

истины "бесчеловечны", сногсшибательны, мы не приемлем их, ибо не можем обойтись без подпорок в виде догм или богов. Увы, во все времена именно иконоборцы или те, кто объявлял себя таковыми, чаще всего прибегали к басням и лжи. Античный мир должен был заболеть уж очень тяжко, раз ему понадобилось такое грубое противоядие, как христианство. То же происходит и с современным миром, судя по всеобщей жажде чудодейственных лекарств. Эпикура, самого нефанатичного из мудрецов, не жаловали ни прежде, ни теперь. Призывы к освобождению Человека общество обычно встречает с недоумением и даже со страхом. Да и как рабы освободят Раба? Так можно ли верить, что история, эта бесконечная цепь заблуждений, способна тянуться еще долго? Час закрытия скоро пробьет во всех садах.

Любитель мемуаров

Мистики различают человека внутреннего и внешнего и отдают предпочтение первому как в полном смысле полноценному существу; второй же, мрачный или смешной паяц, по праву отходит в ведение моралистов: они порицают и, вместе с тем, оправдывают его; их одновременно отвращает и привлекает его ничтожество, и они не могут преодолеть эту двойственность, не впадая в уныние, то бишь злокачественную скорбь; устоять способен разве что такой, как Паскаль, умеющий возвыситься над страстями. Из-за этого своего качества он не оказал никакого влияния на мемуаристов, тогда как, к примеру, желчность Ларошфуко оказалась крайне заразительной и окрасила все вышедшие из-под их перьев рассказы и портреты. Моралист не повышает голоса, не допускает резкостей, он хорошо воспитан и потому выражает омерзение к ближним изящно и, главное, немногословно... Лаконичность — не это ли первейший признак "культурности"? Доказывать же, объяснять, разглагольствовать — безвкусица и вульгарность. Кто хоть сколько-нибудь заботится о хорошем тоне, должен не искать, а избегать плодовитости, предпочитать словечко словесам и добровольно хранить молчание, нарушая его в редкие краткие и лишь оттеняющие безмолвный фон моменты. Максима, несмотря на сомнительное происхождение, вырабатывает целомудрие, ибо помогает избавиться от непристойного словоблудия. Портрет, не столь сжатый и потому не столь взыскательный, — это чаще всего та же максима, но пожиже или, наоборот, понасыщеннее — у кого как; в исключительных же случаях он может уподобиться максиме *взорвавшейся*, это бывает, когда, желая все вместить и охватить все стороны, он стремится к бесконечности, в этом случае перед нами редчайший пример писателя, которому стало тесно в рамках языка, и он презрел их, покинул их, прихватив с собой все слова... Он вырывает их с корнем, коверкает, перекраивает на свой лад и приспосабливает к своему замыслу, беспардонно обращаясь и с ними, и с читателями, которых подвергает ни с чем не сравнимой, изощренной пытке. До чего невоспитан Сен-Симон! ...Но не более, чем сама Жизнь, чьим, так сказать, литературным эхом он является. Его не тянет к высоким материям, у него не найти и следа "*классического стиля*", он погружен в злобу дня, все его чувства остры и точны, он может быть неспра-

ведливым, но никак не фальшивым. Рядом с его портретами все другие кажутся бледными схемами, безжизненными поделками. Его огромное преимущество в том, что он не подозревает о своей гениальности и потому не попадает в жесточайший плен. Не зная препон, не ведая смущения, он несется во весь опор, не сдерживая пыла и не обременяя себя надуманными запретами и угрызениями совести. Это человек тропического темперамента, хотя и истощенный разгульной жизнью; он совершенно не способен подчинить себя известной дисциплине, которой требует рассуждение или самоанализ. У него нет никакого плана, никакого отчетливого замысла. Думаешь, что читаешь дифирамб, но вдруг понимаешь, что ошибся: неожиданный штрих, хлесткий эпитет выдают памфлет, а на самом деле перед тобой не хвала и не хула, а живой характер, примитивный и каверзный, порождение Хаоса посреди блестящего Версаля.

Госпожа дю Деффан[1], читавшая "Записки" в рукописи, нашла их стиль "отвратительным". Вероятно, таково же было мнение Дюкло[2], также штудировавшего их, дабы почерпнуть детали о Регентстве, историю которого он описывал невыносимо скучно, так что получался этакий подслащенный, придушенный изящными манерами Сен-Симон. Иссушающая четкость языка XVIII века, его отказ от всего неправильного и незаурядного, от излишеств и самовольства привели к тому, что он опустился *до совершенства*, до омертвения. Став бледной, искусственной, тепличной культурой, боящейся малейшего сквозняка, он никоим образом не мог произвести на свет вполне оригинальное произведение, ибо в нем непременно содержится нечто нечистое или шокирующее. Зато наплодил великое множество книжек, написанных гладким, без сучка и задоринки и без всякого подтекста слогом, выхолощенным, обескровленным, отжатым модой и инквизицией святой Ясности.

"У меня нет времени на хороший вкус". Это не помню кому приписываемое высказывание — не просто удачная острота. Вкус — это и в самом деле привилегия досужих дилетантов, тех, у кого много лишнего времени, которое они употребляют — причем себе во вред — на всякий вздор и никчемные условности.

"Как-то утром (то было воскресенье) мы дожидались принца де Конти, дабы идти к мессе; мы сидели в гостиной вокруг стола, на котором сложили свои часословы, и супруга маршала (Люксембургского) небрежно их перелистывала. Вдруг ее внимание остановили две-три необычные молитвы, поразившие ее *весьма дурным вкусом* и впрямь составленные в самых нелепых выражениях" ("Записки" госпожи де Жанлис[1]).

Не дико ли требовать от молитвы, чтобы она применялась к литературным нормам, была *хорошо написана*. В ней куда ценнее неловкость и безыскусность — свидетельства *искренности*. Это качество было не в чести у мастеров словесных пируэтов, которые ходили в церковь с тем же настрое-

1. Мари дю Деффан, маркиза (1697–1780) — французская аристократка, писательница, автор блестящих писем, хозяйка влиятельного литературного салона.
2. Шарль Пино Дюкло (1704–1772) — французский писатель, придворный историограф, член Французской академии.

1. Стефани Фелисите, графиня де Жанлис (урожд. дю Кре де Сент-Обен, 1746–1830) — французская писательница, автор многотомных "Мемуаров" (1825), ее романы, среди других, переводил Карамзин.

нием, что на охоту или на званый ужин. Им явно не хватало необходимой для благочестия серьезности; единственное, что они ценили и о чем заботились, — это *изысканность*. Суждение маршальши роднит ее с одним кардиналом эпохи Возрождения, который, по его словам, так любил латынь Вергилия и Саллюстия, что не мог выносить грубый язык евангелистов. Сверхутонченность несовместима с верой: хороший вкус и Высшая Сила друг друга исключают... Ни один бог не выдержит критической улыбки или легкого сомнения, зато сомнение сокрушительное так и норовит уничтожить себя самое, так и лезет из кожи вон. Ну да в обществе, где утонченность граничит с акробатикой, таких крайностей не сыщешь днем с огнем.

В каждом языке, по логике развития и в силу самой его природы, содержится некий метафизический потенциал; во французском же, особенно во французском XVIII века, его почти нет: из-за своей вызывающей, нечеловеческой ясности и отказа от всякой неопределенности, от исконной, бередящей душу темноты этот язык стал таким средством выражения, которое может со всех сторон подступать к непостижимому, но не способно его коснуться. Чаще всего непостижимое, как и головокружительное, если его не вводят нарочно, преднамеренно, появляется во французском как результат логического или синтаксического упущения.

Мертвый язык, по замечанию одного лингвиста, отнимает право на ошибки. Иначе говоря, отнимает право на малейшие новшества. Такой же степени окостенелости и законченности достиг французский язык в эпоху Просвещения. После революции чистоты и суровости в нем поубавилось, и столько же, сколько потерял в совершенстве, он выиграл в естественности. Чтобы уцелеть и выжить, ему было необходимо испортиться, обогатиться путем нового загрязнения, выйти из салонов на улицу. Это разом сократило сферу его влияния и сияния. Ведь языком культурной Европы он мог быть лишь тогда, когда, чрезвычайно обедненный, достиг абсолютной прозрачности. Любое наречие приближается к универсальности, когда отрывается от своих корней, отдаляется и отрекается от них. Но далее, если оно хочет набраться сил, не потерять почву под ногами и не омертветь, ему придется отказаться от чрезмерной требовательности, сломать рамки и норму и запачкаться *дурным вкусом*.

На протяжении всего XVIII столетия разворачивалось захватывающее зрелище разлагающегося общества, прообраза достигшего конца и отучившегося уповать на завтра человечества. Жизнь без будущего перестала быть уделом одного класса и распространилась на все, таким образом установилась полная демократия опустошенности. Чтобы вообразить эту заключительную стадию, не нужно напрягать фантазию — вокруг немало вещей, дающих о ней представление. Само понятие прогресса срослось с мыслью о развязке. Народы повсеместно жаждут приобщиться к искусству самоуничтожения и движутся к этому с такой страстью, что во имя ее утоления готовы забыть о тормозах. В конце блестящего просвещенного века возвышался эшафот, конец истории, скорее всего, будет украшен чем-то более грандиозным.

Общество, прельщенное перспективой собственной гибели, рухнет при первых же ударах; лишенное воли к жизни, обезоружен-

ное перед осаждающими его силами, оно не устоит перед соблазном крушения. Революция победила потому, что власть была иллюзорной, "тиран" — пугалом, так что она буквально сражалась с призраками. Да и любая революция торжествует только в том случае, если вступает в схватку с *отжившим* строем. Это справедливо для всех больших перемен и поворотов истории. Готы захватили не Рим, а его останки. Единственной заслугой варваров был хороший нюх.

Символом всеразъедающего загнивания в начале века был сам регент. В нем прежде всего поражает полное отсутствие "характера". В государственных делах он проявлял ту же бесшабашность, что и в частных: те и другие интересовали его лишь постольку, поскольку давали пищу остроумию. Одинаково изменчивый в страстях и пороках, он предавался им, так сказать, скуки ради, из равнодушия. Он был не способен ни любить, ни ненавидеть и пренебрег всеми дарованиями, которыми обладал в избытке, но которые ему было лень развивать. "Не просто непостоянный во всем, но даже не понимающий, как можно поступать иначе," — пишет о регенте Сен-Симон и далее говорит о его "полной бесчувственности, по причине которой жесточайшие, смертельные оскорбления не вызывали у него никакого озлобления; а поскольку приязнь и неприязнь, мстительность и благодарность имеют общий корень, общую жилу, он же таковой был лишен, это влекло за собой бесчисленные и весьма тяжкие следствия".

То был форменный дегенерат, ни на что не годный, невероятно безвольный, в высшей степени легкомысленный, первый из хлынувших во множестве сверхутонченных выродков, завороженных близкой катастрофой и достойных в ней погибнуть. Разумеется, все дела, зависевшие от такого человека, пришли в упадок. Современники не просто винили его в этом, но сравнивали с Нероном, хотя, право же, им стоило быть к нему поснисходительнее и радоваться тому, что его расхлябанность и шутовство облегчают гнет абсолютизма, который им приходится терпеть. Да, бесспорно, им, как куклой, управляла шайка жуликов с аббатом Дюбуа во главе, но разве разгильдяйство веселых развратников в конечном счете не лучше, чем бдительность неподкупных? Да, Регенту не хватало "жилы", но, с другой стороны, этот изъян можно счесть достоинством, поскольку благодаря ему в обществе была возможна свобода или то, что под ней разумелось.

Аббат Галиани[1] (которого высоко ценил Ницше) был одним из немногих, кто понял, что как раз тогда, когда особенно много говорилось о притеснениях, на деле порядки были довольно терпимыми. Скептический и вечно колеблющийся Людовик XV — совсем не то, что тупой и упрямый Людовик XIV. "Достаточно сравнить, как жестоко иезуиты преследовали отшельников Пор-Рояля и как мягко обходились с энциклопедистами, чтобы увидеть разницу в правлении, привычках и душевном складе двух королей. Один жаждет увековечить свое имя и любой шум вокруг него принимает за славу; другой — славный малый, которому досталось ремесло монарха, гнуснейшее из всех и самое для него отвратительное. Да такого царствования не бывало нигде и никогда".

Однако аббат не учел того, что терпимость, хоть она и хоро-

1. Фердинандо Галиани (Гальяни) (1728–1787) — итальянский писатель, известен своими письмами и афоризмами.

ша и хоть ее одной хватает для оправдания целой жизни, сама по себе является симптомом слабости и разложения. Ему, якшавшемуся с такими заядлыми охотниками за миражами, как просветители, эта трагическая истина не могла открыться; она стала очевидной позднее, в более трезвые, более близкие к нам времена... Теперь мы знаем, что тогдашнее общество было терпимо, потому что не имело сил для подавления, то есть для самосохранения. "Душу его составляло *ничто*", — сказал Мишле о Людовике XV. С еще большим основанием он мог бы отнести это к Людовику XVI. Вот разгадка блестящего и обреченного времени. Причина мягкости нравов в смертельном недуге.

Революцию разбудила чрезмерно роскошная жизнь тех, кому уже не нужно было ничего, включая собственные привилегии, за которые они цеплялись машинально, без всякого вожделения или ожесточения, ибо питали явную склонность к идеям своих убийц. Симпатия к противнику — отличительный признак немощи, то есть терпимости, которая в конечном счете есть не что иное, как *кокетство умирающего*.

"У вас богатый опыт, — писала маркиза дю Деффан герцогине де Шуазель, — но есть нечто, чего вам не довелось и, надеюсь, никогда не доведется изведать, — это состояние, когда вы утрачиваете чувствительность и в то же время понимаете, что не можете без нее обойтись."

Эпоха, о которой мы говорим, достигнув апогея искусственности, тосковала по наивности — как раз тому качеству, которого в ней совсем не осталось. Свежими, то есть подлинными, чувствами, как считалось, обладают дикари, простаки или глупцы, уподобление которым абсолютно невозможно для тонких умов, неприспособленных к бесхитростной "глупости" или простодушию. Интеллект, достигший главенства, беспощадно изгоняет все чуждое себе и не оставляет в душе ни островка "сырой" территории, за который можно было бы ухватиться. Кто стал рабом или поклонником тирана-рассудка, тот неизбежно "утрачивает чувствительность" и сожалеет о том, что предался идолу, распространяющему вокруг лишь пустоту. Письма госпожи дю Деффан, полные чудовищной рациональности, гипертрофированного умствования, беспредельного сомнения и нерешительности, — неподражаемое свидетельство того, до чего доходит усеченный, выпавший из *естества* человек. К несчастью, стоит рассудку проснуться, как его уже не остановить ни хитростью, ни силой — пути назад нет. А где он прошелся, "живого места" не остается, нормальные реакции глохнут. "Ни увлечься, ни обжечься", — говорила о себе сама маркиза. И понятно, почему ее связь с регентом длилась не более двух недель. Они были похожи: оба поражены страшным недугом — отчуждением эмоций. Не в пропасти ли, разделяющей ум и чувства, развилась снедавшая обоих скука? Ничего спонтанного, непроизвольного... Первой от всего этого страдает "любовь", то, чему Шамфор[1] дал прекрасное определение, которое как нельзя лучше соответствует духу эпохи, исчерпывавшемуся "капризом" и "поверхностным слоем"; хвалился же Ривароль[2], что может в мо-

1. Себастьян Рош Никола Шамфор (1741–1794) — французский писатель, мыслитель-афорист.
2. Антуан де Ривароль (1753–1801) — французский писатель и журналист, блестящий сатирик и острослов. В 1949 г. Чорану была присуждена премия Риваролля (единственная из многих, от которой он не отказался).

мент любовной судороги решать геометрическую задачу. Спазмы и те подчинены рассудку! Хуже всего то, что такое извращение чувств не просто постигло кучку одиночек, но стало дефектом, язвой целого класса, измученного привычкой к иронии.

Любое поползновение к свободе нравов, как и любое ее проявление, имеет свою отрицательную сторону: стоит нам лишиться оков... невидимых! — лишиться внутреннего сдерживающего начала, и мы, недостаточно сильные и недостаточно невинные, чтобы наложить на себя какие-либо другие ограничения, превратимся в толпу бессильных слюнтяев, более сведущих в теории, чем в практике любовной науки. Нельзя давать много воли разуму, не подвергаясь опасности, так же как нельзя безнаказанно избавляться от многих полезных запретов. Но, если разум от избытка разрастается, то избыток свободы (штука столь же пагубная, но действующая противоположным образом) неукоснительно убивает всякую свободу. Вот почему движение эмансипации, в какой бы области оно ни возникало, представляет собой и шаг вперед, и предвестие конца.

Если в народе больше не находится никого, кто не побрезговал бы *прислуживать*, то такой народ обречен, и точно так же обречено общество, где каждый человек, кичась своей неповторимостью, не желает больше заниматься второстепенной работой, пусть даже самой *почетной*. (Уже Монтескье отмечал в своих "Записках": "Все, что имеет определенный предмет, становится в тягость: военные тяготятся войной, кабинетные ученые — кабинетом, это относится и ко всем прочим занятиям".) И все же несмотря ни на что человеческий род существует и будет существовать до тех пор, пока не расстанется с последним предрассудком, последним верованием; когда же он наконец решится на это, то, ослепленный и ошеломленный собственной смелостью, окажется перед бездной, что разверзается вслед за крушением всех догм и табу.

Кто хочет влиться в действительность или обрести убеждения и никак не может, тот из зависти осмеивает тех, у кого это получается само собой. Ирония рождается из неутоленного и безуспешного стремления к простоте: каждая неудачная попытка распаляет досаду и желчь. Раз проснувшись, ирония непременно становится всеохватной, и если она с особым ожесточением нападает на религию и подрывает ее, то это потому, что втайне испытывает горечь, из-за того что не может уверовать. Но еще вредоноснее систематическая злобная насмешка, граничащая с самоуничтожением. Когда в 1726 году маркиза де При была сослана в Нормандию, госпожа дю Деффан последовала за ней. И, как рассказывает Лемонте[1] в "Истории Регентства", "приятельницы каждое утро обменивались сочиненными накануне друг про друга сатирическими куплетами".

Понятно, что в кругу, где злословие вошло в обыкновение и где жертвовали сном из страха остаться наедине с собой ("Она была готова на что угодно, лишь бы не подчиняться тоскливой необходимости ложиться спать", — говорил Дюкло об одной модной светской даме), не осталось ничего святого, кроме беседы — обмена колкостями, ядовитыми стрелами в обли-

1. Пьер-Эдуард Лемонте (1762—1826) — французский историк и мемуарист начала XIX в., его образцовые труды часто использовал Маркс (в "Нищете философии", "Капитале" и др.).

чье веселых шуток. Не щадили никого, не зря одной из характерных черт того времени называли "неспособность восхищаться". Все связано: когда нет ни простоты, ни веры в Бога, невозможно восхищаться людьми, видеть изначальную самоценность неповторимой человеческой личности, не зависящую от преходящих обстоятельств; ведь восхищение — это внутреннее преклонение, не вынужденное бессилием, не унизительное, а естественное и благотворное чувство, преимущество чистых душ, каковых не найти среди завсегдатаев светских салонов.

Интересной историей обладают лишь драчливые, неуживчивые, завистливые, вздорные народы, так, например, в высшей степени интересна история Франции. Она изобилует не только событиями, но и в еще большей мере, писателями, о них повествующими, а это настоящее сокровище для любителя мемуаров.

Француз может быть и взбалмошным, и фанатичным, может руководствоваться в суждениях и прихотью, и принципом, но принцип всегда имеет у него вид прихоти. Словоохотливость — главнейшее свойство его характера, именно оно причина непрестанной смены режимов, за которой он наблюдает с любопытством или даже с увлечением, тщательно следя за тем, чтобы и в порыве страсти не показаться простаком, и получая то выгоду, то вред от знаменитого "литературного духа", который, по определению Токвиля, ищет "затейливого и нового больше, чем истинного, любит живописное больше полезного, ценит искусство и дикцию актеров независимо от качества пьесы и принимает решения, полагаясь на впечатления, а не на доводы". "Французский народ, — прибавляет Токвиль, — чаще всего судит о политике как литератор".

Меньше, чем кто бы то ни было, литератор способен разбираться в государственных делах и проявляет в них некоторую компетентность лишь во времена революций, как раз потому, что в эту пору исчезает власть, и пока ее нет, возникает иллюзия, что все можно решить красивой фразой и жестом. Его волнуют не столько гарантирующие свободу установления, сколько ее видимость, имитирующие ее ужимки. Неудивительно, что деятели 89 года вдохновлялись идеями лунатика Руссо, а не Монтескье, основательного, не склонного к пустословию философа, — этот последний не годился в кумиры для сентиментальных или кровожадных витий. В англосаксонских странах любой гражданин может дать волю своей блажи, желанию поспорить и поскандалить в разных сектах, поэтому в религии там царит разномыслие, а в политике — единообразие. Напротив, в странах католических бредовые наклонности личности могут реализоваться только в ниспровергающих все и вся партиях и смутах, только так она может утолить свою жажду ереси. И ни одна нация еще не нашла способа быть одинаково *благоразумной* в политике и в религии. Но даже если бы такое средство было открыто, французы воспользовались бы им в самую последнюю очередь, ведь даже революцию они, если верить Талейрану, совершили *из тщеславия*; этот порок так глубоко укоренился в их натуре, что стал добродетелью или, во всяком случае, пружиной, побуждающей их проявлять себя, действовать и особенно *блистать*; этим же объясняется их *остроумие*, неотразимый интеллект, потребность любой ценой одержи-

вать верх над другими и оставлять за собой последнее слово. Однако хотя тщеславие оттачивает способности, уберегает от пошлости и серости, оно делает того, кто им одержим, бесконечно уязвимым; и французы заплатили за свои многочисленные успехи немалыми муками. Целое тысячелетие они оставались центром истории, такое не проходит даром, их искуплением было и остается вечно воспаленное, неутолимое, неудовлетворенное самолюбие. В расцвете славы им ее казалось мало, теперь же они жалуются, что лишились ее совсем. Такова незавидная участь народа, который в счастье страдает не меньше, чем в несчастье, всегда ненасытен и переменчив, слишком избалован судьбой, чтобы научиться скромности и смирению, неспособный спокойно принимать ни нежданную милость, ни неотвратимую беду.

После конца истории

Конец истории предопределен тем, что у нее имелось начало; человек и история подчинены времени, человек и время отмечены одними и теми же стигматами.

Время есть некая непрерывная беспорядочность, самодробящаяся бесконечность, оно само по себе грандиозная драма, а история — ярчайший эпизод этой драмы. Не та же ли в ней беспорядочность, не то же ли бешеное дробление, лихорадочное стремление установить нечто там, где уже нечему установиться?

Христианские богословы справедливо именуют нашу эпоху постхристианской, точно так же наши далекие потомки будут когда-нибудь рассуждать о том, хорошо или плохо им живется в эпоху постисторическую. Что ни говори, а было бы любопытно окунуться в этот сумеречный опыт: смена поколений и череда грядущих "завтра" прекратится, а на руинах исторического времени наконец возникнет самодовлеющее бытие и снова станет тем, чем было, прежде чем погрязло в истории. Историческое время так напряжено, что попросту не может не взорваться. Вот-вот пружина лопнет — мы ощущаем это каждый миг. Возможно, это будет не так скоро, как нам кажется. Но катастрофа неизбежна, сомнений нет. И только после того, как она произойдет, уцелевшие счастливчики, жители постисторической эпохи узнают, чем же была история. "Отныне никаких событий!" — воскликнут они. Таким вот образом завершится самая причудливая глава вселенской эпопеи.

Понятно, что возглас прозвучит, лишь если крушение окажется не окончательным. Полный же успех радикальным образом упростит проблему подавления будущего. Однако совершенные катастрофы крайне редки, говорю это, чтобы унять тех, кому нейдется и кто любит размах, хотя в данном случае более пристало смирение. Не всем дано воочию наблюдать Потоп. Нетрудно представить себе, каково тем беднягам, которые его предчувствовали, но не дожили до того, чтобы увидеть своими глазами.

Чтобы положить конец распространению такого аномального животного, как человек, хороши все средства, и люди все больше ощущают необходимость и потребность заменить естественные бедствия еще более эффективными искусственными. Идея Светопреставления носится в воздухе. Чуть

выйдешь на улицу, посмотришь, поговоришь, послушаешь — и сразу поймешь, что час близок, пусть даже до него осталось еще сто или тысяча лет. Тень близкой развязки придает своеобразный пафос самым обыденным делам, самым банальным зрелищам, самым глупым случайностям. Чтобы не заметить этого, надо упорно отворачиваться от Неизбежного.

Пока история протекает более или менее размеренно, каждое событие представляется причудой, коленцем в общем ходе вещей, но как только ритм сбивается, все обретает знаменательность. Во всем, что бы ни произошло, видится симптом, предупреждение, все побуждает к многозначительным выводам. В нейтральные (условно говоря) эпохи событие есть одно из многих рядовых проявлений настоящего, оно имеет автономное значение и словно бы выпадает из времени. Напротив, в критические времена, которые завихряются в бесконечные круги ада, каждая мелочь становится ступенькой к гибели, вписывается в картину, нарисованную в "Самматийяникайя"[1]: "Мир охвачен пламенем, мир задыхается в дыму пожарищ, мир пылает и содрогается". Злорадное чудовище Мара держит когтями и зубами колесо рождения и смерти, во взгляде ее (на тибетских изображениях) то вожделение, та тяга ко злу, подспудная в природе, полуосознанная у людей и явная у богов, та ненасытная злая воля, разрушительное проявление которой мы видим в нескончаемой цепи событий и которую приписываем идолам. Ужас истории — единственное доступное нам подобие ужаса перевоплощений. Однако с существенной оговоркой. Для буддиста переход от одного существования к другому — кошмар, из которого он стремится вырваться. На это направлены все его силы, он совершенно искренне, как величайшего бедствия, боится новых рождений и смертей, и ему чужда сама мысль тайно этим бедствием наслаждаться. Снисходительного отношения к злу, к подстерегающим извне и особенно изнутри опасностям в нем нет и быть не может.

Иное дело — мы. Мы заигрываем с тем, что нам угрожает, лелеем то, что сами прокляли, жаждем того, что для нас губительно, мы от своего кошмара ни за что не откажемся, мы надавали ему столько названий с большой буквы, сколько напридумали иллюзий. Иллюзии лопнули, большие буквы умалились, но кошмар остается, обезглавленный, голый, и мы продолжаем любить его, потому что он *наш*, и нам нечем его заменить. Если бы стремящийся к нирване вдруг устал гоняться за ней, махнул на нее рукой и нырнул в сансару, став пособником собственной гибели, вот тогда он повел бы себя совсем как мы.

Человек делает историю, история же разделывается с человеком. Человек одновременно ее творец и объект, двигатель и жертва. До недавнего времени он полагал, что управляет ею, теперь же знает, что она ему неподвластна, что все бесчинно и неразрешимо в этой безумной эпопее, конец которой не означает достижения цели. Как и какую цель предписать ей? Да если бы она и была... Как только цель достигается, наступает конец процесса. Значит, осчастливлены будут только последние отпрыски человеческого рода, выжившие, *оставшиеся*, они одни пожнут плоды бесчисленных усилий и страданий предыду-

1. "Самматийяникайяшастра" — священный текст буддийской школы ватсипутрия (II в. до н. э.).

щих поколений. Но это откровенная несправедливость, гротеск. Кому позарез хочется, чтобы история имела смысл, пусть лучше ищет его в тяготеющем над нею проклятии и нигде более. В таком случае жизнь отдельного индивида осмысленна постольку, поскольку его тоже затрагивает это проклятие. Какой-то злокозненный демон распоряжается путями истории. Цели у нее нет, вместо этого над ней тяготеет рок, придающий ее ходу мнимую закономерность. Этот рок, и только он, позволяет всерьез говорить о логике истории и даже о провидении, правда, несколько подозрительном, чьи замыслы не столь неисповедимы, как замыслы другого Провидения, слывущего благостным. Оно действует таким образом, что подведомственные ему цивилизации постоянно сбиваются с пути, идут не туда и наконец рушатся с упрямым постоянством, которое выдает происки темной глумливой силы.

История еще только начинается, думают некоторые, забывая, что история — исключительное и по сути своей недолговечное явление, этакая прихоть, передышка, оплошность... Участвуя в ней, питая ее, человек расточился, ослаб, истощился. Пока он оставался близок своей первоначальной, хотя и извращенной им природе, еще можно было рассчитывать на долгое существование, отвернувшись же и начав окончательно от этой природы отдаляться, он обрек себя на краткую, всего в каких-то несколько тысячелетий, жизнь. История, порожденная человеком, стала независимой от него, она язвит и мучит его, она его в конце концов и убьет. Человек погибнет с нею вместе, то будет полный крах, справедливое наказание за самонадеянность и безрассудство, порожденные его потугами сравниться с титанами. Предприятие Прометея с треском провалилось. Нарушив все неписаные законы — а только они и идут в расчет, — выйдя из всех положенных ему границ, человек вознесся слишком высоко и неминуемо возбудил ревность богов; они решили прикончить его и ждут с ножом за углом. Конец исторического процесса неотвратим, неизвестно только, грянет ли он в одночасье или растянется надолго. Судя по всему, человечество, несмотря на свои достижения, а вернее, благодаря им, скатывается в пропасть. Если для каждой отдельной цивилизации сравнительно легко обозначить точку апогея, то совсем иначе обстоит дело с историческим процессом в целом. Что считать его вершиной? Где она располагается? В античной Греции, древней Индии или Китае? Или где-нибудь на Западе? Любой однозначный ответ заведомо пристрастен. Бесспорно одно: лучшее, что было в человеке, он уже отдал. И если предположить, что на наших глазах возникнут другие цивилизации, они конечно же не будут равноценны ни древним, ни даже современным, а кроме того, и они неизбежно будут поражены жестко запрограммированным вирусом распада. Такова с доисторических времен до наших дней и впредь от нашего времени к постисторическому дорога к крушению, которое готовилось и предвиделось во все эпохи, включая самые процветающие. Все и всегда видели грядущее как дорогу к гибели, даже утописты: недаром государства, которые они придумывали, были намеренно извлечены из реальной истории и помещены в особый кокон, где время не течет и потому гибельное грядущее застыло. Но история, кото-

рой заправляет Ариман, затаптывает эти бредни и отметает всякую возможность рая, даже потерянного, делая таким образом утопии абсолютно беспочвенными. Весьма характерно, что мы наталкиваемся на понятие рая каждый раз, когда хотим уразуметь сущность истории. Дело в том, что только так, от противоположного, и можно ее постичь, ибо история — не что иное, как последовательное отрицание, нарастающее удаление от исходного состояния, изначального чуда. Пусть оно всего лишь притягательная легенда, вызывающий ностальгию *кич*... Когда движение к концу завершится, история достигнет своей "цели" и от первоначального состояния — не важно, правда это или вымысел — совсем ничего не останется. Если представить себе рай в прошлом еще возможно, то в будущем — никак; он мыслим не иначе как *до* истории, и это придает ей зловещий оттенок, так что задаешься вопросом: не лучше ли было ей остаться потенциальной возможностью?

Однако важнее размышлять не о "будущем"— оно внушает страх, но не более, — а о *конце*, то есть о том, что наступит после будущего, когда историческое время, сопряженное с человеческой волей, прекратится и прекратит тем самым существование народов и империй. Останется освободившийся об бремени истории и совершенно обессиленный, уже не мнящий себя исключительным человек с опустошенным сознанием, которое нечем заполнить. Искушенный и разочарованный троглодит. Пойдет ли он путем далеких предков, и станет ли в этом случае постисторическая эпоха усугубленным повторением доисторической? Каким будет этот человек, отброшенный всемирным катаклизмом назад, к пещерам? Как поведет себя тот, на ком замкнулись две разделенные огромным интервалом оконечности и кто отрекся от нажитого за это время наследства? Протрезвевший и одряхлевший, он не захочет и не сможет измышлять новые ценности и иллюзии взамен рухнувших. Тогда игра, по правилам которой до тех пор одна цивилизация сменяла другую, будет окончена.

После всех своих блестящих завоеваний и свершений человек начинает выходить из моды. Единственное, что еще может представлять интерес, это наблюдать за тем, как, прижатый к стенке, он агонизирует, и гадать, скоро ли задохнется совсем. До сих пор он еще как-то тянет только потому, что не хватает силы капитулировать, прекратить скатывание *вперед* (каковым по преимуществу является история) — слишком велика инерция скольжения. Трудно сказать, что именно в человеке повреждено, но изъян очевиден. Можно возразить, что он был в нем с самого начала. Да, но тогда весьма незначительный для него, еще полного мощи. Ничего общего с нынешней зияющей трещиной. Она — результат долгого саморазрушения злосчастного существа, плод его подрывной деятельности, направленной сначала на все вокруг, а потом и само на себя. Выдавая войну против себя за гордое восстание, существо это расшатало собственные основы (именно к этому ведет *анализ*, психологический или любой другой) — основы своей личности, своей деятельности. Поражены сокровенные глубины, прогнило все до корней. Мы и ощущаем себя людьми не прежде, чем осознаем эту нутряную испорченность, до недавней поры еще как-то при-

крытую, но обнажающуюся все больше и больше, по мере того как мы исследуем и взрываем все, что существовало в нас в скрытом виде. Став прозрачным для самого себя, человек окажется не способен более ни на какие действия, ни на какое "творчество". Прозрев, лишившись наивности, он полностью истощится. Где найти энергию, чтобы упорствовать в том, что требует хоть какой-то свежести и ослепления? И если относительно себя он порой может обольщаться, то относительно судьбы всего рода людского — ни в коей мере. Только глупец может утверждать, что человек еще в начале пути. На самом деле эта чудом держащаяся на ногах развалина бредет к последнему акту и там предстанет мудрецом, которого *разъела* мудрость. Да, человек — сплошное гноище, его гложет гангрена, и таковы мы все. Мы движемся гуртом к невиданной дотоле сваре, когда все набросятся друг на друга, как буйнопомешанные, как взбесившиеся марионетки, потому что все станет невозможным, непереносимым, а единственным достойным делом для тех, кто останется жить, будет уничтожать себя и себе подобных. Одно лишь возбуждение еще доступно нам — агония перед кончиной мира. А потом — вечное оцепенение: роли сыграны, сцена опустела и можно всласть пережевывать эпилог.

По известному выражению — что сегодня суета, когда-нибудь станет историей, и это не делает ей чести... Не стоило бы придавать значения всему текущему и происходящему, однако слабонервные на это не способны. Ну а в броне презрения — откуда взяться живому переживанию? Настоящий историк — это человек без кожи, который носит маску объективности, страдает и упивается страданием. Вот почему он горячо участвует во всем, что описывает. Например, Тацит вовсе не с заоблачных высот взирал на ужасы, о которых рассказывал, нет, он осуждал, но смаковал их, варился в них, был ими заворожен. Без устали говоря о бесчинствах, он начинал скучать, едва несправедливость и злодейства шли на убыль. Ему, как позднее Сен-Симону, были ведомы восторг негодования, сладость ярости. Юм утверждал, что Тацит — самый глубокий ум античности, самый, добавим от себя, живой и самый близкий к нам своим мазохистским духом, этим то ли пороком, то ли необходимым свойством всякого, кто вглядывается в дела человеческие, будь то хроника дня или конец света.

Внимательно рассматривая самое незначительное происшествие, легко заметить, что положительные и отрицательные стороны в нем самое большее уравновешивают друг друга, обычно же отрицательных - куда больше. Лучше всего было бы, если бы оно вообще не имело места. В таком случае мы избавились бы от необходимости терпеть его и принимать в нем участие. Чего же ради *добавлять* к тому, что уже имеется или имеет видимость? Истории, этой бессмысленной одиссее, нет оправданий, а порой возникает искушение замахнуться и на искусство, какой бы настоятельной потребности оно ни отвечало. Ведь творческий импульс в нем — нечто побочное, главное же — разобраться в себе, проявить себя максимальным образом, какой бы ни была форма этого самовыражения. Возводить соборы так же нелепо, как устраивать побоища. Было бы лучше попытаться жить вглубь, чем нестись сквозь столетия в погоне за гибелью. Нет, решительно в ис-

тории нет спасения. Ее никоим образом нельзя считать основным измерением человечества, она лишь апофеоз того, что на виду. Так, может быть, когда придет конец этой поверхностной авантюры, мы обретем первоначальную суть? Сможет ли располагающий полным досугом постисторический человек найти в себе вневременное содержание, которое было задушено в нас историей? Засчитываться будут исключительно те мгновения, которые она не затронула. Только среди людей, способных открыться навстречу таким мгновениям, возможно общение и понимание. Кульминационные точки, подлинные вершины прошлого — это эпохи метафизических исканий. Ближе всего к неуловимой сущности подступают внутренние прозрения, пусть они длятся порой секунду, зато перевешивают всю жизнь и вообще стоят больше, чем время.

"15 октября 1764 года в Риме, когда я, задумавшись, сидел на руинах Капитолия и слушал, как босоногие монахи поют вечерню в храме Юпитера, меня впервые осенила идея написать историю заката и падения этого города"[1].

Все империи рано или поздно ждет конец — просто ли распад, катастрофа или то и другое вместе. Такие же варианты предстают перед человечеством в целом. Вообразим будущего Гиббона, размышляющего о том, чем оно было, если, конечно, останется еще какой-нибудь историк по завершении не одной, а всех эпох. Как сможет он описать нашу одержимость, буйные страсти — источник нашей энергии, — он, живущий среди совсем иных людей, которые погружены в святую инертность, дошли до последней стадии немыслимого процесса разрушения и навсегда освободились от маниакальных идей утверждать себя, оставлять после себя след, отмечать свое присутствие на земле? Как поймет нас, не способных усвоить статичную картину мира и сообразовываться с ней, отбросив навязчивую идею постоянно действовать? Нас губит — уже погубило! — стремление иметь судьбу, не важно какую; это извращение — движущая сила истории. Однако если оно уничтожило, умертвило нас, то оно же и спасет, поскольку с идеей судьбы сопрягается тяга к трагическому финалу, к верховному, превосходящему все бывшие прежде событию, величайшему, дотоле небывалому кошмару. Ну а коль скоро единственно возможной развязкой оказывается катастрофа, единственным выходом, единственным шансом — постистория (если допустить, что она достижима), то логично задаться вопросом: не лучше ли человечеству исчезнуть сейчас же, чем томиться и изводиться ожиданием и обрекать себя на переживание агонии, в которой ничего героического — даже героической кончины — не останется?

1. Из "Автобиографии" Гиббона.

Григорий Кружков

Крик павлина и конец эстетической эпохи

О "тройном созвучии" у Мандельштама, Йейтса и Стивенса

Между истинными художниками любой эпохи существует, я полагаю, подсознательная общность.

Т. С. Элиот

В древнем апостольском Символе веры есть такая формула: communio sanctorum. Она переводится как "общение святых" и обычно толкуется расширительно как духовное единение всех верующих, живых и мертвых. Быть может, существует и communio poetarum – мистическое общение поэтов. Оно происходит независимо от времени и места, поверх земных обстоятельств. Впрочем, теоретически говоря, тут возможны два пути коммуникации – верхний и нижний. Верхний – это, так сказать, путь "через спутниковый ретранслятор", вдоль боковых сторон треугольника, сходящихся где-то в Невидимой Вершине: так у Бродского общаются влюбленные в поэме "Пенье без музыки". Второй путь – нижний, через подсознание, через океан Anima Mundi, омывающий души поэтов; из него они черпают общие образы и символы. Мы читаем, например, песнь легендарного Амергина, первого поэта Ирландии, жившего за много веков до Р. Х.:

вихрь в далеком море Я
волны бьются в берег Я
гром прибоя это Я
бык семи сражений Я
бык утеса это Я...[1]

А отзывается Константин Бальмонт:

Я – внезапный излом,
Я – играющий гром,
Я – прозрачный ручей,
Я – для всех и ничей.[2]

Романтики, и следом за ними символисты считали, что поэт – рупор высших сил, что поэзия сродни пророчеству и ясновидению. Вячеслав Иванов говорил о существующей с древности "организации мистических союзов,

1. Перевод В. Тихомирова. В кн.: Поэзия Ирландии. М., 1990. С. 23.
2. Стихотворение К. Бальмонта "Я – изысканность русской медлительной речи..." (1901).

© Г. Кружков, 2001

хранителей преемственного знания и перерождающих человека таинств"; Мандельштам — о существующем вне всяких организационных форм "сообщничестве сущих в заговоре против пустоты и небытия". По сути, все поэты — участники этого заговора одиноких. И не к профанам они обращаются, а к посвященным, к людям, обладающим, хотя бы в зачатке, поэтическим, шестым чувством.

Communio poetarum — вещь хотя и мистическая, но вполне реальная. Впрочем, безусловно существуют и рациональные причины удивительных совпадений — логические цепочки и звенья, которые очень интересно восстанавливать. Порой это приводит к лучшему пониманию известных стихов. Поэты как бы комментируют, объясняют друг друга. Слышится уже не одинокий голос, а перекличка голосов, их тайный разговор "на воздушных путях". Пример одной такой переклички мы сейчас и рассмотрим.

"Концерт на вокзале" (1921) — одно из наиболее изученных стихотворений Мандельштама; однако образ павлиньего крика в нем до сих пор не привлек большого внимания исследователей. В комментариях "Библиотеки поэта" указывается только, что в Павловске действительно были павлины, которых содержали в вольерах. Б. М. Гаспаров, ссылаясь на стихи Ахматовой, напомнил, что белые павлины входили в число "трех вещей", которые больше всего на свете любил Гумилев.[1] Кроме того, Гаспаров предположил здесь совмещение нескольких смысловых субстратов, связанных с темой "смерти поэта" и поэтического Элизиума. Логика его статьи (гибель поэта, носителя музыки, и победа железного мира; совпадение смерти Пушкина и постройки железной дороги Петербург — Павловск в 1937 году; смерть Блока и Гумилева, певцов поезда и трамвая, в 1921 году) не позволила ему углубиться в детали "павлиньей" проблематики. Однако в "веере смыслов" этого стихотворения есть аспекты, для которых важен именно этот образ. Напомним вторую строфу "Концерта на вокзале":

Огромный парк. Вокзала шар
стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот
фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это — сон.

Очевидно, что "павлиний крик" является здесь звуковым образом паровозного гудка, так же как "рокот фортепьянный" — уносящегося поезда; на это дополнительно указывает авторское двоеточие[1], разделяющее строки: "Торжественно уносится вагон: / Павлиний крик и рокот фортепьянный". Но "павлиний крик" у Мандельштама отнюдь не только звуковая метафора. Начнем с того, что слова "павлиний крик" и "мне страшно" стоят рядом не случайно: латинское имя павлина pavo связывали с павлиньим криком, внушающим ужас (pavor). В то же время павлиний хвост, усеянный "глазами", с древности обозначал космос и звездное небо. Раскладывая "павлина", как бумажник, на две части: "ужас" и "звезды", а потом снова их складывая, можно прийти к выражению

1. О функции подтекста в поэтическом тексте ("Концерт на вокзале"). В кн.: Б. Гаспаров. Литературные лейтмотивы. М., 1994. С. 175.

1. В ряде изданий стихотворений О. Мандельштама в этом месте стоит точка. (*Прим. ред.*).

"звездный ужас", а это — название стихотворения Гумилева, завершающего его последнюю книгу "Огненный столп" (1921). Тоже, между прочим, оксюморон, сочетающий понятия твердой опоры (столп) и зыбкости (огонь), аполлонийского (архитектура) и дионисийского (пожар).

Название "Концерт на вокзале" также внутренне напряжено; его текст пронизан резкими диссонансами, оппозициями символов вечного и тленного: "твердь кишит червями", "запах роз в гниющих парниках". Сочетание "павлиний крик" — из этого же ряда, его зрительный образ противоречит слуховому. Первое слово, условно говоря, ангельское, внушающее образ райского сада или звездного неба; второе, условно говоря, дьявольское, ведь ангельское начало с криком несовместимо. Впрочем, и зрительный образ не однозначен: павлин в христианской живописи был символом бессмертной души, а в христианской риторике — символом гордыни, суетности, преходящей мирской славы. Средневековые тексты, в частности "Физиолог", утверждают, что павлин сочетает роскошный хвост и безобразные ноги, которых он якобы стыдится. Отсюда следует наставление тщеславному грешнику: "Но когда ты увидишь свои ноги, то есть пороки, тогда возопи к Господу в печали своей и возненавидь то, в чем ты грешен, как павлин ненавидит свои ноги".[1] Обратим внимание на присутствие в этом тексте павлиньего крика (вопля): по-английски "возопить" — "to cry out".

И все же в христианском искусстве павлин выступает прежде всего как символ бессмертия и бессмертной души; именно в этом значении он фигурирует в сценах Рождества Христова и Преображения.[1] Тема бессмертия (воплощенного в музыке) — главная в стихотворении Мандельштама. Обратим внимание на строку, непосредственно следующую за пронзительным криком уносящегося поезда: "Я опоздал. Мне страшно. Это — сон." Семантика колебания между сном и явью, а также отрывистый синтаксис, соответствующий ощущениям "очнувшегося" человека, напоминает заключительную строку "Оды к соловью" Китса, трактующего ту же тему музыки и бессмертия:

> Fled is that music. Do I wake or sleep?
> (Улетела музыка. Это явь или сон?)

Лейтмотив оды Китса — песня соловья, несущая восторг и обещание бессмертия, но начинается она с боли и оцепенения ("My heart aches, and a drowsy numbness pains / My brain..."). Между прочим, стихотворение Лермонтова "Выхожу один я на дорогу...", к которому Мандельштам прямо отсылает читателя в начале "Концерта", тоже содержит мотив боли от избытка восторга ("Что же мне так больно и так трудно?"). Павлиний крик несет в себе тот же оксюморонный заряд: это образ *красоты*, соединенный с идеей *страха* и внезапного пробуждения. Иначе говоря, "павлиний крик" и есть "страшная красота". А это вновь обращает нас к Йейтсу.

1. Цит. по кн.: Hans Biedermann. Dictionary of Symbolism. New York–Oxford, 1992. P. 257–258.

1. Данная символика отчасти основывалась на античных представлениях о том, что мясо павлина не гниет (см. James Hall. Dictionary of Subjects and Symbolism of Art, 1997), отчасти на связи павлиньего хвоста со звездным небом и космосом, общим для древнего Востока и Запада. Двух павлинов, стоящих по сторонам Мирового древа, мы находим, например, на книжной миниатюре в Изборнике Святослава (1073), а также на алтарном витраже в церкви Преображения на горе Фавор.

В первую очередь нас интересует стихотворный цикл Йейтса "Размышления во время гражданской войны", написанный практически одновременно, год в год, с "Концертом на вокзале" Мандельштама.[1] Второе стихотворение этого цикла кончается так:

For the most rich inheritor,
Knowing that none could pass
Heaven's door
That loved inferior art,
Had such an aching heart
That he, although a country's talk
For silken clothes and stately walk,
Had waking wits; it seemed
Juno's peacock screamed.[2]

(Ибо тот богатый наследник, который знал, что в двери Неба не войти тому, кто любит низкое искусство, испытывал такую боль в сердце, что, хотя в деревне и говорили про его шелковые рубашки и важную поступь, мысли его бодрствовали; казалось, что пронзительно вскричал павлин Юноны.)

Это стихотворение тоже о бессмертии, его связь с "Одой к соловью" очевидна: "aching heart" прямо отсылает к первым двум словам китсовской оды: "My heart aches..." ("Боль в сердце"), а "waking wits" к последним: "Do I wake or sleep? ("Это явь или сон?"). Но какова здесь роль павлиньего крика?

Комментаторы отсылают за объяснением к прозе самого Йейтса. Джон Антерекер пишет: "Таинственное упоминание павлина Юноны, связанное к тому же с первым стихотворением цикла (в первом стихотворении "Размышлений во время гражданской войны", упоминаются "павлины на тонких лапках", гуляющие по парку, и Юнона, глядящая с античной вазы. — *Г. К.*), в какой-то степени объясняется в свете того толкования, что дается в первой версии Видения"[1]. Речь идет о главе, в которой Йейтс развертывает свою теорию исторических циклов, точнее, о том месте, где он описывает приближение нового тысячелетия:

"Цивилизация есть стремление сохранить самоконтроль, в этом она похожа на трагический персонаж, на какую-нибудь Ниобею, которая должна продемонстрировать почти сверхъестественную волю, чтобы ее крик (стон, плач) пробудил в нас сочувствие. Утрата контроля над мыслью приходит к концу, сперва расшатывается моральная основа, затем наступает последняя капитуляция, иррациональный вопль (мольба), озарение, пронзительный крик павлина Юноны"[2].

Но и в таком объяснении многое остается загадочным. Норман Джеффарс, приводя этот текст, считает необходимым добавить: "Павлин был посвящен Юноне как символ бессмертия; источник представления о том, что его крик символизирует конец цивилизации, не обнаружен"[3]. Источник,

1. Стихи Йейтса написаны в 1921–1922 гг., опубликованы в журнале "The Dial", 1923, январь; стихи Мандельштама написаны тоже в 1921–1922 гг., опубликованы в журнале "Россия", 1924, № 3.
2. К сожалению, комментаторы Йейтса не отмечают (возможно, не замечают), что поэт использует в этом стихотворении редчайшую стихотворную форму, чередование четырех- и трехстопных двустиший, до этого использованную в английской поэзии только один раз, в стихотворении Эндрю Марвелла "Горацианская ода на возвращение Кромвеля из Ирландии" (1650). Таким образом, он прямо отсылает читателя к трактовке поэта и гражданской войны в этом произведении Марвелла, без учета которого полный смысл стихотворения Йейтса не прочитывается.

1. John Unterecker. A Reader's Guide to William Butler Yeats, New York. 1983. P. 179.
2. Yeats. A Vision. New York, 1966. P. 268.
3. A. Norman Jeffares. A New Commentary on The Poems of W. B. Yeats. Stanford, 1884. P. 226–227.

как мы увидим ниже, следует искать в алхимических и эзотерических трудах, усердным читателем которых был Йейтс.

Заметим, что птичий крик вообще играет большую роль в поэзии Йейтса и всегда связан у него с духами, оборотничеством и переходом в новое состояние. Крик кулика был лейтмотивом поэмы "Байле и Айлинн" (1901), которая повествует о влюбленных, перенесенных после смерти в Страну вечной молодости. В пьесе "У Ястребиного источника" (1916) дева – Хранительница родника кричит ястребом перед тем, как в сухую яму должна прихлынуть вода бессмертия. В "Византии" (1930) волшебный соловей, податель бессмертия, внезапно оборачивается петухом из ада, кричащим *кукареку* "всей лихорадке и тщете земной". В одном из последних стихотворений Йейтса "Кухулин примиренный" (1939) тени умерших обещают спеть герою песню утешения, но вместо слов из их гортаней доносится "лишь один тоскливый птичий свист".

На фоне этих вневременных символов – кулика, ястреба, соловья и "адского петуха" – павлин, как нам кажется, более всего подходит к той конкретной "эстетической эпохе", на которую пришлась молодость Йейтса. Доказать это нелегко, ибо мифопоэтическая символика павлина изначально противоречива, но само противоречие это весьма характерно. С одной стороны, как уже говорилось, павлин символизирует гордыню, то есть грех, с другой – бессмертную душу и даже Христа. Неслучайно этот образ так часто встречается в книжных орнаментах, интерьерах и на декоративно-прикладных произведениях эпохи модерн. Можно сказать, что павлин вошел в геральдику символизма. Обитатель пышных садов Павловска (у Мандельштама) или "усадеб предков" (у Йейтса), изысканный и самовлюбленный, великолепный и смешной, павлин может символизировать аристократическое искусство вообще или его творца – поэта, художника – в частности. Сочетание гордыни и жертвенности, греха и святости – это и есть самоощущение поэта-символиста. "Божественный избыток красоты", роскошный хвост, который его обладатель обречен влачить по праху, – вариация того же мотива, что в бодлеровском "Альбатросе": исполинские крылья мешают поэту "ходить по земле, среди свиста и брани"[1].

Крик павлина в таком случае может иметь разные смыслы. Он может быть криком оракула, предвещающего конец "эстетической эпохи", – или криком испуга, отчаянья – или криком вызова, преодоления. В любом случае в этом пронзительном крике – мощный контраст зрительного и слухового ощущения, соответствующий конфликту идеального (прекрасного, бессмертного) и материального (несовершенного, тленного) в мире. Этот конфликт – центральный в стихотворении Йейтса о "страшной красоте", родившейся в миг отчаянного мятежа: "All changed, changed utterly, / A terrible beauty is born" ("Easter 1916"). Павлиний крик подспудно звучит и тут, потому что родившаяся красота – страшная (pavor / pavo), и

1. Поразительную историю рассказывает Бунин в "Окаянных днях": "Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало". И. А. Бунин. Окаянные дни. М., 1991. С. 167. Эту запись, датированную 10 июня 1919 г., Мандельштам, очевидно, прочесть не мог; но он мог знать слух или газетное сообщение, бывшее источником для Бунина.

потому "все изменилось, полностью изменилось" (конец цивилизации), и потому еще, что павлин, пьющий из чаши, в христианском искусстве — символ евхаристии[1], а стихотворение Йейтса называется "Пасха 1916 года".

Если мы теперь хотим подкрепить наши соображения со стороны алхимической символики (весьма важной для Йейтса), нам следует обратиться ко второму, наряду с "Видением", важнейшему тексту Йейтса, который связан с мотивом "павлиньего крика", но на который почему-то не обращают внимания комментаторы Йейтса. Речь идет о рассказе "Rosa Alchemica", опубликованном еще в 1897 году и затем не раз переиздававшемся. Рассказ начинается с того, что рассказчик — alter ego автора — сидит у себя дома, размышляя о своей только что опубликованной книжке "Rosa Alchemica" (ход, характерный для логики сна!) — и о том, что алхимическая доктрина *трансмутации*, то есть превращения неблагородных металлов в золото, не фантазия алхимиков, но особая философия, применимая к миру в целом и к самому человеку. Эта идея позволила автору сделать свою книгу "прихотливой мечтой о трансмутации жизни в искусство, безмерно страстной мольбой (a cry of measureless desire) о мире, состоящем из одних чистых сущностей"[2]. Отметим, что слово, которое мы перевели как "мольба" (cry), имеет также значения "плач" и "крик"; то же самое слово, что в выражении "павлиний крик".

Далее рассказчик описывает интерьер своей квартиры, которую он превратил в оазис красоты, наполнив прекрасными картинами, скульптурами, изящно переплетенными книгами и т. д. Занавеси на дверях, "украшенные голубыми и бронзовыми павлинами", отделяют его эстетское убежище от всего, что чуждо красоте и покою. Затворившись внутри, он может наслаждаться созерцанием прекрасного, а также всех человеческих страстей и вер, без связанных с ними мук, горечи и разочарования. "Радуясь этим мыслям, — пишет Йейтс, — я смотрел на этих птиц Геры, мерцающих в свете камина как византийская мозаика; и моему воображению, для которого символизм был необходимостью, они представлялись привратниками моего мира, охраняющими его от всего, что не было столь же прекрасно, как они сами..."[1] Обращая взор на купленные накануне алхимические инструменты, рассказчик осознает, что высшая мечта алхимиков, "превращение усталого сердца в не ведающий усталости дух", от него неизмеримо далека, и вспоминает слова Василия Валентина о том, что алхимический огонь подобен огню Страшного суда, "в котором все смертное должно сгореть прежде, чем божественная субстанция — материальное золото или неземная радость — может родиться". Размышляя об этом, он раздвигает занавеси и видит звезды — "эти крошечные светящиеся точки, заполнившие небо, как горны бесчисленных святых алхимиков, неустанно работающих, превращая свинец в золото, усталость в экс-

1. Hans Biedermann. Dictionary of Symbolism. P. 258.
2. Yeats. Mythologies. New York, 1959. P. 267.

1. Ibid., p. 268—69. Ассоциация павлинов со стражами (привратниками) может происходить от их "многоокости". Согласно мифу, Гера поместила на павлиний хвост глаза многоокого Аргуса, приставленного ею сторожить корову Ио, но убитого Гермесом. Отметим также, что на средневековых изображениях павлины часто стояли как стражи с двух сторон Мирового древа.

таз, тела в души, тьму в Бога", — "и при виде этих совершенных трудов (продолжает Йейтс) мысль о смерти налегла на меня, и я взмолился (cried out), как множество других сновидцев и книжников нашего века, о рождении той сложной духовной красоты, которая одна может возвысить души, отягощенные столь многими снами"[1].

Удивительно, что в тексте этого раннего рассказа Йейтса практически уже содержится главная фраза "Пасхи 1916 года" о рождении новой красоты, а заодно и конспект его знаменитого "Плавания в Византию" (1926), которое будет написано почти через тридцать лет: "усталое сердце", томящееся по бессмертию, мотив огня, в котором оно должно сгореть, и даже мотив византийской мозаики как образа идеального искусства:

О мудрецы, явившиеся мне,
Как в золотой мозаике настенной,
В пылающей кругами вышине,
Вы, помнящие музыку Вселенной! —
Спалите сердце мне в своем огне,
Исхитьте из дрожащей твари тленной
Усталый дух: да будет он храним
В той вечности, которую творим.

Рассказ "Rosa Alchemica" дает важнейший ключ к образу "павлиньего крика" у Йейтса. Павлины здесь выступают как стражи красоты. Вместе с бесчисленными "алхимиками звезд" они причастны труду по превращению жизни в искусство. Описание павлинов у Йейтса соседствует со страстным желанием откровения, приобщения к нетленному. Оно прорывается в экстатической мольбе (a cry of measureless desire), в вопле, который рассказчик издает (cries out), тоскуя о рае чистых сущностей. Исходя из символики этого рассказа, крик павлина можно интерпретировать как мольбу о бессмертии, о трансмутации смертного вещества жизни в вечное золото искусства или же как выражение отчаянного усилия, направленного на достижение этой цели. Это — идея зрелого романтизма; вспомним в "Падении Гипериона" Китса тот эпизод, когда поэт должен взойти по лестнице к алтарю бессмертия, но не может, скованный каким-то страхом; его спасает лишь собственный отчаянный вопль (a shriek):

Я закричал, и собственный мой крик
Ожег мне уши болью; я напряг
Все силы, чтобы вырваться из хватки
Оцепенения, чтобы достичь
Ступени нижней...

Заметим, что все названные смыслы "павлиньего крика" не противоречат друг другу. В "Концерте на вокзале" это может быть вестью о конце цивилизации, и откровением, и отчаянной попыткой в последний миг перед гибелью совершить "прыжок в бессмертие", вскочить на подножку поезда, идущего в элизиум поэтической славы.

Сходная интерпретация подходит и для стихотворения Йейтса. При этом стоит учесть еще алхимическую символику павлина, которую Йейтс наверняка знал. Радужное оперение павлиньего хвоста (cauda pavonis) символизирует для алхимика некую предзавершающую стадию трансмутации, когда душа, уже покинувшая тело, вновь пытается с ним соединиться: в этот момент алхимик наблюдает появление на "поверхности материи" делания многообразных цветовых переливов[1].

Важность рассказа "Rosa Alchemica" для прояснения "павлиньей темы" у Йейтса подтверждается еще одним удивительным

1. Yeats. Mythologies. P. 270.

фактом. В том же самом 1923 году, практически одновременно со стихами Йейтса и Мандельштама, выходит первая книга в то время никому не известного американского поэта Уоллеса Стивенса "Фисгармония", в которой тоже появляется "павлиний крик". Речь идет о довольно загадочном стихотворении "Доминация черных тонов", в котором многократно повторяются и варьируются три образа: цветные отблески камина, угрожающие им "тени черных пиний" и внезапный крик павлина. Все они присутствуют уже в первой строфе:

В полночь, у камина,
Отблески цветные,
Цвета осени и палых листьев,
Улетали во тьму
И возвращались,
Словно листья,
Кружимые ветром.
Но тяжелые тени черных пиний
Наступали.
И во тьме раздался крик павлиний.

Последняя строка (с вариантами) повторяется в виде рефрена. В последний раз она звучит так: "Страшно стало. / И во тьме раздался крик павлиний". Страх и павлиний крик здесь соседствуют точно так же, как в "Концерте на вокзале" Мандельштама.

Из теории вероятности известно, что *тройные* совпадения значительно более редки, чем двойные. Синхронное (с точностью до года) совпадение Стивенса, Йейтса и Мандельштама на одном довольно редком образе кажется мистическим. В одной из лучших монографий о Уоллесе Стивенсе, принадлежащей Х. Блуму, можно прочесть, что "крик птиц Юноны здесь, так же как у Йейтса, предвещает конец эпохи". Допустим. Но откуда Стивенс извлек эту идею? Ведь ни "павлинье" стихотворение Йейтса, ни "Видение" повлиять на Стивенса не могли: "Доминация черных тонов" написана в 1917 году, а "Размышления во время гражданской войны" Йейтса — не раньше 1921 года, "Видение" — еще позднее.

Мистика отчасти рассеивается, если предположить, что Стивенс читал рассказ Йейтса "Rosa Alchemica". В пользу такого варианта говорит, в частности, то, что павлины у Стивенса сочетаются с отблесками камина; вспомним у Йейтса: "...я смотрел на этих птиц Геры, мерцающих в свете камина". Знаменательно, что Стивенс сам пытается дать интерпретацию павлиньему крику, разворачивая перед нами целый веер вопросов, соединенных вместе выражением "a cry against", которому в русском переводе соответствует слово "вызов":

Был ли это вызов ночи
Или палым листьям,
Уносимым ветром, —
Листьям зыбким,
Как огонь в камине,
Зыбким, словно хвост павлиний,
Мечущийся в гуле
Пламени и ветра?
Был ли это вызов ветру?
Или грозным теням черных пиний?

Стивенс не сомневается, что павлиний крик означает вызов — либо потемкам, либо уносимым листьям, либо ветру, либо черным теням наступающих сосен[1]. Заметим, что стихотворение написано в 1917 году. В этот момент наступа-

1. См. А. Нестеров. "У. Б. Йейтс: Sub Rosa Mystica". В кн.: У. Б. Йейтс. Видение. М., 2000. С. 611.

1. Мотив наступающих деревьев можно связать с Бирнамским лесом, двинувшимся на Дунсинан по предсказанию Призрака. Гордый Макбет не пугается зловещего знака, но бросает ему вызов и вступает в безнадежный бой.

ет кульминация драмы, подходит к финалу "павлинья" эпоха созерцания, самолюбования, порыва к звездам, ветер готов унести все эти "цветные отблески". Что же означает вызов, который почувствовал Стивенс в павлиньем крике? Может быть, это просто крик бессилия, последний иррациональный возглас эпохи, которая кончается, как сказал бы поэт новой эпохи, "не взрывом, а взвизгом"?[1]

Стивенс не дает ответа на эти вопросы, а Йейтс дает. Крик павлина означает у него не гибель цивилизации, а возрождение или перерождение. Тут надо понимать, что Йейтс как усердный и опытный адепт весьма четко различал функции используемых символов, в частности зоологических. Если с концом света у него связан, скажем, Кабан Без Щетины, то можно быть уверенным, что чайку или собаку в этой функции Йейтс никогда не использует. А вот петух у Йейтса амбивалентен: своим кукареканьем он может "включить" или "выключить" вечность[2]. Павлин тоже солярный символ. В стихотворении Йейтса "Индус к своей возлюбленной" (1886) павлин символизирует утро, рассвет, в то время как горлица — вечер, сумерки. Веер растопыренных павлиньих перьев подобен лучам восходящего солнца. Со Средних веков павлин ассоциируется с Рождеством Христовым, а также с Воскресением. В алхимической традиции, как мы уже говорили, "павлин" есть близкая к завершению стадия трансмутации — превращения простых металлов в золото или (в трактовке Йейтса) жизни — в искусство. Точнее говоря, существуют три основные фазы алхимического делания: nigredo (распад или гниение), albedo (отбеливание) и rubedo (покраснение). "Павлин" является перед концом второй стадии.

Мне думается, что комментаторы Йейтса не совсем точно интерпретируют цитату из йейтсовского "Видения". В ней развертывается картина заката цивилизации, на фоне которой подспудно готовится новое возрождение. Оно не может быть достигнуто рациональным путем, ему предшествуют иррациональный вопль (irrational cry), откровение (revelation), пронзительный крик (scream) павлина Юноны. Возможность такого толкования "павлиньего крика", как нам кажется, бросает отсвет и на стихотворение Мандельштама.

1. T. S. Eliot. The Hollow Men (1925).
2. "He that crowed out eternity / Thought to have crowed it in again" ("Тот, кто своим кукареканьем выключил вечность, хотел кукареканьем снова ее включить"). From "Solomon and the Witch", Yeats. Collected Poems, 175.

Из *новых переводов* У. Б. Йейтса

Не *отдавай любви всего себя*

Не отдавай любви всего себя;
Тот, кто всю душу дарит ей, любя,
Неинтересен женщине, ведь он
Уже разгадан и определен.
Любовь занянчить — значит умертвить;
Ее очарованье, может быть,
В том, что непрочно это волшебство.
О, никогда не отдавай всего!
Запомни, легче птичьего пера
Сердца любимых, страсть для них игра.
В игре такой беспомощно-нелеп,
Кто от любви своей и глух, и слеп.
Поверь тому, кто ведает финал:
Он все вложил в игру — и проиграл.

1905

Могила *в горах*

Лелей цветы, коль свеж их аромат,
И пей вино, раз кубок твой налит;
В ребре скалы дымится водопад,
Отец наш Розенкрейц в могиле спит.

Танцуй, плясунья! не смолкай, флейтист!
Пусть будет каждый лоб венком увит
И каждый взор от нежности лучист,
Отец наш Розенкрейц в могиле спит.

Вотще, вотще! терзает темноту
Ожог свечи, и водопад гремит;
В камеи глаз укрыв свою мечту,
Отец наш Розенкрейц в могиле спит.

1912

Мраморный тритон

Я уже немолодой
Мраморный мудрый тритон
Над текучей водой.
Каждый день я гляжу
На даму души моей
И с каждым днем нахожу
Ее все милей и милей.
Я рад, что сберег глаза
И слух отменный сберег
И мудрым от времени стал,
Ведь годы мужчине впрок.
И все-таки иногда
Мечтаю, старый ворчун:
О, если б встретиться нам,
Когда я был пылок и юн!
И вместе с моей мечтой
Старясь, впадаю в сон,
Мраморный мудрый тритон
Над текучей водой.

1916

Политической узнице

Нетерпеливая с пелен, она
В тюрьме терпенья столько набралась,
Что чайка за решеткою окна
К ней подлетает, сделав быстрый круг,
И пальцев исхудалых не боясь,
Берет еду у пленницы из рук.

Коснувшись нелюдимого крыла,
Припомнила ль она себя другой –
Не той, чью душу ненависть сожгла,
Когда, химерою воспламенясь,
Слепая, во главе толпы слепой,
Она упала, захлебнувшись, в грязь?

А я ее запомнил в дымке дня –
Там, где Бен-Балбен тень свою простер,
Навстречу ветру гнавшую коня:
Как делался пейзаж и дик, и юн!
Она казалась птицей среди гор,
Свободной чайкой с океанских дюн.

Свободной и рожденной для того,
Чтоб, из гнезда ступив на край скалы,

Почувствовать впервые торжество
Огромной жизни в натиске ветров —
И услыхать из океанской мглы
Родных глубин неутоленный зов.

1919

Триумф женщины

Я любила дракона, пока ты ко мне не пришел,
Потому что считала любовь неизбежной игрой;
Соблюдать ее правила, кажется, труд не тяжел, —
Но бывает занятно и даже приятно порой

Скуку будней развеять, блеснув загорелым плечом,
Скоротать полчаса за одной из невинных забав.
Но ты встал средь змеиных колец с обнаженным мечом;
Я смеялась, как дура, сперва ничего не поняв.

Но ты змея сразил и оковы мои разорвал,
Легендарный Персей иль Георгий, отбросивший щит.
И в лицо нам, притихшим, ревет налетающий шквал,
И волшебная птица над нами в тумане кричит.

1926

Сожалею о сказанном сгоряча

Я распинался пред толпой,
Пред чернью самою тупой;
С годами стал умней.
Но что поделать мне с душой
Неистовой моей?

Друзья лечили мой порок,
Великодушия урок
Я вызубрил уже;
Но истребить ничем не смог
Фанатика в душе.

Мы все — Ирландии сыны,
Ее тоской заражены
И горечью с пелен.
И я — в том нет моей вины —
Фанатиком рожден.

1931

Передо мной проходят образы ненависти, сердечной полноты и грядущего опустошения

Я всхожу на башню и вниз гляжу со стены:
Над долиной, над вязами, над рекой, словно снег,
Белые клочья тумана, и свет луны
Кажется не зыбким сиянием, а чем-то вовек
Неизменным — как меч с заговоренным клинком.
Ветер, дунув, сметает туманную шелуху.
Странные грезы завладевают умом,
Страшные образы возникают в мозгу.

Слышатся крики: "Возмездие палачам!
Смерть убийцам Жака Молэ!" В лохмотьях, в шелках,
Яростно колотя друг друга и скрежеща —
Зубами, они проносятся на лошадях
Оскаленных, руки худые воздев к небесам,
Словно стараясь что-то схватить в ускользающей мгле;
И опьяненный их бешенством, я уже сам
Кричу: "Возмездье убийцам Жака Молэ!"

Белые единороги катают прекрасных дам
Под деревьями сада. Глаза волшебных зверей
Прозрачней аквамарина. Дамы предаются мечтам.
Никакие пророчества вавилонских календарей
Не тревожат сонных ресниц, мысли их — водоем,
Переполненный нежностью и тоской;
Всякое бремя и время земное в нем
Тонут; остаются тишина и покой.

Обрывки снов или кружев, синий ручей
Взглядов, дрёмные веки, бледные лбы
Или яростный взгляд одержимых карих очей —
Уступают место безразличью толпы,
Бронзовым ястребам, для которых равно далеки
Грезы, страхи, стремление в высоту, в глубину...
Только цепкие очи и ледяные зрачки,
Тени крыльев бесчисленных, погасивших луну.

Я поворачиваюсь и схожу по лестнице вниз,
Размышляя, что мог бы, наверное, преуспеть
В чем-то, больше похожем на правду, а не на каприз.
О честолюбивое сердце мое, ответь,
Разве я не обрел бы соратников, учеников
И душевный покой? Но тайная кабала,
Полупонятная мудрость демонских снов,
Влечет и под старость, как в молодости влекла.

1922

Примечание переводчика.

Жак де Молэ (1243—1314) — Великий магистр могущественного Ордена Храма, сожженный в Париже после семилетнего процесса и проклявший с костра короля Франции и Папу Римского. Существует предание, что Французская революция — месть тайных сторонников Жака де Молэ. Иейтс так комментирует свое стихотворение: "Призыв к отмщению за убийство Великого магистра тамплиеров представляется мне подходящим символом для действий, основанных на ненависти и по своему существу бесплодных. Говорят, что этот призыв был частью ритуала в некоторых масонских обществах XVIII века и в дальнейшем подогревал классовую ненависть революционеров. Ястребов я поставил в четвертую строфу, кажется, потому, что у меня есть перстень с ястребом и бабочкой, символизирующий прямой путь логики и механики — и извилистый путь интуиции".

Издательство "Иностранка"

В этой рубрике мы намерены знакомить читателя "ИЛ" с деятельностью ведущих издательств, трудами которых зарубежная литература приходит к отечественному читателю. Понятно наше желание первым дать слово "Иностранке".

С директором издательства Варварой Горностаевой беседует Сергей Гандлевский.

Сергей Гандлевский: Читатели, вероятно, помнят еще старое книжное приложение к журналу "Иностранная литература". Чем отличается нынешняя серия "ИЛ" от былой?

Варвара Горностаева: Старое книжное приложение стало выходить в 1984 году, и за семь лет в нем было издано более полутораста книг. В начале 90-х в связи с финансовыми трудностями его выпуск прервался, в какой-то момент возобновился, а потом прекратился вовсе. А некоторое время назад стало совершенно очевидно, что журнал, образно говоря, сидит на нефтяной скважине. Конечно, книжное приложение необходимо было возродить. Но так, чтобы читатель, с одной стороны, безошибочно узнал в новой серии старую, любимую и проверенную, а с другой — увидел в ней нечто действительно новое и современное. Мы придумали назвать новую-старую серию "Иллюминатор" (так называется ежегодная премия журнала) и первые полтора десятка книг составили из лучших публикаций журнала "Иностранная литература" за последние годы.

Но ведь известно, что и другие издательства, всерьез занимающиеся хорошей переводной литературой, руководствовались и руководствуются очевидным соображением: журнал "ИЛ" — надежный источник этой самой хорошей переводной литературы.

Тут надо напомнить, что в огромной стране был по существу один-единственный журнал, публиковавший современную зарубежную литературу. Естественно, что содержание "ИЛ" за последнее десятилетие бы-

ло изучено не только его собственным вновь созданным издательским отделом...

С. Г. У серии наверняка есть сверхзадача, программа? Расскажите, пожалуйста, о Ваших, то бишь наших, издательских планах.

В. Г. Серия "Иллюминатор", повторюсь, — не что иное, как обновленная "Библиотека 'Иностранной литературы' ". А в процессе работы над "Иллюминатором" появилось еще много разных замыслов, но они требовали иного масштаба: не маленького издательского отдела с одним сотрудником, который "и чтец, и на дуде игрец", а прямо-таки настоящего издательства. Помимо просветительских намерений, есть еще одна немаловажная забота и цель — заработок. "Иностранная литература", как любой "толстый" журнал, нуждается в финансовой поддержке. До последнего времени Фонд Сороса оказывал помощь, теперь она, кажется, прекратилась.

У современного "толстого" литературного журнала должно быть свое издательство. Вот мы и подумали, а почему, собственно, не попробовать? Так и возникло издательство "Иностранка".

Первым и главным проектом новорожденного издательства была серия "Иллюминатор" с громким девизом "Лучшие книги в лучших переводах", которому мы стараемся соответствовать, и пока первый десяток или даже полтора десятка книг — это, на наш взгляд, безусловные удачи.

Открывал серию роман "Обещание на рассвете" Ромена Гари. Мне кажется, это один из самых обаятельных романов ушедшего XX века. И очень правильно, что мы с него начали: он и есть образец этой серии — отличная литература в отличном переводе. Наша задача и дальше придерживаться подобного уровня.

Когда было решено, что журналу необходим свой издательский отдел, заниматься этим предложили мне. Я с большим энтузиазмом взялась за дело, в котором многое для меня было тайной за семью печатями — например, распространение будущих книг. Я решила, что надо поговорить со знающими людьми. Одним из знающих людей оказался Максим Амелин, московский представитель питерского издательства "Симпозиум". "Пожалуй, придется познакомить вас с Александром Иосифовичем", — сказал Максим, терпеливо выслушав перечень моих проблем. И познакомил, за что ему огромное спасибо! Александр Иосифович Гантман — директор книготорговой фирмы "Б.С.Г.-Пресс" и одноименного издательства. В тот день, помнится, он провел со мной ликбез на тему распространения книжной продукции, в частности моей будущей книжной продукции. Я поблагодарила советчика и, пригласив заходить к нам в журнал, распрощалась. А на следующий день Александр Иосифович позвонил и сказал, что вообще-то и сам давно хотел издавать такую литературу и надо бы нам попробовать издавать ее вместе. Вскоре с легкой руки Гантмана состоялось знакомство с художником Андреем Бондаренко, который разработал дизайн серии в целом и оформляет каждую ее книгу. Художник выполнил поставленную нами задачу: сделать так, чтобы новая серия каким-то образом напоминала читателю прежнее книжное приложение, но была при этом все-таки *новой*. Так что с партнерами "Иностранке" повезло.

Выпустив несколько книжек "Иллюминатора", мы стали входить во вкус. Начали придумывать новые серии. В частности — в том числе и по упомянутым выше соображениям материального порядка, — появилась

идея серии развлекательной. Самое активное участие в разработке издательских планов принимал Григорий Чхартишвили, тогда еще заместитель главного редактора журнала. Кстати, именно на то время пришелся взлет известности Чхартишвили, вернее, Бориса Акунина. Этот взлет доказал, что массовая литература, к которой мы привыкли относиться без особого почтения, может быть хороша, что она может приносить и удовольствие читателю, и успех автору. Григорий Шалвович сформулировал идею новой серии: это должны быть книги, которые читатели журнала "Иностранная литература" возьмут с собой в отпуск, устав от чтения серьезных книг и от самой "Иностранной литературы". Наша развлекательная серия будет называться "Лекарство от скуки". Помимо качественного оригинального текста и качественного перевода, у книг "легкого" жанра должно быть качественное оформление. Словом, должны быть книги, добротные со всех точек зрения. И именно "Иностранная литература" и "Иностранка" (я нарочно упоминаю и то, и другое, чтобы читатели привыкали к мысли, что это разные организмы) с их опытом и отношением к делу могут сделать это лучше остальных. Впрочем, время покажет. Пока что первые книги новой серии определены и переводятся.

С. Г. Известно, что переводческий цех в рыночных условиях понес сильный урон.

В. Г. Это очень серьезная тема и на самом деле одна из основных проблем серии "Лекарство от скуки". Хорошему переводчику необходимо платить пристойные деньги. Издательства, подобные нашему, пока не в состоянии платить много. И поэтому вполне естественно, что переводчики, с сожалением отложив на время творческую работу, а то и вовсе ее забросив, зарабатывают на жизнь другими способами: кто переводит фильмы, кто статьи для глянцевых журналов. А если они и позволяют себе роскошь переводить время от времени настоящую литературу, то уж конечно, странно ожидать, что они согласятся переводить детективы, пусть даже и хорошие. Им жалко тратить на них время, а мы, в свою очередь, не в состоянии платить за это столько, сколько платят за перевод те же глянцевые журналы.

Мы попадаем в замкнутый круг: профессионалу необходимо платить соответственно высокому уровню его профессионализма, но чтобы иметь чем платить, надо сначала продать хорошо написанные и хорошо переведенные книги.

С. Г. Тогда, может быть, вокруг издательства "Иностранка" со временем образуется круг профессионалов из молодых переводчиков?

В. Г. Было бы очень здорово, и мы на это надеемся.

Проблема перевода дает о себе знать уже в серии "Иллюминатор", где критерий качества заявлен изначально, и планку снижать нельзя. Но довольно скоро "сливки" будут сняты: хорошего всегда мало. Поэтому сейчас-то как раз и начинается настоящая поисковая работа. Мы напряженно ищем не только новые книги, но и новых переводчиков. Мой собственный опыт подобных поисков был довольно печальным: из пробных переводов, выполненных молодыми переводчиками, большая часть отправилась в корзину. Кто-то просто глух — тогда и жалеть не о чем. Но многие уже научились халтурить. Видно, что человек способный, но то ли очень спешил, то ли былого почтения к профессии нет. Наверное, причина все та же — возможность зарабатывать переводом в

изданиях, не требующих профессионального обращения со словом. Впрочем, не все так мрачно: мы уже нашли и еще без сомнения найдем молодых и талантливых.

С. Г. "Лекарство от скуки" — это главным образом детективы?

В. Г. В серию поначалу войдут детективы, но, в принципе, там может появиться все, что способно развлечь человека, привыкшего читать хорошие книги. Кто-то устает от чтения серьезных книг и хочет, что называется, сменить пластинку. А кто-то просто любит несерьезные жанры — детективы, мелодрамы, исторические романы, фантастику... Сейчас почти у каждого издательства — и у серьезных в том числе — есть детективная серия. Называются они по-разному, но часто повторяют друг друга, потому что в них переиздаются старые добрые сочинения Агаты Кристи, Жоржа Сименона, Чандлера, Честертона. Новые имена появляются редко — боязно печатать автора, никому не известного. Я как раз думаю, что нам, "Иностранной литературе" и "Иностранке", надо заниматься именно этим. Тут есть риск, но наши читатели знают, что журнал всегда открывал новые имена, а значит, рисковал. Но если уж кому и поверят, то "Иностранке". Задача сложная, потому что тут нельзя ошибаться, а ошибиться довольно легко — книг уйма. И все же нужно рисковать, нужно убедить читателя в том, что он не промахнется, если купит неизвестный роман неизвестного автора, опубликованный в издательстве "Иностранка".

С. Г. Читателям "ИЛ", может быть, небезынтересно узнать, в какой мере издательство предоставлено самому себе, а в какой — зависит от журнала.

В. Г. Журнал является учредителем издательства. Эта зависимость — юридическая. Кроме того, две редакции очень тесно сотрудничают, в особенности в отборе романов для публикации — в журнале и в "Иллюминаторе". Традиция продолжается: то или иное произведение часто выходит сначала в журнале, а потом книгой. Если по каким-то критериям какое-либо произведение не подходит журналу (скажем, слишком велико), оно может быть напечатано в одной из серий, выходящих в издательстве. Но "Иллюминатор" — это, конечно же, в первую очередь отражение линии журнала. Кстати сказать, несколько романов, выбранных для серии "Лекарство от скуки", тоже сначала появятся именно в журнале. Будем надеяться, что это станет гарантией качества.

С. Г. Реагировала ли критика на появление новой книжной серии?

В. Г. Да, надо сказать, что рецензии сопровождают выход каждой новой книги. И рецензии, как правило, хорошие. Мне кажется очень существенным тот факт, что литературные обозреватели внимательно следят за жизнью "Иллюминатора". Важно, что этот интерес постоянный. Правда, некоторые критики до сих пор путаются в названиях издательства, поскольку название "Иностранная литература" сменилось "Иностранкой", а на титульном листе вдобавок присутствует "Б.С.Г.-Пресс". Но в общем, уже потихоньку начинают разбираться.

С. Г. Попадают ли книги "Иностранки" в провинцию?

В. Г. Это вопрос важный и болезненный. В издательство приходит много писем обычной и электронной почтой, иногда читатели даже звонят из других городов, чтобы спросить, где и как купить наши книги. Ведь в журнале на последней странице обложки всегда можно найти рекламу вышедших и готовящихся к выходу книг. Кроме Москвы и Пе-

тербурга, они продаются еще только в нескольких крупных городах. Насколько я знаю, в провинции нашу книгу можно обнаружить в лучшем случае в библиотеке, и то только благодаря Фонду Сороса, который выкупает и рассылает некоторые книги серии (как и избранные книги других издательств) по российским библиотекам. Но это капля в море. Пока наших книг в российской провинции, за редкими исключениями, нет.

С. Г. У крупных издательств существуют свои сети распространения. Нельзя ли присоединиться к одной из них, чтобы увеличить территорию распространения ваших книг?

В. Г. Сложный вопрос. Так недолго — напрашивается каламбур — угодить в сеть: маленькое издательство в один прекрасный день рискует обнаружить себя накрытым с головой этим самым крупным издательством. Подобные истории случаются. Тут нужно иметь хорошую защиту. Большому издательству не интересно просто торговать чужими книгами, ему интересно в их производстве участвовать, то есть навязывать свои вкусы и условия. С "Б.С.Г.-Пресс" мы не боимся сотрудничать, мы примерно одной весовой категории, и правила игры у нас примерно одни и те же. А с большими надо держать ухо востро. Хотя предложений сотрудничества как раз от "больших" мы получили довольно много.

С. Г. С какими еще трудностями Вы столкнулись?

В. Г. Есть проблема покупки авторских прав. Большинство правообладателей, из тех, что уже имели дело с Россией, понимают, насколько велика разница между стоимостью книги здесь и за границей. Там книжка в твердой обложке стоит двадцать долларов, а здесь — два. Поэтому мы и за права можем платить гораздо меньше по сравнению с западными издательствами. И нам, как правило, идут навстречу. Хотя кто-то вообще предпочитает с Россией не сотрудничать, в том числе и потому, что еще недавно здесь была тьма пиратских изданий.

Но главная проблема сейчас уже в другом. Если речь идет о маленьких и средних издательствах, то все мы придерживаемся одной — даже не политики — а данности, касающейся цены на книги. У книги есть себестоимость, отпускная цена, розничная цена и еще тираж. И стоимость авторских прав напрямую зависит от этих цифр. Вернее, должна зависеть. Это и не математика вовсе, а простенькая арифметика. Короче говоря, средняя величина авторского гонорара с небольшими колебаниями известна. Дело же в том, что издательства, заработавшие свой капитал на издании дешевой массовой литературы, теперь тоже понемногу решили заняться хорошей литературой, поскольку спрос на нее достаточно велик. В частности, и хорошей переводной литературой. Сегодня они способны заплатить за права больше, пусть ненамного; они и платят больше. Таким образом, у некоторых западных правообладателей возникает ощущение, что ситуация изменилась и авторский гонорар можно повышать. Но это не соответствует действительности, особенно если учесть, что себестоимость книг сейчас растет и довольно стремительно. А отпускная цена вырасти так же резко не может, потому что тогда книги станут хуже покупаться. Как правило, между владельцем прав и покупателем есть посредник — литературное агентство. Хороший литературный агент отличается от плохого тем, что четко себе представляет, какое издательство способно наилучшим образом издать конкретную книгу; соображения материальной выгоды, само собою ра-

зумеется, важны, но в первую очередь литагент должен понимать, что имеет дело с книгой, а не с картошкой. К сожалению, примеры обращения с книгой, как с картошкой, еще встречаются довольно часто.

С. Г. Может быть, Вы хотите невозможного: чтобы акула следила за экологией? За экологией должен следить кто-то третий, эколог, допустим.

В. Г. Акула на самом деле отлично следит за экологией, сама того не осознавая, уж во всяком случае она не способна навредить природе. Если она, конечно, нормальная акула. Некоторые агенты никак не возьмут в толк, что нельзя не принимать во внимание различные направления издательской политики — это неизбежно отразится на качестве книг.

Вторая проблема тесно связана с первой: литературный агент, который стремится в первую очередь пристроить книжку подороже и не особенно заботится о ее дальнейшей судьбе, вполне способен пойти на нарушение конфиденциальности. Например, наше издательство находит нового автора или не переводившийся до сих пор на русский язык роман известного автора. Мы выясняем множество подробностей, прочитываем массу рецензий и т. д. Наконец, посылаем заявку в литагентство, представляющее здесь владельца прав на перевод этой книги. А спустя какое-то время неожиданно выясняется, что эту же книгу, по странному, необъяснимому совпадению, хочет издать другое издательство, но только заплатить предлагает вдвое больше. То есть оно, получается, чужими — в данном случае моими — руками таскает каштаны из огня. И хорошо еще, если книга будет издана прилично. А если она выйдет в плохом переводе, плохо отредактированная, с большим количеством ошибок, ее репутацию можно считать надолго испорченной. И не дай бог, если опубликован неизвестный до сих пор, но хороший автор — ему от подобной публикации больше вреда, чем пользы. Конечно, в конце концов репутация такого литагентства тоже будет подмочена, и правообладатель обзаведется другим посредником, но в некотором смысле цена слишком велика. Вот о чем идет речь.

С. Г. Ответом на последний вопрос вы автоматически ответили и на вопрос о конкуренции в книгоиздательском деле.

В. Г. Мне трудно полноценно об этом судить, потому что я не занимаюсь распространением книг, а это во многом определяет условия конкуренции. Вообще-то журнал "Иностранная литература" и наше издательство рядом объективных обстоятельств поставлены в более выгодные условия: если мы говорим о переводе хорошей литературы, журналу и карты в руки — у него есть опытные редакторы, переводчики, связи с авторами. Грех этим не пользоваться. Сегодня конкуренция стала более жесткой, что само по себе неплохо, — это означает, что борьба за читателя безусловно будет способствовать улучшению качества литературы, в том числе и переводной.

В защиту Селина

Л.-Ф. Селин в России. Материалы и исследования. Составление, примечания и комментарии Маруси Климовой. Издательство Общество Друзей Л.-Ф. Селина, Санкт-Петербург, 2000

Луи-Фердинанд Селин — писатель трудный. Хотя пишет легко и читается легко, во всяком случае на языке оригинала. Его "повествование между апокалипсисом и карнавалом" (Ю. Кристева) — то, что можно было бы на современном слэнге обозначить словом "чернуха", — с удивительной силой умеет завораживать читателя, и считается, что тайна этого очарования — в оригинальном стиле. И, добавим, в особом дыхании селиновских текстов. Дело не только в коротких, словно взрывающихся фразах, бесконечных восклицаниях, многоточиях, в которых автор будто задыхается на бегу, но постепенно обретает тем самым новый и уже неостановимый ритм; дело не только в том "пунктирном" воплощении безумных контрастов мыслей и чувств; но и в том, что дыхание селиновской прозы обладает самодостаточностью, заставляя читателя сопереживать, дышать вместе с рассказчиком, с образом которого Селин для вида отождествляется. "Дыхательная практика" творчества Селина коренным образом отличается от того, что делали другие писатели, близкие ему по "экзистенциальному" настрою. Возьмем, например, Жан-Поля Сартра, автора "Тошноты", и Жоржа Батая, сосредоточенных на проблеме тревоги, страха, той самой "болезни к смерти", описанной еще Кьеркегором. Этот страх, словно стремясь выявить его "физиологическую" составляющую, они оба обозначали словом "angoisse", этимологически связанным с понятием удушения. Но проблема ставилась и решалась умозрительно: Сартр занимался констатацией фатальности этой тревоги, Батай пытался привести ее к экстазу. Селин же не философствовал, он просто передавал "задыхающийся" ритм в рваных синтаксических конструкциях, которые по мере продвижения его текста создавали особую музыку переживания. Эта музыка, пусть и сотканная сплошь из катастрофических звуков, создает парадоксальное впечатление "легкого дыхания" селиновских текстов.

Нет ничего сложнее, чем переводить селиновскую легкость на другие языки. И все же, несмотря на очень большую несовместимость, Селин вошел в нашу культуру, а недавняя книга "Селин в России" является тому подтверждением.

Напомним основные вехи взаимоотношений нашей культуры с творчеством Селина. Сразу после ошеломительного успеха в 1932 году "Путешествия на край ночи" Селин привлекает внимание советских функционеров от литературы, и это вполне логично: его роман мог восприниматься как некая разновидность популистского произведения (тогда у нас активно пропагандировались совершенно маргинальные для французской литературы писате-

ли-популисты), к тому же именно в начале 30-х возникает необходимость найти какого-нибудь знаменитого писателя, который занял бы место Анри Барбюса в советской культуре. Кроме того, немалую роль в привлечении Селина сыграл Луи Арагон, незадолго до того "перевербованный" из сюрреализма в коммунизм. Именно тогда в журнале "Интернациональная литература" был впервые опубликован отрывок из "Путешествия" (1933, № 4), а потом, в 1934 году, вышли два сокращенных перевода, один из которых принадлежал Эльзе Триоле, другой – Сергею Ромову. Но "друга СССР" из Селина не получилось – автор "единственного по-настоящему коммунистического романа из всех, что когда-либо вообще были написаны" (как характеризовал сам себя Селин), стал эталоном всего самого вредного, что несла в себе буржуазная культура[1], и это в лучшем случае, поскольку его имя вообще предпочитали замалчивать. Так продолжалось до середины 80-х, когда на страницах "Иностранной литературы" появляется статья писателя и литературоведа Вик. Ерофеева, который первым в СССР дал подробный и, главное, доброжелательный обзор творчества Селина[2]. Но и тогда, в 1986 году, ему пришлось написать "политически грамотное" (хотя и ироническое, "для тех, кто понимает") заключение: "Для современных писателей западных стран идейный аспект путешествия Селина на край ночи – это, может быть, самый поучительный пример того, *чего не делать*".

С начала 90-х годов разворачивается активное освоение текстов Селина, некоторые из которых выходят даже в разных переводах[1] и переиздаются. Саму по себе почти невозможную задачу перевода его романов часто брали на себя люди, сами причастные писательству, – в 30-е годы Эльза Триоле, в 90-е – Сергей Юрьенен, Маруся Климова и Вячеслав Кондратович; последние создали Российское отделение Всемирного общества друзей Селина и собрали книгу "Л.-Ф. Селин в России. Материалы и исследования" – первый в нашей стране сборник статей, посвященных этому классику французской словесности XX века.

Состав этой небольшой по объему книги отличается большим разнообразием. Здесь даны переводы произведений самого Селина и текстов французских исследователей – его знаменитого биографа Франсуа Жибо и молодого университетского преподавателя Сюзанны Лафон. Здесь воспроизведены наиболее репрезентативные и "интригующие" (слово В. Кондратовича) публикации о Селине, сделанные в советское время (И. Анисимов, В. Балашов, уже упоминавшаяся и ставшая классической для отечественного литературоведения работа Вик. Ерофеева), отрывок из статьи Л. Троцкого и заметки современных русскоязычных писателей, журналистов, переводчиков, литературоведов, историков из Петербурга, Москвы, Праги и Воронежа (С. Юрьенен, В. Кон-

1. Так, например, в Иностранной комиссии Союза Советских писателей Селином "мерили" раннего Сартра, чей пессимизм явно не соответствовал потребностям строителей коммунизма, а потом, после Второй мировой войны, когда наметились перспективы дружбы с Сартром, всегда подчеркивалось, что он – больше "не Селин".
2. "ИЛ", 1986, № 11.

1. Первая, после полувекового забвения публикация текстов Селина оказалась символической – отрывки из его антисоветского памфлета "Mea culpa" вышли в "Независимой газете" 1 августа 1991 года, незадолго до путча (перев. А. Истратова). Были опубликованы романы "Путешествие на край ночи" в трех переводах (Э. Триоле, М., 1994; А. Юнко и Ю. Гладилин, Кишинев, 1995; Ю. Корнеев, М., 1994), "Смерть в кредит" в переводе Т. Кондратович (М. Климовой), 1994 и "Из замка в замок" в переводе М. Климовой и В. Кондратовича, СПб, 1998. В настоящее время в харьковском издательстве "Фолио" выходит собрание сочинений Селина, где опубликованы все три романа ("Путешествие" дано в переводе Ю. Корнеева).

дратович, С. Дубин, К. Чухрукидзе, А. Марков, И. Мартынов, М. Недосейкин), а также беседы и интервью с критиками и переводчиками. Книгу завершает отрывок из романа Маруси Климовой "Домик в Буа-Коломб" – "Внучка Ленина". Большая часть материалов – уже публиковавшиеся в нашей стране или во Франции тексты, несколько текстов представляют собой материалы селиновского семинара "Юродивый во французской литературе", который проходил в Москве и Санкт-Петербурге в 1999 году, XXIX межвузовской конференции (СПбГУ, март 2000) и другие. Как объясняет свой замысел автор вступительной статьи и составитель М. Климова, в книге должны отразиться история пребывания Селина в Ленинграде в сентябре 1936 года, образ России и СССР в его творчестве и судьбы его книг в России, их влияние на литературу и критику. Этой установке в целом соответствует двухчастная композиция книги: "Ленинград 1936 года глазами Луи-Фердинанда Селина" и "Селин в зеркале отечественной литературы и критики".

Большую ценность представляют тексты самого Селина, включенные в сборник. Первыми даны отрывки из знаменитой антисемитской книги "Безделицы для погрома", посвященные ленинградским впечатлениям Селина. Переводчики посчитали нужным начать публикацию этих отрывков эпатирующим описанием посещения венерологической клиники, которое вообще является одним из самых шокирующих в творчестве Селина, где порнография – все же не доминирующий вид дискурса. В сборник помещен также перевод антисоветского памфлета "Mea culpa", а в приложении – краткая речь Селина "Отдавая дань Золя" (1933). Последняя публикация – настоящий подарок для литературоведов. Как верно подметили переводчики, Селин вовсе не любил Золя: он произнес эту единственную в своей жизни речь о литературе по просьбе Люсьена Декава, активно,[1] но, правда, безуспешно, добивавшегося присуждения Селину Гонкуровской премии (в конце концов Селин получит другую литературную премию – премию Ренодо). Но в этой речи проявляется его отношение к литературной традиции: Селин, писатель-самоучка, "без корней", говорил не о Золя, но о себе и еще о фашизме, который именно он в ту эпоху сумел одним из первых распознать[1].

Другая часть материалов сборника раскрывает увлекательную историю взаимоотношений Селина и СССР в 30-е годы. В статье французского исследователя Ф. Жибо сочетается прекрасное знание советской критики той эпохи и богатейших материалов французских архивов, М. Климова привлекает некоторые новые данные из московских архивов, С. Юрьенен делает остроумный монтаж из высказываний о Селине на Первом съезде Союза Советских писателей. Жаль, что авторам не удалось найти достаточного количества советских архивных материалов, чтобы подробно изучить некоторые детали этой истории; это помогло бы избавиться от предположений, рискующих вызвать протест у некоторой части российской научной среды: я имею в виду сомнения Ф. Жибо и М. Климовой по поводу того, действительно ли Эльза Триоле переводила селиновское "Путешествие".

Этика Селина – еще одна сквозная тема сборника, которой в той или иной мере посвящены статьи С. Лафон, С. Дубина, К. Чухрукидзе, А. Маркова и И. Мартынова. Именно моральные проблемы до сих пор являются камнем преткновения для исследователей Селина даже во Франции, где

1. См. также Yves Pagès. Les fictions du politique chez L.-F. Céline. Paris, Seuil, 1994.

его печально знаменитые антисемитские памфлеты никогда не переиздавались после Второй мировой войны (правда, в 30-е годы они расходились гиганскими тиражами). Впрочем, последнее время во Франции все чаще и чаще поднимается вопрос о том, а был ли вообще Селин антисемитом: недавно вышла парадоксальная книга Стефана Загдански "Одинокий Селин", в которой автор раскрывает "позитивные" связи французского писателя с еврейской культурой[1]. У нас же его репутация "нациста" и "антисемита" вызывала порой реакцию бездумного отторжения со стороны современных российских критиков, а также со стороны отдельных столичных библиотек, где попросту недостает некоторых последних изданий романов Селина. В сборнике наиболее удачная попытка обозначить этические принципы Селина была сделана французской исследовательницей С. Лафон ("Селин: между антикоммунизмом и антисемитизмом"), работа которой, к сожалению, представлена здесь в виде кратких тезисов. С. Лафон напоминает, что Селин – прежде всего художник, а его антикоммунизм и антисемитизм – образы скорее эстетические, нежели политические, чем и объясняется их абсурдность, легкомыслие или даже "глупость"[2], как говаривали иные французские критики.

Критические и литературоведческие эссе В. Кондратовича, С. Дубина и М. Недосейкина вольно или невольно затрагивают антропологическую проблематику в творчестве Селина – от ницшеанского существования в условиях кризиса трансцендентности (М. Недосейкин) до идеи самоуничижения (С. Дубин) или "юродства" (В. Кондратович) в условиях отсутствия какой бы то ни было трансцендентности. С. Дубин проводит интересное, хотя и довольно спорное сравнение двух, казалось бы, совершенно несопоставимых писателей – "безнадежного" пессимиста Селина и Мишеля Лейриса, чье мировоззрение преисполнено идеей сакрального, преображающей продуцируемые ею образы Танатоса. Автору статьи удалось, тем не менее, найти отдельные "срезы" творчества обоих писателей, рассматривая которые нельзя не поразиться удивительному созвучию их творчества – прежде всего, проза обоих "самоуничижительна", а когда субъект письма как бы упраздняется, освободившееся письмо оказывается неким вечным двигателем, тем, что С. Дубин обозначил как "самозаводящееся письмо".

Данный сборник напоминает периодические издания очень распостраненных во Франции "бюллетеней" Общества друзей того или иного писателя, где наряду с публикациями документов печатаются научные статьи или тезисы к статьям, а также художественные произведения, целиком или в отрывках. Статус этих "бюллетеней" не обязывает к строгой научности, а нарочитая провокативность и фрагментарность некоторых материалов (как, например, оригинальной статьи И. Мартынова) в какой-то степени соответствует закону эфемерного жанра периодических изданий. В контексте отечественных работ, посвященных зарубежной литературе, особенно в последнее время, подобный жанр – величайшая редкость, и поэтому можно только пожелать создателям российской части Общества друзей Селина не останавливаться на достигнутом и продолжать коллективные публикации, связанные с творчеством Селина.

Книга "Селин в России" приводит читателя в творческую мастерскую писателей, журналистов, переводчиков, критиков, которые увлечены творчеством Селина и вступают с ним в свободный

1. Stéphane Zagdanski. Céline seul. Paris, Gallimard, 1993.
2. Annie Montaut. Céline et la betise // Cahiers Céline I. Paris, Gallimard, 1976.

диалог, не боясь "экспериментировать" с различными аспектами его творчества. Книга хороша своей непосредственностью, она интересна сама по себе, как документ современной эпохи. Создатели сборника не претендуют на исчерпывающее представление грандиозной темы, заявленной ими в названии книги, да и сама М. Климова пробует в комментариях по-новому трактовать проблематику взаимоотношений Селина и России в связи с балетной тематикой в его жизни и творчестве. Добавим, что с чисто тематической точки зрения остается открытой и тема СССР как страны-победительницы, образ которой часто появляется на страницах романов Селина после Второй мировой войны. Факт появления сборника материалов, посвященных творчеству Селина, в высшей степени отраден, и надо надеяться, что ему удастся пробудить интерес академических кругов к классику.

Елена Гальцова

"Живу благодаря себе подобным..."

Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича. М., "Радуга", 2000

Открывшим этот необыкновенно изящный том — на обложке женский портрет старинной работы, над ним рука, держащая гусиное перо и розу, — предстоит длительное путешествие: восемь столетий, от Данте до наших современников, среди которых и такие, у кого еще многое впереди. Если брать не масштабы истории, а "нашу маленькую жизнь", как озаглавил известный сборник миниатюр эмигранский автор, писавший под псевдонимом Дон Аминадо, путь Евгения Солоновича к своей главной книге был даже более долгим. Ведь что-то из вошедшего в нее, например стихи Сальваторе Квазимодо, впервые увидело свет лет сорок назад. А то и побольше.

И все эти годы Е. Солонович оставался верен итальянской музе: случай, кажется, уникальный в его поколении переводчиков. Талантливое, творчески состоявшееся — в московском писательском Союзе последних советских десятилетий переводческая секция была самой яркой, — это поколение сегодня стало фактом литературной истории. Иных уж нет, другие ушли из перевода, получив давно желанную возможность публиковать написанное ими самими.

На полках ценителей стоят книги стихов и прозы тех, кто осваивал ремесло поэтического перевода вместе с Е. Солоновичем — Павла Грушко, Асара Эппеля, покойного Андрея Сергеева. Другие стали публицистами или принялись сочинять бестселлеры в исторических декорациях. А Солонович по-прежнему только переводит. И по-прежнему только итальянцев. И почти неизменно — только поэтов.

Верность вознаграждается. Памятуя рекомендацию Вольтера, Евгений Солонович десятилетиями возделывал свой сад, и когда представился случай собрать лучшие плоды (а за это надо прежде всего благодарить Итальянский Институт культуры в Москве), корзины не остались пустыми. Наоборот, корзин не хватило. Многое из сделанного Солоновичем представлено в этом томе, который не хочется именовать итоговым, крайне скупо. Умберто Саба, Эудженио Монтале, поэты самого первого ряда, — десятком-двумя стихотворений (хотя есть их книги, им переведенные и впервые сделавшие эти имена известными в России). Из Петрарки всего тринадцать сонетов — в книге 1973 года их было больше семидесяти, и выбрать на-

иболее удавшиеся очень сложное дело.

Кто-то вообще остался автором одного стихотворения, но зато какого выразительного! Вряд ли найдется у нас хотя бы десяток эрудитов, что-то знающих о Бартоломео Дотти, авантюристе, задире, прирожденном дуэлянте, чья бурная жизнь пришлась на самый конец XVII века и была оборвана убийцей. Но довольно его единственного включенного в книгу сонета, чтобы ясно почувствовать и личность, и эпоху, и поэтический стиль — Дотти был одним из последних маринистов, — и пережитую этим поэтом драму изгнания, предвестье многих аналогичных драм, которые так знакомы нам из отечественного опыта, в особенности недавнего:

Меня сочла ты недостойным чадом,
На мне — проклятья твоего печать.
Чего другого от отчизны ждать,
Что за любовь всегда платила ядом?

В очень кратком предуведомлении Е. Солонович просит не воспринимать свою книгу как антологию, потому что он для нее отобрал только своих любимых авторов, а кроме того, были выдающиеся предшественники, прекрасно воссоздавшие по-русски стихи других или, случается, тех же самых поэтов. Тем не менее, к этой книге будут относиться, разумеется, и как к антологии, причем более надежной для интересующихся итальянской поэзией, чем вышедшая девять лет назад в том же издательстве двуязычная антология, которую составил Р. Дубровкин. При всех достоинствах той огромной книги, она, во-первых, доводила историю итальянской поэзии только до Белли и Кардуччи, то есть останавливалась на пороге XX века. И во-вторых, выглядела слишком разнородной и разномастной, так как в нее вошли работы многих переводчиков, обращавшихся к итальянским авторам лишь от случая к случаю, да к тому же пользовавшихся подстрочниками. А это сразу сказывается — и далеко не лучшим образом — на русской версии, пусть даже она принадлежит Гумилеву, Ахматовой или Бальмонту.

Книга Е. Солоновича тоже двуязычное издание, и степень риска, который возникает перед каждым переводчиком, когда читателю, знающему язык, достаточно взглянуть на соседнюю страницу, чтобы оценить меру соответствия и границы неизбежных потерь, в этом случае минимальна. Дело, конечно, в том, что для Солоновича не создают серьезных трудностей ни диалекты, ни архаика, ни намеренная смысловая непрозрачность, герметичность, какой и следует ожидать от поэтов, принадлежащих культуре, в недрах которой зародился герметизм как художественное направление. Но дело еще и в том, каких установок придерживается этот переводчик, подчиняя им и выбор материала, и характер художественного решения.

Книга разделена на две части — до XX века и XX век, каждая имеет свое заглавие: первая — по стихотворению Чиро ди Перса "Песочные часы", вторая — по строке Марио Луци, старейшего современного поэта, который стал одним из самых значительных открытий Е. Солоновича для нашей читательской аудитории. Заглавие — "Ломились розы через горизонт..." — из стихотворения Луци "Слоновая кость"; может быть, больше подошло бы для этой цели другое его стихотворение — "Местный автобус". Оно, как многие стихи Луци, по первому впечатлению представляет собой просто зарисовку, непритязательную картинку: по шоссе на плоскогорье, хрипя мотором, катит рыдван, в салоне кто дремлет, кто шепотом читает молитвенник, в окно видны дубовые рощи, которые кажутся пепельными, —

и вдруг, пастернаковской нотой из "Ранних поездов", врывается:

... я дома — снова, наяву,
я слышу этот говор, этот ветер,
живу благодаря себе подобным...
Один, без них, — не знаю, как бы жил.

Вряд ли у Евгения Солоновича есть какой-то специфический метод перевода. Он ученик своих наставников, С. В. Шервинского и И. Н. Голенищева-Кутузова, памяти которых посвящена книга. Однако у него, без сомнения, есть свой принцип: переводить лишь тех, о ком он мог бы говорить как о себе подобных. Тех, кто, безотносительно к хронологической дистанции, ему интересен как личность и с кем он ощущает душевное сродство.

Вот откуда естественность, непринужденность, легкость, которые неизменно сопутствуют переложениям Е. Солоновича. Нужно почувствовать что-то большее, чем профессиональное любопытство, чтобы чужая поэтическая речь, сохраняя ясную печать своего происхождения, свободно влилась в стихию русского стиха с его устойчивыми формами и мелодикой, чаще всего довольно далекой от итальянской. Солоновичу этого удается добиться практически всегда, оттого что он, помимо отточенных навыков, владеет таким нечасто встречающимся у переводчиков свойством, как душевный контакт со своим поэтом. И поэт начинает у него говорить незатрудненно, внятными русскими словами, хотя вовсе не такими, которые лежат совсем близко. Так происходит, когда перед нами переложения крайне изощренных петраркистов, достигающих поэтического эффекта отнюдь не за счет искренности и простоты. Или насмешливого Белли, любителя притвориться хитроватым обывателем и посудачить на жаргоне толпы, или даже футуриста Палаццески, который не прочь позабавиться фонетическими играми в духе наших подзабытых колумбов 10-х годов — Бурлюка, Крученых. Кстати, отсутствие в книге лидера футуризма Маринетти по-своему показательно: не только его одиозная репутация в годы фашизма, но и какое-то вызывающее бездушие сочиненных им гимнов динамо-машинам и электрическим радугам, очевидно, порождают у Солоновича полное неприятие. А значит, ничего не получится, даже если бы он заставил себя переводить этого самонадеянного "короля поэтов", думая о представительности и полноте картины.

Свою вступительную заметку Е. Солонович украсил афоризмом Брюсова: "Передать создание поэта с одного языка на другой — невозможно, но невозможно и отказаться от этой мечты". С самой мыслью не приходится спорить, но любопытно, что имя Брюсова в переводе — ясный знак определенной тенденции: буквализма. Она, разумеется, началась не с Брюсова. Страстный итальяноман Вяземский еще в 1827 году, представляя публике свои переводы (правда, не из Петрарки, а из Мицкевича), просил отметить как их самое ценное качество "верность и близость списка", переложение сонета "слово в слово". И еще один столь же пламенный почитатель Италии, Батюшков, требовал переводить "слово в слово, строка в строку". Но все-таки именно Брюсов с его невыносимой "Энеидой", где ради абсолютной точности воспроизведения порядка слов в вергилиевой фразе выворачиваются руки русскому синтаксису, а от тяжеловесных латинизмов стоит гул в ушах, стал олицетворением переводческого "гелертерства" в ущерб всякой художественности.

У этой методики, которую долгое время считали мертворожденной, теперь есть свои убежденные последователи. И среди них столь именитые, как, например, Набоков с его английским "Евгением Онегиным", оставленным без рифмы, а практически и

без пушкинского ямба, но зато безупречным на уровне смысла (исключая ту мелочь, что поэтически выраженный смысл не воссоздается, если исчезла поэзия). Новейший отечественный пример того же рода — переложение Ариосто, выполненное выдающимся филологом М. Гаспаровым, который отказался от рифм и от октав, решив переводить "Неистового Роланда" современным верлибром, не страшась странной для сегодняшнего читателя лексики, как и громоздких синтаксических конструкций. Переводчиком же, правда, оговорено, что "это не единственно возможное решение".

Да, к счастью, — не единственно возможное, о чем говорит большой фрагмент из того же произведения в версии Солоновича, у которого и рифмы и октавы на месте. На месте и смысл, хотя он передан, разумеется, не дословно. Тот "эффект отдаленности", который Брюсов возводил в переводческий канон, потому что перевод был обязан звучать необычно и непривычно по меркам русской поэтической культуры (и этой необычностью ее обогащать), тут почти отсутствует, хотя было бы натяжкой и несправедливостью утверждать, что перед нами "хорошие русские стихи". Нет, это стихи Ариосто, но только они не кажутся русскому читателю каким-то словесным монстром (вроде брюсовского Вергилия, который буквализма ради принужден изъясняться в таком роде: "Конь роковой на крутые когда скачком Пергамы прибыл...") и читаются так, как подобает читаться поэзии — увлеченно, потому что никакие искусственные конструкции не режут глаз.

Ненавистник перевода, имеющего наглость называться поэтическим, Набоков много раз повторял, что изувеченный автор и обманутый читатель, которому вместо Пушкина подсунули зарифмованную гладкопись и вздор, — вот единственные возможные результаты таких переложений. Евгений Солонович — мастер именно поэтического перевода, то есть и переводчик, и поэт. В его книге стихи почти семидесяти авторов, и среди них нет ни одного, кто имел бы основания жаловаться, что в русской версии он не похож на себя. Читатель может быть уверен: он не обманут.

Алексей Зверев

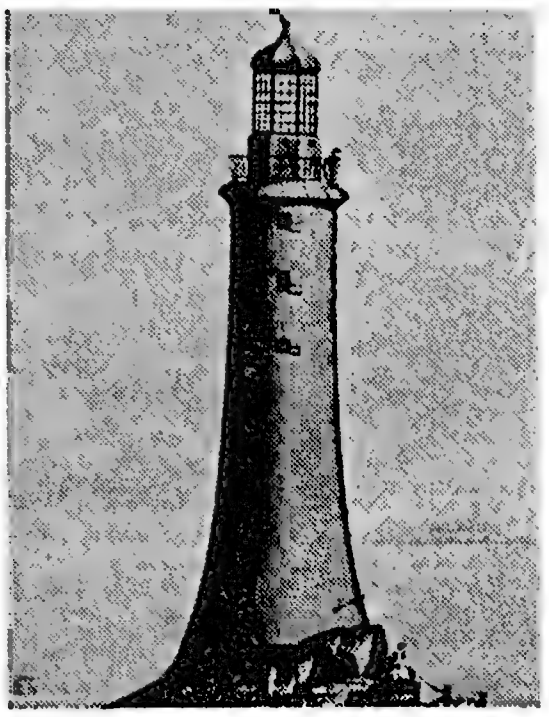
Великобритания

Жизнь в свете маяков

Знаменитым романом "Остров сокровищ" зачитывается уже далеко не первое поколение читателей. Однако не все знают, что родители Роберта Льюиса Стивенсона вовсе не разделяли мнение восторженных поклонников таланта их сына. Они хотели, чтобы он продолжил дело рода Стивенсонов — строительство маяков. Справедливости ради надо заметить, что в Шотландии с ее береговой линией длиной в 1500 миль и с частыми штормами наличие маяков — это вопрос жизни и смерти: рыбаки и моряки в этих местах часто не доживали и до сорока лет. При этом многие жители прибрежных деревень, промышлявшие разграблением разбившихся кораблей, противились появлению новых маяков и всячески мешали их строительству. Как ни странно, они находили поддержку и со стороны некоторых церковников. "На всё воля Божья, — говорили те. — Если кораблям суждено тонуть, то ставить маяки в помощь им — значит идти против Бога". Впрочем, строители маяков, к числу которых относились и многие поколения семьи Стивенсонов, успешно противостояли этому сопротивлению: в период с 1790 по 1940 год восемь инженеров из этой семьи принимали непосредственное участие в строительстве 97 шотландских маяков. Сейчас при них уже не живут постоянные смотрители, как в прошлые времена, но все маяки находятся в рабочем состоянии и по прочности порой превосходят окружающие их скалы. Они стали славой и гордостью Шотландии, и современные служители церкви склонны видеть в них символы Божьей любви и заботы о ближнем.

Приложить руку к этим творениям должен был в свое время и Роберт Льюис Стивенсон. Повинуясь воле отца, он наблюдал за строительством нескольких маяков, один из которых, расположенный на крохотном островке, впоследствии описал в романе "Похищенный". Стивенсон гордился мастерством и авторитетом своих родственников, специалистов по маякам. Однако строительство, как вообще технические и точные науки, совершенно не интересовало молодого человека, и, поняв это, семья согласилась на компромисс: Роберт Льюис станет юристом, специализирующимся на проблемах судоходства, в частности, на всем, что связано с маяками. Впрочем, последнее слово сказала судьба: Стивенсон умер в 44 года на далеком Самоа, войдя в историю как писатель.

Эта история из жизни знаменитого писателя подробно описана Белой Батхерст в книге "Стивенсоны — строители маяков" с подзаголовком "Необычная история о сооружении шотландских маяков предками Роберта Льюиса Стивенсона" (издательство "Харпер Коллинз"). Исследовательница не дает ответа на вопрос о том, какие из творений Стивенсонов прослужат людям дольше — маяки или книги? На него может ответить только время.



Один из шотландских маяков, построенный в 1759 году (газета "Глоб энд мейл оф Кэнада")

Италия

Он оставил след в их судьбе

В начале 50-х гений итальянской культуры XX века Пьер Паоло Пазолини работал учителем в городке Чампино. Этот период его жизни почти неизвестен, поэтому такой интерес вызвало недавно опубликованное исследование Джордано Меаччи "Неожиданный XX век. Пазолини-преподаватель" (издательство "Минимум факс"). Совсем молодой автор разыскал и расспросил учеников и воспитанников Пазолини. Слушая рассказы "стариков", живших в эпоху Пазолини, он, в отличие от них, испытывал не ностальгию по тому легендарному времени, а горечь по поводу его безвозврат-

ного ухода. Джордано Меаччи показал себя добросовестным и просвещенным исследователем: в отличие от большинства молодых литераторов, он тщательным образом проверял все ссылки и цитаты, приводимые в книге.

Бывшим ученикам Пазолини сегодня около шестидесяти лет, и среди них есть как заметные в Италии люди (например, писатель Винченцо Черами), так и неизвестные: супруги Болотта, превратившие свой дом в Чампино в частную среднюю школу; владелец художественной галереи Уго Ферранти; коммерсант Джулио Романи, вспоминающий о том, как хорошо учитель играл в футбол... И все воспоминания пропитаны благодарностью и осознанием того, что на долю каждого из учеников выпало редкое счастье общения с гением, что в судьбе каждого из них оставил свой след Пазолини.

Джордано Меаччи не ограничивается узким кругом воспоминаний и расширяет горизонты: так, в 414-страничной книге нашлось место подробному описанию жизни в Чампино того периода, воспоминаниям Аттилио Бертолуччи, с которым Пазолини дружил и которому отчасти обязан своими успехами в издательстве Ливио Гарцанти.

Некоторые рецензенты упрекали автора в том, что он не всегда строго придерживался первоначального замысла и опубликовал ряд воспоминаний, не имеющих прямого отношения к преподавательской работе Пазолини в Чампино. К таковым относятся, например, воспоминания писателя Сандро Веронези, дружившего с Пазолини в более позднее время. Однако молодой автор настолько стремился узнать и запечатлеть как можно больше о том периоде, что его не испугало постепенное превращение книги в гигантское скопление черновых записей, интервью, путевых заметок и впечатлений. Им руководила подлинная страсть исследователя и восхищение талантом Пазолини, и, может быть, именно поэтому эта несовершенная по форме книга читается с бóльшим интересом, чем серьезные академические исследования.

Канада

Предпочтения пугливых литераторов

Известно, что страх и ужас могут притягивать подобно наркотикам. В прежние времена только грамотные люди могли получать своеобразное удовольствие, специально подвергая себя испытанию страхом при чтении средневековых романов или трактатов религиозных мыслителей. Но и сегодня, когда фильмы ужасов, парки аттракционов и прочие нововведения теснят книгу, чтение остается любимым источником ужаса для любителей острых ощущений. Только книга способна погрузить человека в пучину ужасов на долгие часы, заставляя работать воображение. Выбросу в кровь адреналина могут способствовать различные причины, но лишь литература может целиком захватить человека, изменить его мироощущение.

У каждого любителя ужасов свои предпочтения: кому-то нравятся

Джон Барримор в фильме 1920 года "Доктор Джекил и мистер Хайд" (газета "Глоб энд мейл оф Кэнада")

жуткие детали и подробно изложенные замысловатые сюжеты, а для кого-то скрытое гораздо важнее сказанного, и легкий намек может вызвать больший трепет, нежели любое обстоятельное описание. Крупнейшая канадская газета "Глоб энд мейл оф Кэнада" решила выяснить у деятелей литературы и искусства, что́ они выбирают для чтения, когда возникает желание немного пощекотать нервы?

Известный в Канаде́ и за ее пределами прозаик, критик и антрополог Альберто Мангель считает великолепным образцом этого жанра рассказ У. У. Джейкоба "Обезьянья лапа", ибо в нем дается рациональное объяснение всех невероятных событий, а читатель в итоге оказывается сбит с толку и по-настоящему напуган. Что касается романов, то здесь, по его мнению, бесспорным лидером является "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" Р. Л. Стивенсона, раскрывающая нечто ужасное глубоко внутри каждого из нас. Писательницу Таню Хафф, автора 16 книг в жанре "фэнтэзи" (многие из которых населены вампирами), сильнее всех напугал Стивен Кинг своим

"Светящимся": "До сих пор я иногда не могу заснуть ночью и лежу, прислушиваясь к шороху занавесок в ванной, — пугает не то, что он сказал, а то, о чем он умолчал".

Пошаливают нервишки и у другой писательницы — Нэнси Бейкер; и хотя сама она пишет романы ужасов, произведения коллег по жанру, особенно рассказы, не оставляют ее равнодушной: "У Клайва Баркера есть рассказ "Жуть", который я просто не смогла прочитать еще раз. Особенно напугала меня одна страница — все настолько ярко описано, что так и стоит у меня перед глазами. А самый страшный роман, по-моему, "Жребий Сейлема" Стивена Кинга — я после него бегала по всему дому и закрывала окна". Восходящая звезда канадской литературы Андре Алексис больше всего боится классиков; он полагает, что Генри Джеймс ("Поворот винта") как никто другой держит читателя в напряжении, а от "Дракулы" Брэма Стокера и сегодня волосы встают дыбом. Среди современников чаще всего называли произведения С. Кинга — так, актер Николас Кэмбелл до того испугался, что даже не смог дочитать до конца "Кладбище домашних животных".

Среди авторов, которых любителям всяческих кошмаров рекомендует сама газета, почетное место, конечно же, занимают такие мастера жанра, как Эдгар Аллан По и Монтегю Род Джеймс, а рассказ Шерли Джексон "Лотерея" (1949), в котором события принимают неожиданно жуткий поворот, и поныне входит во многие антологии "ужастиков".

Гастрономия в литературе — двойное удовольствие

Описание кулинарных рецептов и изысков само по себе вряд ли можно отнести к литературе, однако гастрономия так или иначе присутствует во многих художественных произведениях и служит важной приправой к основному повествованию. В ситуации, когда еда является не смыслом жизни, а средством для ее продления, литература с кулинарными элементами придает определенную остроту "пресному" быту. Видимо, поэтому испанцы — признанные гурманы и большие любители чтения — учредили необычную награду: премию Сент Сови по гастрономической литературе. Барселонское издательство "Дестино", учредившее премию, дало ей название в честь опуса "Кафедра Сент Сови по питанию и средиземноморской кухне", каталанского сборника рецептов начала XIV века, который считается одной из первых кулинарных книг в Европе.

Премию за 1999 год получил известный каталанский писатель Хавьер Томео ("Редисочный бунт"), а его соперниками в финале были Хасинто Гарсиа ("Питаться, как угодно Богу") и творческий дуэт Антонио Уртадо и Блас Лопес Чека ("Парижская приправа"). Если верить рецензиям на отмеченные произведения, то главная заслуга авторов состоит в точно найденном соотношении правды и вымысла в том, что имеет отношение к теме еды.

Автор кулинарно-политической притчи "Редисочный бунт" Х. Томео отнюдь не считает себя авторитетом в искусстве кулинарии и утонченным ценителем изысканных блюд: "Я не любитель восторгаться неким сортом ветчины или экзотическими яствами. Я наслаждаюсь едой, но живу не затем, чтобы есть". Его притча — это своего рода рецепт блюда из более чем двух десятков овощей, которые, ожидая решения своей участи в кладовке, слышат доносящиеся с улицы призывы к независимости и решают также вырваться на свободу. Однако прежде овощи хотят выяснить, существует ли рецепт блюда, в котором нашлось бы место для всех них; рассказывая об этой затее, автор придает своим своеобразным героям человеческие черты и щедро сдабривает свой рассказ шутками. Но в этих шутках есть доля правды, например, вот рецепт блюда для Испании под названием "Согласие": "Несколько литров уважения, несколько фунтов взаимопроникновения, несколько мясистых кусков терпения, два-три пучка понимания и все это, конечно же, заправить средиземноморским оливковым маслом".

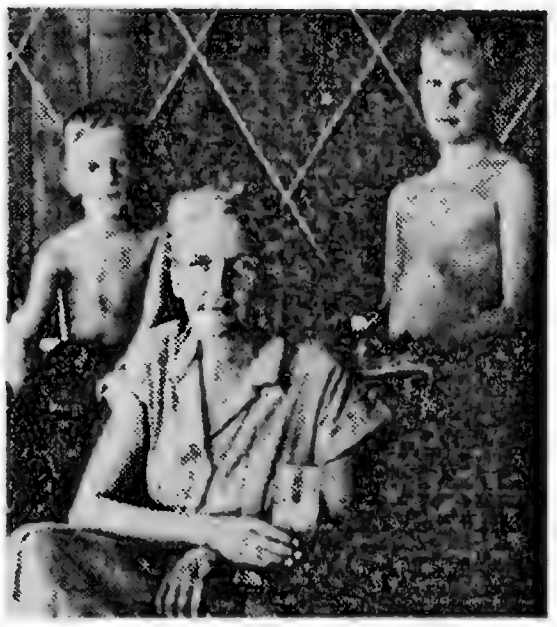
Если Х. Томео вдохновлялся реальностью, то Хасинто Гарсиа в своей книге исследует, как во все времена религиозные воззрения влияли на содержимое котелков и кастрюль христиан, которым надлежало есть "угодное Богу" и не есть в посты. Это и без того не самое простое дело осложнилось с открытием Америки: как быть, например, с острым перцем и шоколадом? После дебатов и совещаний святые отцы сошлись на том, что от употребления перца лучше воздерживать-

ся, а вопрос с шоколадом остался спорным, поскольку одни сочли его безобидным продуктом, а другие причислили к наркотикам. Еще один финалист — роман "Парижская приправа" — возбуждает читательский аппетит полной приключений историей открытия в джунглях Амазонки новой пряности, способной совершить переворот в кулинарии. Для авторов романа литература и гастрономия близки друг другу тем, что "обе основаны на соединении несхожих элементов ради превосходного результата и обе позволяют свободно перемешивать составные части".

США

Эти деньги жгли им руки

Когда в 1997 году братья Фредерик и Стивен Бартелми были обвинены в мошенничестве в одном из казино штата Миссисипи, всеобщему удивлению не было границ: как два известных писателя, братья покойного мастера постмодернизма Доналда Бартелми попали в такую переделку? Недавно они выпустили



Братья Бартелми в детстве рядом с матерью (журнал "Ньюсуик")

книгу "Двойное невезение" (издательство "Хафтон Миффлин"), в которой отвергают обвинения как надуманные (в прошлом году по просьбе адвоката судья закрыл дело) и пытаются объяснить, каким образом два очень умных и далеко не самых богатых человека ухитрились просадить четверть миллиона долларов, играя в карты ночи напролет.

Фредерик и Стивен Бартелми, свободные художники средних лет, нередко испытывали денежные затруднения, но решение избавиться от них раз и навсегда с помощью азартных игр было принято ими лишь после смерти горячо любимой матери. Особого облегчения братьям карты не принесли. После смерти менее обожаемого отца дела пошли еще хуже: хотя он оставил в наследство каждому из них около 150 тысяч долларов, уже через три месяца большая часть этой суммы была проиграна за карточным столом. По словам Бартелми, у них было такое ощущение, "словно потеря близких и чувство вины жгли душу, а полученные деньги жгли руки".

В финале книги братья отнюдь не выражают раскаяния в происшедшем. Вот как они описывают свое душевное состояние: "У нас не было ни детей, ни будущего — только перманентное настоящее. Какое-то время нам казалось, что смысл жизни в семье... Но мы ошибались. Гораздо проще было не думать ни о чем, кроме карт, и карты заслонили все остальное". Возможно, братья заслужили прощение своей книгой, литературные достоинства которой сглаживают шок от драматического поворота судьбы.

По материалам газет "Паис" (Испания), "Стампа-Туттолибри" (Италия), "Глоб энд мейл оф Кэнада" (Канада), журнала "Ньюсуик" (США).

Авторы номера

Джозеф Майкл Кутзее
Joseph Michael Coetzee
[р. 1940]. Южноафриканский писатель, критик, лингвист. Лауреат ряда литературных премий.

Автор повести *Сумрачная земля* [*Dusklands*, 1974], романов *В ожидании варваров* [*Waiting for the Barbarians*, 1980; рус. перев. 1989; премия Джеффри Фабера и Мемориальная премия Дж. Т. Блэка], *Жизнь и время Михаэла К.* [*The Life and Times of Michael K.*, 1983; рус. перев. 1989; Букеровская премия и французская премия *Prix Etranger Fémina*], *Железный век* [*Age of Iron*, 1990; премия *Книга года* еженедельника Sunday Express], сборника критических статей *Белое письмо* [*White Writing*, 1988], посвященных литературе ЮАР. В *ИЛ* [1999, № 1] был опубликован роман *Осень в Петербурге*.
Роман *Бесчестье*, за который Кутзее получил вторую Букеровскую премию, публикуется по изданию *Disgrace* [США, Viking, 1999].

Умберто Беллинтани
Umberto Bellintani
[1914—1999]. Итальянский поэт.

Автор стихотворных сборников *Быть может, одно из тысячи лиц* [*Forse un viso tra mille*, 1953], *Пария* [*Paria*, 1955], *И ты, что внимаешь мне* [*E tu che m'ascolti*, 1963], *На большой равнине* [*Nella grande pianura*, 1998]. На русском языке стихотворения Беллинтани публиковались в сборнике *Итальянская лирика, XX век* [М., 1968].
В предлагаемой читателю подборке Беллинтани представлен стихами из последнего сборника.

Вуди Аллен [Аллан Стюарт Кёнигсберг]
Woody Allen
[р. 1935]. Американский писатель, драматург, кинорежиссер, актер. Лауреат трех премий Американской киноакадемии *Оскар*.

Автор пьес *Не пейте воду* [*Don't Drink the Water*, 1966], *Плавающая лампочка* [*The Floating Lightbulb*, 1981], многочисленных киносценариев. В *ИЛ* [1989, № 8] напечатаны его рассказы из сборника *Сводя счеты*, пьеса из сборника *Без перьев*.
Публикуемые рассказы взяты из книги *Побочные эффекты* [*Side Effects*, Random House, New York, 1980].

Генрих Бёлль
Heinrich Böll
[1917—1985]. Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии [1972].

Автор романов *Где ты был, Адам?* [*Wo warst du, Adam?*, 1951; рус. перев. 1961], *И не сказал ни единого слова* [*Und sagte kein einziges Wort*, 1953; рус. перев. 1958], *Бильярд в половине десятого* [*Billard um 1/2 10*, 1959; рус. перев. 1961] и др., повестей *Хлеб ранних лет* [*Das Brot der frühen Jahre*, 1955; рус. перев. 1959], *Ирландский дневник* [*Irisches Tagebuch*, 1957] и др., рассказов, радиопьес, публицистических статей. В *ИЛ* были опубликованы его романы *Глазами клоуна* [1964, № 3], *Под конвоем заботы* [1988, № 11, 12], повести *Чем кончилась одна командировка* [1966, № 11, 12], текст выступления *Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда* [1985, № 12].
Повесть *Завет* [*Das Vermächtnis*] издана в Германии в 1990 г. [Köln. Verlag Kiepenheuer & Witsch].

Роберт Льюис Стивенсон
Robert Louis Stevenson
[1850—1894]. Английский прозаик, поэт, эссеист.

Автор всемирно известных книг *Остров сокровищ* [*Treasure Island*, 1883], *Странная история доктора Джекила и мистера Хайда* [*The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde*, 1886], *Похищенный* [*Kidnapped*, 1886], *Владетель Баллантрэ* [*The Master of Ballantrae*, 1889] и др., сборников стихов *Детский цветник стихов* [*A Child's Garden of Verses*, 1885], *Подлесок* [*Underwoods*, 1887], *Баллады* [*Ballads*, 1890], *Песни странствий* [*Songs of Travel*, 1896]. Его произведения неоднократно переводились на рус-

ский язык. Переводы стихов Стивенсона публиковались в книгах *Р. Л. Стивенсон. Детский цветник стихов* [1920], *Р. Л. Стивенсон. Путешествие* [1958], собрание сочинений Р. Л. Стивенсона в 5-ти томах [1967], *С. Маршак. Избранные переводы* [М., 1978].
Публикуемые стихи взяты из полного собрания стихов Р. Л. Стивенсона [*The Complete Poems of Robert Louis Stevenson*, New York, Charles Scribner's Sons, 1923].

Эмиль Мишель Чоран
Emil Michel Cioran [1911–1995]. Французский мыслитель-эссеист.

Родился в Трансильвании [Австро-Венгрия], в семье православного священника. Первая книга *На краю отчаяния* [*Pe culmile desperarii*, 1934] и ряд других книг написаны по-румынски и опубликованы в Бухаресте, с 1937 г. жил во Франции, с 1946 г. писал только по-французски. Автор сборников эссе и афоризмов *Уроки распада* [*Précis de décomposition*, 1949], *Соблазн существования* [*La tentation d'exister*, 1956], *Неумелый создатель* [*Le mauvais démiurge*, 1969], *Признания и проклятия* [*Aveux et anathèmes*, 1987]. Русские переводы публиковались в журналах Диапазон, Зоил, Митином журнале, газете Сегодня; в *ИЛ* печатались его эссе *Механика утопии* [1996, № 4], *Встречи с Паулем Целланом* [1996, № 12], отрывки из *Записных книжек* [1998, № 11], *Мирча Элиаде* [1999, № 4], воспоминания о С. Беккете [2000, № 1].
Эссе, включенные в настоящую публикацию, взяты из сборника *Разлад* [*Ecartulement*, 1979] и переведены по изданию: *Cioran. Oeuvres.* Paris, Gallimard, 1995.

Григорий Михайлович Кружков [р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед.

Автор стихотворных сборников *Бумеранг* [1998] и др., книг переводов *Джон Донн. Избранное* [1994], *Сказки Биг Бена* [1993], *У. Б. Йейтс. Избранные стихотворения* [1993], *Роберт Фрост. Другая дорога* [1999], *Книга нонсенса. Английская поэзия абсурда* [2000]. Переводил английских, американских, ирландских, французских поэтов, в том числе У. Шекспира, Э. Марвелла, Дж. Китса, Дж. Джойса, П. Ронсара, и др., английскую детскую поэзию [Э. Лира, Л. Кэрролла и др.]. В *ИЛ* печатались его переводы стихов Ш. Хини [1991, № 4], Д. Энрайта [1994, № 3], У. Б. Йейтса [1995, № 2], У. Стивенса [1998, № 10] и др.

Переводчики

Сергей Борисович Ильин
[р. 1948]. Переводчик с английского, лауреат премии *Иллюминатор* [1999].

В его переводе издавались романы и рассказы В. Набокова, произведения Дж. П. Донливи, Т. Уайлдера, Н. Марш, Ф. Рота и др. В *ИЛ* были опубликованы романы *Вообрази себе картину* Дж. Хеллера [1998, № 2], *Осень в Петербурге* Дж. М. Кутзее [1999, № 1], *Здесь курят* К. Бакли [1999, № 12], главы из романа Ч. Кинбота *Серебристый свет. Подлинная жизнь Владимира Набокова* [1999, № 12], статья М. Скаммелла *Переводя Набокова, или Сотрудничество по переписке* [2000, № 7].

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Переводчик с итальянского. Лауреат Государственной премии Италии [1996].

В его переводе выходили книги избранных стихотворений Данте, Петрарки, Монтале. Переводил итальянских поэтов эпохи Возрождения, XVII, XVIII, XIX и XX веков. В 2000 г. вышла книга его избранных переводов *Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича*. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Олег Вениаминович Дорман
[р. 1967]. Кинорежиссер, драматург.

Переводил с английского книги и статьи зарубежных кинематографистов, пьесы В. Аллена. В его переводе вышла книга *Мастер-класс* К. Кеслёвского [1997].

Михаил Львович Рудницкий
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолит* [1996].

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше нечего желать* А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы романов *Под конвоем заботы* Г. Бёлля [1988, № 11, 12], *Другой процесс* Э. Канетти [1993, № 7], *Медея* К. Вольф [1997, № 1], *Собачьи годы* Г. Грасса [1996, № 5–7], *Земля обетованная* Э. М. Ремарка [2000, № 3] и др.

Евгения Александровна Славороссова
Поэт и переводчик.

Автор книги стихов *Утренний поезд* [1982]. В ее переводах публиковались стихи Р. Л. Стивенсона и произведения английской народной поэзии.

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского.

В ее переводах печатались произведения М. Эме, Ж. Кокто, Б. Виана и др. В *ИЛ* были напечатаны ее переводы *Песен Мальдорора* Лотреамона [1993, № 1], романов *Перелом* А. Сарразен [1993, № 10, 11], *Голубчик* Э. Ажара [1995, № 7] и др.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

линия-арт

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603
Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ☐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ☐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ☐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ☐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент фрески Джотто в своде капеллы Скровеньи в Падуе [1302–1305]

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7,
"Англия" —
Хлебный пер., д. 2/3,
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д. 46,
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 54.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать19. 12. 2000.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 3472.
Тираж 13425 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

Совместные российско-французские литературные премии

Состоялась ежегодная церемония вручения литературных премий, учрежденных посольством Франции в Москве и редакцией журнала "Иностранная литература".

Состав жюри:

Председатель – Доминик Фернандес [Франция],

Марк Гринберг [Россия],

Анн Колдефи-Фокар [Франция],

Мишель Окутюрье [Франция],

Григорий Чхартишвили [Россия],

Сергей Юрский [Россия],

Михаил Яснов [Россия].

За 1999–2000 год присуждены:

премия имени Мориса Ваксмахера [лучший перевод произведения французской литературы] – Ирине Кузнецовой за перевод книг Натали Саррот *"Откройте"* и *"Здесь"*.

премия имени Анатоля Леруа-Больe [лучшее произведение о Франции, написанное в России] – Сергею Зенкину за книги *"Работы по французской литературе"*, *"Символический обмен и смерть"* Жана Бодрийяра [предисловие и перевод], собрание сочинений Жоржа Батая [комментарии и предисловие],

почетный диплом программы "Пушкин" – издательству "Текст".

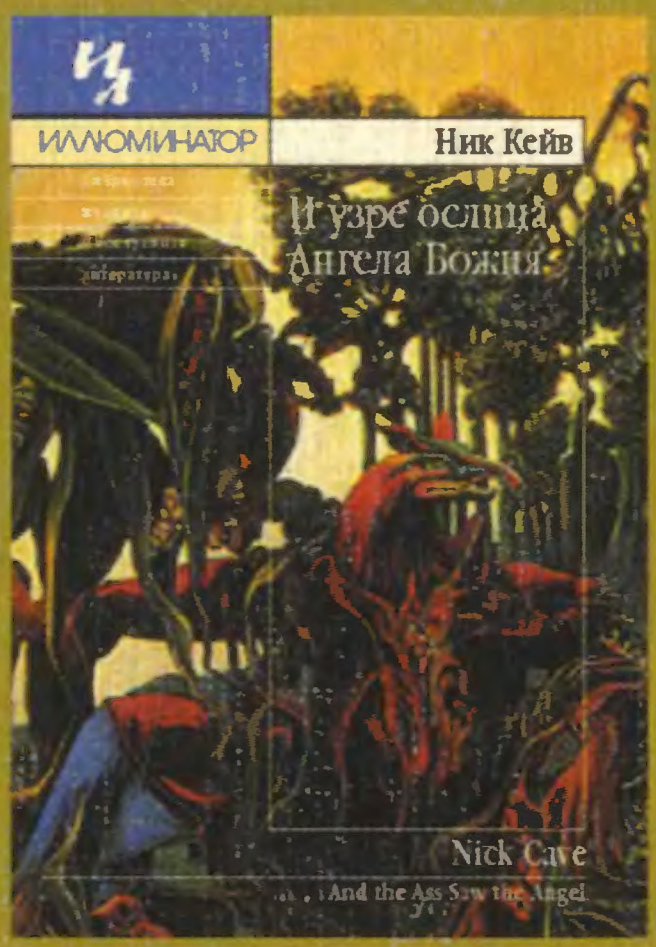
---

[2] 2001

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: "ПРОЖИТОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ" ЛУ АНДРЕАС САЛОМЕ / РОМАН ЮБЕРА МОНТЕЛЕ "ПРОФЕССИЯ–ПРИЗРАК" / "ВОСПОМИНАНИЯ НА ДВА ГОЛОСА" ФРАНСУА МИТТЕРАНА И ЭЛИ ВИЗЕЛЯ / РАССКАЗЫ ЯПОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ / ПОВЕСТЬ ИОГАННЕСА МАРИО ЗИММЕЛЯ "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ РИСОВАЛ МИНДАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЦА" / РАССКАЗ А. С. БАЙЕТТ "КИТАЙСКИЙ ОМАР"

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР



019. Ник Кейв "И узре ослица Ангела Божия" **020.** Х.Л.Борхес/А.Бьой Касарес "Шесть загадок для дона Исидро Пародди" **021.** Том Вулф "Костры амбиций" [в двух книгах] **022.** Джозеф М.Кутзее "Осень в Петербурге" **023.** Алессандро Баррико "Шелк" **024.** Алессандро Баррико "Море-океан"

В нашей новой книжной серии "**Иллюминатор**" читайте
лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала "Иностранная литература"
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inolit@rinet.ru

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2001, №1, 1-288